

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

НОВЫЙ
МИР

2003

10



2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**ДО КОНЦА 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ.** Кандидат (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ. Книга о жизни (предвоенные главы);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Мурзилка (повесть);
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое **Василии** и подвижнице **Серафиме**;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);
ЕЛЕНА ИСАЕВА. Первый мужчина (театр.doc);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
НИКОЛАЙ ЛИТВИНОВ, АНАСТАСИЯ ЛИТВИНОВА. Антигосударственный террор в Российской империи (исторический очерк);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Боржоми (рассказ);
АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);

(См. на обороте)

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ. Поле сердца (стихи; из наследия);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
РОМАН СЕНЧИН. Вперед и вверх на севших батарейках (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»;
ИРИНА СУРАТ. Мандельштам и Пушкин (статья вторая);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Бабушкин спирт (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);
ЕЛЕНА УШАКОВА. При свете и впотьмах (стихи);
ОЛЕГ ЧИЛАП. Мой старший брат (рассказы);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. Пушкинский бульвар (сюжеты);
ГУСТАВ ШПЕТ. «Я пишу как эхо Другого...» (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНА ШВАРЦ, статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 и 2004 годах: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10 (942)

Октябрь, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Без тебя, стихи	7
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Могли ли демократы написать гимн... Рассказ	12
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Мимо жимолости и сирени, стихи	26
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Чума, роман. Окончание	33
ВИКТОР КУЛЛЭ — Пчелиные числа, стихи	103
ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК — Мастер пения, стихи	108
АНТОН УТКИН — Рассказы	110
ЮРИЙ КОБРИН — Сиреневый хутор, стихи	130

ОПЫТЫ

Города и годы

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ — Петербургский пейзаж: камень, вода, человек	134
ЛИЛЯ ПАНН — Аритмия пространства	142
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА — Прекрасная чужбина	152

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Старшая дочь короля Лира	158
------------------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Леонид Леонов — «Вор». Из «Литературной коллекции»	165
--------------------------------------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Владимир Холкин. В «кругу» и вне «круга»	172
Евгения Свитнева. «Критика поэта» или «поэзия критика»?	176
Юрий Каграманов. ...А они к нам всей спиной	180
Андрей Н. Окара. Апология «минимальной» Украины	185
Ирина Машинская. Энциклопедия достоинства	187

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА	190
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	196
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	201
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	207

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	213
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	217
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ

**ИЛЬЮ КОЧЕРГИНА,
СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА**

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ МОСКВЫ!

Оба прозаика были выдвинуты на соискание премии Москвы
в области литературы и искусства за 2003 год
журналом «Новый мир».

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

*

БЕЗ ТЕБЯ

* *
*

Без тебя я — без племени и без роду
Существо, подобное недобитку.
Без тебя за окном помертвела природа,
И похоже сейчас окно на открытку,

Где экзотика зелени и звукозапись
Соловья, завлекающего невесту,
А колодец напоминает кладезь
Тайновидящих вод, что никак ни к месту

К моей скорби открытой, к угару горя.
Никаких нет прозрений в слезе словесной.
Лишь известно студеной водице в затворе
О движенье материи бестелесной.

24 мая 2003.

* *
*

Обильный дождь в последних числах мая,
Остатки смысла в птичьей болтовне.
Так и живу, почти не понимая
Происходящего в окне.

Живу будто в пещере Полифема.
Ах, остров Коз, здесь сколько слез ни сей,
Не выбраться. Но жизнь моя — не тема,
И я отнюдь не Одиссей.

А если я и выберусь, то буду
Не волны бороздить — траву косить
И памяти — бессмысленному чуду —
Остатком выдоха кадить.

24 мая 2003.

* *
*

Ушел и уже не вернется.
Привыкнуть к разлуке такой
Не легче, чем правое солнце
Удерживать левой рукой.

Что солнцу? Всегда оно право.
В бездушной своей правоте
Прожгло мне и руку и травы,
Прикрывшие гроб, да и те

Подспудные мысли о встрече
В загадочной жизни иной.
...Горят мои пальцы, как свечи,
И каждый в разлуку длиной.

24 мая 2003.

* *
*

Свет наподобие колеса
В майскую зелень ныряет.
Птицы на разные голоса
Имя твое повторяют.

Имя твое выдувают шмели
В златомахнатые дудки,
Шепчут на влажных участках земли
Имя твое незабудки.

Шлет семена колокольный звон
И опыляет дорогу.
В семени имя твое — Семеон,
То есть — внимающий Богу.

24 мая 2003.

* *
*

Медленно я из своих выбираюсь потемок,
Медленнее, чем куст из могильных костей.
Рыжий котенок, зеленоглазый котенок
Розовой лапкой мне намывает гостей.

Пусть же приходят, — ответным привечу светом,
Белым вином на столе, от смолы золотом.
Пусть же приходят, — мы вспомним на свете этом
Тех, кто о нас вспоминает на свете том.

Памятью и отличим человек от зверя.
Рыжий котенок приткнулся к моей ступне,
Точно почуял, какая лежит потеря
В сердце моем и как одиноко мне.

25 мая 2003.

* *
*

Меж погостом и церковью костерок
На траве развели бомжи,
Варят кашу. Заржавленный котелок
Пахнет варевом сна и лжи.

Меж погостом и церковью три козы
Мать-и-мачехин щиплют простор.
Из-под купола необъяснимой красоты
Внятно слышен воскресный хор.

Меж погостом и церковью, ангел мой,
Полон быта предвечный день,
И, конечно же, я принесу домой
Предкладбищенскую сирень.

25 мая 2003.

* *
*

Чту молчаливые поминки.
И как родня
Столпились тонкие рябинки
Вокруг меня.

Где ты? Попал ли в Божье царство
Иль в двух шагах?
Дух — это время, а пространство,
Конечно, — прах.

В уме двоится сущность мая
На прах и дух.
Живу как линия прямая
Меж точек двух.

25 мая 2003.

* *
*

Повзрослевшей листвы беглый почерк...
Соловиная дрожкая грудь...
Неужели меж датами прочерк —
Это весь человеческий путь?

Но в руках сигарету кромсая
И табак отрясая с колен,
Вспоминаю пророка Исаяю,
Вавилонский медлительный плен.

Сквозь надсадные вопли и толки
Мы с тобою спускались к реке, —
Ты шел с палкой и в синей ермолке,
Я с узлом и в седом парике...

25 мая 2003.

* *
*

Под сенью необъятной
Глухой осины тишь,
Под ней, мой ненаглядный,
Ты третий месяц спишь.

Здесь все на жизнь похоже:
Скамья и мелкий дождь,
И по неровной коже
Осиновая дрожь,

И желтая синица,
И жесткая трава...
Лишь жизнь — как небылица,
В которой я жива.

25 мая 2003.

* *
*

Бродят, подпрыгивая, по траве трясогузки...
Прячется холод в черемуховой белизне...
Я, как всегда, на авось надеюсь по-русски
Много на что в задумчивом полусне.

Хочется думать иль грезить по крайней мере,
Что непременно встретимся мы с тобой,
Как Гумилев говаривал, «Ах на Венере»
Или еще на какой звезде голубой.

Хочется верить — еще мы увидим оттуда,
Что трясогузка цела и черемуха хладно бела,
Что на серебреники не польстится Иуда
И на поправку пошли на земле дела.

26 мая 2003.

* *
*

В такие ночи,
В такие дни
Я стала кротче,
Чем тень в тени.

Не я усопла,
А ты усоп.
И дождь о стекла,
Мне что озноб.

И луч весенний —
Все та же дрожь.
Я жду: хоть тенью
Домой придешь.

27 мая 2003.

* *
*

Одуванчикова стайка
Стала облачком седым.
Я, и гостя и хозяйка,
Брежу голосом твоим.

Это ты из дальней дали
Мне впечатываешь в слух:
Обе стороны медали —
Жизнь и смерть, душа и дух.

У начала и итога
Однозвучные края.
Слово нам дано от Бога,
Музыка — от соловья.

27 мая 2003.

* *
*

Я надела твою душегрейку
И твои нацепила очки,
На твою уселась скамейку.
А роса — как те светлячки,

Что как звезды светились ночью,
И ты нежно глядел на них,
А теперь и роса — многоточье,
Где мой плач по тебе затих,

Став алмазами рос, изумрудом
Светляков и веснушками звезд,
Освещающими над прудом
Место жительства и погост.

27 мая 2003.

* *
*

Все в голове смешалось старой —
Зов соловья и твой привет,
Твоей ладони капилляры
И дикой розы блеклый цвет.

И одуванчик поседелый
С твоей смешался сединой.
Стою с улыбкой оробелой
К стене бревенчатой спиной.

А где упал, там незабудка
Расширилась, как вещей глаз.
Ты стал природою. И жутко
Мне на нее смотреть сейчас.

27 мая 2003.



ВЛАДИМИР МАКАНИН



МОГЛИ ЛИ ДЕМОКРАТЫ НАПИСАТЬ ГИМН...

Рассказ

Я спросил — можно, я закурю. В постели. Чтобы мне не высовываться, не вывешиваться по пояс в окно... Знал, что улика и что здесь бы курить не надо. Но до чего же приятно чувствовать бездонную женскую уступчивость. (Приятно *продолжать* чувствовать. Это процесс. Женщина тает... Как снег... Уступка за уступкой.)

— Одну сигарету.

— Здесь?

— Да... Только одну. Леня вылезать из тепла... Из пригретого места.

Она тихо смеется:

— Понравилось?

Мы сколько-то лежим... Я дважды тянусь к брюкам за куревом. Но каждый раз одумываюсь и обратным движением руки натываюсь вместо сигарет на ее плечо. Касаюсь ее плеча. Она тихо ахает... (Это наше начало. Так и не покурил.)

Ее аханье раззадоривает (особенно самый первый, взрывной ах). И так сразу провоцируют картинные круглые ее плечи. И, конечно, грудь... Но боюсь я только ее живота. Небольшой и смуглый. Пружинящий. Подо мной гуляют упругие, нервные волны. Я их все чувствую. Я их все узнаю. Их три, иногда четыре. Они прокатываются. Они живые. Как собственный медлительный спазм... Это потрясает! Я даже не успею вскрикнуть. Это прикончит наверняка. Чтобы продержаться подольше, мне надо уклоняться... Мне надо избегать. Любая поза, но не живот к животу. Лиля Сергеевна уже знает. Мы оба знаем, и мы все время группируемся, извиваемся, мы гнемся так и этак, чтобы не дать нашим животам сойтись. (Разделяем их, как ненасытных влюбленных. Остыньте!) И только когда апогей, когда оба вот-вот взорвемся, Лилия Сергеевна честно поворачивается ко мне всем телом... Всей дрожью... Всей гладью живота... Как воин, идущий умирать с открытым забралом, она шепчет: «Ну?.. Ну?..»

Щедрая, млеющая от ласк женщина... Она и подводит мужчину. Хотя бы и такого старого, тертого крота, как я. Невероятно! Тебя отключают. Ты в гипнозе. Куда-то делся весь разум. Весь вопрос: куда?.. Я вдруг расслабился в ноль. (А Лилия как Лилия.) Даже курить не хотел. Я забыл, где я... Забыл, кто я. Только бы не живот к животу. (А Лилия как Лилия.) Говорят же, небеса ревнивы! В такие подсмотренные минуты небеса нам, придуркам, остро завидуют. Небеса еще и нехорошо посмеиваются: давайте,

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в Орске Оренбургской обл. Окончил МГУ. Живет в Москве Постоянный автор «Нового мира».

Из книги «Высокая-высокая луна». (См. также: «Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10; «Неадекватен» и «За кого проголосует маленький человек» — 2002, № 5; «Без политики» — «Новый мир», 2003, № 8; «Долгожители» — «Новый мир», 2003, № 9.)

давайте, милые... резвитесь... млейте... и пусть, мол, вас накроют сейчас же. Пусть-ка вас тепленьких! горяченьких!..

Так и было. Даже шум мотора не дал нам знать. Муж был здесь, был совсем близко — он уже загнал машину в их дачный гараж. (Классная тихо-тихо рокочущая машина.)

И только тут я услышал. Крепкий мужчина, стоя в дверях, чертыхнулся и шумно сбросил ботинки. Или это сапоги... Мужчина с ходу, сразу же поднимался к нам с Лилей. На второй, спальный, этаж. Уже по лестнице... Ножищами. Так и пер вверх. (Почему бы и нет? Мужик был у себя дома. Шел к своей женке в спальню.)

— Лёлька! Что у-тебя там?

Он решил, что наши сбивчивые голоса — телевизор.

Сделав лестницей три-четыре шага, он все-таки остановился. Не стал подниматься. Развернулся. И сошел вниз, бухая по деревянным ступенькам босыми ногами (или это шлепанцы?).

Он шумно топтался теперь там, внизу. Он, мол, сейчас перекусит. Он, мол, надумал поест... Но что именно?

— А мясо? Лёльк!.. Мясо, что с обеда оставалось?.. В кастрюле?

— Должно быть в кастрюле, — откликнулась Лиля, все еще обмирая от страха.

Он хлопал дверцами холодильников (там у них два). Гремел тарелками-кастрюльками... Нашел... Затем решил не торопиться: неспешно жевал холодное мясо — и одним глазом смотрел телевизор. Дубль вечерних удовольствий.

— По какой ты смотришь? — кричал он, жуя.

— А?

— По какой программе? У тебя там что-то интересное — я же слышал.

И опять он затопал! Чего ж не топтать на даче в час ночи!.. Туда-сюда... В медвежьих шлепанцах.

Ее муж Н. — человек более или менее известный. Частенько по телевизору... Мелькает! Но мужик симпатичный, не дерьмо. И лицо как лицо. К нему (на экране) я как-то пригляделся. Лицо достаточно выразительное. Уже он под пятьдесят... Однако без брюшка. Плечистый и сильный.

— Лёльк!.. Лёльк! — Этот его оклик и командорский топот его ног гонят к нам (прямо вверх по лестнице) очередную волну страха.

Но если честно, мне уже плевать. Я (в темноте) смотрю подруге в самые глаза — смотрю зрачки в зрачки. Я возмущен! Как такое можно!.. Я же спрашивал: могу ли я остаться на ночь?.. *Как хочешь*, сказала. Что за ответ! О чем она думала!.. И как теперь?.. *Хочу ли я теперь остаться на ночь? Что скажешь, дорогая?..* Смотрю, далеко ли мои брюки... И перевожу глаза на часы, что на столике. На фосфорные цифирьки, повисшие во тьме, — ну да! Все правильно. Первый час ночи!.. Почему бы мужу и не вернуться домой?

— Может быть, он... Он... Он... Может быть, не подыметя сюда, — шепчет она. Ее всю трясет.

— Правда?.. Но может быть, и подыметя, — шепчу я ей в ответ.

Я взбешен! Какая, к черту, ирония... Нельзя быть такой. Млеющая от ласк женщина ответственна! Растекающаяся от ласк ответственна вдвойне! Втройне!.. Вдесятерне!.. Я думал, хотя бы трусы. В трусах ты хотя бы подвижный. Как на любительском пляжном ринге. *Хочу ли я остаться на ночь? И кулаки сжать. Как бы забытый публикой ржавый боксер... Можно пострадать взглядом. Что-то прорычать, если в трусах... А рычать голяком — это какой-то обезьянник. Как выставить кулаки, если гол. С болтающимся членом?.. Качели! При каждом шаге. Ты направо — член налево.*

Рванулся было встать, но трясущаяся Лиля Сергеевна удержала меня в нашей притихшей тьме. Спокойно. Спокойно... А саму колотит!.. Ей тридцать лет, молодая! Вся жизнь впереди... Я потянулся за трусами, но она

опять — нет, нет!.. Так и повисла на моей руке. (Неправильно истолковала. Решила, что встаю... Что сейчас надеваю шума.) Прижав к постели, навалилась на мою руку телом. Всей тяжестью: «Женщина знает мужа. Женщина знает...» — шептала.

Оказывается, она расслабляла, что его полночный шаг слишком тяжел и слишком характерен. «Он не подымется сюда. Он много выпил». — «Уверена?» — «Да, да». Она удерживала. Она вся распласталась... Она навалилась на меня уже поперек постели. На мою руку, на грудь, *только не вставай, только тихо.* (Ее так трясло, что напомнило недавнюю ласку.) И нежно рукой... Ласково не отпускала... Нежность в сочетании с бесстрашием, это так удивляет в женщине.

Но зато сердчишко ее частило, колотилось немислимо! Я слышал грудь к груди. Сердце к сердцу. Как у крольчонка... Таково и есть настоящее бесстрашие: сквозь страх.

Ночь. Я вдруг ощутил ночь... Отмененный страх подействовал на меня странным образом: он меня резко расслабил... Я вял... Я клоню голову. Неужели меня тянет в сон? Только заснуть не хватало!.. «Тс-с... Тс-с», — зачем-то шепчу я Лиле. А сам жмусь щекой к подушке. Хочу в тепло. Я даже зарываюсь в одеяло. Я в дреме... Лиля Сергеевна со мной. Немного растерянная... Наша с ней маленькая примолкшая ложь превращается в честную ночную тишину.

Тихо... Вот бы и спать!

Но, судя по вскрику снизу, до сна там далеко. Возбужденный Н. вдруг набрел, наткнулся на телеканал, где шли ночные политические дебаты. Ага! Пустили рыбу в реку.

Похоже, Н. увидел там рожу знаконца. И искренне возмущен:

— Д-дерьмо! Какое дерьмо!

Он и ругался симпатично, вкусно. Не опускаясь, впрочем, до прямого мата... Если человек в политике, его трудно любить! Спесивые. Надменные. И всё-всё-всё знающие... Я зевнул... Если бы эти гондоны хотя бы догадывались, как располагает к себе публичный человек, когда он сомневающийся... Когда он ищущий правильное слово... Кающийся во вчерашней ошибке.

Но вот этот Н. оказался как раз из кающихся. Из *сегодня* кающихся... Редчайший случай!

Сегодня он был без тормозов.

— Да?.. Да?.. И что вы насочиняли? — кричал он прямо в экран знакомцу политику. — Это же туфта, туфта! Лёльк! Ты слышишь, этот тупой... этот продавшийся хер хвалит новый гимн! Хамелеон! Да от тебя же тошнит! Нет, это в твоей! Это в твоей башке прокисает старый хлам!.. Ветошь бомжовая! Неужели люди так бездарны? Так лживы? Даже лучшие из нас... Ничего нового. Лёльк, ты слышишь?

— Я слышу...

— Лёльк. Ни-че-го!.. Что-то... Хоть что-то! Хоть что-то в жизни может перемениться?.. Я кричу, я спрашиваю вас, жопы, может *хоть что-то* перемениться в нашем любимом отечестве?

Кричит! Как кричит!..

Мне (в постели... и во тьме) это стало напоминать орущий телевизор у пьяных соседей. Когда очень слышно — но не видно. Когда хочется дать кулаком в стену. Нет, такой не уймется. И все гимн, гимн... Почему не герб? Для разнообразия. Прямо сумасшедший дом... Не люблю телевизор. Я стар и слишком перекормлен одиночеством, чтобы еще слушать чьи-то бредни. Люблю ночную прогулку... Свежий ветерок. Луну.

Но тем удивительнее, что меня стало забирать. Я стал прислушиваться.

— Лёльк! Лёльк! — в это время вопил он. — Да мы-то чем их лучше?! Слышишь?.. Ты слышишь меня?!

Кричит:

— Да?.. Сочинить самим слова? Куплеты? — Это он кричал политику на экране. — И еще заодно музыку?.. А могли ли мы сочинить — могли ли мы сами написать слова? Спрашиваю — могли ли?

И вот тут он впрямую обрушился на самого себя. Его несло:

— И потому я признаюсь не через двадцать лет, а сейчас — мне нечего было бы написать в гимне. НЕ-ЧЕ-ГО. Слышишь, Лёльк!.. Но ведь и честные, мы никогда всего не говорим. Мы недоговариваем. Мы прячемся... Гимн — это же так просто. Это же понятно ребенку. Школьнику! В младших классах!.. Гимн — это же значит надо что-то славить. Хвалить. Воспевать... А что я мог бы честно... честно славить в этой стране? — В голосе вдруг послышались слезы.

Пьяные, но ведь слезы.

— Кто меня упрекнет? Как на духу... Но чем искреннее, тем больнее... Что? Что я могу славить в родном отечестве?.. Ответь прямо, Лёльк!..

Ответить прямо она не могла. Но его оклики, его бесконечные «Лёльк! Лёльк!..» оказались для нас все же с пользой. Лиля Сергеевна пришла наконец в себя. Она села в постели. Страх отступил...

— Тс-с... — Она нисколько не резко, но настойчиво прихватила меня за кисть руки. И дерг-дерг — подымайся... Подымайся, милый! Подъем!

Я сел. Соображаю... А она жестом во тьме (очень понятным движением рук от себя) показывает — уходи, милый, пора!.. Гонит?.. Ну да... Мол, пора расстаться. Мол, лезь в окно... Да, да. Именно в окно, милый. В окно!..

В полутьме мы яростно жестикулируем. Я кручу пальцем у виска. Я не придурок... В окно — а куда дальше? Этаж высок... Или я кот? Или мне там заночевать? Свернувшись на скосе крыши. Обняв трубу?

Однако с женщиной в ее доме долго не поспоришь. Конечно, не поспоришь! (Но, может быть, пенсионеру удастся удачно спрыгнуть?..) Я вяло одевался.

А Н. внизу за это время разошелся вовсю:

— Как?.. Как написать гимн, если... Все и всё. Власть — это понятно. Лёльк! Но ведь я могу перечислять и перечислять. Я честен!

И он начал:

— Власть — нам чужда. Армия — ненавистна. История — отвратительна. Это уже в-третьих!.. Есть и в-четвертых... И в-пятых. А ведь есть еще и в-главных — народ!

Стало слышно, как, яростно вопя, он вновь забежал из угла в угол. За-топал.

— Лёльк! Народ — пугает... Народ — страшит. Пугает нас своей темнотой. Своим черноземом. Лёльк! Своей голодной злобой. Своими инстинктами!.. Надо же уметь признаться, в конце концов.

В покаянии как в покаянии. Так надо. Когда мало одних поклонов. (Когда для полноты хочется еще и башкой о пол! О ступени!) И вдруг... молчание. Раскричавшийся Н. вдруг смолкает. Как оборвало... Похоже, он плюхнулся в кресло. Выдохся! Как с обрыва упал.

Стал слышен (негромкий) телевизор. И только музыка... Шопен... Мы с Лилей настороженно ждем. (Затаились.) Но уж слишком затянулось его молчание. Три минуты... Пять...

Луна. Вот она... Вышла наконец и она, родная, к нашим забытым окнам. Как не хватало ее молчаливого сияния. (Ее одобрения.) Глядит на нас с небес прямо и ясно. И что ей гимн!

Когда я перевожу глаза — Лиля стоит в лунном луче совершенно нагая. Похоже, она задумалась.

А я делаю свой первый шаг к окну... Посмотреть, высоко ли?

— Что ты? Зачем? — спрашивает Лиля шепотом.

Тоже шагнула. Прижалась... И шепчет, прижавшись, — мол, *он* уже попросту спит. «Что?» — «Вот так в кресле и уснет. Он часто так...» — «Не понял». — «Что тут понимать. Уснул в кресле». Под наш шепоток Лиля Сергеевна начинает быстро-быстро сдергивать с меня рубашку, которую я только что надел. Я помогаю. Затем мы вдвоем стягиваем мои брюки... Я было подумал, что чувство... Что ее вдруг разобрало чувство. Однако нет. Здесь лишь милая женская забота. Как всё вовремя!.. Слышу ее озабоченно-разумный шепот: «Не спеши. Надо выждать... Пусть уснет крепко». — «Понял». — «Он уснет, и можно уйти. Уйдешь по-людски». (Не выпрыгивая. Не на четыре лапы.)

А теперь и чувство подоспело, и тоже при ней. Или лучше сказать — при нас. Мы опять валимся на постель... Правда, теперь опаска. Осторожность! Мы вдруг не сговариваясь перебираемся с постели на пол. Мы спустились... Мы в зазоре — между окном и постелью. В яме. Здесь на полу (если что) нас не так видно.

Здесь и луна сильнее. Мощнее!.. Я чувствую прилив сил... И первое мое движение (как всегда при луне) — нерешительно-нежное. Я своего первого движения боюсь. Нежен, словно вхожу в воду. Вхожу ночью — в темную воду знакомой реки.

И как выдох на вдох — она отвечает мне сразу же: «А-аах...»

Да и что еще было делать?.. Если мне пути домой нет. Человеку не раствориться во тьме.

А на полу нам совсем неплохо. После постели даже изысканно хорошо. И свежо. Это как бы в чуть прохладной яме — меж опустевшей теперь кроватью и окном. Если пьяноватый Н. все-таки поднимется по лестнице, он нас увидит... Но не сразу.

Вероятно, из той же сомнительной профилактики (и отчасти из-за тесноты) я нахожусь в странной позе: одна нога на полу и полностью принадлежит Лиле, а другая где-то наверху. Нога моя, которая наверху, совсем отдельна. Ее нет. Нога где-то там. Поднята и опирается на край постели. При этом мы трудимся. Мы с Лилей все время в движении... И чем при случае столь странная поза нам поможет? — это вопрос. Чтобы ее мужик, войдя, подумал, что я с одной ногой? и пожалел соперника?.. Но ведь в темноте... И кто сказал, что одноногих не бьют. Если их застанут. Это я уже пошучивал. (Ей нравилось.)

Смеется:

— Зачем ты в такие минуты несешь чушь?

И шепчет ласково:

— Одноруких действительно не бьют, я читала.

Мы вдруг слышим, как он гремит бутылками, доставая холодное пиво. Надо же! Очнулся... Пьет... И что теперь?.. А пиво, пиво! Так вкусно булькало в его проснувшемся горле.

В параллель с этими булькающими звуками и нас разобрало. Я коснулся ее удивительного живота... Пока что рукой. Случайно. Бережно... И все равно обмер. И пиво забыл... И сразу же обвал этих наших вечных микродвижений. Локти... Коленки... Губы... Пальцы... Запястья... Две шеи, две головы — все задвигалось. Тело угадывает тело без сговора. Все соприкасается, ласкается, трется. И совсем без углов, словно спим безотрывно два-три года.

Вот только это, пожалуй, излишне:

— Ах-аах... Ах-аах!.. — Лилино милое, но громкое аханье.

Нас, я думаю, возбудила сама смена обстоятельств — скорый страх и скорая же отмена всякого страха. Я это вполне понимаю. Это неизбежно. Адреналин... Но зачем именно сейчас такой чувственный взлет? Зачем звуки?.. Это лишнее, лишнее!

Лиля Сергеевна уже не мне ахала. И даже не самой себе. Она ахала небесам. (Которые все-таки нас не бросили. Не подвели.) Женщина... Ах-аах. Ах-ааааах!

— Лёльк! — кричит он. — По какой?.. Я же слышу, у тебя там какая-то сексуха.

Я дергаю: «Да откликнись же! Откликнись ему!..» — «А?» Она не сообщает. Женщина! Слишком счастлива. «А?» — и тогда я ее за жаркое ухо. За ушко! Еще и еще разок.

— Лёльк! — крик снизу. — По какой смотришь?

— По Рен... По Рен-ти-ви, — кое-как произносит она.

— Нет там ничего по Рен! Это не Рен!.. Я же слышал, у тебя что-то мощное, надо же как!

Восторгаясь, он снова ищет в холодильнике. Двигает бутылки.

— Надо же! Как сладко ахает! А?.. Тебе, Лёльк, там хорошо видно? Какая кнопка?.. Нет, как забирает бабеч! Как забирает! Прямо позвонки вяжет!

Грохнул дверцей. Еще пива! Похолодней! Политики нетерпеливы... Судя по поисковым звукам, это уже другой холодильник. Задыхающаяся Лиля Сергеевна (хозяйка!) успевает все же очнуться (я сбавил ритм) и ослабевшим голосом ему крикнуть:

— Ах-аах... Ах-аах... Вино не в холодильнике — вино на шкафу.

— На фиг вино, Лёльк! Хватит! Хватит этого марочного ух-ух-какого испанского вина!.. Я возвращаюсь к водке. Что-то в людях вдруг случилось, Лёльк. Мы возвращаемся к своему народу. Что-то в политнебесах произошло. Все *поцентрело*.

— Да, да...

— Нет, ты расскажи хоть словами, кого там... Кого так слышно дрючат? Молоденькую? Может, негритянку?

А ей нужна отдышка. В том и опасность, что на пике чувства дыхание Лиля переходит в нечто неуправляемое. В нечто скачущее между тишайшим «Пых!» и звенящим «А-ах!». Это уже не отзвук и не эхо сладкой возни. (Которое так нравится нам обоим, когда нас никто не слышит. Так одуряет. Так пьянит.)

— Мне больно! Лёльк!.. Лёльк!

Кающийся Н. ожил внизу не на шутку. Кричит:

— Лёльк! Слышишь!.. Мы ведь приложили руку. Еще как! Если честно... Мы же провели тотальную дегероизацию. У нас нет Истории. Любое событие мы пересчитываем только на трупы. Даже выигранную войну! Сто тысяч трупов! Миллион! Сорок миллионов! Кто больше!.. Каждый трупак становится из десяти головах! Мы превратили Историю в свалку трупов...

Он выждал горестную паузу:

— Конечно, в этом — тоже мы. Лёльк! Крушить так крушить... Похуже, одни мы — такие. Крушить Историю! Крушить Бога! Нам милы только руины!.. Что за люди... Лёльк!

Мы молчим.

— Лёльк! Что теперь-то?.. Что и как теперь? Как нам вернуть чувство Истории?

Молчим.

— Без Истории мы белое пятно.

Его голос (без Истории) — и впрямь жалобный скулеж. Блеянье!

— Лёльк... Лёльк...

Нам не до него. Заткнулся бы.

— Лёльк! Что теперь?.. Мы ведь уже начинали с ноля. Мы сами... Мы ведь *сами* засрали — и как теперь *самим* написать гимн?

Нам не до него. Он может стенать, каяться... Лиля Сергеевна наращивает: «Ах-ааах! — и с новой силой: — Ах-аа-ааах!» А я, как замороженный ее животом. Я наткнулся на бархатистую гладь! Как с разбега. Этот сума-

шедший живот!.. Мы оба с ней дышим, дышим... Серия совместных ахов-пыхов!.. Мы двое — и никого больше. Нам по барабану История. Пусть трупы. Пусть миллиард... И никакого гимна... Она забыла мужа. Я забыл луну. Нас двое.

Сквозь бой сердца я лишь просил:

— Потихе... Лиля!.. Потихе.

Но ее «Ах-ааах! Ах-ааах!» все звучнее... Женщина. Тут ведь не угадешь. Тут уж как пойдет.

А бедный Н. совсем сбавил голос. Как бы ей в противоход. Там, внизу, он жалобно постанывал. Тихо страдал... Повторяя:

— Сами... Сами... И самим же писать гимн... Сами всё обнулили... А? Сами?.. Лёльк!

Лиля Сергеевна отвечает, но не ему. Она отвечает мне и моим движениям: «А-ааах. П-пых!..»

— Потихе, — прошу я. — Лиля... Лиля.

Но Лиле уже не справиться с нарастающим дыханием. Ничего не поделаться. Казалось, ее горло и ее легкие стреляют... Из леса... По опушке. Как на больших маневрах.

— А-ааах! Пых-пых!.. А-ааах! Пых-пых!..

Не знаю, как быть. Пытаюсь прикрыть ладонью ее страстно пышущий рот, но куда там! Страсть — как ярость.

— Лиля...

— А-ааах! А-ааах!..

Какие там маневры — это канонада. Бой... Пальба в упор... Бородино. Стоять! Прямой наводкой.

— А-ааах!.. Пых-пых!.. Пых-пых!.. Пых-пых!..

Батарея Раевского.

Как последнее средство я сам... Бросаюсь животом на ее живот — мы содрогаясь, и теперь молчание... Только затихающие стоны. И радость. И уставшая плоть... И дрожащие благодарные женские руки. И хватит стрельбы... Отдых.

А истрадавший внизу Н. начинает рассказывать:

— Лёльк. Послушай... Хватит смотреть, как трахаются!.. Я к отцу заезжал. По дороге сюда... Лёльк!

Голос теплеет:

— Я к отцу заехал — и представь себе, Лёльк, что мой милый, милейший старик! Этот огуречик! Этот трудяга, этот все еще вкальывающий чеховский дядя Ваня! Представь себе!.. Этот дивный ласковый старый пердун — за прежний гимн! Да, да! Я чуть с ума не сошел! Отцу родному — не суметь объяснить! А ведь сколько их... Этих отцов! Представь себе эту гимническую аудиторию! Лёльк!.. Эти пенсионеры с выпадающей челюстью... Пьяндыги с грязными собачонками. Инсультники, держащиеся за копейку... Роющиеся в помойках... Старухи, трясущие башкой...

Мы отдыхали. А он нет. Он продолжал стенать:

— Эти скромные совки. Которые вот-вот... Зачем им гимн?.. Лёльк! Кончается их тяжелейшая, свинцовая, замордованная, гнусная жизнь, а они... А они хотят что-то славить!.. Почему?

Пожалуй, где-то здесь (в уже нисходящем потоке стенаний) во мне стала нарастать симпатия к этому завывающему внизу мужику. Странно! Необъяснимо... За его, что ли, прорвавшуюся боль. За надрыв души. (Или за то, что он обосновался там внизу и нам не мешает? Сидит себе в кресле. Цедит пивко. Молодец!..)

Но какие-то горькие его слова меня определенно достали. Именно слова. (Люди в наш век внушаемы.)

— Мне хотелось бы с ним немного поспорить, — говорю я вдруг Лиле.

Она тихо (с улыбкой) шепчет:

— В другой раз. Ладно?

Не понимает женщина... А старику хочется! Старику бы самое оно. Старики созданы, чтобы спорить. Чтобы упереться в какую-нибудь мысль. В мыслишку. Хоть в самую малую!.. Это и есть наш уход из жизни... Ворчать! Выmaterить! А откушав, рыгнуть! И, конечно, спорить и спорить! Хоть до инфаркта.

Лиля мягко склонилась к моему боевому уху. К левому. Оно лучше слышит. «Старики, — шептала она, — пусть спорят. Но ты-то не старик! Ты — старый козел! Козел! Понимаешь?.. А козел должен...» Она сделала четкую паузу. Она подыскивала, чем бы заменить уже пошлое *трахать* и уже надоевшее *дрочить*. Колеблется... Знает, а колеблется. Приникла к самому моему уху: «Козел должен...», — тихим-тихим шепотом, но произнесла. Мягко и нежно. Но вслух... И дурашливо меня лизнула. Языком прямо в ухо. В перепонку. Лизнула и шепотом: «Понял?» Лизнула еще... И очень довольна!.. Шепчет, ластится, а в ухе моем звенит, торжествует великий глагол.

— Лёльк!..

Н. на спаде — он лишь сердито гремит бутылкой, гремит льдом в стакане. А смысл в игре покаянных звуков — водка со льдом. Чертыхнувшись, наливает себе сильной рукой. Надо думать, много. Звучные бульки в горле... По-отечественному опрокидывает в рот. До дна.

— Уууу-уух! — замечает Н. сам себе сурово.

«Ну уж теперь ему сюда никак... Не подняться. Точка», — шепчет мне Лиля Сергеевна. «А?...» — переспрашиваю. Она улыбается в полутьме: «Можно считать, что мы с ним в разных квартирах...»

Я понял. Соседи!.. Его стенания можно слушать, как соседские. Или не слушать. Мало ли что спяну кричат через стенку. Да пусть обкричится!

Но на постель мы не рискнули.

Отдыхаем... Заслужили... Лиля Сергеевна лежит рядом, нагая и в мелком поту. В бисере. Она взяла мою ладонь и проводит ею по своему влажному телу там и здесь — дает почувствовать, какой жар мы задали друг другу после первого испуга. Да уж. Отмененный страх — чистый адреналин.

— Лёльк!..

Это опять он. Он все еще страдает. Зовет ее. Этот его покаянный бред!.. Надтреснутым голосом... Сколько же можно!

— Лёльк!.. В машине ехал... О гимне! Неотвязная мысль. И как раз почему-то по радио исполнили. А я ехал... Я вроде даже усмехнулся... Я не помню, были ли на шоссе встречные машины. Были ли фонари?.. Я даже не помню, крутил ли я руль. Только о гимне... Ты слышишь меня?

Тут я не выдерживаю. Жаль мужика.

«Лиля!» — с чувством я стискиваю ей руку. Я как бы подталкиваю ее. К разговору. Если не я — пусть она... Мы ведь отдыхаем... Ответь ему... Поговори с человеком. Ответь что-нибудь.

— Но что? — шепотом спрашивает она.

— Что-нибудь. Положительное. Поддержи человека...

— С ума сошел!

— А то я сам... Лиля!.. Не могу молчать... Он меня достал.

И как раз ее Н. притих. Как раз пауза. Удачно... Лиля решила и пискнула:

— Папуля. Но ты же не вор. Ты же всегда сам говорил: главное, чтоб политик не вор...

Он произнес без вскрика:

— И это все?

Он даже сильнее надтреснул голос при повторе:

— И это все?

И тишина повисла. И только лед о стакан.

И мы тоже молчали. Ни Лиля, ни я не нашли, не знали, как продолжить.

Зато он сам, гоняя лед по стакану, заговорил:

— Быть может, мы оказались неспособны. Но почему? Быть может, бесталанны? Но почему?.. Талант митинговый не есть, к сожалению, талант созидательный, Лёлька!

— Да?

— Может, мы попросту бездарны... А «Марсельеза»! Вот оно. Ведь «Марсельеза» сочинена за ночь! За одну ночь! Лёлька!..

Лиля Сергеевна вдруг рассердилась:

— Все! Все!.. Я устала! — При столь откровенном «устала» Лиля грозит своим маленьким кулачком в сторону лестничного спуска (в сторону мужа): — ну сколько можно!.. Об одном и том же. Нет же сил!.. Он не уймется!

Затем она решительно приподымается и одним движением крепко, со страстью усаживается на меня.

Вот оно как!.. Я был отчасти застигнут врасплох. Но, конечно, поддался.

— Лё-оольк! — зовет он.

Она молчит. Она в деле. Она, я думаю, даже не слышит. Я тоже мало что соображаю. Моя физиология уже по-ночному подчинилась Лиле, а не мне. Мной управляли... Можно расслабиться.

Можно было слушать его монологи... Или просто смотреть в никуда. В темный потолок. Можно было даже слегка подремывать — она теперь все делала сама. (В пику стенаниям мужа.) В этом ему ответе был нацеленный смысл. Сама тружусь!

— Мы так хотели перемен. Но от перемен мы и перессорились... Мы завяли... Мы выдохлись — и гимн нам уже не написать! Не смогли!.. За нас все решили. За слабых. За бесталанных. Мы заслужили тот гимн, который есть... Ты слышишь? «Марсельеза» — за одну ночь! За одну! Лё-оольк!

А она уже раскачалась, не слышит.

— Лё-оольк!

Он вопит. Он вопит и зовет:

— Лёлька! «Марсельеза»!.. А?.. «Марсельеза»! Гимн... Гимн!

А она вся в движении, вся в полете, вся на мне. Ей хоть бы что! Ничего не слышит.

Уже в захлесте чувством она вдруг недовольно ему кричит. Как бы проснувшись:

— Какой еще гимн?!

— Какой, какой!.. — скорбный голос (снизу) укоряет ее. Сожалеет. — Обыкновенный гимн! Нормальный! Человеческий! Хвалебная песнь!.. Лёлька! Не помнишь, что такое гимн?!

Враскач, набирая ритм, она негромко постанывает:

— Как-не-пом-нить... Как-не-пом-нить... Как-не-пом-нить...

Вот — женщина! Вот смелость и вот страсть. Вулкан! Вот это скач!.. Я восхищен. Она написала бы им гимн. Она сотворила бы! За одну ночь! За час!..

А луна меж тем уходила за срез окна. Прощалась. (Я следил ее краешек.)

— Лёлька! Ну ты опять!.. Ну как не совестно!.. По какой программе эти стоны? Я хоть отвлекусь... Что ж ты одна кайф ловишь! Лестницу я уже не осилю... Ты только скажи программу — по какой?

Но Лиля смолкла... Тем слышнее кач ее изящного тела. Бедро стискивают меня. Пружинят... Она набирает скорость. У нее уже крылья! Вот-вот и она с меня улетит. К птицам. В лунные небеса... Бросит меня здесь.

— Лёлька! Все кнопки перещелкал... Это, между прочим, твоя вина! Это ведь ты нижний телевизор испортила! Помню! Отлично помню! С антенной. Ковыряться — и сбила настрой. Потеряла, я уверен, несколько программ!

Он терзает свой телевизор. Сколько он ни щелкай кнопками... То голоса. То писк... Но того, что у нас, ему не найти. Во всяком случае, не этой ночью. И тогда он вновь впадает в страдание и вопит:

— Нич-чего!.. Нич-чего не сумели! Это в нас хуже всего... Мы не сумели!.. Ах, Лёлька, Лёлька, мы сами себе противны!

Его вопли меня достали... Этот мужик (честный, не вор!) не должен сдаваться. Не должен опускать руки. Нет и нет!.. Я ужасно распалился. Я не хотел бы приплясывать ни на чьих поминках. Тем более сегодня, когда все поносят демократов. Когда всякий жлоб мешает их с дерьмом... Я был готов стать в их редущие ряды... Сейчас же... Сию минуту... Я ведь тоже внушаем. (Но ненадолго. Импульс!.. На минуту-две.)

Но только пусть прекратит вопли. Страдалец отыскался! Мудак, ей-богу. Мне хотелось с ним спорить. Я готов был спуститься вниз... Сейчас же!.. Спорить. Возражать. (Я сел. Ощупью искал трусы. На полу...) Я все ему выскажу. Он должен знать мнение рядового.

Лиля схватила меня за руки.

— Да ты действительно с ума сошел! Ты спятил!.. Не о чем вам спорить!

Лиля вся в поту. Еще не остывшая. (Как прохладен пот.) Она опять навалилась на меня. Держит. Ее можно понять. Это же нечто... Сбрендивший старикашка! Голый! И рвется вниз!

Мне, видно, ударило в голову. Однако смирился... Притих. (И все же как я ему сочувствовал!)

— Лежи. Лежи, — успокаивала меня Лиля.

А снизу!.. А снизу опять неслось про гимн. Можно было свихнуться!.. Лилю била мелкая дрожь.

— Нич-чего не смогли... Даже такого говна, как куплеты. Даже припев! И музыки не смогли... Давай, мол, дедушку Глинку!.. Как-кое мы говно!

Он уже не кричал — ревел! Его там сотрясало... Я сочувствовал... Человек каялся... Но что я мог поделать, если в эту самую минуту я опять был на его жене. Вернее, она на мне. И держит... Еще как держит!

А крик стал пронзительным:

— Это ложь! Ложь! Я лгу сам на себя — я люблю этот народ! Люблю!

Страданье рвалось:

— Ничч-чего! Нич-чего не удалось!.. Слышишь, Лёлька, — ни-че-го! Счастливчики, у кого инфаркт. Счастливчики, кого застрелили у подъезда... Сколько было замыслов! Зачем? зачем Бог дает человеку дожить до краха?!

Каялся... Его боль услышали теперь даже стены. Даже лестница, по которой ему не подняться. Даже Лиля.

Лиля всхлипнула. Я ее обнял... Лиля Сергеевна вдруг сползает с меня в сторону... Входящей (за край окна) лунной подсветке я вижу, как дрожат ее губы. Лиле его жаль. Ей жаль его. Жена!.. Он и ее достал.

Мне приходит в голову диковатая мысль — это не я, это она кинется сейчас к нему. По ступенькам вниз. Почему бы и нет?.. Станет его успокаивать. Утешать... Вдвоем им не до меня. Лучшее средство! Им будет отлично!.. Они меня здесь забудут. (А я, конечно, усну. Что еще делать?..) И только поутру картинка — они оба поднимутся сюда. В обнимку. Примирившиеся. Поднимутся ступенька за ступенькой... А на полу, закутавшись в их любимое теплое одеяло, посапывает неведомый голый старикашка. Бомж... Бродяжка. Переночевать к ним забрался.

Я шепчу ей:

«Скажи ему, что всё не зря. Скажи, что не впустую. Лиля... Скажи, что им удалось развернуть целый народ... Огромный народ... Наш народ... Шли к катастрофе».

Лиля Сергеевна, сбиваясь, все же согласно повторяет за мной:

— Удалось... Костя!.. Удалось развернуть целый народ... Народ! Костя!

— А? — вскрикивает он.

Я только и хотел внушить политику-профессионалу сколько-то радости. Пусть знает!

Это удивительно, как меня разобрало. Это как зуд. Даже трясло от нетерпения... Меня на миг так и втянуло! Засосало, как в воронку.

«Момент был критический... Народ шел к пропасти...» — по-боевому, с жаром зашептал я ей.

И ведь едва-едва я не влип со своим стариковским энтузиазмом. А всего-то и хотелось — подбодрить человека.

«Развернули народ... Так и скажи ему: *развернули...*»

— Развернули народ. Развернули и... *нацелили в будущее*. — Лиля Сергеевна и своих слов подбросила!

«Воздай ему... Скажи, что *в тот критический для народа момент они сделали великое дело*».

— Вы сделали великое дело, — говорит она.

И добавляет свое:

— *В тот переломный момент*.

Он кричит со стоном:

— О, повтори, повтори!

«Великое дело... Сумели!.. — шептал я. — Развернули мысль такого огромного, такого сложного народа... Россия — не река. Россия — море...»

Она и это проговорила — и он внизу взревел:

— Лёльк! О, повтори, повтори мне эти слова в лицо! Я все-таки подымышь, и ты скажешь... Я подымышь... Ты скажешь. Ты скажешь это, глядя мне глаза в глаза!

Нас тотчас прошибло страхом.

— Я сплю-ууу! — завопила Лиля Сергеевна уже без подсказки.

— Это не важно. Иду, — говорит он. — Иду... Я уже вытер слезы!

С расстеленного на полу одеяла я бросаюсь в самое укрытие. Под кровать. Во тьму.

По счастью, сил у него хватает только на пол-лестницы. Но как же ясно мы слышали эти бухающие шаги... На пятой ступеньке каменный шаг замер. Я вел счет. Три... Четыре... Пять... Если бы не тьма египетская, я бы увидел его башку. А он — одну из моих ног... Но вот он застыл. Еще раз притопнул медвежьим шлепанцем. На той же, на пятой, ступеньке...

Минута зависла.

И здесь Лиля Сергеевна с поразительным хладнокровием произносит:

— Да ладно тебе. Иди уже в кресло... По десятому каналу.

— А?..

— По десятому. Иди отвлекись.

Я замер в подкроватном подполье.

Политик бухал по лестнице вниз. Каменно... Но покорно... Не грохнулся бы... Он был поглощен подвернувшейся мыслью. И сам себе бормотал: *созидательного мало. Пусть ничтожно мало... Но помогли ... Помогли совершить разворот...*

Он сел в мягко запевшее кресло. Он плюхнулся туда. И молчал... Кажется, он все еще насыщался минутой. Я думаю, он отдыхал от боли... С уже отпустившей болью.

Но вот он ожил. Зашелкал кнопкой телевизионного пульта. То музыка. То стрельба...

— Нет, Лёльк. Ты на десятом канале как раз и сбила настрой... Здесь какая-то херня.

— Спи, милый.

— Да. Да... Утомился.

— Зато хорошо поспишь.

— Но я же слышал... у тебя там мощно кого-то дрючили! У меня даже встал впереклик. Ноги не держат, а встал — представляешь?

— Спи, милый.

Он снова притих... А я уже выбрался из андеграунда и, весь хладный, опять жался к Лиле Сергеевне. Нет, нет... Тоже притих... Просто рядом. Я кутался в одеяло. (Под кроватью у них зябко.) Она и мне шептала. Те же тихие слова:

— Спи, милый.

В тепле и в полудреме я и точно ловил сытый ночной кайф. Убаюкивало... Но при этом (вот ведь старый совок!) я продолжал ее мужу сочувствовать. Политик мне нравился... Его страдания. Его боль!.. Это ж какая редкость!.. Я помягчел, как к старинному другу. Растекся в доброте... И, конечно, чувство вины... Я решил, что так будет честно. Я решил, что я должен согласиться (мысленно)... Чтобы этот страдающий Н. тоже побыл на моей жене. Как я на его. Справедливости ради... Пусть.

Я только думал, на какой из них. На какой из моих жен... Пусть он отквитается... Пусть Галинка. Да, Галинка... Никогда не передавал женщину из рук в руки. Но ведь справедливости ради... Галинка... Пусть...

Конечно, не мед. Особенно к вечеру она дышала! Злобой! Как-кая была стерва! (Но оказалось, отдать жалко. Все-таки бывшая жена... Все-таки честь.) Я колебался. Даже злобную Галинку... Била зонтиком... Однажды ткнула зонтиком в пах. Прямо в яйца. Как в булжники!.. Как-кая стервоза!.. Однако же факт: отдаривать и Галинкой не хотелось... Да, да, было жалко. Никогда не думал, что окажусь таким... Жлоб.

Я вдруг увидел солнечную вспышку. Я увидел самого себя молодого, с первой моей женой... На лугу... И вокруг бабочки, стрекозы... насекомые. Мелкая, мизерная, миллионная, трескучая рать... Все это мелькало. Эта летучая кодла спаривалась. Бесперерывно. Беспрестанно! На наших глазах... Непредсказуемые и прекрасные зигзаги их полетов. Стрекозы — на скорости! Бабочки — в упоении!

Но и те, и другие, и пятые, и сотые, хотя и активно занимались продолжением рода, не забывали наше главное — сочиняли (ну наконец-то) хвалебную небу песнь. Монотонно звенели, ныли, брунжали, гудели, гундосили:

— Гим-м-м-н-н-н...

Не знаю, сколько прошло... Лиля Сергеевна будила. Меня... Шутливо подергивая за нос: Петр Петрович! Эй! Что нам снится?

Я насторожился. Потому что снизу (сплю? или не сплю?) донесся дикий шум — вопли беснующейся толпы. А-а, футбол... Болельщики! Показывали среди ночи — значит, матч за рубежом... Где-нибудь опять наших быют. Как-кая боль! И ведь смотрят же люди свой позор.

Я ничего не соображаю. Вял... Но, как всякий мужчина, машинально уже прислушиваюсь к их счету: *два-один*.

Лиля Сергеевна надевает халатик. Она так смела. В чем, собственно, дело?.. А в том, что сегодня ночью (она же предрекала!) окно Петру Петровичу не понадобится. Петр Петрович нынче прыгать вниз не будет. И не будет ползти по скату крыши, как кот... Мы можем оба сойти вниз по лестнице. Запросто! Командор уже, конечно, спит.

— Спит?

Да, она уверена.

— Потому, что футбол... А он не смотрит футбол. У нас футбол смотрят исключительно мазохисты. Так он считает.

— Он бы выключил?

— В ту же секунду.

Она касается моего плеча:

— Только поосторожнее на лестнице.

Старые ноги! Копыта!.. Залежавшийся, я все-таки громыхнул при спуске раз-другой по ступенькам. Мы уже сошли в их большую комнату. Мы внизу... В кресле он сидит к нам спиной. Молодец! Спит. Мы проходим мимо него на кухню. Мы переговариваемся. Его уже ничто не проймает.

Но он проснулся, как только на кухне я открыл пиво. От столь негромкого звука. Ни мой спотыкач на лестнице, ни гул футбола... но едва только чмокнула и шипит открываемая бутылка, он проснулся. Командор даже вскочил... И уже тут как тут. Вырубил немедленно футбол (это, конечно, святое) — и к нам.

Я тотчас отодвинул пиво. Бутылку и стакан от себя — к Лиле Сергеевне. Она тихо сидит напротив.

— Лёльк!

Войдя на кухню, он уставился на меня и дважды протер глаза. Картинка: муж среди ночи, зевая, входит на родную кухню — а там сидит какой-то пожеванный старикан... Волосы всклокоченные... И с виду — мученик.

— Лёльк! Что за дед?..

Я молчу, иногда женщина лучше знает.

А он спокоен. Он хватить шипящую бутылку пива, что на столе, и ее — прямо из горлышка. Вот ведь как! У меня даже рези в желудке... Так я ощущал его глотки. Пивко! Холодное! Моя же бутылка... Я не мог оторвать глаз. А он булькал и булькал. После сна ему — как хорошо!

— А-а, курьер! — вернув бутылку на стол, решает вдруг он.

И сонно скребет в затылке. Чего, мол, старикан-курьер притащился на ночь глядя.

— Ну что? — спрашивает.

Я в легком напряжении. Однако же машинально роюсь в карманах. И вот ведь удивительно — там что-то есть. И еще что-то. Сложенное вчетверо... Я протягиваю ему... Все движения машинальные. Будь что будет.

— Что там?

Но я только пожимаю плечами.

— Рытье колодца... На три неглубоких кольца, — читает он вслух, напрыгая глаза без очков. — Нет, дед. Это не то... Это что-то твое... А! Вот! Вот!.. Опять она — родная милиция.

В ту злую минуту я стал совсем маленьким. Меньше бутылки. Я мог спрятаться за солонку. Однако же я смело протянул руку за своей первой бумажонкой (копанье колодца во дворе). Бумага нужная... И замер... Что там во второй?

— Мать их! — бранится он.

Бумажонка оказывается квитанцией — взято с гражданина такого-то. Штраф. *Оштрафован в пьяном виде*. Ложь... Я выпил тогда, но самую малость. (Я просто бродил в лунную ночь и попал в соседний поселок. И наскочил на чужих ментов. Которым было не фига делать.)

— Кто-то из наших залетел! — констатирует Н.

Я уважительно молчу. Политик как-никак гипнотизирует. Известное по телеэкрану лицо... Всего-то в шаге-двух от меня. (Но отчасти я раздосадован... Принять меня за рассылного! С какой стати!)

Но и политик возмущен:

— Да она (бумажка) даже не к оплате! Значит, просто принять к сведению... Что за кретины! А сколько в них рвения!.. Только оступись демократ — блостители закона вяжутся, как оводы!

Он негодует:

— Почему я должен заниматься всяким дерьмом? Кто-то пошумел в самолете — штраф! Поспешил в машине на желтый — штраф! Трахнул скучавшую практикантку — штраф! и еще скандал!

— Так ведь завистники, — сочувствует Лиля Сергеевна.

— Но и наши тоже хороши. Почему все это надо присылать ко мне ночью! Гонять старика... Мать их, человеколюбцы!

Однако самое интересное — минутой спустя. Он меня растрогал... Это правда... У меня шевельнулось сердце.

— Подожди, отец, — попросил он.

— А?

— Подожди. Не уходи... Лёльк, покорми его. Или с собой дай.

— Закусить? — спросила она.

— Да нет же. Солидно!.. Как поздний ужин.

Он еще и подбадривал слегка:

— Не жмись же, Лёльк. Дай... Дай как следует.

Лиля Сергеевна на миг застыла. Утомлена... А возможно, ее парализовал нечаянный глагол *дай*. Да еще *дай как следует*.

Тогда поддатый (тяжело двигающийся) Н. сам направился к холодильнику. Рослый, здоровенный мужчина сам склонился к белой пещере и вынимает оттуда еды. Много!.. Еще... И еще. Такие медлительные движения крупных его рук. *Поешь, поешь, отец*.

Он сам лепит мне три крепких бутерброда. С колбасой... С ветчиной... И с желтым, в овальных дырках, сыром. И стопка водки! Сыр он сооружает в два слоя, чтобы сытно и *чтобы дырки не светились*.

Он хочет, чтобы я поел не спеша. И чтобы напоследок горячего чаю — послаще! Послаще!.. В ночь человеку идти, не шутка.



АЛЕКСАНДР КУШНЕР



МИМО ЖИМОЛОСТИ И СИРЕНИ

Сад

Через сад с его кленами старыми,
Мимо жимолости и сирени
В одиночку идите и парами,
Дорогие, любимые тени.

Распушились листочки весенние,
Словно по Достоевскому, клейки.
Пусть один из вас сердцебиение
Переждет на садовой скамейке.

А другой, соблазнившись прохладой,
Пусть в аллею свернет боковую
И строку свою вспомнит крылатую
Про хмельную мечту молодую.

Отодвинуты беды и ужасы.
На виду у притихшей Вселенной
Перешагивайте через лужицы
С желтовато-коричневой пеной.

Знаю, знаю, куда вы торопитесь,
По какой заготовке домашней,
Соответственно списку и описи
Сладкопевца, глядящего с башни.

Мизантропы, провидцы, причудники,
Предсказавшие ночь мировую,
Увязался б за вами, да в спутники
Вам себя предложить не рискую.

Да и было бы странно донашивать
Баснословное ваше наследство
И печальные тайны выпрашивать,
Оттого что живу по соседству.

Да и сколько бы ни было кинута
Жадных взоров в промчавшийся поезд,
То лишь ново, что в сторону сдвинуто
И живет, в новом веке по пояс.

Где богатства, где ваши сокровища?
 Ни себя не жалея, ни близких,
 Вы прекрасны, хоть вы и чудовища,
 Преуспевшие в жертвах и риске.

Никаких полумер, осторожности,
 Компромиссов и паллиативов!
 Сочетанье противоположностей,
 Прославление безумств и порывов.

Вы пройдете — и вихрь поднимается —
 Сор весенний, стручки и метелки.
 Приотставшая тень озирается
 На меня из-под шляпки и челки.

От Потемкинской прямо к Таврической
 Через сад проходя, пробегая,
 Увлекаете тягой лирической
 И весной без конца и без края.

* *
 *

Евгению Рейну.

Не люблю Переделкина: сколько писателей в ряд
 Там живут за заборами! — стих заикается мой, —
 Но осинник, ольшаник, боярышник не виноват,
 Пастернаковской дачи блаженный сквозняк полевой.

Впрочем, поле застроят коттеджами; станет совсем
 Грустно: смерть-землемерша с подрядчиком спилят кусты —
 И ни кочек, ни ям, ни волшебных евангельских тем,
 Улетят трясогузки, исчезнут, обидясь, кроты.

Я любил — и в Москву приезжал в прошлом веке: порой
 Назначалось свиданье на улице где-нибудь мне,
 Звезды были настроены против — и нехотя в строй
 Становились, себе на уме, безразличны вполне

К нужной конфигурации, не поощряя мечту.
 И однажды, когда не сдержать было сумрачных слез,
 Друг Евгений сказал: «Александр, прекращай ерунду», —
 И меня от любви в Переделкино на день увез.

И спасибо ему за решительность мягкую ту.

Здравствуй, здравствуй, осинник, ольшаник, лесной бурелом!
 Что покатай холма, что еловой темней бахромы?
 Мастер помощи скорой в заветный привел меня дом
 И вдове его сына «Наталья, — сказал, — это мы».

Лет на двадцать бы раньше явиться сюда, поглядеть
 На хозяина... Что ты! И в горле б застряли слова,
 И смертельно в том возрасте я умудрялся бледнеть,
 Безнадежно молчать. О, шаги моего божества!

Походили по комнатам солнечным, полупустым,
 Посмотрели на стулья, на кресло, на письменный стол.
 Женя шкаф отворил, шкаф вместительным был, платяным,
 Кепку с полки достал и, безумец, ко мне подошел

И, насмешник, с размаха едва не надел на меня.
 Я успел увернуться — а то бы рассказывал всем —
 И глаза бы его пламенели, два черных огня!
 Мономахова шапка, Ахиллов пылающий шлем!

Вот такая ловушка с его стороны, западня.

А хозяин с портрета смотрел мимо нас в никуда,
 На пиру у Платона, в заоблачном мире идей...
 Жизнь прошла. Подошли мы к черте. Роковая черта.
 Тень заветная, может быть, нам улыбнется за ней...

Ночь

Три стула на витрине
 Приставлены к столу,
 И лампочка в камине
 Зарыта, как в золу,
 В помятую пластмассу
 И светится под ней,
 Напоминая глазу
 Пыление углей.

Еще одна витрина —
 На ней стоит диван,
 Огромный, как скотина:
 Овца или баран,
 И два широких кресла,
 Расположившись там,
 Принять готовы чресла
 Хоть рубенсовских дам.

А на витрине третьей —
 Двухспальная кровать.
 Смутить нас не сумеет ей,
 А только напугать:
 Такие выкрутасы
 На спинках у нее,
 Как будто контрабасы
 Поют сквозь забытье.

Напротив магазина
 Разбит убогий сквер.
 Ворона-мнемозина
 Глядит на интерьер,
 Живет она лет двести,
 Печалям нет конца:
 Устроиться бы в кресле
 И вывести птенца!

Живут на этом свете,
 Всем бедам вопреки,
 Герои — наши дети,
 Герои — старики

И ночью над обрывом
Своих кошмаров спят
С терпением молчаливым
Ворон и воронят.

Раскинул тополь влажный
Свой пасмурный эдем.
Подарок этот страшный
Кто нам всучил, зачем?
Прости мне эту вспышку,
Спи мальчик, засыпай
И плюшевого мишку
Из рук не выпускай.

Поэзия всем торсом
Повернута к мирам
С дремучим звездным ворсом
И стужей пополам,
Она не понимает
И склонна презирать
Того, кто поднимает
На подиум кровать.

Не понимает или
Спасает свой мундир?
Те правы, кто обжили
Ужасный этот мир
С тоской его, уродством,
Подвохами в судьбе
И бедствовать с удобством
Позволили себе.

* *
*

Смерти, помнится, не было в 49-м году.
Жданов, кажется, умер, но как-то случайно, досрочно.
Если смерть и была, то в каком-то последнем ряду,
Где никто не сидел; а в поэзии не было, точно.

Созидание — вот чем все заняты были. Леса
Молодые шумели. И вождь поседевший, но вечно
Жить собравшийся, в блеклые взгляд устремлял небеса.
Мы моложе его, значит, мы будем жить бесконечно.

У советской поэзии — не было в мире такой,
Не затронутой смертью и тленом, завидуй, Египет! —
Цели вечные были и радостный смысл под рукой,
Красный конус Кремля и китайский параллелепипед.

И еще через двадцать подточенных вольностью лет
Поэтесса одна, простодушна и жизнью помята,
Мне сказала, знакомясь со мной: вы хороший поэт,
Только, знаете, смерти, пожалуй, в стихах многовато.

* *
*

Разветвлялась дорога, но вскоре сходились опять
Обе ветви — в одну. Для чего это нужно, не знаю.
Для того ль, чтобы нам неизвестно кого переждать
Можно было: погоню? Проскочит — останемся с краю,
Не замечены, в лиственной, влажно-пятнистой тени.
Или, может быть, лишний придуман рукав, ответвление?
Для мечтателей тех, что желают остаться одни
И, мотор заглушив, услышать соловьиное пенье?

Пролетай, ненавистная, страстная жизнь, в стороне,
Проезжай, клевета, пронось, помраченье, обида.
Постоим под листвой — и душа встрепенется во мне,
Оживет, — с возвращеньем, причудница, эфемерид!
Что бы это ни значило, я перед тем, как уснуть,
Иногда вспоминаю счастливую эту развилку —
И как будто мне рок удастся на миг обмануть —
И кленовый, березовый шум приливает к затылку.

Подражание английскому

Дом бы иметь большой — и пускай бы жил
В левом его крыле благодарный гость,
Ужинал бы он с нами, вино бы пил,
Шляпу у нас забывал бы на стуле, трость,
Нет чтобы вовремя вспомнить, — искал потом
Их в цветнике и беседке: «Она у вас?»
«Что у нас?» — «Шляпа». И та же беда — с зонтом.
Та же — с входными ключами — в который раз!

В левом крыле, между прочим, отдельный вход
Был бы, и мы, возвращая ему ключи,
«Вот, — говорили, — ключи твои, шляпа — вот,
Трость, ты оставил опять ее — получи».
Мы бы смеялись: зачем ему трость? Никто
С тростью сегодня не ходит, и шляпа — вздор.
Он говорил бы: «Рассчитан ваш дом на то,
Чтобы чужак был ваш гость или фантазер».

Мы у камина бы грелись, огонь в золе
Тлел, бронзовой шуровали бы кочергой.
Он бы однажды спросил: «А у вас в крыле
Правом никто не живет?» — и повел рукой
Слева направо. Сказали бы: «Что за бред!»
И посмотрели бы честно ему в глаза.
Он помолчал бы, помедлил: «Ну, нет так нет».
И за окном прогремела бы вдруг гроза.

Через неделю бы гость уезжал. Вдали
Скрылась машина, с аллеи свернув в поля.
В левое бы крыло мы к нему зашли,
Там записную бы книжку средь хрустала

И безделушек нашли, полистали — в ней
 Запись: «Четверг, двадцать пятое, пять часов
 Ночи. В окне привиденье, луны бледней,
 В правом крыле. Запер левое на засов».

Тут бы мы вспомнили, что и садясь в такси,
 С нами простясь, мимо нас посмотрел — куда?
 А на сидении заднем, поди спроси,
 Что там белело: какая-то ерунда,
 Смутное что-то, как если б тумана клок
 В автомобиль, незаметно для нас, проник.
 Возит его за собой он — и, видит бог,
 Сам виноват, где бы ни жил — при нем двойник!

Возит с собой свои страхи. Мы ни при чем.
 Свет зажигает, потом выключает свет.
 Штору плотней закрывает, пожав плечом,
 Фобиями удручен. А у нас их нет?
 Память линяет, теряет черты в тепле,
 Контуры тают, бледнеет бывшая боль.
 Ночью не выйти ли в сад? Что у нас в крыле
 Правом? Там мечется что-то в окне, как моль.

Бокс

Незнакомец меня пригласил прийти
 На боксерский турнир. Раза три звонил:
 «Вам понравится. Кое-кто есть среди
 Молодых. Вы увидите пробу сил.

Это очень престижное меж своих
 И ответственное состязанье, счет,
 Как по Шкловскому, гамбургский». Я притих
 И на третий раз, дрогнув, сказал: «Идет».

Он заехал за мной на машине; лет
 Сорока, — я решил, на него взглянув,
 К переносице как бы сходил на нет
 Нос и чем-то похож был на птичий клюв.

Он сказал еще раньше, когда звонил,
 Что когда-то стихи сочинял, но спорт
 Забирает все время, всю страсть, весь пыл,
 В прошлом он чемпион, а в стихах нетверд.

Но они его манят игрой теней,
 Отсветами припрятанного огня,
 А еще — как бы это сказать точнее? —
 Стойкой левостороннею у меня.

Что польстило мне, но согласиться с ним
 Я не мог ни тогда, ни сейчас в душе:
 Бокс есть бокс, и, другим божеством храним,
 И смешон бы в трусах был я, неглиже...

В зале зрителей было немного, лишь
Те, кто боксом спасается и живет.
Одному говорил он: «Привет, малыш».
О другом было сказано: «пулемет».

А на ринге топтались, входили в клинч,
Я набрался словечек: нокдаун, хук,
Кто-то непробиваем был, как кирпич,
И невозмутим, но взрывался вдруг.

А в одном поединке такой накал,
Иступленность такая была и страсть,
Будто Бог в самом деле в тени стоял,
Не рискуя в свет прожекторов попасть.

И я понял, я понял, сейчас скажу,
Что я понял: что в каждом искусстве есть
Образец, выходящий за ту межу,
Ту черту, где смолкают хвала и лесть,

Отменяется зависть, стихает гул
Ободренья, и опытность лишена
Преимуществ, и слышно, как скрипнул стул,
Охнул тренер, — нездешняя тишина.



АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

*

ЧУМА

Роман

Маленькие детки — маленькие бедки, сила противодействия равна силе действия: когда-то Юрке драли уши — потом стали забирать в милицию, когда-то в драках он получал ссадины и «финики» — потом пошли переломы носа и сотрясения мозга. Хотя нет, сотрясений каким-то чудом не стряслось: «У меня голова крепкая. Вот Ромке один раз дали по жбану, и уже третий год из академок не вылезает».

«Быть с ним построже»... Да на улице его так лупасили, как у Вити ни на кого бы рука не поднялась, — и как с гуся вода, не успеет пожелтеть один «бланш», как он уже отправляется за новым: беда Юркина была еще и в том, что он не умел подолгу страшиться — где-то в глубине души продолжал верить в снисходительность мира. А когда он терял эту веру, то действовал еще более безбашенно. Классе где-то в четвертом Юрку — за что, теперь и не вспомнить, детская ерунда какая-то — решили в школе припугнуть, наговорили ужасов про милицию, про *спецшколу*, — хорошо, милиция знала места: выданный Вите в сопровождающие немногословный одутловатый усач в погонах в три-четыре пропахших пересохшей мочой подвала лишь посветил китайским фонариком (их пыльная тьма обнажалась чудовищностью при мысли о том, что сейчас может открыться), всерьез же посвятил себя перетекающим друг в друга чердачным системам (из-за стропильных ребер казалось, что ты в каком-то чреве), и, наконец, у серого ватного лежбища замызганных уродов и уродиц, отбрасывающих еще более ужасные мечущиеся тени, Витя с запредельным облегчением увидел свернувшегося клубочком спящего Юрку. Ранец он подложил себе под голову, мешок же со сменной обувью прижимал коленями к новому твердому пальтишку.

Нет, ни бить, как его били, ни пугать, как его пугали, Витя был не в состоянии. Зато если Юрка видел, что им серьезно недовольны, то сразу же начинал вилять хвостиком: ради общего мира он готов был многим жертвовать.

Пока папа с мамой не исчезнут с глаз долой.

Рядовой эпизод: восьмиклассник Юрка собирается к Лешке Быстрову на день рождения — там будет и его девочка из Стрельны, взбитым коком напоминающая хорошенюшко пуделя.

— Ну, я пошел! — и такое впечатление, что он еще не успел протарахтеть до первого этажа, как уже зазудел нескончаемый, словно сирена, звонок в дверь — Лешка Быстров, с перепугу бледный, большеглазый и оттого почти красивый (Аня считала его очень хорошенюшким, но Витя не признавал красоты за типом Ванюшки-гармониста): Юрку только что забрали в милицию! Бегите, может, мигалка еще не отъехала! Однако на месте мигалки удалось захватить лишь дымящийся окурок: с некоторых пор Юрка покуривал, но Витя надеялся, что это несерьезно.

О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир», № 9 с. г.

Оказалось, что компания выпила совсем по чуть-чуть и отправилась погулять, но пуделя почему-то развезло, пришлось взять ее под руки, а тут остановился луноход с мигалкой и начал пуделя забирать, Юрка попытался не давать — в результате загребли обоих. Витя как ни был зол на Юрку, в глубине души все же не мог не одобрить такого джентльменства.

Дежурный в вырезывателе снова был усат, одутловат и немногословен, можно сказать, философичен. Скрылся в крашенном масляной краской больничном коридоре, позвенел ключами, и — приближающееся Юркино бурчание действительно звучало пьяным мыком: с виду он был абсолютно трезв, но, судя по всему, считал такую речевую манеру в общении с милицией хорошим тоном. Нижняя губа его была раздута, как банан.

— Замолчи сейчас же! — прозвенела четкая и бледная, как мраморный барельеф, Аня, когда Юрка попытался своими мыканьями «А что такого?..», «Они тоже не имеют права!..» включиться в ее достойную просительную речь.

Оказалось, милиция поступила с ним совершенно бессовестно: полагаюсь, если уж бить, то потом отпускать, он специально ради этого их и оскорблял, а они подло сначала побили, а потом еще и протокол составили. В итоге пуделя отпустили без последствий, а о Юркином поведении сообщили в школу.

Скандал, однако, пошел ему на пользу — это вообще был его стиль: дойти до какого-то края и только там спохватиться, ринуться в новую жизнь. Добродетельную и осмысленную. На этот раз он вдруг решил поступать в престижную физматшколу, которую в свое время окончила Аня, обложился задачками и за месяц рванул до неузнаваемости, прошел в верхней десятке при конкурсе один, как говорили, к пяти. У него и везде результаты являлись удивительно скоро: отправился на гимнастику — тут же разряд, двинул на футбол — тут же сборная... А потом словно накапливалась в нем какая-то кислота, духовная изжога: неизменно выражение лица, скорбно опущенный правый уголок губ, потом выходка за выходкой до какой-то их критической массы, чтоб было из-за чего ужаснуться и лишь тогда схватиться за ум. Не раньше. Схватиться за какое-то новое дело, чтоб обрести столь же стремительные и кратковременные успехи.

Однако из физматшколы он вернулся кислым в первый же день — одни тихони, маменькины сынки... Правда, пяток нормальных чуваков он вроде бы присмотрел. И что восхитительно — всех пятерых выгнали еще в первой четверти, Юрка не ошибся ни в едином случае — разбирается в людях, с долей отцовской гордости думал Витя, по-прежнему в глубине души убежденный, что рано или поздно все будет хорошо.

Он верил в это так же твердо, как теперь знал, что рано или поздно все будет хуже некуда.

Хоть бы уж только поскорей, что ли...

Когда знаешь конец, всегда вымотришь в прошлом тысячу предзнаменований. Которые в ту пору не только казались, но и были рядовыми эпизодами. И лишь конец — делу венец — все подряд обращает в предвесья: странные знакомства, разговоры недомолвками по телефону или в дверях — но у мальчишек ведь всегда имеются секреты от взрослых: замок Иф какой-нибудь, стыренные на толчке радиодетали... Поэтому и первый звонок в тот вечер ничего не предвещал, Витя спокойно пошел отворять, но Юрка его опередил. За дверью стоял некто волосато-прыщавый, за ним маячили безмятежные кудри Быстрова-гармониста.

— Сема, друган! — Вите, правда, а тогда была неприятна эта Юркина нежность бог знает к кому. Но нынешней ненависти ко всяческой нечисти не было: он еще не понимал, что она предвещает.

— Ну ладно, тихо, — буркнул Сема, подозрительно глянув на Витю и сделав движение головой, которое при снисходительном рассмотрении можно было принять за приветствие.

Юрка сунул ноги в кроссовки, ввинтился в свитер и был таков. Но гости его продолжали тянуться вереницей — от несмышленища с соской в беззубом ротике до укрывшегося в диком волосе верзилы. Хорошо еще, Юрка приучил их после десяти не звонить, а побрякивать дверной ручкой: Аня ложилась рано, чтобы с утра приготовить для Вити горячий завтрак.

И все-таки какой-то наглец позвонил, да еще дважды, с расстановкой. Витя в негодовании распахнул дверь, намереваясь наконец высказаться, — за дверью стояли двое, совсем взрослые, в усах и... почему-то в милицеевской форме. Юрий такой-то здесь живет? А вы кто ему будете? А вы бы не могли пройти с нами?

Витя смотрел на них, и выражение негодующего достоинства медленно трансформировалось в заискивающее. Он бы вообще бросился им в ноги, если бы не мгновенно возникшая уверенность, что все это происходит во сне.

Призрак дээндэшки располагался неподалеку, на первом этаже, в почти такой же квартире, как у Вити с Аней, только обклеенной нравоучительными плакатами, поэтому Витя первым делом ринулся в комнату мальчишек...

Обрюзгший косматый субъект лет сорока мрачным взглядом следил за прохаживающимся перед ним усатым лейтенантом, попадавшимся Вите и наяву. У стенки напротив Вите привиделась жалкая бабешка, беспрерывно промокавшая тыльной стороной кроваво-пятнистой ладони раздувшуюся верхнюю губу, каждый раз проверяя, не посветлел ли отпечаток.

— Значит, вы пили вдвоем? — уточняло усатое видение.

— А тебе завидно, что тебя не позвали?

Фантом лейтенанта приостановился, но ограничился совершенно детской мерой: с наслаждением дал щелчка в надежно защищенный космами лоб второго видения.

В призраке другой комнаты сидел призрак дамочки, ослеплявшей блеском золота на пальцах, в ушах, во рту. Он безутешно рыдал, пытаясь справиться с последствиями крошечным кружевным платочком. От ее носика и размытого накрашенного рта к платочку тянулась серебристая паутина прозрачайших пленок и жгутиков: научно-популярный фильм «Ремесло стеклодува».

Призрак Юрки содержался в той комнате, которая в Витином доме была бы кухней.

Он сидел, откинувшись на диване, глаза безумно сверкали на бледной, как сыворотка, физиономии. В свитер его грязь была втерта так, словно его метров двести тащили по земле. На столе лежал прозрачный полиэтиленовый мешок, на дне и слипшихся стенках которого стыли какие-то желтоватые сопли.

— Вот, пожалуйста, клей «Момент», — дружески обратился к Вите новый лейтенант. — А нам с вами ботинки нечем заклеить. Их трое было на площадке, но двое через чердак рванули, а этот лежал жмуриком.

От призрака Юрки призраки милиционеров требовали одного: назвать своих партнеров, и дело будет предано забвению: никаких протоколов, никаких сообщений ни в школу, ни папе с мамой по месту работы. («Вон у тебя какие родители хорошие, а ты клеим дышишь, как гопник! Здоровые ведь уже парни, взяли бы бутылочку...»)

Однако Юрка твердил не вполне еще твердым языком, что видел своих партнеров впервые в жизни.

— Они тебя бросили, а ты их выгораживаешь? — как последнего дурня спросил его лейтенант.

— А что им, меня на себе тащить, когда уже менты... когда милиционеры поднимаются?

— «Менты»... Гляди, какой бывалый!

За «ментов» Витя еще раз врезал бы сыночку по сывороточной роже, но во сне не стоило лезть вон из кожи.

В сновидении пошли в ход всякие страшные слова: принудительное лечение, спецпэтэу, колония, штраф на родителей (этим Витю можно было испугать меньше всего), сообщение на работу...

Витя был наслышан и о принудительном лечении, где случайно залетевшие мальчишки заводят тесные связи с матерыми наркоманами, и о спецпэтэу, где новичков спускают в тумбочках по лестнице с пятого этажа, а при Юркиной склонности нигде не быть последним человеком — либо он прирежет, либо его прирежут... Поэтому Витя с магнетизирующей требовательностью посмотрел на тень Юрки (на такой риск нельзя идти даже во сне), но та принялась истерически колошматить себя в грудь и нетвердым языком, с завываниями выкликать, что лучше он пойдет в колонию, чем будет жить, зная, что он в л о м и л...

Этот термин тоже не укрылся от внимания допрашивающих — они понимающе усмехнулись.

— Ты еще строишь из себя Зою Космодемьянскую!.. — заорал Витя (несколько даже утрируя свое бешенство, чтобы подладиться к видениям блюстителей порядка — и подлачился).

— Не Зою Космодемьянскую, а Леню Голикова, — юмористически поправил фантом лейтенанта и прибавил строго: — Ты что, герой нашего времени?

— Нет, — потупился призрак Юрки.

Вите ужасно захотелось сообщить, что Юрка уходил вместе с улизнувшим Быстровым, но, разумеется, он не мог себе такого позволить даже во сне. И при всей своей перепуганной обалделости он ощутил глубинную гордость, что Юрка сохранил верность своим отвратительным друзьям.

Многажды повторенное слово «контроль» в конце концов раскрыло сердца милиционеров («сознательности» они знали цену), и дело до следующего раза было предано забвению, а Витя наконец поверил, что все происходило наяву.

— Здоровски ты, папа, умеешь отмазываться, — робко, но не без восхищения сказал Юрка, когда они вышли во тьму.

Витя смолчал, чтобы не сорваться на членовредительство (каким ребенком он еще был в ту пору!).

— Но ведь все же хорошо кончилось?..

— Хорошо?! А унижения мои?! — Витя наконец сорвался на оплеуху, но Юрка был начеку. — А то, что ты занимался этой гадостью?!

— Но интересно же попробовать!.. Ты говоришь — унижения... да перед ментами не такие, как ты, слюнявку гонят — и то не считается унижение — это как охота, кто кого перехитрит. Ты еще скажи спасибо, что к Корзуну в отделение не повинтили — у него никто не отмажется! — В Юркином голосе послышалось почтение. — Даже ты. Если, может, потренируешься...

— Так ты что, дальше собираешься продолжать? В спецпэтэу хочешь?

— Ты их не слушай: колония, спецпэтэу... Туда таких загоняют, которых я сам стараюсь! А то бы уже полмикрорайона в спецпэтэу отправили, все бы школы опустели... Ничего они не могут сделать!

Витя не знал на этот счет никаких точных законов, но генетически усвоенное чувство социальной незащитности говорило обратное: сделать могут все, что захотят.

— А чего такого? — рассуждал осмелевший Юрка. — Все пробуют, а ты сразу такую панику устраиваешь! Вы с мамой совершенно не готовы к атмосфере двадцать первого века. А еще *левые!*

Политикой Витя в ту пору вовсе не интересовался и «левым» был лишь в том отношении, что верил в добрые наклонности человека, верил, что свободу употреблять во зло способны лишь отдельные волки да свиньи. Теперь же он знал, что человек способен быть хуже целой стаи волков и цело-

го стада свиней: человек человеку очень даже может быть не волком и не свиньей — аллигатором. И не какое-то там чудовище из подворотни, а самый обычный и даже симпатичный человек, с которым ты годами делил кров и стол. Человек — такое существо, за которым нужен глаз да глаз, — так теперь Витя понимал человеческую природу. Человеческую породу.

Директриса престижной физматшколы походила скорее на доцентшу, чем на учительку. Ястребиностью глаз и ноздрей она заставляла забыть о некоторой расплывчатости ее фигуры.

— Если вы так и будете вытаскивать его из луж, он никогда не научится адаптироваться в обществе. Ума-то у него больше, чем нужно, — (уж в физматшколе-то знали, сколько его нужно), — но в социальном отношении... Щенков нужно бросать в воду — или плыви, или тони.

Наверно, в девяноста девяти случаях из ста так и следовало поступать. Но если сотым утонувшим может оказаться твой любимый сын... Витя же знал, что Юрку ставят на ноги только успехи, а от неудач он окончательно машет на себя рукой.

— Если вы его не заберете, — прожигала желтыми ястребиными глазами директриса, — мы найдем способ передать его в правоохранительные органы. Досье на него уже солидное, и за поводом тоже дело не станет.

— Но в середине года его никуда не возьмут, мы должны будем как-то объяснить...

— Это ваши проблемы. В вечернюю возьмут.

— Но с кем он там заведет знакомства?..

— Об этом нужно было думать раньше.

Выручила одна из опекавших Витю подчиненных — муж ее двоюродной сестры был директором школы на улице Подводника Семеняки. Теперь Юрка добирался до школы минут сорок и тем не менее ни разу не опоздал: в окраинной гопнической школе знали, что почем, и по пустякам не приставали — в таких условиях и Юрка не хотел наглеть. Математика — не мое призвание, рассуждал Юрка с просветленным взором, двадцать первый век будет веком химии и биологии, — и очень скоро биологичка признала его первым учеником в трех классах, а химичка вообще уверяла, что таких она не видела за всю свою предпенсионную карьеру. Витя скромно рдел, не решаясь признаться, что он всегда был уверен в хорошем конце. Почти всегда.

Юрка и на университетский химфак поступил без видимых усилий. И обнаружил, что настоящая химия не пустынный храм, но бескрайний склад частных и лабораторок, пропустив две-три из которых нагнать чрезвычайно трудно. Юрка догонять ухитрялся и даже учился без троек, но с некоторых пор жил со скорбно опущенным правым уголком жалобно надутых губ, и его смеющиеся глаза, казалось, смеялись сквозь слезы. На ночь он часто застревал в петергофском общежитии, обычно что-нибудь к полуночи прорезываясь телефонным звонком. Ане это не нравилось, но Витя держался Юркиной стороны — сам такой был; он был не против даже и поддач — сам когда-то предавался им с большим воодушевлением, и его только забавляло, что в разгар антиалкогольной кампании юные химики покупают в аптеке зеленку и в своих ретортах выгоняют из нее спирт. Витя был на стороне жизни, именно поэтому он и не одобрял уныния — тем более что Юрка долгого уныния не выносил, время от времени ища разрядки в безбашенности: для довольного жизнью человека он слишком часто дрался.

Рядовой эпизод: поздним январским вечером Витя пробирался домой по гололеду, и «скорая помощь» у подъезда ему сразу не понравилась, а потому от присутствия белого халата в передней он не ошалел, а только подобрался. Юрка в ванной замывал под краном лоб, с которого стекал арбузный сок разбавленной крови, но когда он обернулся, Витя все-таки

осалел: на Юркином лбу торчал увенчанный ссадиной рог сантиметров... ну, может, и не десять, но восемь уж точно, прочие же пурпурные пятна Витя разглядел лишь через несколько секунд.

Оказалось: еще осенью Юрку задержала милиция — шел по улице в три часа ночи, — Вите, разбуженному телефонным звонком, пришлось тащиться туда с Юркиным паспортом. Но за это время Юрка, дожидаясь в обезьяннике, успел так крупно поговорить с какой-то шпаной, что та пообещала на воле непременно с ним разобраться. И вот, идеально подготовившись к экзамену по высшей математике, Юрка как порядочный вышел пройтись перед сном. И в проходном дворе встретил своих союзников (у одного была деревянная скалка — большой был, видно, кулинар). Юрка не струсил, успел кому-то подвесить так, что костяшки на кулаке заплыли, но получил скалкой в лоб, поскользнулся на льду и, очнувшись, сначала увидел звездное небо, а потом — склонившегося к нему дога.

Белый халат требовал, чтобы Юрка поехал в больницу на рентген черепа, Юрка отказывался — в кои-то веки он знал *все*, — в конце концов Витя поехал с ним вместе, долго вышагивал взад-вперед по гулкому коридору (сколько ему еще предстояло так вышагивать!), и череп снова оказался цел. Юрку все же уговорили остаться под наблюдением, однако в половине восьмого он уже позвонил, что под расписку его готовы выпустить, если кто-то будет его сопровождать. Витя, отпросившись по телефону, поехал с ним на электричке в Петергоф, медленно ступал по льду, поддерживая Юрку под руку. Чудовищная шишка за ночь превратилась просто в крупную, проступавшую сквозь слои бинтов, синяки перешли из пурпурной в фиолетовую часть спектра, — толпившаяся у экзаменационной аудитории публика просто завывала от восторга.

Экзаменаторша сначала отказывалась принять у него экзамен, ужасалась: «Кто ваши родители, почему они вас отпустили?..» — потом пригрозила, что скидок для него делать не собирается, и долго гоняла по всей программе, но Юрка и в самом деле все знал и получил пять шаров.

Вот, можно сказать, типичная история с хорошим концом.

А вот, если хотите, еще одна история с концом обыкновенным, то есть вовсе без конца. Вначале Юрка не пришел ночевать и не позвонил, поэтому Витя что-нибудь в полвторого лег и что-нибудь в полтретьего уснул, а проснувшись что-нибудь в половине седьмого, сразу понял, что надо брать отгул и ждать очередного тягостного сна. Ждать было чуточку легче обычного, поскольку Аня была дома и ему приходилось поддерживать в ней бодрость.

Телефон зазвонил что-нибудь в половине двенадцатого дня — на глазах мертвеющая Аня успела отчистить все сковородки. «Меня избили, — с трудом ворочая языком, бубнил Юрка. — Я в Петергофской больнице, на седьмом этаже. Привези что-нибудь попить, сока, что ли. Нет, сотрясения нет. Кости тоже целы».

Витя уже не помнил, ноябрь это был или апрель, — мокрый снег в Ленинграде мог чавкать под ногами и в январе. Что запомнилось — собственная туповатая обида, что никакое несчастье не влечет за собой никаких послаблений — ботинки у счастливых и несчастных промокают одинаково. Почти час протоптавшись мокрыми ногами на Балтийском вокзале, Витя доехал до Нового Петергофа, с расспросами дочавкал до больницы. Такой-то лежит у вас на седьмом этаже? «У нас четыре этажа...» Это так, значит, Юрке вышибли мозги, что он до четырех разучился считать?.. «Ах, студент!.. Да, ночью привозили по „скорой“, у нас не было места, отправили его в город, на Котлотурбинную».

Застывшие мокрые ноги, безнадежная усталость, автобус, трамвай, еще трамвай — на Котлотурбинной целый больничный городок, седьмой этаж имеется. Юрку как будто неумело нарисовали — сходство кое-какое уловлено, но краски расплылись на рыхлой бумаге, даже овал лица был перекошен. «Да, надо кончать с этими пьянками, — мрачно бубнил Юрка. —

Но я одного запомнил, я с него возьму хорошие бабки»... «Ну нет — это кем же надо быть, чтобы так избивать лежачего?!» — но Юрка желал во что бы то ни стало взять отступного. Однако тут же отступился сам, чуть только один из бивших его садистов завел покаянные речи.

— Вы не понимаете — мне уже *девятнадцать лет!* — втолковывал пятнисто-желтолицый Юрка, еще сохранивший следы асимметрии. — Если даже жизнь снова *наладится*, — Юрка выговорил это слово с безмерным презрением, — какое будущее меня здесь ждет? Сначала мл. науч. сотр., потом, если постараюсь, ст. науч. сотр. ... А на далекой Амазонке не бывал я никогда...

Витя делал вид, что понимает Юркин порыв бежать прочь от той жизни, какой она только и может быть, — если, конечно, повезет: ухудшить ее легко, это перестройка еще раз продемонстрировала, а вот улучшить... Сначала ты просто инженер, потом старший инженер, потом, если постараться, ведущий, разработчик, что-то придумываешь, чертишь, в отпуске наслаждаешься семьей и Друскининкаем — Витя согласен был так жить вечно. А вот Юрка готов был бежать от этого счастья хоть в Израиль — при том, что о своих сионистских поползновениях сам не мог говорить без смеха — к неодобрению Ани, считавшей, что жену и родину следует выбирать лишь по глубокому чувству. Но Юрка готов был катить куда угодно — только бы вырваться из Союза, а уж там он сразу рванет на волю, в пампасы...

Почему же Вите с Сашкой Бабкиным хватало бегельских пампасов? Да, и в этом тоже таился источник заразы — в том, что человек вообразил, будто он создан для чего-то более захватывающего, чем спокойная, трудовая, обеспеченная жизнь — о которой, заметьте, с незапамятных пор мечтало человечество. Правда, с перестройкой обеспеченность рухнула, — однако Юрку и руины порядка не устраивали, руины *своего* порядка?.. В этом тоже был источник заразы — в склонности ценить любой ломоть исключительно в чужих руках.

И вот Юрка, единственный, при одной только сумке через плечо, отыскивает свободное местечко среди громоздящихся баулов полусотни еврейских семейств... А вот он уже заслонен чужими затылками в щели паспортного контроля... А вот он уже из-за границы (из заграницы) подпрыгивает, чтобы напоследок увидеть их с Аней за стеклянной стенкой...

Дома оказалось так пусто и тоскливо, что Вите пришлось напрячь все силы, чтобы не попытаться прибегнуть к выдохшемуся обезболивающему, на которое он изрядно подсел, когда мина замедленного действия все-таки сработала.

В период Высокой Перестройки, когда принялись по новой осуждать давным-давно, казалось, осужденного Сталина, Витя случайно встретил на улице Сашку Бабкина — как выяснилось, редактора жутко перестроечной молодежной газеты. Сашка был мал и задирист, как юный воробей; быстрыми вопросами он ошупал Витю со всех сторон и больше всего удивился самому ординарному: «Так ты что, просто работаешь, и все? Я и не знал, что кто-то еще работает. Слушай, а накатай нам письмишко в газету — подпишешься „инженер” там или конструктор — в общем, технолог Петухов. Нас коммуняки постоянно чернят, будто мы черним советскую родину. Хотя черним мы исключительно белые пятна ее истории. Навалаяй чего-нибудь на эту тему — если что, мы выправим».

Однако, к юмористическому удивлению Бабкина, практически ничего выправлять не пришлось: Витя без всяких затей предал бумаге давно томившие его чувства. Он написал, что по-настоящему сострадать и жертвовать можно лишь слабой и несчастной родине, а к счастливой и могущественной не грех и присосаться, поэтому очернительство рождает жертвенность, а лакировка паразитизм — и так далее в том же духе.

Когда Витя зашел за гонораром — неожиданно большим, рублей как бы не тринадцать, — Сашка затащил его в свой кабинет, по контрасту с которым Сашка выглядел еще компактнее, еще лопоушистей и еще энергичней. На его могучем столе был накрыт стол; бутылки и консервные банки на своей же газете напомнили Вите общежитие. Да и публика обступала стол совсем не старая (в сравнении с самим Витей, а он внутри ощущал себя года на двадцать четыре). Появился озабоченный парень с фотоаппаратом: у резиденции Ракова, секретаря Петроградского райкома, собрался стихийный митинг под лозунгом «Хватит пятиться раком». «Обязательно снимите!» — злобно захохотал Сашка и с юмористическими преувеличениями произнес тост за нового собрата по перу — за Витю. И ровно с последним Сашкиным словом погас свет. Взрыв хохота — происки, мол, КГБ, — но стакан и в темноте мимо рта не пронесешь. Тем более, что, когда глаза привыкли, кабинет оказался обгаден ранней осенней зарей.

Народ наперебой острил, озадачивая Витю познанием всех и всяческих изнанок, — только одно женское лицо над дальним углом оставалось трагически серьезным. На этом скорбном лице была подсвечена багровым лишь половина лба, рассеченного похожими на трещины прядями, да выступающая скула, подглазья же и впалые щеки почти сливались с полумраком — зато взгляд исподлобья был устремлен, как ни странно, не на кого-нибудь из блистающих молодцов, а именно на Витю: после каждого полустакана Витя сталкивался с ее почти фосфоресцирующими тьмой зрачками, и уже казалось, что глаза эти смотрят в самую душу мироздания века и века...

«Виктор Батькович, — перекрикивая галдеж, воззвал к нему Сашка, изображая интервьюера с блокнотом, — разрешите узнать, каковы ваши творческие планы?» Витя, взявши октавой выше, заголосил, что сегодня преувеличивают роль рынка, как раньше преуменьшали: работу, например, конструктора потребитель оценит не в силах — не может же он сам переиспытать все от унитазного бачка до радиоприемника, — значит, ему придется полагаться на каких-то экспертов; но каждая фирма может обзавестись своими экспертами — при том, что разработчик и слабости свои обычно знает лучше любого эксперта...

Витя, конечно, излагал свои заветные мысли гораздо более путано, тем более что Сашка не прекращал веселиться: «Да ты же антирыночник, признавайся — на коммуняк работаешь?» И Вите показалось, что на темном скорбном лице выразилось сочувствие. Ему, Вите, сочувствие. Однако Витя все равно загрустил и начал переживать приличную паузу, чтобы откланяться. Стараясь показать, что он не в обиде, Витя принялся чокаться и опрокидывать с утроенной активностью, не замечая, что мир делается все более фрагментарным: то он видит одно лишь Ее лицо, то вдруг одну только банку из-под китайской тушенки и глубоко задумывается, по каким талонам ее выдают (как раз был в ходу анекдот: «Вы мне вместо мяса яйца отрезали»). Потом опять ее лицо во весь экран внезапно сменяется Сашкиным ухом. Потом снова Ее лицо, и лицо, и лицо, и лицо, и — смех, про который Витя с трудом соображает, что слышит его уже давно. «А глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал», — сквозь смех прокрикивается Сашка, и до Вити наконец доходит, что генерал — это он. «Валерия, Лера, — так, значит, она Валерия, — не помнишь, как там дальше?»

Дальнейшие Витины воспоминания наложились друг на друга как на бракованном фотоснимке. В первом слое он снова видел Ее лицо, придвинувшееся так близко (она оказалась почти с него ростом), что глаза ее слились в один огромный глаз, и слышал проникнутый сдержанной горечью очень тихий, но отчетливый голос: «Вы очень *подлинный*. Вы единственный здесь *подлинный*».

А сквозь этот слой проступало огромное солнце в конце проспекта и ее царственное движение, которым она увлекла его за руку к этому испо-

линскому багровому кругу, и его недоверчивая радость — неужто сбылось?.. Он совсем не вспоминал Аню в ту минуту. Он не думал, что причиняет ей какой-то ущерб: то, что происходило с ним, было совсем *другое*, и спокойно наслаждаться этим *другим* ему мешало лишь свое горячее нетрезвое дыхание — хотелось чем-нибудь зажевать набегающую слюну. «Вы, наверно, голодны? — Она была сама пронизательностью, сама заботливостью. — Я заметила, *ты* за столом почти ничего не ел». — «Неловко очень уж наваливаться — все же сейчас по талонам...» — «Я решила для себя этот вопрос раз и навсегда: если приглашают, пусть платят за свои слова. Или пусть не предлагают, я не люблю лицемерия. Вот я тебя сейчас приглашаю зайти ко мне — я неподалеку здесь живу, — и никаких задних мыслей у меня нет».

Она была не только таинственна, но и чиста — ненавидела лицемерие!

Обычно, войдя с лестницы в квартиру, попадаешь из заброшенности в порядок, но здесь все оказалось наоборот. В первый миг. Во второй же стало ясно, что это не запущенность, а духовность. Разваливающаяся советская полировка соседствовала с ветхой стариной, книги частью стояли, частью лежали, частью полулежали; сравнительно новый диван вместо ножки тоже опирался на неполное серое собрание Достоевского; когда Витя нечаянно задел рассохшуюся этажерку, та вошла в колебательный режим по всем степеням свободы... Но ни разглядывать, ни смущаться времени не нашлось: шагнув из полутьмы прихожей в темноватость комнаты (из пяти лампочек в бронзовой люстре горела одна), Валерия движением нежной тигрицы прильнула к Вите щека к щеке. Обалдев от неожиданности, Витя сделал невольное движение высвободиться, и она, откинув голову, потерянно спросила: «Я тебе совсем не нравлюсь?..» — «Нет, почему, очень *нравишься*, — забормотал Витя и в подтверждение своих слов приобнял ее за лопатки, лихорадочно ища выход: — Но *мы* вроде бы поестъ собирались?..»

Витю бросило в жар от собственной бестактности, однако хозяйка дома отнеслась к его словам с юмористическим пониманием: «Я и забыла, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок!» Она принесла половинку батона, который нужно было разбивать молотком с риском получить осколочное ранение. «А масла нет?» — спросил Витя, видя, что она снова собирается к нему припасть. «Масла нет, кажется, есть майонез», — со смехом ответила она и впиалась в его губы страстным поцелуем — Вите не оставалось ничего другого, кроме как изобразить некое подобие ответной страсти.

Его рука на ее спине случайно задержалась на молнии, и Валерия доверительно шепнула: «Это расстегивается», — пришлось и впрямь расстегнуть. Ну а если ты сказал «а»... Витя, однако, остановился где-то на «пэ», а «эр» произнесла уже она, припав на колени и взявшись за ремень его брюк.

Разумеется, Витя был смущен ужасно. Но, стало быть, между продвинутыми личностями так и положено — это вам не бебельские танцы, на которых девушка имела право пригласить парня всего один-два раза за вечер — на «белый» танец. Да и то после второго раза пойдут пересуды. Значит, до какой же степени Валерия ему доверяла, если не побоялась сама стать перед ним на колени!..

Именно *Доверие* и стало царить в их с Валерией мире... Нет, все-таки в мире, а не в мирке. В этом мире даже ее охотно открываемая (неохотно скрываемая) сутулая нагота служила знаком доверия к нему, Вите, знаком ее уверенности в том, что он не станет сравнивать ее ни с какими-нибудь Венерами, ни тем более с земными женщинами — и прежде всего с Аней. Во-первых, хотя и не в главных, в дезабилье, то есть без белья, Аня старалась показываться пореже, оставляя по себе отпечаток в духе еще одной Венеры; в-главных же — с Валерией у него было все *Другое*: у них с Вале-

рией нагота служила лишь технологическим условием попадания на пиршество Доверия — бывают такие сверхчистые цеха. В этом сверхчистом царстве Витя не смел даже прикрутить обвисающие дверцы ее шкафа или высвободить стиснутого диваном Достоевского: раз она избрала для себя такую среду обитания, значит, так и нужно, Витя позволил себе лишь увенчать вилкой растрепанные концы электрического шнура от холодильника: обнаженная проволока под током — это чересчур даже для царства Доверия.

Это было царство торшерного полумрака, в котором наиболее отчетливо светились ее глаза и чернели впалые щеки и подглазья. Упавшие на лоб прядки напоминали о трещинах, и Витя ощущал греховность того, чем они только что занимались, ибо это было попыткой утилизировать тайну. Правда, Валерия и здесь уходила в какое-то одиночное плавание, а когда она садилась на постели, обхватив колени, как бы зябко кутаясь в собственные руки, тайна снова возвращалась к ней, и Витя, делая вид, что мерзнет, старался поскорее укрыться в ее черно-красный махровый халат с инквизиторским капюшоном на спине. Свою неискренность в этом пункте он стремился возместить утроенным чистосердечием во всем остальном: с ее появлением именно в мелочах прежде всего и стала выказывать себя прелесть бытия. Даже к Ане он теперь испытывал еще большую нежность. Тем более он и рассказывал о ней исключительно самое трогательное — хотя говорить о ней все же избегал-таки, избегал, Валерии всегда приходилось каким-нибудь тонким образом наводить его на эту тему...

Короче говоря, Ане его связь — да нет, не связь же, Другое — не причиняла никакого ущерба, а Витину жизнь наполняла неиссякаемой прелестью: прелестна была и древняя (на трех гардемаринов хватило бы) запущенность ее жилища, прелестен был и сравнительно чистый ее подъезд, прелестен был и троллейбус, который шел до ее дома, прелестна была и дорожка, ведущая к этому троллейбусу... Вот это, может быть, и есть главный признак чумы — возможность наслаждаться прекрасным настроением, не прилагая труда?

То, что у него с Валерией не было общих знакомых (не считая Сашки Бабкина, вновь решительно утратившего к Вите всякий интерес), что он ничего не знал о ее прошлом, кроме каких-то оброненных с недомолвками мрачных картинок (ее чуть ли не ненавидела собственная мать, чуть ли не надругался над нею тот, кто был первой чистой ее любовью, и детство ее прошло под знаком какой-то грозной болезни, она и сейчас не переносит белого цвета и много чего еще), — все это лишь делало еще более глубокой и непроницаемой кроющуюся в ней тайну. Сам же он в своем доверии забывался, случалось, до такой степени, что начинал пересказывать какой-нибудь тривиальный конфликт у себя на работе и забывался тем чаще, чем неуклоннее он оказывался кругом правым. Разумеется, он чаще всего оказывался правым и у Ани, но Аня старалась лишь внушить ему, что он не хуже других, — в глазах же Валерии он был гораздо лучше.

С какого-то времени, однако, трагизм в ее настроении стал резко нарастать, она все чаще замыкалась в скорбном молчании и на попытку, скажем, погладить ее по руке могла ответить довольно чувствительным выламыванием пальцев, а на попытку развеселить ее — ледяной репликой: «Это шутка дурного тона». Или: «Не комментируй мои слова — иначе я начну комментировать твои». Угроза там, где достаточно просьбы, — вот что ошарашивало. В остальном же — Витя вовсе не был уверен в своей тактичности.

И напрасно — именно из-за неуверенности в себе он и сделался жертвой женщины-вамп (не путать со стервой — стервы питаются чужими огорчениями, вампиры же — наиболее деликатесными сортами нежных чувств). Чтобы завлечь, они опутывают жертву невероятным *пониманием*, то есть лестью, а когда жертва подсядет, начинают пить кровь, в чем-то непрерывно изобличать. Когда Витя позволял себе кого-то осудить, это

немедленно оказывалось деспотизмом или ханжеством, поскольку он и сам был виновен в том же самом — что было чистой правдой, ибо, если рассматривать человеческие грехи в достаточно мощный микроскоп, безгрешных в мире смертных не окажется вовсе. Витя не успел и оглянуться, как все их свидания свелись практически к тому, что он беспрерывно в чем-то оправдывался, даже в том, что изменяет своей фригидной жене.

Постоянно пребывать под судом — почему же он продолжал тянуть эту лямку? Немало народа впало в пасть чуме из-за того, что надеялись вернуть первое ощущение, радость первого, еще не разоблаченного обмана. Стоило Вите расстаться с Валерией на час, как все огорчения начинали ему казаться случайными и преходящими, а ничем не заработанная прелесть мира — закономерной и прочной, когда уже давно все обстояло ровно наоборот.

К тому же Ленинград, как известно, был и остается маленьким городом. Как-то Аня поинтересовалась между прочим: «А с кем это ты вчера был в кино?» — «Да так, с работы», — пробормотал Витя, с отчаянием чувствуя, как приливает к лицу подлый жар. «Совсем не умеешь врать, бедняжка... — Казалось, она действительно ему сочувствует. — У папы тоже постоянно были любовницы. — (Витя съезжился от той простоты, с которой она произнесла это грубое слово, — и потом, что значит „тоже“ — это у других любовницы, а у него *Другое*.) — И мама все время что-то пыталась вызнать, вела наводящие разговоры, думала, я не понимаю. А я и правда не понимала, считала: нужно стать такой, чтобы мужа к другим не тянуло, вот и все. Теперь-то я понимаю, что, живя рядом, можешь быть сколько угодно хорошей, но все равно не сможешь быть чужой, загадочной. А мужчин, вечных мальчишек, так легко морочить загадочностью...»

Аня была пугающе проницательна. «Но все-таки подумай, стоит ли эта загадочность того, чтобы вносить ложь в нашу жизнь. Подумай хорошенько». Она слегка пошла пятнами, но говорила так, словно он был болен какой-то опасной и вместе с тем противной болезнью вроде сифилиса. Однако думать тут было нечего — ясно, что не стоит. Да вот только у него было не поддающееся описанию *Другое*... Без которого исчезает и прелесть мира: можно порвать с Валерией, но как порвешь с троллейбусом, который вез к ней? С дорожкой, ведущей к троллейбусной остановке? С кинотеатром, в котором они смотрели высокоумный фестивальнй фильм, — уже через полчаса начинаешь себя уважать, а Валерия отозвалась о нем как о служебной докучке. Как порвать с ее газетой, бьющей в глаза с каждого стенда?..

Правда, физически порвать с редакцией оказалось проще всего. В тот раз Валерия заметила его в окно со случайными попучиками и спросила в своей новой манере: «Что это за зверьки с тобой были — один хорек, другой хомяк?» В Сашкином кабинете снова обмывали нового автора из народа — смущенного подполковника, довольно молодого, но с глубокими залысинами: тогда-то Витя и услышал впервые слово «Чечня» в каком-то военном контексте. «Со стрелковым оружием против профессиональных охотников», — смущенно повторял подполковник, радуясь, однако, тому, что он так хорошо все понимает. Вите было немножко обидно за его неуместную искренность: они неплохие ребята, хотелось ему шепнуть в лопухое, как у Сашки, ухо подполковника, но для них любой подвиг или любая трагедия не более чем повод ошарашить читателей. Причем плохими новостями ошарашить легче. Конечно, Витя думал не такими словами, но что-то предостерегающее он, может, и шепнул бы, когда в окоlostольной толкучке постарался подобраться поближе к герою дня. Но вместо этого услышал сам, как Валерия вполголоса говорит в облюбованное им ухо: «Вы очень *настоящий*. Вы единственный здесь *настоящий*».

Похолодев прежде всего от страха, что она его заметит, Витя только что не по-пластунски добрался до двери. Больше Валерии он не звонил.

Она ему тоже. Но троллейбус, который к ней вез, дорожка к этому троллейбусу, тротуар, ведущий к дорожке, отзывались болью и через месяц, и через год...

Незарастающий нерв дотянулся даже до идиллического Друскинин-кая — сердце каждый раз сжималось, когда он проходил мимо телефонного узла, откуда украдкой (в украденное время, на украденные деньги) он звонил Валерии. И вместе с холодным пожатием тоски ощущал жарок стыда: Валерия, однажды позвонив ему из Ялты, тут же попросила его перезвонить, а то очень дорого, и Витя отнесся к этому с пониманием. Но когда чуть ли не через неделю она прочла на его лице сомнение, стоит ли ловить машину, чтобы проехать четыреста метров, она усмехнулась с недоброй пронизательностью: «Денежки жалеешь? А я вот ничего не умею жалеть...» Это прозвучало трагически. А как же в Ялте, Витя едва успел погасить бессовестный вопрос. Стыд за друзей у Вити немедленно переходил в стыд за свою придирчивость: судить можно лишь самого себя — лишь свои обстоятельства тебе доподлинно известны.

Кстати сказать, за пойманные ею машины платил всегда он, но о таком совсем уж стыдно помнить. А вот о том, как встречи с ней когда-то снимали почти любую душевную тяжесть (не знал он, что такое настоящая тяжесть!), — об этом помнилось само, и в минуты упадка ему требовалось серьезное усилие, чтобы не позвонить ей.

Правда, никогда не отклоняются от целесообразности только аллигаторы...

Вите и всегда-то казались немного странными славословия Рынку в устах тех, кому нечего продавать: из всего того, что ему доводилось проектировать, в продажу годились разве что экзотические замки для богатых оригиналов — чтобы, как верный конь абрека, реагировали на специальный свист, на специальный стук... Заказы на замки поступали из дверной фирмы, где менеджерствовал старший сын, а свободного времени на работе теперь было сколько угодно, ибо для массовых увольнений у дирекции не было средств заплатить выходное пособие, да без людей, глядишь, еще и отобрали бы помещения, сдаваемые в аренду созвездия фирмочек, торгующих по-настоящему нужными вещами: водкой, сигаретами, стиральным порошком, семенами растений, тут же и рассаженных в мириадах горшочков...

Замочных денег с иррегулярными зарплатами на скромную жизнь с горем пополам хватало, но что до телефонных переговоров с Тель-Авивом — тут уж нужно было либо звонить, либо есть и одеваться. Они звонили. Чтобы снова и снова удостовериться, что Юрка все-таки существует, хотя и живет в невообразимом *Тель-Авиве* на территории невообразимой *военной базы*, носит невообразимую форму *НАТО* и является первым учеником в невообразимом *иврите*: чтобы убедиться, что это не сон, необходимо было каким-нибудь чудом навестить Юрку в этой цитадели сионизма.

Чудо отыскалось, так сказать, под ногой: *ризлторская* фирма «Уют» за десятину общей суммы была готова сдать Витину с Аней квартиру порядочному иностранцу. Первым иностранцем оказался выбритый до голубиной сизости армянин, который попытался сбить цену на том основании, что в квартире нет *евростандарта*, а старой мебелью он брезгует — это о мебели гардемаринов и кадетов! Финн, чьи плоско прилизанные морковные пряди непостижимым образом вскипали пышными кольцами, пройдя сквозь резиновое кольцо на затылке, оскорбить Аню уже не мог, так как выговаривал по-русски, как бы немножко сморкаясь на носовых звуках, лишь «хна свихнаания»: переговоры с ним заключались в том, что каждая сторона писала на листочке желательную сумму, зачеркивая предыдущую. Витя с Аней, по общему мнению, продешевили — зато стабильно, ибо финн со своим предприятием намеревался осесть в Петербурге на несколько лет.

На однокомнатную хрущевскую квартиру у истока непрестижной Будапештской финских денег хватало с лихвой, составлявшей примерно семь *долларов* в день. Семь долларов, семь долларов, повторял Витя, втискиваясь в автобус у метро «Электросила», семь долларов, напоминал он Ане, когда та брезгливо отдергивала руку от стола, на котором вспыхивали стихийные тараканьи бега. Интересно — чужие тараканы кажутся противнее, в слух размышляла Аня, посыпая тараканьими ядами бесчисленные щели. Только привыкнешь к одним тараканам, как уже надо привыкать к новым, сетовала она, когда очередную их квартиру «Уют» перепродавал вместе с Аней и Витей все новым и новым владельцам, а их переводил то на Бухарестскую, то на Пражскую, то на Софийскую, то на Фучика, то на Салова с видом на Ново-Волковское кладбище, — к третьему разу они насобачились укладываться в клетчатые спекулянтские сумки, а затем раскладываться и привыкать за какие-нибудь полчаса. «Кочевая культура», — вслух размышляла Аня. «Семь долларов, — напоминал Витя. — Еще три-четыре переезда — и мы поедем к Юрке как белые люди». — «Не люблю я это выражение. Это хоть и шутка, но все равно расистская».

Но поскольку Витя не видел своими глазами, то не мог и вообразить тот мир, в котором Юрка вел жизнь Мартина Идена: днем учился, а через ночь *шмеріл*, то есть, препоясавшись настоящим парабеллумом, охранял от арабских террористов социально дефективных подростков. После невообразимой бессонной ночи в соседстве с дефективными Юрка перебирался в невообразимый университет слушать лекции на невообразимом иврите, затем в библиотеке с полчала кемарил на собственном бицепсе, укрывшись за пачкой-другой книг — в основном на английском, а потом брался штудировать эти самые книги.

Поступить в университет (среди пяти процентов лучших) и удержаться в нем всего через полгода пребывания в *Стране* считалось делом невозможным, а вот Юрка сумел. И сдавал экзамены лучше всех русскоязычных на своем курсе. Таким сыном можно было гордиться — Витя и гордился. И ужасно скучал — на какое-то время становилось легче, когда в промытом и радушном ломтике заграницы — офисе «Western Union» — переведешь Юрке сотню-полторы квартирных долларов за вычетом солидного — солидная же организация! — процента за пересылку.

Юрка тоже страдал от одиночества, хотя по телефону голос у него был бодрый. Теперь он уверял, что не эмигрировал, а только поехал учиться за границу, как в былые времена дворяне слушали лекции в каком-нибудь Геттингене. Баллов у него хватало, чтобы пойти даже на экономику, но ее он опасался из-за своего азартного нрава: вдруг увлекусь зашибанием бабок, и науке конец. Химию теперь он бросил, а приколотся к социологии: он хочет понять, как и почему живут люди. Но каникул тем не менее ждал с нетерпением солдата, считающего дни до дембеля.

Пулково-международное держится общепитовской стекляшкой, а у самого на шашечном табло скромно посвечивают «Amsterdam», «London», «Tel-Aviv»...

С сумкой через плечо, статный, загорелый, в зеленой футболке и защитных шортах, Юрка вылетел из таможенного закоулка в сиянии благородной счастливой юности. Он так светился, что не сразу и разглядишь в его левом ухе поблескивающую сережку белого металла в форме миниатюрной гранаты-лимонки — эмблема *левого интеллектуала*. Скинул сумку и *повис* у Вити на шее, обхватив его ногами, — как в самом раннем детстве встречал его с работы. И Витя — крепкий еще мужик — устоял. Хотя, когда Юрка дома стащил с себя свою тишотку, Витя с Аней ахнули: Юрка с его торсом вполне смотрелся бы на обложке мужского журнала в каче-

стве образцового японского атлета, оказывается, ко всему прочему он еще и ходил в спортзал качаться.

— Ну, я теперь оттянусь, я заслужил! — радостно повторял Юрка среди раскиданных молодежных шмоток с серебристым плеером во главе, и это тоже несло в себе чумные палочки — представление, что если ты очень долго был умным и целеустремленным, то этим выслужил право побыть дураком и шалопаем.

Он в первый же вечер принялся названивать прежним друзьям, уже твердо ставшим каждый на свой жизненный путь: один аспирантствовал, другой бомжевал, третий по-крупному торговал конфетами, — все с большим воодушевлением восприняли идею назавтра же, как в былые времена, собраться в химфаковской общаге. После этой встречи Юрка объявился лишь к вечеру следующего дня — возбужденный, громкоголосый. Оказалось: по соседству с комнатой, где они пировали, проживал сириец — теперь кому только комнат не сдают, — уличный торговец шавермой (которую в Израиле, дополнил Юрка, называют швармой). И кто-то будто бы попытался изнасиловать его, сирийца, русскую сожительницу, — по крайней мере были выбитые стекла, крик, кровь, — но Юрка с компанией так орала сами, что ничего не слышали. Внезапно откуда ни возьмись нагрянула милиция, всех повязали; Юрка пытался качать права, требовать израильского консула, его пару раз вытянули дубинкой поперек спины (единственный приятный момент во всей истории — две широких пурпурных полосы): все, все, я всем доволен, поспешил заявить Юрка, так что остаток ночи и утро друзья мирно просидели в обезьяннике; затем их допросили и отпустили с миром. Поэтому сегодня вечером они будут обмывать свое освобождение у кого-то на флэту. Может, стоит сделать перерыв, робко поинтересовались Витя с Аней, но Юрка все равно пришел в негодование: он столько пахал, вел добродетельный образ жизни — неужто он не заслужил нескольких дней праздника?!. Что тут скажешь — действительно заслужил. Тем более, что «все ведь хорошо кончилось». Д-да вроде бы... пока... «Ну, вам не угодись!» — «Но ты понимаешь, что у нас в милиции могут избить за одну только твою сережку?» — «Ерунда. У нас профессора с такими ходят». Полиция в Израиле, правда, не та. Как-то он, Юрка, шел в подпитии по ночному Тель-Авиву и увидел полицейскую машину, — так он взял и лег поперек дороги — посмотреть, что они будут делать. Наши-то понятно, что бы сделали, а те остановились, посветили, убедились, что перед ними не раненый, и поехали дальше.

Телефон закурлыкал часов в пять утра. Витя уже с вечера поджидал чего-то нехорошего, но Аня все равно оказалась бдительнее; когда он, больно и деревянно стукнувшись локтем о косяк, выглянул в залитый противоестественным светом коридор, Аня в своей колокольной ночной рубашке уже стояла, привалившись спиной к стенке и прижимая к уху телефонную трубку. Вдруг ее напряженно-помятое лицо резко побелело, и она сползла по стене, не переставая, однако, повторять: так что же они все-таки сделали, в каком они отделении?.. Но на другом конце уже повесили трубку. Очумелый Витя понимал одно: паникой можно лишь ухудшить дело. Они совершили какое-то страшное преступление, с пола сообщила Аня, так сказала мать аспиранта, не пожелавшая в одиночку переживать эту новость. Она же наверняка нашего считает во всем виноватым, мертвым голосом прибавила Аня, да и правда, если бы он не приехал, то ничего бы и не было...

Однако Витя уговорил Аню хотя бы полежать с закрытыми глазами — завтра, вернее, уже сегодня силы ой как могут понадобиться, — его же самого надежнее всего успокаивала работа. Часам к восьми он даже задремал, положив голову на миллиметровку.

Что-нибудь к часу дня Юрка наконец прорезался. «Что с тобой, где ты?!» — «Как где — на флэту...» — «Но вас же арестовали?..» — «Кто нас

арестовал, вы что?.. Что?!. У этого придурка, видно, совсем крыша съехала, я с ним сейчас разберусь!»

Оказалось: аспирант-молодожен допился до того, что под утро вообразил, будто им всем придется-таки отбывать срок за мнимое изнасилование, — в газетах таких историй пруд пруди, — так что с его стороны было вполне естественно, рыдая, позвонить домой, чтобы узнать, станет ли жена дожидаться его из зоны или не станет. Ну, а со стороны его жены и матери было даже более чем естественно втянуть в эти треволнения родителей главного виновника.

Но в тот же вечер позвонил хозяин общажной комнаты, где они кутили в первый раз: к нему явились двое бритых лбов кавказской национальности, все в черном и, представившись *крышей* его сирийского соседа, потребовали со всей компании по тысяче баксов с рыла, — иначе все пойдут за решетку: в милиции, мол, у нас все схвачено, и баба вас опознает, и свидетели найдутся...

Вите с Аней оставалось только радоваться, что они живут не по месту прописки. А Юрка так даже и не по месту жительства.

Витя не видел своими глазами, а потому и не запомнил Юркиной женьитьбы. Он, Витя, еще не успел выделить Милу (Люд-милу) из роя вращающихся вокруг Юрки девушек, а Юрка с ней, оказывается, успел списаться, расписаться, поселиться в выморочной однокомнатной квартире Милиного дяди-алкоголика, и Витя только на скромном торжестве разглядел, что эта девочка, которую он распознавал по безыскусной искусственной шубке, задумываясь до полной отрешенности, превращается в чеканную красавицу с грузинской чеканки. Юрка тоже часто отключался до оцепенелости аллигатора, с усилием вопрошал минут через пять после шутки: «А... а что вы смеетесь?» — вызывая этим новый смех. Только старший сын брюзгливо морщился, но разве это так уж непростительно, если молодой супруг пребывает то в очумелости, то, наоборот, в дураковатой смешливости! А что он перестал светиться — это Витя осознал лишь через годы. Это тоже было одним из ответвлений чумы: лучше, мол, наслаждаться, чем светиться.

Милины родители и даже бабка-грузинка были разоренные перестройкой научные работники, так что объединение капиталов всем пошло на пользу: Витя с Аней поселились в упомянутом доме спившегося дяди, а деньги за его квартиру пошли уже не «Уюту», а родне, *сватам*. И Витя мог теперь повторять про себя уже «восемь долларов, восемь долларов», когда паркетный пол алкоголика, сложенный словно бы из драных бутылочных ящиков, в ночной тишине скрипел и гулял под ногами.

Было радостно сознавать, что по скрипящему дощанику он протаптывает дорожку все ближе и ближе к Юрке — к почти теперь родному Израилю.

И еще не успели высохнуть носки, пропитанные фильтрованной ботинками петербургской мокретью, как в отъехавшую дверь самолета мощно дохнула теплом заграничная электрическая ночь. Пальмы вычерчивали свои зубчатые узоры, как бы и не подозревая об их диковинности, — так и полагалось в сказке; флаги с голубыми сионистскими звездами, которые Вите прежде приходилось видеть только в газетных карикатурах, были развешаны там-сям, как будто так и полагалось; Юрка и Мила сияли так, как и полагается сиять красивой честной юности, и Витя с нарастающим почтением слушал, как уверенно Юрка торгуется с громогласными таксистами, похожими на грузин, — как оказалось, с грузинскими евреями.

В радостной лихорадочной болтовне Витя и не заметил, по каким местам — из мрака в свет и обратно — они едут; пришел в себя лишь в бетонной камерке без окон: чтобы проветрить, приходилось открывать дверь в туалет — там окно имелось. Принять гостей готовились два тьюфяка, один рядом с тахтой, другой у нее в ногах. Над вросшим в грубую штукатурку

тусклым мраморным столом к той же штукатурке была приколота журнальная фотография болезненной девушки с редкими волосами, вздернувшей пальцем нос, чтобы изобразить череп. «Heroin. This product is recommended for your death!» — поясняла рекламная надпись.

После недолгих препирательств, где кому спать, — хозяева настаивали, чтобы гости заняли тахту, — Аня сразу же заснула, а Вите от возбуждения хотелось ворочаться и ворочаться. Опасаясь разбудить Аню, он потихоньку оделся и вышел в еще малолюдное, но уже солнечное и даже припекающее утро. Сизый асфальт среди сизого клетушечного бетона уходил в даль, в которой тоже нельзя было разглядеть ничего, кроме сизого асфальта и сизого бетона. Первые этажи, докуда доставал глаз, были заняты лавками и какими-то закусочными.

Витя свернул в поперечную улицу, приманенный сверхсказочной пальмой; теплый ветерок поиграл ее звездчатой кроной, и об асфальт шелкнул — *самый настоящий финик*, хоть сейчас в магазин. А еще через десяток шагов перед Витей открылся кукольный квартал — беленькие стеночки, увитые зеленью балконы, стройные ряды алой черепицы, охапки, стога, ковры цветов. Витя бережно прошагал по розовой плитке и оказался на пыльном пустыре, среди пересохших пампасов; когда он проходил мимо мусорного бака, оттуда ударил — чуть ноги не подкосились — серый гейзер мелких злобных кошек. Потом выросли и остались позади подзеленные родственницы Будапештской, Бухарестской и Пражской, а за ними открылся сквер, в котором уверенно загогулистые деревья в острой глянцевои листве играли обнаженной мускулатурой на фоне могучих бетонных стабилизаторов какого-то исполинского межпланетного корабля — ну, конечно же, стадиона. По асфальтовой площадке струей воздуха сгонял в кучу пестрый сор хрупкий индокитаец с подвывающей самоварной трубой через плечо; на разогретом бетонном параллелепипеде сидел коренастый седой мужчина с доброжелательным советским лицом. «Из России?» — приветливо спросил он, и Витя, так же приветливо кивнув, почему-то постыдился признаться, что он приехал только на две недели. «А я вот радикулит прогреваю. Поясницу и, как говорится, ж...».

Витя давно заметил, что имена, которые упоминаются в песнях или в кино, приобретают какой-то особый волнующий оттенок. «В Рио-де-Жанейро, приехал на карнавал», — страстно выбивал на гитаре Юрка-старший, тут же, впрочем, шутовски переиначивая: «Рио-де-Жанейро, чего там только нет, там нет воды ни капли, и ночью свету нет», — но Витя хорошо понимал, что выворачивают наизнанку только высокое. А когда ему было лет пять, он смотрел с родителями трофейный фильм «Багдадский вор», и, кажется, какие-то уголки сказочного Багдада в памяти засели. И когда Витя обнаружил в Тель-Авиве и прибрежные небоскребы Рио-де-Жанейро, и каменные закоулки Багдада, у него резко возросло еще и чувство прикосновенности к песне и сказке.

При этом песенно-сказочный город не чурался приоткрывать и свои земные корни — как-то утром Витю разбудили расскандалившиеся гортанные соседи. Почувствовав, что скандал затягивается сверх меры, Витя выглянул в туалетное окно и увидел, что выгнутая улица превратилась в канал, такими-то в Тель-Авиве бывают дожди. А еще одним утром Витя проснулся оттого, что Аня нетерпеливо трясла тахту. Но не успел он выразить ей свое недоумение, как обнаружилось, что никакой Ани нет, а вправо-влево тахту мотает каменный пол, меж плитками которого неумолимые муравьи нарыли там-сям щепотки разноцветной пудры. Так новый мир со всей деликатностью познакомил Витю с землетрясением.

Но всего дороже мир этот сделался для Вити, разумеется, тем, что Юрка чувствовал себя в нем гостеприимным хозяином — как к себе домой, вел к исполинской бетонной крепости, именуемой *Тахана Мерказит*, по переплетенным ярусам которой с самолетным ревом разлетались по

всем концам *Страны* яркие автобусы. Внутри Тахана являла собой целый сверкающий город с бесчисленными магазинами и закусочными.

Про Иерусалим Витя песен не слышал, а потому очарован им был лишь в той степени, в какой он напоминал почти забытый кинобагдад. По крестному же пути Христа, пролегающему через толкучий рынок, Витя сначала вообще не хотел идти: Христос, полагал он, — это для старушек и выпендренников, однако Аня пристыдила его, указавши, что христианство — важная часть мировой культуры.

Еще не очень холодный зелененький киселек в Мертвом море действительно держал на поверхности да еще и норовил уткнуть физиономией в свою опасную едкость. Насмотрелся Витя и на пустынные горы: в детстве он часто задумывался, какими видит муравей песчаные осыпи и глинистые размывы, — теперь понял.

Но самым лучшим местом на земле оказался все-таки Тель-Авивский университет: зеленые пространства нежной травки с блаженствующими юными фигурами, застывшие зеленые салюты пальм, диковинные и прекрасные здания, по которым разбросаны таблички с именами жертвователей. А яснолицые студенты и студентки — Витя никогда, даже в институте, не видел такой воспитанной и одновременно раскованной молодежи, среди которой половина гляделась попросту красавицами и красавцами, а самые незадавшиеся были всего только очень привлекательны: у Вити душа изнылась от счастья и гордости, что его сын полноправно — да еще в числе лучших! — принят в это богоподобное племя.

Было понятно, почему недотягивающая по языку Мила чуть ли не каждый вечер роняла слезки в ивритские учебники: работа официантки оставляла мало времени для занятий. Витя побывал в том бетонном шалмане, по которому Мила безостановочно летала с подносом: жирные грузиноподобные мужики, ежесекундно нуждающиеся в новой водке, ревели, как самолеты, — Витя ошалел там за три минуты, но Мила возвращалась домой веселенькая, прыскала на каждую шутку, а отсмеявшись, приговаривала про себя: «Угу».

За этот смех и эти слезки Витя полюбил ее — ну, не так, как Юрку, но по телу его все-таки пробежала щекотка умиления, когда он наблюдал за ее разборками с котом. Кот был здешней, израильско-мусорной, породы — мелкий, злобный, как еще не вошедший в силу шпаненок-заморыш, он наблюдал хозяйскую жизнь из укромных углов с затравленной ненавистью. Как и его человеческие собратья по статусу, он не верил в добрую волю и кусок норовил не выпросить, а выбить из рук, серой кометой метнувшись откуда-то сбоку. Что ему иногда и удавалось, и тогда он пожирал добычу, забившись в угол и затравленно урча, стараясь заранее запугать тех, кто вздумал бы к нему сунуться. Хотя сам «шугался» (Юрка) каждого чиха. Время от времени Юрка пытался задать ему трепку, но Мила сразу же начинала жалобно причитать: «Ну, Юра, ну не надо...» Правда, когда Мила сама готовила еду, наскაკивающего кота она мерно отталкивала царльстонным движением ноги, которую тот с яростным шипеньем пытался цапнуть зубами, иногда и удачно, — в этих случаях Мила давала ему гулко-го шлепка, любовно прибавляя: «Коз-зел». Как будто кот чем-то выше козла.

Не все здесь было Рио-де-Жанейро, но, когда Витя поднимался в самолет, перед дверью он сделал вид, будто хочет поправить молнию на сумке, а на самом деле вдруг взял и немножко поклонился этой земле, этому городу, этому мирозданию...

А потом, сделав вид, будто поправляет очки, незаметно прибрал наверх слезы благодарности.

Не удивительно, что Юркиных каникул Витя дождался со счастливейшим упованием. К Юркиному возвращению — чтобы заодно уменьшить его контакты с веселыми друзьями и лбами кавказской национально-

сти — Аня приобрела три «индивидуальных тура» в Друскининкай, намереваясь вновь войти в реку прежнего счастья, пускай и в уменьшенном составе (у старшего сына не было времени на подобные сентиментальности). Заодно, чтобы покончить с литовскими достопримечательностями, она прикупила и несколько дней в Паланге, но для Вити поэзия этого имени исчерпывалась воспоминанием об одноименном творожном торте.

Но этого было совсем не мало.

Вот где можно зачерпнуть душевных сил — в памяти не об изменчивых радостях, а о надежных ужасах, которые напомнят тебе: тогда же ты нас выдержал — выдержишь и теперь. Но и в неискушенности есть своя — увы, кратковременная — сила: Витя всего только удивился, когда к очереди, выстроившейся к таможенному разделочному столу, пришаркал согбенный японский старичок-крестьянин в Юркином тинейджерском прикиде. Заметив, что Витя с Аней тянут к нему шеи из-за охраняемой двери, Юрка не только не запрыгал, не замахал руками, как это сделал бы настоящий Юрка, а лишь с кислой улыбкой легонько повертел растопыренной кистью — все, дескать, в порядке.

У него слезились глаза, тек нос — последствия летнего израильского гриппа, с натянутой улыбкой (иных улыбок словно не бывало) пояснил Юрка. Серое лицо — а Витя-то думал, это говорится преувеличения ради. В метро же Витя заметил, что у Юрки появилась неприятная привычка мелко-мелко трясти коленями, а в выморочной квартире дяди-алкоголика тряс этот, заметно укрупнившись, перешел на ступни — Юрка как бы беспрерывно ими аплодировал. «Что с тобой?» — наконец забеспокоилась Аня. «Колбасит немного», — был дан четкий разъясняющий ответ. Никакой радостной лихорадочности, прежде присущей их встречам, на этот раз не наблюдалось, зато, раздевшись перед сном, Юрка почти испугал родителей своей цыплячьей худобой. «Совсем заучился, будем тебя откармливать», — постаралась успокоить себя Аня. От его прыщей на всегда атласной коже они деликатно отвели глаза. Юрка же, отправившись за шкаф в Анино раскладушечное гнездышко, долго-долго ворочался с боку на бок.

Чума тоже начинается с симптомов не столь уж грозных, если ты никогда прежде не имел с нею дела, — кто из нас не испытывал слабости, озноба, головной боли! Зато те, кто насмотрелся лопнувших, сочащихся гноем бубонов, кто наслушался бесконечного кровавого кашля, от которого спасает только смерть, — тот будет принимать и насморк за чуму. Витю Юркин насморк в тот раз только растрогал, как всегда его трогало проявление простого, человеческого в боготворимых существах.

Проснувшись очень рано, Юрка, безостановочно шмыгая носом, засобирался по Милиному наказу с какими-то гостинцами навестить тещу; нацепил модный рюкзачок, который при Юркиной согбенности хотелось назвать котомкой, сунул в карман блекло-голубых джинсов очередные сто квартирных долларов в рублевом эквиваленте и, по-стариковски шаркая кроссовками, скрылся в солнечном августовском утре. Вернуться он должен был не очень скоро, потому что после тещи намеревался заглянуть к *Быструму*. Но он не вернулся ни в этот день, ни на следующий.

В первую ночь Витя с Аней даже поспали, ибо по опыту знали, что встречи с Быстрым не бывают быстрыми. Смущало, правда, что до тещи он так и не доехал, но обнадеживало, что у Быстрова никто не брал трубку — видно, вдвоем пошли по друзьям. Ну да, авось на этот раз обойдется без сирийцев.

Но вот когда дело пошло ко второй ночи... Именно в ту, вторую, ночь Витина жизнь изменилась до неузнаваемости.

До этого она была последовательно разворачивающейся лентой, где каждое событие, каждый человек имели начало и, если не затягивались до

настоящей минуты, то и конец (Сашка Бабкин, например, с треском выиграл выборы, и, по-видимому безвозвратно, растаял в московских высях, а, скажем, Валерия в каком-то придонном течении все длилась и длилась). Но с той страшной ночи Витина жизнь превратилась в некий ком, почти все перемальвающий в крошево и лишь отдельные обломки вминающий в себя, перемешивая их с другими обломками, позволяя через какое-то время даже разглядывать их, коли придет такая охота, но не позволяя понять, от какого целого они отломлены, что было раньше, а что позже...

Поэтому Витя не мог бы сказать с уверенностью, сколько ночей (и, естественно, дней) отсутствовал Юрка — две или четыре.

Логически рассуждая, ночи и тогда сменялись днями, в течение которых Витя, оберегая Аню, сам снова и снова обзванивал морги и отделения милиции, которым ни на трупах, ни на задержанных блекло-голубые джинсы пока что не попадались, — но ком бытия сохранил лишь ночи. Ночи тоже были наводнены звуками — чего стоили одни только театрально предсмертные вопли котов, — но в памяти осталась только тишина и шаги в тишине. Шаги все ближе — ну давай же, давай!.. — но они удаляются все дальше, дальше, становятся все тише, тише...

И еще были дверца — Юрка мог приехать и на такси. Вот дверца стукнула — и если бы в этом мире любовь и отчаяние что-то значили, они бы создали Юрку из ночной темени и вознесли по лестнице к звонку, в котором сосредоточилась вся их мука, — но любовь так же бессильна, как и равнодушие.

Дверца. Шаги. Голосов, как ни тшится отчаявшаяся мечта, не разобрать. Шаги все тише, тише...

Шаги. Сначала усиливаются, потом замирают.

Хлопнула дверь в подъезде. Ну давай же, осталось совсем немного!..

Но звонок безмолвствует, безмолвствует... До звона в ушах.

И снова дверца. И снова мимо.

И снова шаги. И снова издевка мрака.

Мертвыми голосами они уговаривали друг друга прилечь — все равно ведь сделать ничего нельзя, остается только ждать. Но каждый в глубине души опасался этой наглостью рассердить ту силу, которая где-то держит Юрку в своих руках. Аня вообще ходила при полном параде, как на работу. Витя тоже был готов куда-то бежать, однако сидя он засыпал не раз и не два, и обломки этих снов запечатлелись в его памяти ярче, чем проведенные в ожидании дни.

...Он шел по щиколотку в жидкой грязи среди беленых барачков монастыря, в котором теперь располагалась милицейская школа, и, раскачиваясь, пытался стряхнуть дикую бродячую кошку, запустившую когти в его правую лопатку, а от бесчисленных будок к нему изо всех сил тянулись псы на цепях, так что один из них, поскользнувшись в грязи, шлепнулся на бок, но и на боку продолжал натягивать цепь...

...Витя вспомнил, что люди в серых плащах на троллейбусной остановке толпятся для того, чтобы судить его, и решил отправиться пешком; но, обходя толпу стороной, он увидел в ней епископа в пухлом раздвоенном колпаке и понял, что избегать суда не имеет права...

А третий сон был вещий сон. На кухне из пустого электрического патрона лилась струйка нечистой воды, и Аня в утреннем халате, совершенно служебно ворча по поводу соседей, ставила на огонь воду для Витиной каши, и Витя замер, увидев ее совершенно черные пряди; он взял ее за плечи, пытаясь повернуть к себе, она не давалась, но Витя все-таки ухитрился на мгновение увидеть ее широкое и совершенно незнакомое лицо; она не делала ничего плохого — просто она была чужая, притворившаяся

родной, и это было так ужасно, что Витя изо всех сил попытался закричать, но издал только сдавленное сипение.

Витя перестал узнавать Аню не тогда, когда у нее появились голубые — голубая кровь — мешки под глазами, а тогда, когда она начала подгонять его, чтобы он сделал совершенно бессмысленное дело — в четыреста тридцать четвертый раз позвонил старшему сыну и спросил, не появлялся ли там Юрка за те пятнадцать минут, которые прошли со времени предыдущего звонка. Да старший сын, разумеется, и сам тут же позвонил бы, но — «неужели это так трудно, я бы сама позвонила, только боюсь разрыдаться, ты этого хочешь?», «неужели нельзя единственный раз пойти мне навстречу» — и тому подобное. Витя-то уже был вполне убежден, что Юрки нет в живых, ибо на этом свете он не мог представить место, из которого в течение стольких часов и дней было бы невозможно позвонить домой, и теперь мечтал об одном: скорей бы. А страшился уже исключительно за Аню. Однако от нее он ждал чего угодно — хоть самоубийства, но — чего-то крупного: с ее образом Порядочности были несовместимы истерическая раздражительность и несправедливость — ясно же, что позвонить ему нетрудно и что навстречу он ей шел вовсе не единственный раз, а просто-таки всегда, когда мог... На фоне мертвенной тоски в его душе все же нашла силы задрожать отдельная струнка тревоги, что, пожалуй, еще и эта надежнейшая скала — Аня — может повернуться к нему совершенно незнакомой стороной. Ее словесное неряшество заставило его повнимательнее взглянуть в ее внешний облик — кажется, он не удивился бы, внезапно обнаружив ее растрепанной. Но нет, прическа ее, как всегда, была само совершенство, зато в глаза ему бросилась обнаженная краснота ее век — не накрашилась, догадался он. Может быть, подготавлилась плакать поопрятнее?.. Но тогда и за языком бы...

«Последить», — этого Витя уже не позволил себе додумать: в принципе, мать, потерявшая сына, имеет право на все.

Старшему сыну не хотелось звонить еще и потому, что он разговаривал с отчетливой неприязнью — если не к тому, кто спрашивает, то к тому, о ком спрашивают: «Да живехонек он...» Но не придавать же значения подобным пустякам в такую минуту.

На этот раз старший сын, что было совершенно не в его правилах, сорвался как человек, окончательно потерявший терпение:

— Он наркоман, его поскорее надо в клинику сажать! Прежде всего не давать никаких денег. Те, что вы ему дали, он наверняка уже *проторчал*, главное, не давать новых. Он и мне пытался *сесть на хвост*... Взял с меня слово, что я вам не расскажу, но мне надоело тоже идти у него на поводу!

— А к Быстрову он не заходил? — зачем-то пролепетал Витя.

— Быстров сидит за кражу кассетника из машины. Вернется через два года.

— Зачем же он это сделал?.. Быстров?..

— На *дозняк* не хватило. А наш пытается *соскочить с иглы*. Он *подсел на герыч*, на героин, а хочет *повмазываться джефом*, это психостимулятор, на нем *переломаться*, а потом уже *долбиться сонниками*. Таковы его жизненные планы.

Жаргонные обороты старший сын выговаривал с особенной ненавистью.

Путь от «Слава богу, он жив!» до «Боже, какой позор, хорошо, что мама не дожила» Аня проделала на удивление скоро. «В чем же мы провинились?!» — этот вопрос, к еще большему Витиному смятению, она задавала совершенно серьезно. «Что же нам еще предстоит?..» — ужасалась она, и здесь уже Витя, взявши полутора октавами выше, заголосил, что в такую минуту они вообще не имеют права думать о себе — ни о своем позоре, ни о своих страданиях: их сын попал в беду, он старается выкараб-

каться, он в них нуждается, а потому они должны сделать все, что в их силах, — и так далее.

И когда наконец раздался полноценный долгий звонок, Витя с запрыгавшим сердцем распахнул потрескавшуюся дверь и заключил окончательно исхудавшего и почерневшего Юрку в счастливые объятия (показалось, будто обнимается с бараном — твердый лоб и никакой отдачи). Было не до слов — Юрка валился с ног, и Витя едва успел раскрыть для него раскладушечное гнездышко за шкафом: сделать это заранее Витя не решился, чтобы опять-таки не рассердить силу, завладевшую Юркиной жизнью. А теперь — самое страшное все-таки позади. Ибо как ни крути, а страшнее смерти нет ничего.

— Запомни, мы всегда будем с тобой! — с предслезной искренностью зывал Витя к аплодирующим Юркиным ступням, поскольку японские Юркины глаза растерянно блуждали по узкому зашкафному пространству. — Ты ничего не должен от нас скрывать! Если уж тебе так необходимо уколоться (*вмазаться*, переделернул голос старшего сына), ты скажи, я сам тебя провожу, это все-таки лучше, чем ты исчезаешь, мы... — Витя запнулся, потому что слово «волнуемся» в соседстве с тем, что они пережили, прозвучало бы смехотворно слабо.

— Лады. — Юрка обнадеженно привстал с раскладушки. — Пошли сейчас.

— Но ведь тебе лучше потерпеть, это... *ломка?*.. скоро должно пройти. — Витя опешил от той быстроты, с которой было принято его предложение: при всей неподдельности своего порыва он невольно ждал и ответного великодушия.

— Если не хочешь, так и скажи! — детски пухлые Юркины губы запрыгали, он мгновенно сорвался на рыдание: — Чего тогда было хлестаться — «сам провожу», «сам провожу»!..

— Ну что ты так сразу, — еще больше растерялся Витя. — Я свое слово держу, только для тебя же было бы лучше...

Но Юрка сам и очень твердо знал, что для него лучше.

И по Витиной беззаветности пробежали мурашки сомнения.

— Где твой рюкзачок? — перед выходом вдруг заинтересовалась Аня.

— *Проторчал*. Я еще должен остался — оставил им в залог обратный билет. Но это фигня, его можно восстановить, пошли они на фиг...

— А где сережка? — Аня взгляделась в него уже более пристально.

— *Мент* из уха вытащил. У вас знаете, какие менты — в Израиле полицейские никогда не позволяют ничего подобного!

— Так и сидел бы в Израиле, порядочный человек и знать не должен, какие они, *менты*. — Аня выделила это слово не злостью, как старший сын, а брезгливостью.

— Вы ничего знать не хотите! — В Юркином голосе снова послышалось совершенно неадекватное рыдание («вы» — он, как и в детстве, сразу объединил их в единое целое: какую воду вы мне сделали, кричал из ванной, обнаружив, что вода в ванне слишком горячая). — У ментуры под носом работают *точки*, их по вечерам объезжают с автоматами, собирают бабки, а *менты* только наркоманов трясут... да их и не очень трясут, потому что с них взять нечего, они охотятся на приличных людей, кто подвыпил, паспорт дома забыл...

Столь явное перенесение внимания с собственной вины на вину ментов и Витино с Аней гражданское равнодушие внесло и в без того не лучшее душевное Витино состояние дополнительный оттенок тревоги и недоумения.

— Да, а что Мила по этому поводу думает? — спохватился Витя.

— Она тоже *торчит*, мы вместе *подсели*. И тоже полиция виновата: во всем Тель-Авиве было не достать марихуаны, мы решили *слегонца кайфануть* на черном...

— Что это еще за *черный*? — спросила Аня, преодолевая омерзение.

— Героин. Мы и не заметили, как подсели. Все, что зарабатывали, стали протарчивать, я уже учиться не мог, только кайф и ломки на уме.

— Это мы себе во всем отказывали, чтобы вас поддерживать, а вы в это время... — как бы себе самой напомнила Аня.

— Ну, отказывали, отказывали — что теперь про это!..

Его готовность к злым рыданиям была такова, что Витя поспешил задать деловой вопрос:

— Так, а что теперь Мила?

— Мы решили, она там будет *переламываться*, а я здесь. Вместе нам не *соскочить*, мы друг друга *растусовываем*.

Оказывается, и там не на кого положиться...

И уже в подъезде, на улице сначала расписанные стенки лифта, затем пожухлые тополя, растрескавшиеся тротуары, озабоченные пассажиры в метро всей своей обыденностью говорили ему: очнись, этот мир не место для романтических порывов.

В метро Юрка навалился на дверь с надписью «Не прислоняться», а потом и вовсе съехал на корточки. Типичная поза наркомана, им тяжело стоять, с улыбкой привычного сострадания впоследствии разъяснили Вите в наркологическом диспансере. Но самое удивительное — Юрка не видел в этой позе ничего вызывающего: а что такого, пускай все так делают, мне по фиг. Внезапно нахлынувшие жаргонные обороты Витя тоже ощутил как некое сползание. От светящегося студенчества к глуповатому пэтэушничеству. Даже туповатому — из Юркиной речи ушли живые интонации. И почему он не хочет воздержаться от этих мерзких выражений — видит же, что всех коробит.

Или не видит?

А что он видит вообще?

Замечает ли он хотя бы время — кажется, ему уныло, но не скучно, и видит ли он со своих корточек, что отец вот уже два часа топчется на солнцепеке у знаменитой — вдоль стены переминаются с десятков понурых личностей — аптеки близ Апраксина двора, именуемой Апрашка, выкрашенной, как выражались в Бебеле, в цвет детской неожиданности и утратившей среднюю перекладинку на букве «Е» на своей вертикальной вывеске, — «АПТСКА», «АПТСКА», «АПТСКА» — перечитывал Витя в виде развлечения. Витя вынужден был держаться в сторонке — такого, как он, ни один *барыга* на пушечный выстрел не подпустит. В тротуарной толчее подходили какие-то восточные и западные люди с предложением услуг, Юрка с усилием поднимался на ноги, вступал в переговоры, но оставался неудовлетворенным: все *черный* предлагают. А ему нужен *белый*. «Тебе же нужен джеф?» — рискнул блеснуть новыми познаниями Витя. «Джеф — это и есть белый».

Жизнь рушилась, а народ толпился, пот разъедал, Юрка дожидался своего *белого* — будь у Вити склонность к философствованиям, он назвал бы это объективным ходом вещей, в соседстве с которым его собственное поведение казалось все более и более несерьезным, дамской истерикой какой-то.

Наконец Юрка о чем-то сговорился с двумя потертыми... нет, в этих субъектов как будто специально втирали золу из той кучи, которая всегда курилась дымком и пылью на задворках бебельской кочегарки. Вместе с Юркой они побрели по Садовой в сторону Гороховой. Витя следовал за ним, стараясь хорониться за прохожими, — ведь будь на его месте пероодетый сотрудник милиции, он сейчас мог бы запросто раскрыть наркоманский притон; но Юркиным спутникам бояться, видно, было некого, оглянулся лишь один из них только раз, и Витю ужаснуло намертво впечатавшееся в его пыльное горбоносое лицо выражение злобной тоски.

Раскаленные пыльные улицы, по которым они брели, были скорее всего заурядными питерскими улицами, но у Вити было полное ощущение, что они влачатся по заброшенному городу — его глаза схватывали только облупленности, только баллончиковые загогулины, только рытвины в асфальте. То, что на улицах было довольно много людей, дела не меняло — значит, и тем зачем-то понадобилось посетить мертвый город.

Выслеживаемая им тройца прошаркала лабиринтом душевных дворов и двориков и, так и не оглянувшись, скрылась в ничем не примечательном подъезде. Витя уже давно покорился этому бреду, и только одна мысль держалась в его голове — вопрос, видит ли Юрка, что он погрузил их всех в какой-то не знающий пробуждения кошмарный сон.

Уже через пять минут ему стало казаться, что он торчит в этом геометрическом, цвета детской неожиданности безумном дворе не менее часа, а через пятнадцать минут — что половину дня. Главное, он уже поверил, что здесь ему предстоит так и скончать свои дни. Кажется, если бы он знал, за какой дверью скрылся Юрка (да что они там с ним делают?!. ведь в поликлинике на укол уходит максимум полминуты!..), он бы начал звонить и барабанить в эту ужасную квартиру — пускай застрелят.

Нет, все равно не стал бы, он же обещал Юрке только сопроводить его...

И сам почувствовал, какие это никчемные пустяки — «обещал», «не обещал»: вся эта мишура имела значение в прежней жизни, но считаться с нею в теперешней было каким-то детским выпендрежем. Витя уже не имел сил думать о будущем, он хотел лишь одного — чтобы Юрка наконец сыскался.

Может, они ушли по крышам?..

Но в конце концов — скала с плеч — Юрка все-таки явился на свет из той же самой проклятой двери. И — о чудо — это был почти прежний Юрка, исхудавший, но живой. Именно живой — в лице появилась живая мимика, в голосе — живые интонации.

— Что ты так долго? — спросил Витя уже практически без укора — так велико было его облегчение.

— Что ж делать, если у них один баян на всю колоду... один шприц на всю тусовку. — (Витя оценил всю деликатность этой самопоправки.) — Следишь за ним, как за рулеткой, — ну когда, когда до меня дойдет!..

— А что там за обстановка, в этом... в притоне? — зачем-то полюбостествовал Витя, и Юрка ответил, ничему не удивляясь:

— В кухне нормально, мамаша с ребенком гулять собирается, а в комнате свалка — бутылки, банки... Обертки.

— А эти твои... сопровождающие — кто они такие?

— Они сами торчки... то есть наркоманы, шакалят за дозьяк... за дозу.

— А сколько стоит доза?

— Это смотря у кого какая торба... норма. Она все время нарастает, в этом главная проблема. Но в среднем...

Юрка назвал сумму, не показавшуюся Вите очень уж непомерной: если употреблять только по праздникам, вполне можно себе позволить.

— Знаешь, — решил высказаться Витя, — я в таких делах тебе больше не помощник. Сдаюсь. — Он даже вскинул руки кверху. — Когда ты стараешься выкарабкаться, я готов тебе помогать до бесконечности. — Он было дернулся прижать руки к груди, однако чувствительности в нем побавилось. — Но помогать тебе... — Он запнулся, не в силах выговорить слово «колоться».

— Да я вмазываться... колоться больше и сам не хочу. Я теперь на коле... на таблетках перебежусь.

Юрка произносил какие-то названия, но Витина душа отталкивала их с такой силой, что он был не в состоянии их запомнить — что-то вроде *редодорм*, *радедорм*, *феназепам*... Однако сам Юрка был настолько ласков,

предупредителен и говорлив, что Витя почти поверил: самое страшное позади.

«Лишь бы не героин», — повторял Юрка, и эту формулу Витя хорошо усвоил. Под этим лозунгом и протекли ближайшие недели.

Хорошее было время — можно было черпать душевные силы в лозунгах...

Назавтра Юрка был немногословен, тускл — кажется, у него и волосы как-то потускнели, поредели, наметилось что-то вроде залысин, — и Витя, желая его подбодрить, ласково напомнил ему, какой он вчера был веселый, разговорчивый...

— *На базар пробило*, — ответил Юрка с кривляющейся ухмылкой.

Он снова начал находить удовольствие в этих мерзких оборотцах — и уж не потому ли, что родителей от них передергивало? Он становился все более отрывистым, взрывчатым, и Витя уже с полной обреченностью принял его затравленно-злое предложение отправиться на Апрашку за *колесами*. Формы ради Витя все-таки предложил Юрке потерпеть, но тот сразу же вывернулся: «Ты что, хочешь меня снова на героин посадить? Я бы на него и не... ну, баловался бы, как раньше... если бы *план* можно было достать!..»

Во всем была виновата израильская полиция, а теперь, похоже, и сам Витя претендовал занять место рядом с нею.

На этот раз нужные колеса удалось приобрести довольно скоро — перетаптываться на солнцепеке у Апрашки пришлось всего минут сорок реального времени и всего часа два по внутренним Витиным часам: Витин ужас перед надвинувшимся на них чудовищным миром обрел более или менее определенные размеры и очертания. Витя, например, уже сообразил, что покупка с рук официально выпускаемых лекарств, уж во всяком случае, не может караться тюремным заключением.

Когда Витя увидел обширную пластину со стройными рядами белых кнопочек и блистающей нетронутостью фольгой на обороте, он даже испытал что-то вроде радости — надолго хватит. И вообще по карману. Так что он на несколько часов впал в оторопь, когда мгновенно взрытая гладь фольги взлохматилась рядами беспомощно поблескивающих лепестков над пустыми глазницами. Есть таблетки горстями — а Витя-то думал, что это только фигура речи...

Казалось бы, от снотворных таблеток человек должен впасть в беспробудный сон, а не в развеселую дурашливость, но Юрка... Разумеется, этого быть не могло, но у Вити осталось полное впечатление, что Юрка шел по улице вприпляску, жонглируя невесть откуда взявшимися шарами размером с теннисный мячик — желтый, зеленый и красный. Это называлось — *пробило на шустряк*.

Спал он, правда, до тревожного долго, но, проснувшись, сразу же потребовал — если не в грубой, то в очень мрачной форме — новую порцию чего угодно, однако — цените! — не героина.

День, однако, на этот раз выдался неудачный — они топтались в строю у раскаленной Апрашки часа четыре (по Витиным часам — восемнадцать), тем не менее ничего, кроме героина, им не предлагали. Нет, какие-то колесики мелькали, только от них был слабый кайф и крутой отходняк. «Вот так и сажают людей на героин», — с выражением бесконечной старческой обиды повторял Юрка. Наконец строй жаждущих ожил и заволновался — вдоль него, отдуваясь, решительно хромал одутловатый молодой человек, чья правая нога не гнулась до такой степени, что он обносил ее стороной, как ножку циркуля. «Чего надо?» — выдохнул он жаркой собачьей пастью, тарача глаза от спешки и замотанности. Юрка с недоверчивой надеждой начал перечислять. «Давайте за мной», — обнося ногу полукругом, избавитель захромал прочь как человек до крайности занятой и постоянно куда-то опаздывающий. Кроме Вити с Юркой за ним заспешил еще один бе-

бельского обличья крепыш с девственным пушком первых усиков, обтянутый белой рубашкой с закатанными рукавами.

Провожатый прихромал в какой-то уже почти привычный унылый геометрический двор и торопливо заорал кому-то навверх: «Оля! Я ща буду! — тут же шикнув на своих клиентов: — Встаньте ближе к стенке, чтоб вас из окон было не видно». Получив от Оли какой-то сигнал, он еще больше заторопился: «Лавэ, лавэ!..» Витя, догадавшись, что речь идет о деньгах, полез в карман, но Юрка вдруг начал торговаться, пытаясь сбить цену, и Витя, движимый единственным желанием поскорее выбраться из этой мерзости, разорвал у Юрки перед глазами и бросил на пыльный асфальт купюру среднего достоинства. «Ты что?..» — дернулся было Юрка, но тут же снова пустился в препирательства, что лавэ он отмакает только по получении колес. «Да мне же самому только под наличку дают! — Одутловатый молодой человек в невыразимой искренности еще сильнее выкатил глаза и облился новым потом. — Дурак я кидать — у меня одна голова и одна ж...», — в подтверждение своих слов он шлепнул себя по мясистой ягодице.

Это убедило. Даже когда все разумные сроки уже истекли (у Вити так через две минуты), Юрка не сразу решился признать: «Развели...» И обратился к Вите со скорбным упреком: «Кто же заранее *засылает?*..» Но Вите было почти все равно, что их обманули, — лишь бы как-то кончить всю эту мусть поскорее.

Уже понимая, что это бессмысленно, искатели химических наслаждений вошли в убогий серый подъезд, и крепыш в белой рубашке с легкостью огромной кошки взлетел на один пролет, на следующий... Витя с Юркой едва попевали за ним, и Витя отметил уже без особой тревоги (чтобы напугать его, теперь требовалась все большая и большая порция страха), что Юрка задыхается сильнее, чем он, будучи младше как-никак примерно четвертью века.

Крепыш удостоил их внимания только у отсутствующей двери в темные чердачные пространства: «Он у меня точно на вторую ногу будет хромать».

В краю, где царствует чума, надежнее черпать душевные силы не в высоком, но в плоском, не в многосложном, но в примитивном. У Вити с Юркой внезапно выдался потрясающий вечер — вечер взаимного запаха и приятия сердец друг друга. Именно: друг открывался другу и принимал друга. Минута за минутой, а потом час за часом они упивались откровенностью и чаем, уже спитым, но безупречно горячим, как их сердца. Ты, наверно, думаешь, с нежным, но горьким упреком говорил Юрка, что к наркотикам приобщаются в каком-то грязном притоне, — нет, это происходит под классную музыку, с кайфо... с обаятельными девчонками, и протягивает их тебе твой лучший друг. Давно миновавшие упоительные разговоры в общежитии были только слабым подобием — ведь здесь собеседником был наконец-то вернувшийся в собственный облик любимый сын, у которого — невероятно — снова ожило лицо, заблестели глаза...

И если в общежитии только последний зануда мог напомнить, что завтра утром ему нужно на лекцию, то в облезлой кухоньке пропавшего дяди, обратившейся в уютнейший уголок мироздания, эту несколько унижительную роль неожиданно взяла на себя Аня: завтра утром ей нужно было отправиться к «мальчику» из их класса за рецептами на снотворные (мальчик ныне возглавлял психдиспансер). Аня начала с тона добродушной ворчливости (Витя вновь испытал мимолетную гордость, что он почти единственный из смертных, кто удостоен возможности видеть Аню в неполной причесанности), вдруг взгляделась в Витино лицо и напустилась на Юрку: «Ты бы хоть отца пожалел — посмотри, какой он бледный». Но не успел Витя вступить, что никакой он, мол, не бледный, как вдруг у Юрки за-

прыгали пухлые детские губы, глаза налились слезами: «Ну зачем обламывать?...» Это прозвучало до того беспомощно, что у Вити, только было собравшегося заголосить октавой выше, голос внезапно сорвался, а из глаз полились самые настоящие слезы. «Не надо его обижать, ему и так не повезло», — заговорил он, плача. Аня всплеснула руками: «Видишь, — почти с ненавистью обратилась она к Юрке, — до чего ты его довел!» — «Это не он довел, — как ребенок, всхлипывал Витя, вскинув очки на лоб и поспешно удаляя слезы из глазных впадин костяшками больших пальцев. — Это ты довела, это ты его обидела...»

Кончилось тем, что, наплакавшись все трое, они разошлись по скрипучим постелям преданнейшими друзьями.

Как раньше.

— Когда ты заплакал, я была готова его убить, — преданно сжимая ему пальцы, прошептала Аня Вите на ухо как о чем-то страшном, но уже миновавшем.

Я тоже если бы и мог убить кого-то, то тоже только ради тебя, постеснялся ответить Витя; к тому же он чувствовал, что готов на убийство не просто ради Ани, но ради спасения ее высоты. Вот если бы, скажем, Ане понадобилось сердце для пересадки и Вите показали на случайного прохожего: можешь забрать его сердце, и тебе ничего за это не будет, — Витя прежде всего ужаснулся бы: никакого права распоряжаться чужой жизнью даже ради Ани он не чувствовал. А вот если бы этот прохожий покусился на Анину чистоту, Анину высоту — как еще прикажете поступать с подобными господами?..

Обычно Витя лучше засыпал, когда подкладывал под щеку ладонь. Но сейчас пальцы подергивались и щекотали его, пришлось их убрать, хотя электрические постреливания в кончики пальцев обеих рук не прекратились. Впоследствии эти постреливания, случалось, и проходили, и снова начинались, — Витя так к ним привык, что почти уже не обращал на них внимания.

— Что это такое, я спрашиваю, что это такое?! — разбудил его как бы возмущенный, но на самом деле растерянный Анин голос — и в ответ какое-то бурчание, переходящее в рычание:

— Да что такого, на сколько я там выпил, я заплачу, вернусь в Израиль, заработаю и заплачу!

Витя сразу понял, что Юрка нарочно прячется в безобразии, как скунс в защитную вонь, чтобы отвращение помешало оппоненту вывести его на чистую воду. И сработало:

— Нет, я не могу с ним разговаривать, он нарочно делает вид, будто речь идет о деньгах, — воззвала к небесам Аня, но тут же снова сорвалась: — Ты правда не понимаешь или притворяешься, что ты не имел права ее трогать без моего разрешения?! Смотри, — повернулась она к очумелому Вите с ладненькой квадратненькой бутылочкой виски, приготовленной в качестве знака благодарности психиатрическому мальчику, — еще счастье, что я заметила, — представляешь, какой бы мог быть позор! Я смотрю, она стала какая-то мутноватая, попробовала крышечку — отвинчивается... Чем ты его хоть разбавил? — снова набросилась она на Юрку.

— Да водой, водой! — прорычал тот, словно это обстоятельство полностью его очищало. — А что делать, если с сонников переключилось на синий?

Это и была логика чумы: виноват не человек, а *вещество*, которое он употребил.

— Какой еще *синий*? — с содроганием вздернула плечи Аня.

— Алкоголь. Я его нарочно так называю, чтобы подчеркнуть, что это тоже наркотик.

И Юрка пустился доказывать, что от алкоголя и сегодня погибает неизмеримо больше народа, чем от героина, — казалось, у них сейчас не

было заботы важнее. Но Витя готов был влиться и в эту струю, он знал, что укравшего человека прежде всего нельзя называть вором.

— Ничего, ничего, вчера же все было так хорошо, — льстивым голосом попробовал Витя вернуть семейство в столь недавнюю идиллию.

— Да, от синего тоже перемкнуло на базар, — злобно усмехнулся Юрка.

Это был, может быть, самый важный урок чумы: если зачумленный весел, надо спрашивать не что произошло, а какое *вещество* он употребил, если же зачумленный мрачен, злобен — чего он недоел или переел.

Даже слезы ничего не означают: аллигаторы тоже плачут — от избытка вроде бы соли в организме. Не верить слезам, не верить нежности, не доверять веселости, страшиться дурашливости — во всем видеть признаки приближающегося конца...

Только где же он, конец, в конце-то концов?!

Вот милиция и без всяких специальных уроков знает, что каждый не в меру веселый человек — пьян.

— Да чего же ты такой пьяный?.. — почти ласково протянул пышноусый старшина, столкнувшись с кувыркающим, жонглирующим Юркой в коридоре купейного вагона. Витя скоренько, скоренько потянул Юрку к Ане в купе, особо уповая на свои очки как верный знак социальной благонадежности. А уж вместе с Аней они явят собой верх добропорядочности. «В клинику, в клинику»... Старший сын как будто тоже не верил в высшие возможности человеческой души. «Ломбы у него прошли, значит, пора за ум браться. А он хочет кайфовать. А вы идете у него на поводу. И вместо наркомана получите токсикомана», — он говорил как понимающий. «Откуда ты это знаешь?» — «Да кто же этого не знает. Я только не знаю, где вы живете». Где, где — там же, где и все, кого чума обошла стороной. Зато в поколении детей, похоже, и самым благополучным пришлось кое-что повидать.

Но Аня верила, что в Юркиной душе что-то воскреснет, когда он вновь увидит те места, где был таким хорошим и счастливым. По-хорошему счастливым.

Однако Вильнюс ничего в нем не пробудил.

Хотя меры были приняты. Утром, дождавшись, когда попутчик вышел из купе (Витя совершенно не запомнил его лицо, поскольку от невыносимого стыда ни разу не решился на него взглянуть), Аня, тоже помертвевшая от стыда за ночное Юркино веселье, еще сильнее побледнев от непреклонности, отчеканила вполголоса: «Пока не пройдем паспортный контроль, ничего не получишь». Мрачный на отходняке, Юрка хотел было зарычать, но что-то сообразил и презрительно скривился — ну ладно, пожалуйста... А когда Аня удалилась в туалет, незаметно вытащил из ее сумочки серебристую пластиночку, мигом вздохматил ее и вновь ожил и завеселился. И ни у Вити, ни у Ани уже не возникло ни малейшего движения в чем-то его упрекнуть: виноватыми теперь могли быть только они сами — недоглядели. Они уже не чувствовали в Юрке той сердцевины, к которой можно было бы обращаться с упреками, в логике чумы вывод напрашивался единственный: сумку с химикалиями нельзя оставлять без присмотра, даже и в туалет лучше ходить с нею, а во время сна спокойнее всего класть ее под голову. Что Аня в дальнейшем и проделывала.

А Юрка веселился. Впуск в Литву происходил прямо на перроне. В долгой паспортной очереди Витя не поднимал глаз, а потому запомнил только зеленые Юркины кроссовки, которые как будто сами собой вышагивали то вдоль очереди, порываясь зайти слишком далеко, то поперек, когда возникал просвет и тетка перед ними начинала хлопотливо перетаскивать свои многочисленные сумки с пустыми, норовившими рассыпаться стеклянными банками. «Прекрати!» — шипела ему мраморно бледная Аня, и тогда Юрка

на некоторое время прекращал свои вышагивания и начинал обращаться к пограничным служителям на английском языке, в котором он сильно продвинулся в Тель-Авиве, — «а что такого, они собираются в Европу, так пускай осваивают язык международного общения!». Если бы не была нелепой сама идея каких бы то ни было объяснений с человеком, пребывающим во власти чумы, Витя напомнил бы Юрке, как в конце восьмидесятых тот ходил на все освободительные митинги у Друскининкайского собора и пожимал руки борцам помоложе: «За вашу и нашу свободу!»

Наконец-то выбравшись на простор, Витя с Аней одновременно поняли, что их любимый поезд-подкидыш, последовательно снимавший с долгожданного Друскининкай один прельстительный слой за другим (волшебная *Варена* — половина дороги, еще более волшебное *Поречье* — райское преддверье с нездешним польским вокзалом и гнездом аиста на бездыханной трубе), — что теперь и это наслаждение превратится в пытку. И оба одновременно подумали о такси, хотя еще вчера подобное расточительство им бы и в голову не пришло. Но в логике чумы они уже усвоили важнейшую истину: нет ничего драгоценнее хотя бы нескольких часов относительного покоя, — по автомобилю хотя бы бродить невозможно.

В такси Витя, скрепившись, переждал, пока Юрка наговорится по-английски и выпросит, есть ли на барахолке фирменные шмотки, а затем покосился на Юрку, чтобы проверить, не испытывает ли тот раскаяние, что вверг родителей в такие расходы. Юрка сидел развалясь, изображая американского миллиардера. С выражением надменной пресыщенности он прикуривал сигарету, щелкая зажигалкой, успевшей Вите осточертеть еще минувшей ночью: Юрка то и дело зажигал ее, чтобы разыскать на полу вновь и вновь рассыпаемые таблеточные запасы. Витя хотел сказать ему, чтобы он не курил, Аню и без того укачивает, однако тут же понял, что подобные мелкие обязанности с Юрки отныне снимаются.

Но человек, с которого ничего уже и не спрашивают, — человек ли он? Человек — это тот, кто может быть виновным.

И какая возможна вина перед тем, на ком не может быть никакой вины? Случалось, жизнь заставляла Витю говорить неправду, только он никогда не думал, что способен лгать *без смущения*. И кому — родному сыну, от любви к которому он изнемогал, казалось, еще вчера! Да вот только... Любимый сын бесследно растворился в прежней жизни, которой тоже словно бы и не было, а его место заняла ужасающе на него похожая живая кукла — бессовестная, алчная, лживая, злобная, слезливая — смотря на что ее пробьет или переclinит. И если эта кукла с мотающейся головой и заплетающимися штанинами шутовских клетчатых, хочется сказать, панталон (на здешнем уже толчке купленных, не забыла про наряды!), влачась мимо магазина, вдруг потребует пива, сам бог велит соврать, что денег с собой нет, все деньги у мамы, а до мамы нужно еще добрести, вот и отсрочка, а за отсрочки только и идет борьба — борьба, в которой ложь есть самое законное и естественное орудие.

Если твой сын со слезами на глазах вдруг говорит тебе срывающимся голосом: ты не думай, я все понимаю, я причинил вам очень много горя, но не нужно считать меня окончательно погибшим, — да я и не считаю, что ты, что ты, конечно же, вскинешься ты в ответном порыве — и тут же будешь пойман на слове: дай, пожалуйста, денег за сигаретами сходить. Нельзя же в самом деле оскорбить недоверием человека, который решил начать жизнь сначала. Который тем более, заметив твое сомнение, снимает: да, я понимаю, мне уже нельзя верить... Разумеется же, ты замахаешь руками: что ты, что ты, я верю тебе, верю — не беда, что в кармане как назло не нашлось мелкой купюры.

И что ты станешь делать, когда только что кающийся грешник заявит-ся вполпьяна, заранее кривя презрительную гримасу на ожидаемые твои

упреки (да и вообще, главное, мол, чтобы не героин), — ты возмутишься, оскорбишься, но все равно не обретишь уверенности, что на обманщика нельзя уже положиться *никогда*. С человеком не бывает «никогда», он может тысячу раз солгать, а на тысячу первый исправиться. Человек — но не кукла: куклы действуют по неизменной программе. Поэтому кукла, само собой, имеет право лгать людям, если так велит ее программа, — но и люди, само собой, вправе ей лгать — что же с ней еще делать!

Лгать, честно глядя в ее то бессмысленно пристальные, то бессмысленно бегающие глаза, с деланной серьезностью внимать ее речам, неизменно дураковатым независимо от того, на что ее пробило — на бахвальство, на оплакивание своей погибшей доли с проклятиями наркотикам и израильской полиции или на исповедальность, которая, как и все остальное, *ровно ничего* не значила.

И Витя только старался не встречаться с нею глазами, когда она начала распинаться в любви к переламывающейся в далеком Тель-Авиве «Милке» — одна, на чужбине... А какая она верная — робкая, робкая, а не боялась ездить с ним за *черным* к арабам. Хотя Витя старался не вслушиваться, ему все равно невольно представлялся бесконечный забор, за которым безмолствовала погруженная в непроглядный мрак арабская пустыня; в заборе мигала квадратная дыра, сквозь которую виднелись только принимающие шекели и выдающие белые пакетики руки, мерцающие в отсветах неугасимой печи, устроенной в железной бочке из-под арабской нефти, — в это жаркое пламя, если что, руки и швыряли весь товар. Плюс все деньги — пачки! — в которых могут быть меченые купюры. Система — «банкомат» — была такая надежная, что полиция особо на нее даже и не покушалась, но, бывало, выслеживала покупателей (детективов — на иврите «боляш» — русские называли беляшами), поэтому Милка везла пакетики с герычем не просто на себе, а в себе: имел право ее *там* обыскать чуть ли не один только президент Израиля. Но как-то полиция ворвалась среди ночи, все перерыла, ничего не нашла, однако за дырки на руках — «шахты» — надавала по морде: вот вам хваленая израильская законность!

Слушая всю эту мутоту, Витя нисколько не содрогался, ибо в содрогание его теперь могли привести лишь события ближайшей подступающей минуты. А сочувствовать, что Юрке когда-то ни за что ни про что (хотя на самом деле и за что, и про что) надавали по щекам, — как же можно сочувствовать кукле? Из ее уст Витя не хотел слышать даже трогательного — мало ли на что ее пробьет: «Я знаю, вы Милку теперь не любите за то, что она торчит, а она начала торчать, чтобы умереть вместе со мной». — «Женщины должны удерживать мужиков от их безумств — от водки, от драк, — это каждая джорка знает. А не квасить вместе с ними, не ломать для них колья из забора». — «Драк... Драг-калче. Я жертва молодежной субкультуры. Она тоже жертва. Если бы она мне попыталась не давать, ходила бы с битой мордой. Она и так била посуду, „к черту эти наркотики“, я ее выгонял, а потом сутки бегал по Тель-Авиву, разыскивал. Нас в основном она содержала — что я зарабатывал, что вы присылали, уходило в основном на кайф... Она зарабатывала тяжелым трудом, не проституцией!» — «Нам еще от этого надо отсчитывать?» — «Да! От этого! Здесь, кстати, — внезапный лекторский тон, — маковых планташек стало меньше, но в принципе можно было бы сварить: взять бошек сорок — семьдесят, разрезать, чтобы молочко вытекло на марлю, и варить с ангидридом, иначе приходник тяжелый. Но без кайфа нет лайфа».

Кайф, кайф, кайф, кайф, цепляет, растаскивает... «К герычу еще надо приколоться. От джефа сразу раз — и ты ангел, — (выражение благоговеющего восторга), — а от черного блюешь, только потом начинаешь въезжать. Но в основном глюки беспонтовые: кажется, что чайник поставил, дверь открылась, какой-то дешевый человек вошел, ты с ним говоришь про какие-то дешевые вещи...» — «Да, ради этого стоит отдавать жизнь». — «Нет,

иногда и с богом общаешься». — «С бородой?» — «Нет, без дешевых шуточек, в белом плаще. Но очень значительный. Но чаще просто кайфуешь — джаз, Джон Колтрейн, крикнул, кстати, от передозняка... Саксофон, иногда змея зеленая промелькнет... Кайф! Без кайфа не то. Что писалось под героином, то и слушать надо под героином», — это звучало как очень весомая мудрость. Хотя — голову на отсечение! — наверняка было враньем: наркотики превращают человека в аллигатора, — вообразить, как одни аллигаторы творят божественную музыку, а другие аллигаторы проникаются ею, может, уж во всяком случае, не тот, кто просиживал ночи с героиновой куклой. Кайф... Музыка должна создавать не расслабление души, а ее напряжение, додумался Витя — и устыдился, что в последние годы слушал музыку слишком уж размягченно.

Кайф выше секса, исповедовалась кукла: от героя же не стоит, так, раз в месяц, у Милки тоже снижается, у нее целый год не было менструаций. Но чем кукла по-настоящему изумляла Витю, так это тем, что при всем пренебрежении к сексу в ней — при угасшем стыде, угасшем достоинстве — и на миг не угасает жажда удовольствий. А что действительно приводило Витю в содрогание — это ее пухлые губы-присоски, уютно обхватывающие то край стакана, то край чашки, то пластиковую «соломинку», присоски, радушно разевающиеся навстречу мясным и рыбным блюдам, — аппетит у куклы был отменный, а возможности удовлетворять его безграничны: еще вчера набитые культурной публикой просторные столовые и тесные кафе теперь были почти пусты. Это было бы даже и впечатляюще, если бы Витю еще могли волновать подобные мелочи. Поражало его теперь только одно — кукла, к которой его приковала судьба, которую иногда все-таки пробивало и на рыдания о своей погибшей жизни, эта самая кукла в другие минуты и часы то беспокоится о здоровье (говорит о колбасе: нельзя столько сала, подолгу озабоченно разглядывает высыпавшие прыщи на лбу, удовлетворенно произносит «хорошо задавил», когда проспит часов одиннадцать), то алчет тупейших развлечений, может задержаться в такт случайной музыке из кафе или из окна, а по вечерам с угрюмой или приплясывающей неукоснительностью устремляется в недавно открывшийся ночной клуб, «найт клаб» (в этом слове Вите чудилось что-то ослабившееся).

Сидеть в ночном клубе — Витя не пробовал занятия бессмысленнее (он принципиально не брал даже сока, чтобы не могло показаться, что и ему здесь что-то нужно). Но — самая перемалывающая скука была ничто в сравнении с той стремительно нарастающей тревогой, с которой иначе пришлось бы половину, а то и целую ночь прислушиваться, не возвращается ли Юрка и в каком состоянии. А что, если снова исчезнет, как тогда, — и все выигранные дни пойдут насмарку. Да это еще и пережить надо, — нет, уж лучше три-четыре-пять часов (кукла-то готова оплывать хоть до утра) посидеть в душном мраке, где все мигает, трясется, музыка, если это можно назвать музыкой, вопит, воет, вдальбивает, надрывает... нет, надрываться может что-то живое, а это чистая механика; по стенам, по потолку скачут разноцветные зайчики, сам потолок то меркнет, то обретает фиолетовый тон — как крылья Юркиного носа, когда он начинает наливать беспричинной яростью... На стенах намалеваны нечеловеческие рожи, и каждой как будто плеснули в рожу из ведра, чтобы краски потекли. «Кислотная живопись», — орала в ухо кукла, и Витя догадывался, что кислота — тоже название какого-то наркотика, но какого — он знать не хотел. К тому же здесь все было устроено так, чтоб было невозможно ни думать, ни общаться. В дыму вспыхивали цветные лучи, своим узким концом каким-то непостижимым образом каждый раз попадающие в прожекторные головки, похожие на шлемы крошечных водолазиков, очень бойких, бесперывно дергающихся вверх, вниз, вправо, влево...

Он *плановой*, кричит в ухо кукла, указывая на козлородого молодого человека, с бессмысленной птичьей внимательностью разглядывающего вспыхивающий абсурд, — невольно задумаешься, какая сила заставляет этих несчастных довершать козлиной бородкой и без того козлиную внешность. Неугомонная кукла, пошатываясь, вся в бегущем разноцветном камуфляже, уже кричит козлородому в ухо что-то свойское, и козлорододый с готовностью начинает выкрикивать в пространство нечто похожее на лозунги болельщиков. «Мы, люди искусства, — переводит воротившаяся кукла, — должны изменять свое сознание». Ты машинально ей киваешь, киваешь — до полной очумелости, — и вдруг в потной духоте холодеешь от страха: кукла успела раствориться в этом пятнистом мраке, хотя только что вроде бы сидела, положив ногу на стул, пухлыми присосками потягивала ликер («Это для тебя лекарство?» — все еще пытался очеловечить ее Витя. «Не буду врать — кайф»), сетовала, что в Друскининкае не достать *планиу*, а на худой конец, *телки* или *жабы*, — и вот уже исчезла, улетучилась, что-то где-то разыскивает, может быть, опять героин...

А, нет — уф-ф... — вот она у мерцающей стойки бара в позе, претендующей на крутость, пытается что-то орать неприличному бармену — только в шаге от нее удалось расслышать: «Я побывал во многих подобных заведениях во многих странах мира». Кукла пыталась задать глупого форсу. Заметив Витю, злобно обернулась: «Что ты меня пасешь?! Да не сбегай!.. Как вы меня достали своим контролем!!!» Она почти рычит, она оскорблена как человек, ни единожды в жизни не солгавший. И тут выгоднее попросить у нее прощения — да что ты, мол, как ты мог подумать, — а то ей еще взбредет вломиться в амбицию, раздуть набрякающие фиолетовым грубые ноздри, начать требовать паспорт для бегства в Вильнюс, где можно достать любые психоактивные вещества... Может, все это и чистый шантаж, вроде без денег ей некуда деться, но какие суммочки она уже успела подтырить, какие шмотки способна проторчать — кто их, кукол, знает, сил принять новый риск после тех ночей в квартире мертвого алкоголика уже нет ни у Вити, ни у Ани, эти ночи сломили их волю.

Хотя... Витя с удивлением и тревогой заметил в своей душе странные подвижки — он начал понемногу недоумевать: а почему, собственно, он должен служить этой кукле? Только за то, что она как две капли воды похожа на исчезнувшего Юрку? Если бы Юрка потерял ноги, глаза, — боль Витиной любви к нему лишь удесетерилась бы, утысячерилась, для смягчения этой боли он только рад был бы жертвовать ему снова и снова. Но вот когда Юрка потерял душу... Неужто и в самом деле мы дорожим в любимом человеке прежде всего душой, а все, что нас вроде бы пленяет, умиляет именно в его внешности — глаза, губы, волосы, движения, — на самом деле мы ощущаем лишь внешними проявлениями его внутренней сути? Считается, что самое трудное — отдать жизнь; но ведь ту жизнь, которую теперь ведут они с Аней, тоже вряд ли можно назвать жизнью...

— Теперь мы попали в другой разряд — разряд глубоко несчастных людей, — с величайшей сосредоточенностью произнесла Аня. — И теперь мы должны научиться нести наше несчастье с достоинством.

Аня, как всегда, была права, но в этом ли заключается достоинство — в том, чтобы отдать себя на пожирание мерзкой кукле?

Вите уже случалось ловить себя и на более пугающих мыслишках.

— Покатайтесь на велосипедах, вы же это так любили... — подсказала Аня; недоговоренность легко угадывалась: вдруг в Юрке что-нибудь всколыхнется...

Велосипеды почему-то тоже пришли в упадок, но выбрать в прокате пару относительно исправных в конце концов тем не менее удалось. Сейчас помчимся, все-таки помигала глупая надежда возродить душу минувшего его имитацией. Но Юрка, с невероятной для былой его ловкости кособокостью пытаюсь оседлать норовистую машину, немедленно крупно за-

вилял, врезался в газон, побалансировал, попытался поймать землю ногой и рухнул, даже перекатился неуклюже, как дрессированный медведь: каждое движение он делал на полсекунды позднее, чем требовалось. Все понятно, брось, болезненно морщась, предложил ему Витя. Но на Юрку нашло упрямство, он собрался и покатил зигзагами, словно научился ездить час назад. Он вилял по обочине, а сзади с кошмарной быстротой его настигал красный «Москвич»: стоило Юрке вильнуть посильнее, и... «Стой!» — рванулся заорать Витя и вдруг с такой же кошмарной простотой понял: стоит Юрке вильнуть посильнее, и — и они с Аней свободны.

— Стой, тормози! — не своим голосом заорал Витя — и красный «Москвич» умчался, не натворив ничего ужасного.

Ужасного? Несомненно, когда речь идет о человеке. И даже когда речь идет о гадостной кукле. Но ради освобождения от нее в конце концов можно на этот ужас пойти, как идут на хирургическую операцию, — такой примерно открылась Вите пугающая глубь его души.

Хотя колкое семейство короля с короленками в коронах было на месте, душа Друскининкая от него закрылась наглухо, заросла, как ворота кладбища. Уж он и оторвался от Юрки, чтобы хоть на четверть часа забыть о кукле-кровопийце, и все равно, когда он промчался мимо нежной водной глади и углубился в высоченные сосенные коридоры, у него не только не захватило дух от счастья — какое уж нынче счастье! — но просто-таки ничего не шелохнулось. Зато когда при виде золотого от солнечных игл песчаного откоса в нем что-то все-таки стронулось, из глубины груди тут же ринулись зачаточные рыдания, похожие на кашель, пришлось притормозить и похватать ртом воздух, чтобы они унялись. А когда он немного успокоился, тогда и сосны, и песок, и хвоя снова сменились их бездушными куклами. Так что Витя был только рад, когда у велосипеда отлетела педаль и пришлось с ухищрениями добираться обратно до прокатного пункта.

Кукла уже поджидала его там, безмятежно пуская дымные кольца своими пухлыми присосками. На этот раз ее пробило на метафизику:

— А что, — рассуждала она по пути в гостиницу, — может, я через двадцать пять лет начну монашескую жизнь. Крещусь в Иерусалиме — самое крутое место. Крестик клевый дадут, если отмаксаешь.

— Хочешь бога купить? — не выдержал Витя: хотя бога, разумеется, и не было, Витя все равно считал, что к нему надо относиться серьезно.

— А фиг его знает, есть бог или нет. Но я все равно буду последним крестоносцем. Ты знаешь, какой лозунг ислама? Наше государство всюду, где стоит мечеть. Я поеду в Афган бороться с исламским фундаментализмом.

К этому времени Витя уже усвоил, что единственно разумный способ общения с куклами — не слышать, что они говорят, а лучше повнимательнее следить за бикфордовым шнуром их сигареты, чтоб не прожгли казенный диван. Но Аня не слышать так и не научилась. К тому же она, бедняжка, так все и пыталась при каждой — иллюзорной — возможности пробудить в Юрке что-нибудь прежнее: она никак не могла понять, что Юрки уже нет.

— Чтобы бороться с исламским фундаментализмом, надо уже сегодня начинать тренироваться, перестать пить, глотать таблетки.

Это было сказано с такой беззаветностью, что даже в куклиной ухмылке показалась благодущная снисходительность.

— Правильный человек у нас мама, да?

Хорошо еще, что не правильный чувак.

Мы в чем-то провинились, твердила Аня, но Витю это только сердило: в чем провинились те, чьи сыновья попали в когти чуме в разгар ее победного шествия по миру? Им не повезло, и больше ничего. И Быстровым не повезло. И... да кучу еще можно набрать. Нести свое горе с достоинством вовсе не означает наговаривать на себя всякую ерунду, нести горе с досто-

инством означает... А черт его знает, что это означает. Не позволять чуме пожрать те зоны, которые ею не затронуты... да вот только есть ли такие? Нет, конечно. Мучительным и безрадостным сделалось ВСЕ, это правда. Ну так, значит, надо отвоевать у чумы побольше, по крайней мере показать ей нос, попрыгать на одной ножке, припевая: «А мне не больно, курица довольна», — как это делалось в Бебеле, когда угостят камнем или ладонью по спине. Для начала нужно хотя бы высоко носить голову, не сгибаться под бременем боли. Витя так теперь и смотрел поверх голов, когда они с Аней, поддерживая с двух сторон болтающуюся куклу, шли обедать или выпить кофе: Витя настаивал на том, чтобы сохранить этот обычай, как будто ничего не произошло. Правда, поверх голов он смотрел больше от срама, но говорил себе при этом: а что, бывают же у родителей слабоумные дети, вот теперь и мы такие. Это горе, но не стыд. И все же это был стыд. Слабоумные тем более, хотя и мычат, и пускают слюни, но, наверно, не стремятся бесконечно класть ноги на стулья, не обращаются к раздатчице по-английски, не выражаются под лос-анджелесского ниггера. Впрочем, кто их знает, какие они бывают, слабоумные.

Тем не менее Витя досадовал, что у Ани сделалась совсем другая осанка — согбенная и обреченная, как будто она на промозглой остановке уже дня три дожидается безнадежного автобуса. Хуже того, что с нами случилось, говорила она, может быть только одно — сделаться родителями сына-убийцы: ведь наркоман все-таки убивает только себя. Да, и близких, конечно, тоже, добавляла Аня, неправильно истолковав его взгляд: Витя дивился высоте ее помыслов и желал, чтобы она хоть немножко разогнулась, перестала втягивать голову в плечи. Однажды он в виде ласки положил ей руку на плечико и поразился каменному напряжению ее мышц. «Расслабься, что ты так напрягаешься», — как можно более нежно шепнул он ей (кукла была в трех шагах), и она ответила еле слышно, но очень ответственно: «Мне так легче, иначе я начну заламывать пальцы или что-нибудь вертеть, я уже пробовала», — и Витя осознал, что и его самого почти до судорог мучит напряжение челюстей, как будто он борется с неотступной зевотой. Но стоило ему расслабить челюсти, как он начинал ловить себя на том, что тоже почти до судорог стискивает колени или прижимает к бокам локти.

Даже когда он смотрел на Аню, какой-то узел в нем не расслаблялся, как бывало раньше, а, наоборот, затягивался еще туже, требуя для своего ослабления уже не ласки, а коленапреклонения: когда Витя вспоминал об утрате, постигшей Аню, — *мать*, ему становилось не до себя, но и обычные нежности казались ему неуместными, он и в постели прикладывался к ней, будто к иконе; она отвечала обычными своими ласками, словно давая понять, что, если ему хочется, он может идти и дальше, но Витя умел понимать, когда что можно, а что нельзя. К тому же после трех-четыре-пяти часов в *найт клубе* в нем всю ночь продолжала греметь механическая музыка, не позволяющая ощутить что-то еще, кроме самой себя (да и постреливания во вздрагивающих пальцах тоже мешали). Волю Витя себе давал только с ее вещичками, пронзающими насквозь своей беспомощностью. Изредка оказываясь один в номере — идеальном: выйти из Юркиной комнаты можно было только через Витину с Аней, — Витя, воровато оглянувшись, доставал из тумбочки Анину косметичку, длинненький черный кошелечек, и, опустившись перед ним на колени, еле заметными прикосновениями перецеловывал никелированные ножнички, золотистый напильничек, изображавшее совершенную заурядность зеркальце в черной оправе, пластмассовую торпедочку с миниатюрным ершиком для ресниц, бирюзовую медальку под прозрачной крышечкой с надписью «waterproof» — *тени* для век... Витя лишь после этого обратил внимание, что веки у Ани теперь снова такие же молочно-белые, как тогда на копне.

Сначала он подумал, что Аня считает неправильным краситься в таких ужасных обстоятельствах, но оказалось, у нее теперь постоянно слезятся глаза. При том, что заплакать она себе ни разу не позволила!

А что она, бедная, все еще желала не мытьем, так катаньем пробудить в сменившей Юрку кукле несуществующую глубину — так Витя теперь и сам старался как бы на цыпочках забежать впереди даже самого бессмысленного ее желания, — чувствуя, что это будет окончательный ужас, если она вообще перестанет желать: пока желает — живет. Так что хочет она устроить прощальный вечер, «как раньше», в напоминающей киоск деревянной кафешке над обрывом, спускающимся к Неману, — ради бога, в *найт клубе* и не такое высиживали. Когда-то они все вчетвером — даже старший сын снисходил — к определенному часу стекались в эту дачную веранду для кофе с ныне исчезнувшим пирогом «Паланга», и Юрка у дверей прыгивал с велосипеда — ладный, оживленный... Но теперь-то Витя был не дурак давать волю подобным воспоминаниям, он навеки отсек от себя даже и любовь к Друскининкаю, потому что Друскининкай был неразделимо переплетен с растворившимся в гадостной кукле Юркой, теперь для Вити уже ничего не значили волшебные слова «kirpikla», «duona», «kavine», «vaistene» («воистине», когда-то шутил маленький Юрка. И милые «Лаздияй», «Лишкява»...). И все равно — сквозь все защитные слои так вдруг полоснуло по сердцу, когда увидел рядом с кроткой Аней за привычным столиком обмякшего, только что слюни не пускающего сына — не верь, помни: это уже не Юрка — кукла.

Сквозь дачные стекла был виден отшлифованный блеск струившегося Немана, алые отблески заходящего солнца, и это сочетание низкого солнца и вечерней воды, как всегда, коснулось так до конца и не заросшего нерва — Валерия... Но на этот раз прикосновение отозвалось лишь удивлением — неужто его когда-то могли волновать подобные глупости? Тогда как у него всегда была (и есть, есть!) возможность служить Ане, доставлять ей хотя бы те крохи, которые один человек в силах дарить другому! Какого еще рожна искать, когда есть возможность, изнывая от нежности и жалости, следить, как она подносит чашку к губам, как машинально поправляет волосы... Ты потеряла сына, это чудовишно, всем, чем мог, сигнализировал ей Витя, но все-таки не забывай, что у тебя есть я; да, конечно, это ничтожно мало, но ведь когда даже малозначительный человек готов отдать *все*, это, может быть, кое-что и значит, правда?

И вдруг — что-то грохнуло, что-то мелькнуло, — Витя ничего не успел понять, это был какой-то бред в бреду: перед глазами метнулась чья-то рука, невесть откуда прыгнувший мужчина рывком поднял Юрку со стула (стул с грохотом опрокинулся) — и вот он уже толчками гонит Юрку вон, пихает с дачного крылечка: «На улице будешь курить!» Вот этот-то небесный глас глубже всего и запечатлелся в Витиной душе — оскорбленная справедливость и омерзение, которые звучали в этом гласе. Сквозь ошеломление, испуг — сейчас Юрка кинется в драку, вызовут полицию (чувство некой глобальной Юркиной виновности заставляло поджимать хвост перед любой форменной фуражкой) — Витя все-таки успел заметить на напряженных лицах сидящих за столиками общее чувство — брезгливость, ту самую брезгливость, которая и сконцентрировалась в голосе карающего ангела.

Мимходом обратив к Ане успокоительный оскал, Витя поспешил наружу, чтобы удержать Юрку от какой-нибудь ответной выходки, но Юрка был настроен на удивление трезво: «В другой раз он точно получил бы от меня в пятак, но сейчас мне в полицию нельзя».

Бледная Аня была возмущена — зачем сразу хватать, толкать, достаточно же было попросить, она бы первая не позволила Юрке курить, если бы заметила, что он курит, но они с Витей так привыкли к вечной Юркиной

сигарете, что стали воспринимать ее чем-то вроде еще одного органа его физиономии. А Витя помалкивал: он понимал, почему у всех возникло желание не просто прекратить курение, но именно выбросить Юрку за дверь, — потому что он был *мерзок*. И когда до Вити дошло, что Юрка теперь омерзителен не только ему, но и *ВСЕМУ СВЕТУ*, он ощутил навсегда, казалось бы, забытый спазм невероятной жалости и нежности к этой никчемной безмозглой кукле, ощутил перехватывающий дыхание порыв защитить, укутать, унести ее прочь — именно потому, что у всех людей на земле она теперь способна вызывать одну только брезгливость, одно только желание двумя пальцами отшвырнуть ее подальше.

Оказалось, что это была все-таки не кукла, — это был все еще Юрка...

Насколько же легче жертвовать тому, кого жалеешь, чем тому, кем брезгуешь!

В очень прибалтийский серо-кирпичный пансионат их поселили на первом этаже в разных концах коридора. Другой неприятный сюрприз — на этом же этаже оказалась крошечная доцентша Волобуева из Аниной конторы. Единственное, что обнадеживало Аню, — Волобуевой тоже было что скрывать: не будучи замужем, она жила в одном номере с седеющим гривастым господином.

В первый день Витя настоял, чтобы Аня, у которой обострилось давнее сердечное недомогание, не ходила с ними: каторжники, прикованные к общему ядру, по возможности должны меняться, а Витя после инцидента над обрывом чувствовал в себе новый прилив сил.

Асфальтовая дорога до уединенного стеклянного магазинчика вела сквозь нежный золотистый соснячок, который — о чудо! — показался Вите даже веселеньким. А главная улица так почти за границей — открытые кафе за кафе с рекламой иностранных сортов пива на ярких зонтиках (музыки от соседних заведений накладывались одна на другую, однако все они были хотя и громкие, но все-таки человеческие). И еще Вите удалось на полминутки вытащить Юрку к блистающему морю — «на фига оно мне, море» — со стройными рядами белоснежных барашков за косым песчаным пляжем. Из-за резкого холодного ветра никто не купался, отчего картина казалась еще чище, — вот это, стало быть, и есть *Паланга*. Однако Юрка по-прежнему был не склонен для звуков жизни не щадить и влек куда-то Витю расслабленно, но целеустремленно. И на какой-то поперечной аллее словно бы нашел, что искал.

Среди небольшого, но плотного скопления публики очень молодой человек, обтянутый хромовыми штанами и украшенный пшеничным гребнем, демонстрировал, вероятно, несложный, но эффектный фокус: набирал в рот светлой жидкости из бутылки и прыскал ею на тряпочный факел, выдувая большие огненные клубы. В аллее ветра не чувствовалось, на солнце было довольно жарко, так что лицо молодого человека выглядело потным, усталым (к тому же и подавали не густо), а потому сравнительно благородным. Вдобавок его окружал трудовой запах тракторного выхлопа.

Насмотревшись на клубы, надышавшись дымом, Витя уже сыпанул молодому человеку какой-то мелочи, но Юрка стоял как вкопанный: «Сейчас, сейчас». Дождавшись перерыва, Юрка приблизился к факиру и вполголоса заговорил с ним обрывками фраз; Витя засмутился подойти поближе, но и оттуда, где он стоял, было видно, что это именно обрывки. Где-то здесь поблизости за деревьями прячется панк-бар, удостоил поделиться Юрка, и Витя понял, что именно туда Юрку и влекла неясная мечта.

С приближением темноты там они и оказались. Панк-бар — кубический о двух рядах окон кирпичный сарай с полуотбитой штукатуркой, на которой трехметровыми буквами было нацарапано международное слово «FUCK». Внутри в багряных разливах вечерней зари и пока еще неярких отсветах керосиновых ламп разливали шипучее пиво в прозрачные пласт-

массовые стаканы; выдавшие виды дюралевые столики, крытые голубым пластиком, были явно списаны из какой-то советской столовки. Стены были тоже разрисованы угольными рожами, однако центром композиции служил гигантский коровий зад с грубым, но очень достоверным выменем, вздыбленным хвостом и вывернутым подхвостьем. Витя не успел оглянуться, как Юрка выцыганил у него два стакана пива («лишь бы не героин») и вступил в переговоры с молодым охранником в облегающей черной майке, поверх которой были рассыпаны жидкие золотые пряди. Не смущаясь Витино присутствия, на травке у облупленной стены они вели разговор о травке (попутно Витя узнал, что гашиш зовется гашеком). «Ну вот, ну вот», — через слово подытоживал Юрка. Наконец, довольные друг другом, они символически состукнулись кулак в кулак, и появился еще один молодой человек с усиками, сразу взявший быка за рога: «Откуда я знаю, может, вы менты?» — «А ты сам похож на мента, — вгляделся в него Юрка и закатился дробным идиотским смехом (а японские его глазки-то совсем заплыли). — Мы их зовем усатенькие». Однако для скрепления союза тут же явилась бормотушного обличья бутылка, к которой Юрка присосался надо-олго дольше других...

«Как же я его поволоку... Еще и Волобуева...» — тревожно стукнуло Витино сердце. Волобуева, похоже, уже при первой встрече оценила застарелую Юркину нетрезвость и взвесила равноценность их секретов. Ладно, главное — не героин.

Тем временем из кустов, из-под деревьев, где все гуще сосредоточивала силы для скорой атаки наступающая ночная мгла, кучками, кучками к своему облупленному капищу стекались панки. Мелкие, на тоненьких черных ножках — узенькие черные брючки закатаны выше высоких черных ботинок, — с крашеными гребнями и чупринами, составлявшими единственное различие полов, с болтающимися руками, болтающимися головами, бестолково галдящие, с беззлобными, но дураковатыми физиономиями, сейчас они были источником какого-то соблазна для Юрки, а потому внушали острую антипатию. «Лучше панковать, чем предаваться буржуазной роскоши», — с театральным презрением скривил губы Юрка, заметив его взгляд. Да, это как раз про них с Аней, это же они разъезжают по роскошным курортам, таскаются по ночным клубам... «Я все это хотел бы взорвать. Как Ленин в Цюрихе», — гордо прибавил Юрка.

Дальнейшее в Витиной памяти было словно залито растекшейся из-под кустов завладевшей миром тьмой. Запомнилось только, как силуэты панков и Юрка вместе с ними в кровавом свете луны сидят в кружок и по очереди вдыхают дым через пустую пластиковую бутылку, которая, как успел ему сообщить Юрка, в данной функции именовалась «бонг». Витя стоял под лозунгом «FUCK» и терзался сомнениями, правильно ли он поступает, не препятствуя Юрке курить эту нечисть вместе с другой нечистью, — или в его силах вызвать только скандал, а толку все равно не добиться?.. И все-таки эта пакость лучше героина...

Страшный лес, страшная луна, страшная музыка из трепещущих окон, черные панки шатаются, обнимаются, кувыркаются в траве, елозят на карчках — и все это происходит в действительности!..

Значит, и такой она может быть, действительность...

Когда Витя, мотаясь в непроглядной тьме, волок Юрку к пансионату, совершенно не уверенный, что движется в правильном направлении и что их впустят внутрь, а не вызовут полицию, утративший чувство, что имеет дело с куклой, Витя горько спросил: «Зачем же ты это делаешь?» — и Юрка ответил неожиданно трезво и даже педантично: «Мир может быть обломен, а может быть — приколен».

Как ни странно, утренние часы в Паланге протекали не без некоторой даже идилличности. Переживающий отходняк Юрка был мрачен, но поко-

рен. Аня, все более воспаленно верующая, что Юрку спасет красота, усиленная свежим воздухом, вела свое семейство на ветреный берег моря: любуйся — видишь, какая красота, дыши глубже — чувствуешь, какая свежесть, только что не вслух призывала Аня, и Юрка в ответ даже не рычал. Затем шли в пансионат пить растворимый кофе со сгущенкой (во времена дефицита Аня возила сгущенку из Прибалтики целыми побрякивающими боекомплектами), а потом расходились по комнатам почитать до обеда. Аня настаивала — спасительная красота! — чтобы Юрка каждый день прочитывал по несколько стихотворений Пушкина (том «Избранного» она предусмотрительно захватила с собой). От стихов Юрка отказывался, но вяло перечитывал «Капитанскую дочку». Мелодрама, морщился он. Правда, написано клево. Только психологии мало... Видали его — психологию ему подавай. Но, может быть, это хороший признак — признак очеловечивания монопрограммной куклы?

За обедом Юрке разрешали выпить бутылку пива. Он настаивал на двух, Аня, можно сказать, льстиво (куда только девалась ее всегдашняя твердая ясность!) упрашивала подождать до ужина — иногда это у нее получалось. Даже пить нужно красиво, убеждала она, вечером пойдем в кафе, послушаем музыку... Музыка приходилось слушать не одну, а целых три, но — все три человеческие. Аня старалась быть элегантною, оживленной, словно ничего не случилось; заказывала относительно легкие напитки — иногда ей даже удавалось втянуть и Юрку в эту игру. Нельзя, конечно, сказать, что он соглашался полностью заменить водку на мартини — он предпочитал совмещать приятное с полезным, — но уже одно то, что он начинал потягивать, а не заглатывать, позволяло затянуть процедуру до темноты, когда уже можно вроде бы и спать, а не колобродить.

Он и отправлялся спать. Он был готов на компромиссы. Аня просила его ночью (вдобавок нетрезвым) не ходить по коридору и тем более не стучать, поэтому Витя обреченно ждал, когда за стеклянной балконной дверью появится призрачная фигура. У Юрки было два козыря: козырный король — повышение голоса (Аня сразу же пугалась: тише, тише, услышат соседи) и козырный туз — угроза скрыться в ночи, — а что, вписка у него есть (где-то на крыше, где живет огнедышащий). Его требования были скромными — две бутылки пива. Только две, он обещает. Правда, самого крепкого. Аня убеждала его потерпеть до завтра — выходить по ночам теперь очень опасно! — Юрка не соглашался, он готов был и сам прогуляться за пивом, но страх, что он растворится в ночи, отправится куда-то еще... Чем ждать, Вите было гораздо легче пробежаться до горящего в ночи аквариума уединенного магазинчика.

Во мраке магазинчик оказывался намного дальше, чем днем, — равно как на слабо фосфоресцирующем асфальте обнаруживалось намного больше выбоин и шишек, и Витя испытывал легкое удовлетворение от того, что глаза его были защищены стеклами. И в целом ему было чем дальше, тем лучше: во-первых, все это время, пока он в пути, Юрка не пьет, а ждать он может, не скучая и не раздражаясь, сколько угодно, если точно знает, что в конце неизбежно явится вожаемое *вещество*; во-вторых же, в движении скоротать ночь гораздо легче и приятнее, чем в сидении с оплывающей куклой (образ куклы понемногу начал стучаться обратно). Хулиганов Витя не боялся, Прибалтика все-таки, но тем не менее старался поменьше топтать. И лишь однажды его ослепила легковая машина, проехала, остановилась. «Брат!» — воззвал от нее кто-то незримый, но Витя, не откликаясь, продолжал быстро идти прочь: если бандиты, пускай сами догоняют, а если хотят спросить дорогу, так Витя ничего здесь не знает.

На фоне, конечно же, неотступной тревоги и безнадежности Витя возвращался с таким прочным чувством сделанного дела, что, наградив Юрку бутылками, довольно быстро засыпал, не беспокоясь о том, что через два-три часа его скорее всего снова разбудит стук с балкона. При виде поша-

тывающейся призрачной фигуры за стеклом он, правда, в первый миг все равно немного вздрагивал, но быстро переходил к простому и понятному делу, а ему хотелось иметь побольше таких дел, которые точно получатся: тоже через балкон Витя бежал за добавкой, даже и не думая начинать какие-то попреки — ты же, мол, обещал, что с тебя хватит двух бутылок, и так далее: трусить по холодной ночной дороге гораздо приятнее, чем пререкаться. Что всерьез беспокоило Витю — Аня почти перестала спать. Иногда он слышал сквозь сон, как она осторожно поднимается, потом снова ложится, дыша корвалолом... «Почему ты не спишь?» — с обеспокоенной нежностью спрашивал Витя, и Аня вполголоса отвечала: «Спи, не разговаривай, а то и ты не заснешь. — Но все-таки прибавляла: — Жду — неужели и в этот раз обманет?» — «Прими таблетку». — «Я уже приняла».

Только Аню с ее высотой могли до сих пор волновать моральные вопросы — обманет, не обманет... Перед Витей стояли проблемы попроще: а не припрятать ли бутылки под окном, чтобы каждый раз не бегать, а переждав подобающее время, явиться с пивом, как будто ты его только что купил. Витя и припрятал пару бутылок в кустиках. Но они ночью оказались такими царапучими (слава богу, глаза были защищены очками), такими неотличимыми друг от друга... Пока Витя разыскивал бутылки, ему уже казалось, что вот-вот забрезжит утро, но когда он перевалился через балконные перила — «Ты что, с кем-то дрался? — встревожилась Аня. — У тебя царапина на шее». «Как ты так быстро вернулся?» — вытарашил свои заплывшие японские глазки Юрка.

Без серьезной необходимости лучше не врать. Но Анина бессонница — это была серьезная необходимость, Аня по утрам бывала такая бледная... Витя подумал-подумал и решил подмешать Юрке в пиво Анину снотворную таблетку. Он попросил ее вроде как для себя, он знал, что Аня будет против подобных бесчестностей, потому украдкой растолок и завернул в бумажку. А когда пришла пора тащить для Юрки внеурочное пиво, он открыл его заранее припасенной открывашкой, сделал три-четыре глотка, в свете магазинного аквариума осторожноенько сыпал порошок в горлышко и снова напялил помятую крышку.

И правильно сделал — ему не удалось скрыть от Юрки, что бутылку уже открывали. «Я по дороге сделал несколько глотков, что тебе, жалко?» — укоризненно спросил Витя, и Юрка, всегда резко добреющий с появлением выпивки, смешался: «Да пожалуйста, пей». «Так потерпел бы до дома, выпил бы из стакана», — подивилась Аня, чувствуя, что чего-то не понимает. «Недотерпеть было, ужасно пить захотелось», — развел руками Витя, и Юрке пришлось выпить откупоренную бутылку у них в комнате. «Странный какой-то вкус», — заплетающимся языком поделился он. «Да, я тоже заметил», — согласился Витя.

Можешь спать спокойно, гордо объявил Витя, на цыпочках проводив Юрку по спящему коридору. Аня не одобрила: «Если он нас обманывает, это не значит, что и мы можем ему уподобляться. Тем более, что он и сам страдает». — «А то мы не страдаем». — «Мы расплачиваемся за какую-то нашу вину».

Витя даже промолчал, чтобы не заголосить двумя октавами выше обычного. Главное — Аня проспала до восьми часов. А Юрка вообще заспался, можно было выйти прогуляться вдвоем — они целую вечность нигде вдвоем не бывали.

Витя уже понял — жить нужно минутами: сейчас, в данный миг, тебя не мучают? — вот сейчас и живи. А начнешь думать о будущем — так оно у всех ужасное, только у одних через десять лет, у других через год, а у тебя через час, но в принципе никто не должен заглядывать слишком далеко, иначе никогда не сможешь вдохнуть полной грудью. Витя на берегу дышал с облегчением, и Аня, кажется, наконец разжала свои съезженные плечики.

Вот, стало быть, они и прожили полчаса. А в их отсутствие Юрка через плохо закрытую балконную дверь пробрался в их номер и выпил весь Анин корвалол. После этого — виновато *вещество*, а не человек — ему уже не оставалось ничего другого, как вытащить из Аниной сумочки деньги и отправиться за водкой. Так что, когда они вернулись с прогулки, он был не просто пьяный — он был совершенно одурелый, хотя бутылка с черной пиратской наклейкой оставалась еще примерно на треть наполненной ненавистной прозрачной жидкостью. Из-под бутылки пытался вспучиться мятый лист, на котором сантиметровыми буквами было написано: «Прошу вас, отпустите меня! Так будет лучше и для вас, и для меня! Я мертв! Я хочу торчать, торчать и торчать, и вы с этим никак не справитесь! PLEASE LET ME GO! Ex-your son. P. S. Все равно побегу». Юрка требовал паспорт — «я гражданин Израиля, я буду жаловаться в полицию!» — но тут же про него забывал, начинал с величайшей сосредоточенностью соскабливать ногтем пятнышко с клетчатых ниггерских джинсов. Его паспорт, кстати, Витя, постоянно его сопровождавший, на всякий случай всегда носил с собой.

«Ну конечно же, мы виноваты, — обратила Аня к Вите искаженное страданием лицо. — Мы с чего-то вообразили, что имеем право развлекаться». Не в ту же минуту, но ей сделалось нехорошо, она прилегла на казенный диван, и Юрка с горестным возгласом: «Жалко мамочку!» — вновь присосался к бутылке и дососал ее со скоростью унитаза. После этого он окончательно перешел на английский язык. Он всегда гордился, что умеет выговаривать, как настоящий ниггер, — «нига», — и, может быть, поэтому в непрожеванном потоке его речей Витя ухватывал только «фак», «мазэфакин» и «шит», произносимое на одесский лад — «шит».

Аня знала лишь одно средство против пьяной одури — закуску, так что в эти недели исхудалый Юрка разбухал на глазах. Бухал и разбухал. Она и на этот раз с усилием поднялась и начала готовить чай, бутерброды... Разумеется, только что вскипевший чай оказался слишком горячим: Юрка сделал глоток и с проклятием («Фак!») выплеснул чай на пол. «Не будь свиньей», — сдержанно отозвалась Аня. «Да пошли вы...» — Юрка договорил до конца на чистейшем русском языке и, шатаясь, ринулся в дверь, затопал по коридору. «Беги за ним!» — перекошенно (в страшном сне не мог бы представить ее такой!) крикнула Аня, и Витя неловко рванул с места, в коридоре едва успев кивнуть застывшей в изумлении Волобуевой.

Юрка встретил его со сверкающим ножом в руке — на днях исчезнувшим ножом, самым острым в Анином хозяйстве. Юрка приставил острие к своему боку и вызывающе затребовал: «Хочешь, воткну себе в печень? Думаешь, не смогу?» Сможешь, сможешь, приговаривал Витя, осторожно отнимая у него нож и не зная, что с ним делать дальше. К счастью, Юрка начал долго и тупо шарить под деревянной кроватью, и Витя ускользнул в ванную. Лихорадочно обыскав ее взглядом, он засунул нож под плинтус, да так удачно, что впоследствии не смог его извлечь. Когда Витя вернулся в комнату, Юрка пил из горлышка пиво — запасливый, под кроватью у него, оказалось, поблескивала целая батарея. Витя хотел было воспрепятствовать (а как? драться с ним, что ли?), но решил лучше позволить ему пить, пока не отрубится. А до тех пор надо было набраться терпения и ждать. И Витя ждал. Ждал (нудно уговаривая), когда Юрка пытался сам себя удавить полотенцем, когда пробовал повеситься на шторе, когда торжественно возглашал: «Жизнь без наркотиков слишком пресна, она не стоит того, чтобы ее прожить», — и когда начинал рыдать: «Тысячи шмыгаются героином — и ничего!»

Наконец, уже полуотрубившийся, с падающей головой, Юрка начал прижигать руки сигаретой, оставляя круглые сморщенные ранки. Витя ждал. Заглянула Аня, успокаивающими жестами Витя выводил ее в ко-

ридор и там быстро набормотал, что все, мол, в порядке, он ее позовет, когда устанет, им нужно беречь силы, сидеть с безумцем только по очереди.

И они действительно сменяли друг друга, а часы сменялись часами, дни днями, а если судить по Витиному внутреннему часовому механизму, то и недели неделями. Временами безумец, ни на кого не обращающий внимания, или дремал, свесив голову (и бунтуя при малейших попытках его уложить), или бродил по комнате, швыряемый из стороны в сторону, иногда со всего роста обрушиваясь на пол, который (или голова) аж звенел от этих ударов. Аня в свою смену пыталась его удерживать, а Витя уже только ждал. Тая в глубине души нелепую надежду, что какой-нибудь особенно болезненный удар хоть немного образумит сумасшедшего. Вот он, бесцельно кружась по комнате, рушится на стол, ударяясь лицом и грудью в бутылки. Они раскатываются по комнате (ночь, что там думают соседи?..), но ни одна не разбивается. А он надолго замирает на столе. Потом начинает медленно шевелиться, как водолаз в свинцовом костюме, переваливается на бок, скатывается на пол, замирает на полу. Затем приподнимается и снова шарит под кроватью. Витя уже не пытается его отговаривать — начнет мычать проклятия, угрожать перебить все стекла... Пусть лучше пьет, свалится же он когда-нибудь окончательно!

Он и сваливался, иной раз затихал на пять, на десять минут — в эти минуты Витя иногда пробовал дремать сидя (после одного особо жуткого инцидента лечь он уже не решался), а иногда смотрел на ворочающееся на полу существо и твердил про себя: исчезни, исчезни, исчезни... Он уже не испытывал ненависти к нему, он только хотел от него освободиться. Кажется, если бы не Аня, Витя бы уже дозрел до того, чтобы бросить все, как есть, — пускай пьет, пока не сдохнет. Или не сдохнет, проспится, возьмется за ум, так даже лучше, но лично ему уже все равно.

Аня подменяла его то днем, то ночью — бледная до голубизны под глазами, однако собранная и целеустремленная, она говорила, что в тридцать седьмом году следователи прежде всего не давали своим жертвам спать, чтобы сломить их волю, проспавши хотя бы два часа, человек воскресает, а она спала больше, так что будет только разумно, если Витя ей уступит, его здоровье тоже общее достояние, и Витя сначала слушался (от неизменности невесть откуда взявшихся стен он сам начинал трогаться рассудком), но после того случая... Витя тогда еще позволял себе ложиться и закрывать глаза. Вдруг он почувствовал, как существо шарит по его груди, пробираясь к горлу, и вкрадчиво бормочет: «Я киллер, мне тебя заказал Лужков. Стань смирно, у тебя есть тридцать пять секунд. Или я начну тебя бить».

Стать смирно Витя не стал, но сел и больше не ложился, внимательно поглядывая на куролесящее существо, в любой момент готовый сорвать очки и защищаться. Аню же пустить на свое место он теперь не согласился бы ни за что на свете.

Постепенно существо израсходовало весь свой подкроватный запас, и понемногу, час за часом (или день за днем), к нему начало возвращаться нечто, напоминающее разум, взгляд становился более осмысленным, а поиски более целеустремленными: оно переворачивало подушку, выворачивало наволочку, заглядывало под матрац, но не находило упертых у Ани денег, которые у Вити было более чем достаточно времени обнаружить и изъять из-под подушки. Решившись ненадолго оставить Юрку запертым, Витя даже ходил советоваться к Ане, опасаясь, что она не одобрит такого бесцельного шага, но Аня, еще больше побледнев, произнесла словно бы жертвенно: «Да, это нечестно, но мы *обязаны* это сделать». И теперь — все как назло — исчезновение денег дошло до Юрки именно тогда, когда Аня в очередной раз пришла с предложением сменить Витю на его боевом посту.

— Уккрали... — потрясенно повернулся к ним Юрка, и его сильно шатнуло. — Вы уккрали... Ну, от ввас я не жждал...

— Мы не украли, а взяли то, что нам принадлежит, — с достоинством произнесла Аня.

— Уккрали... — не слушая, продолжал потрясаться Юрка — и вскинулся: — Ггоните обрытно! Ггните, слышли?!

— Это не твои деньги.

— А я грю — гните бабки!

Гните бабки, гните бабки, гните бабки, гните бабки...

Это не твои, это не твои, это не твои, это не твои...

— Нне хтите?.. Ланно, я возьму ззэложников!

Довольно уверенно он шагнул к Ане и обхватил ее красиво полнеюшую шею двумя руками, как если бы собирался ее душить.

— Нну, этдэдите?!.

Витя, словно во сне, почти без усилия оторвал одну его кисть и заломил ее запрещенным болевым приемом.

— Дыззюдэист хренов! — застонал Юрка, вслед за рукой припадая на колено. — Ланно, я и без ввас дэстэну ббэбки! Пстите меня, где кключ?

Ключ был у Вити в кармане, и он уже приготовился к очередным нудным уговорам, но Юрка вспомнил, что бессчетное количество раз выбирался через балкон, и, пошатываясь, побрел к балконной двери. Витя забежал вперед и стал у него на пути. Но Аня внезапным повелительным жестом указала ему в сторону:

— Пусти его, пускай убирается! — Она была потрясена, что родной сын хватал ее за горло. Не привыкла еще...

— А-а, хтите, чтоб меня без пспрта в ментуру загребли! — раскусил Юрка ее хитрость. — Ггните пспрт, ввы нне иммейте прэва, я ггрэждэнен Иззрэиля!

— Ложись спать, когда проспишься, я отдам, — заверил его Витя. Он был против того, чтобы делать благородные жесты, когда имеешь дело с сумасшедшим. Если бы тот шагнул с балкона и пропал навсегда, Витя бы еще подумал, но ведь никуда он не денется, придется снова ждать, когда он появится и в каком виде, а уехать без него Аня наверняка не решится... Нет, выгонять можно только всерьез и навсегда, но — он чувствовал — Аня еще не готова до конца следовать своему порыву. И будет ли когда-нибудь готова?.. Да и готов ли он сам?

— Нне ххчу спэть, псти! — Юрка начал отпихивать Витю, и Витя понял, что сейчас начнется борьба, ломаная мебель, битые стекла.

Он отступил, и Юрка, пошатываясь, начал поворачивать дверную ручку. На улице был не то поздний вечер, не то раннее утро. И в этот миг Витя представил их с Аней часы, а то и дни ожидания, и — он молниеносно сунул очки в карман и охватил Юрку сзади, намертво стиснув его горло локтевым сгибом, а чтобы Юрка не сумел достать его ниже пояса, поднял его поперек спины, продолжая душить, невзирая ни на какие извивы и барахтанья. Решимость его была неколебима — у него не было выбора. «Что ты делаешь, ты его задушишь!» — кажется, кричала Аня, но он не понимал, что она говорит. Когда бьющееся на нем тело окончательно обмякло, он осторожно, чтобы не стукнуть головой, опустил его на пол.

— Господи, ты его задушил! — заламывала руки Аня, но Витя по-прежнему ощущал неколебимую решимость, согласную страшиться только того, что уже случилось.

Юрка открыл глаза и посмотрел на него суровым пристальным взглядом.

— Если ты двинешься, я тебя убью, — твердо пообещал ему Витя, и Юрка поверил.

— Все, все, я ложусь, — заторопился он, но все-таки прибавил: — Если ты меня убьешь, тебя посадят.

— Ничего, это будет убийство при самообороне — ты пьяный, я трезвый, мне поверят, и мама подтвердит.

— Какая же ты сволочь!.. — Юрка не верил своим ушам.

— Да, я страшная сволочь, и ты пожалеешь, что меня до этого довел.

В Питере Юрка пришел к нелицеприятному выводу, что всему виной *синий*, который напрочь сносит башню, — все, нужно окончательно переходить на *план*: главное, чтобы не героин, а марихуану курят все левые интеллектуалы Запада.

И вот уже, развалясь на скрипучем диване алкоголика, своими пухлыми губами Юрка присасывается к толстой самокрутке, распространяя дикой степной запах какого-то ни на что не похожего дыма. «Планцу, — благодушно поясняет он. — Золотое когда-то было время у нас с Милкой: любили и курили».

А вот в пять утра длинный, хулигански длинный звонок — на лестнице в лихих малиновых беретах два милиционера с молодыми, совершенно непьющими лицами — в последнее время Витя стал обращать на это внимание, — и Юрка между ними, уронивший голову на перила. Один из беретов, белобрысый, без ресниц, предлагает полюбоваться бумажным паке-тиком — что-то табачно-толченое, с недотолченной ветвистой структурой, бредовое: марихуана, до четырех лет. Сейчас мы его отвезем в «Кресты», через два месяца суд, наберется ума. «Кто же в тюрьме набирается ума! — Как умело с места в карьер сахарно-белая Аня переходит к мольбам. — Он же не преступник, он просто дурачок». — «Нарушил закон — значит, преступник». — «Но, может быть, какой-нибудь штраф?..» — «Это не для штрафа, это для срока». — «Скажите, — Аня принимает прицельный снайперский вид, — триста долларов на двоих вам хватит?» Они соглашаются, даже не поломавшись для виду, — уф-ф... Аня отсчитывает последние купюры, но, как она любит повторять, это всего лишь деньги.

Когда дверь захлопывается, они вдвоем бездыханно опускаются на диван алкоголика. Они даже не пытаются что-то говорить, укорять — да он же и знал все заранее, триста бакинских у них такса, у них такая охота. Взяли на кармане, он бы мог выбросить в канал, но тогда бы избили, он и решил лучше откупиться.

Через пять минут он уже спит. Витя уговаривает Аню тоже лечь: просто полежать с закрытыми глазами — это все равно отдых. А для него лучший отдых посидеть, пораскинуть мозгами над новой модификацией своего же замка.

Назавтра Юрка через дверь наблюдал, как Аня стирает его в чем-то об-валянные штаны.

— А почему вы не купите стиральную машину, в Израиле есть такие: утром бросишь — вечером готово.

— У нас никогда нет трехсот долларов *для себя*, — иронически оборачивается к нему потная Аня.

— А вы кредит возьмите.

Аня по-прежнему не спала, а для Вити сон превратился в мучение: сначала заснуть мешают электрические разряды в пальцах, изводят где-то услышанные песенки, ужасающие могуществом неправдоподобной человеческой бездарности, — бессмысленно повторяемое: «Я жду тебя, поезда» — или: «Уа, уа, любила, так любила, уа, уа, забыла, так забыла». Даже когда Витя пытался целовать Аню, эти песенки не выпускали его из своих липких когтей. Но было еще хуже, когда в голове начинал звучать детский Юркин голосок: «Я игаю на гамоське у похожис на виду»...

А когда он все-таки засыпал, его начинали преследовать не кошмары, но очень тягостные видения: то в каком-то облицованном розовым мрамором бескрайнем метро он бродил из туннеля в туннель и никак не находил нужную станцию, то так же безвыходно таскался по элегантному европейскому кладбищу и, приглядевшись, замечал, что на полированное гранитное надгробие натянута плавка. А то еще ему снилась незнакомая женщи-

на под одеялом, покрытым толстым слоем похрупывающего, как крахмал, героина, который Витя так еще ни разу и не сподобился лицезреть. Сугробы героина были щедро посыпаны марихуаной, словно петрушкой, и какие-то люди ели его ложками, а вместе с ними в пиршестве принимали участие и коты. Они вылизывали героин острыми розовыми язычками и стонали от наслаждения.

Вспомнилось: Юрке лет десять, очаровательный япончик; на внутренней стороне локтя у него высыпали какие-то прыщики. «Что это у тебя, сыночек?» — беспокоится Аня. «Я колюсь», — скромно отвечает он.

Неизвестно почему Юрка вдруг согласился пойти в наркологический диспансер. То говорил, что там сразу ставят на милицейский учет, а потом приходят с обыском, что в тамошнем стационаре переламывающиеся наркоманы с утра до вечера талдычат исключительно про кайф и этим растусовывают друг друга, что, когда стемнеет, открыто толкают героин, а персонал не то запуган, не то подкуплен, — говорил, говорил и вдруг согласился.

Еще в вестибюле пахло бедностью и горем. Вдоль обшарпанных стен стояли ряды стульев с вращающимися фанерными сиденьями, какие Витя в последний раз видел в бебельском клубе. На сиденьях покорно ждали немолодой, располагающей внешности конфузющийся мужчина с опухшим красным лицом и немолодая же высохшая женщина, безнадежно глядящая перед собой. В сторонке с торжествующе-потасканным видом сидела вульгарно намазанная девица, сразу же устремившая на Витю сонно-распутный взор, соблазнительно заложив ногу на ногу (с коленки просияла дыра на колготках). Еще две женщины, видно было, что поймали в дверях третья, которая им сочувствовала, но ничего обещать не могла.

— Значит, мне остается только ждать, когда он умрет, — полуутвердительно-полувопросительно говорила одна.

— Что вы такое говорите, вы же мать, — пристыдила ее другая.

— Все из дома повытаскано... — не слушала ее первая.

— А я вот верю, что он меня не предаст, — настаивала вторая.

«Не предаст»... Не знаешь ты, что его уже нет.

Доктор Попков — лысенький, утомленный — говорил так, как говорила бы истина, — хотите слушайте, хотите нет: печень раздулась, легкие ссохлись, селезенка вовсе отсутствует... Витю чем-то отдаленным теперь испугать было трудно, но Юрка посерьезнел, посерьезнел... А анализ на СПИД сдавал уже с явной тревогой — вспомнил один баян на всю колоду.

Попков с тем же объективизмом — хотите слушайте, хотите нет — заговорил о кодировании: кодирование объединяет клетки мозга в определенную систему, отвергающую наркотики и алкоголь, у одного закодированного пациента жена тайно от него хранила запечатанную бутылку коньяка — и он начал приволакивать ногу. От употребления же может случиться и полный паралич, а вы хотите верьте, хотите нет. Подшиться тоже не помешает, можете зайти в воскресенье в поликлинику такую-то, кабинет такой-то.

Поликлиника как поликлиника, пустая и гулкая по случаю выходного дня, Витя с Юркой ждут возле аудиторного стола, предназначенного для анализа мочи. Они ждут, ждут, ждут. «Надо позвонить маме, чтоб она не волновалась», — говорит Витя. «Если мне на себя наплевать, то на других тем более», — с циничной горечью усмехается Юрка, опухший, в красных точечках алкаш. «Ну и другим на тебя тоже», — думает Витя, но по своей уязвленности чувствует, что это пока еще неправда.

Наконец торопливая медсестра увела Юрку в бездну коридора, но что с ним там делали, неизвестно, Юрка рассказывать отказался — «не хочу превращать это в стёб».

И правильно. Главное — ни под каким видом не общаться с *употребляющими*.

Ане никак не удавалось вытащить Юрку на улицу, он даже разговаривал с трудом. А когда молчал, его губки бантиком были сложены так, как будто он только что проглотил что-то гадкое. Правда, читать какие-то ксерокопированные английские статьи, которые он привез с собой, он все-таки читал. Лежа. С мрачайшим выражением своего распухшего личика. Разговорить его было практически невозможно.

Человек должен быть включен в какую-то систему общественных обязанностей, говорила Аня, а это у него есть только там, в Израиле. Ему надо ехать восстанавливаться в университете. Однако отправить его одного было слишком страшно: Милка неизвестно еще, переломалась ли. Но где взять денег на билет, на прожитье — хотя бы на первое время: Миле всех не прокормить. Пришлось продать бабушкин свадебный подарок — часы с золотыми резными стрелками, охваченные золотой аркой изобилия, — удивительно, но их хватило на все.

Вите было жутко оказаться одному с двумя сумасшедшими, но при мысли о том, что этим он выгораживает Аню... «Я не хочу отдавать тебя им на съедение, — внушала ему Аня. — Если они начнут пить или колоться — бросай их без раздумья». Но поди решишь на такое...

Обратный билет у Вити был с открытой датой.

Попков выписал Юрке какие-то таблетки для выравнивания настроения, и Юрка «из-за тревоги» перед самолетом выпил лишнюю. А может быть, две. Или три. Если только у него не было каких-то других *колес* — Витя теперь не доверял никаким фактам, которых не наблюдал собственными глазами. Поэтому, не будучи уверен, что причиной — чувство или *вещество*, Витя старался не растрогаться, когда Юрка рассказывал ему про Милку, какая она перфекционистка (как чисто моет пол и стены, куда удастся достать), какая преданная (начала колоться, чтобы умереть вместе с ним) и какая мужественная (переломалась-таки одна, без поддержки). Однако Витя теперь не радовался одним только словесным заявлениям, предпочитая ожидать развития событий.

К концу дороги Юрку развезло, но Витя уже не сердился — старался только сам не наделать глупостей: поставил Юрку — никого не замечающего, по-верблюжьки вытянувшего шею — в сторонке, пока сам высматривал их сумки на конвейере. Он уже и думать забыл, что это за граница, все поглотили заботы и тревоги. И не зря — Юрку таки высмотрел толстый усатый полицейский, отвел их в участок и там перерыл их шмотки вплоть до зубных щеток. Он никуда не торопился, Юрка тоже хранил полнейшее безразличие, а вот Витя очень мучительно переживал свою беспомощность. В России любой милиционер, разговаривая с ним, сразу бы понял, что имеет дело с приличным человеком, а здесь даже с очками его ни сколько не считают.

А что, пускай рожутся, у нас же ничего нет, не понимал его Юрка. На улице он немного взбодрился.

Яркое небо, яркое солнце, яркие пальмы, яркие люди — все это теперь было чужим и пугающим.

В беленой бетонной каморке, так долго представлявшейся средоточием счастья, первым, что бросилось в глаза, была Милина голая попка: под плакатом с изможденной курносой девицей «Heroin. This product is recommended for your death» Мила спала лицом вниз в задравшемся светлом платье. Трусики на ней тоже были, но их еще нужно было поискать.

— Она же знает, что мы должны приехать... — мрачно пробурчал Юрка и одернул ей платье.

Она не проснулась. Он грубо тряхнул ее за плечо. Она испуганно села, похлопала глазами — и, виновато бормоча «я только на минутку прилегла», бросилась вытирать с мраморного столика кофейную лужу. Перфекционистка... Юрка со значением посмотрел на Витю и по-милицейски по-

требовал показать вены (Витя с проблеском благодарности отметил, что не «трубы»). Мила с покорностью коровы, приготовившейся к доению, предоставила со всех сторон осмотреть свои руки, щиколотки и даже позволила заглянуть себе за пазуху: Витя уже знал, что и там проходит важная вена, именуемая «метро». «А это что? А это что?» Комары, отвечала Мила. «Ну ладно, посмотрим. Милка, я так в тебя верил, неужели ты меня подведешь?!» Не подведу, бубнила она. От ее чеканной красоты осталось совсем немного — слишком сильно выступили скулы, слишком заострился подбородок и даже нос. И бледность ее была не благородная, слоновой, так сказать, кости, а какая-то покойницкая.

В общем, встрече было трудно назвать радостной.

Плата за семестр составляла что-то около четырех тысяч шекелей, то есть немного больше тысячи долларов. Аня продала свой корниловский фарфор и выслала деньги по «Western Union». Их хватило с лихвой, но Витя несколько дней мучился от совершенно неадекватной жалости к папушкам с оveckами, к придворным в многослойных юбках или коротеньких облегающих штанишках до колен — к их глазкам, складочкам, мизинчикам... Часов с золотой аркой избытка было почему-то не так жалко, — может быть, потому, что человечки были отчасти живые? Именно их исчезновение он начал ощущать разрушением Аниного мира. В который он был допущен в качестве не только почитателя, но и хранителя тоже, — и вот не сохранил...

Он бы скучал по ней совсем непереносимо, если бы не чувствовал себя здесь ее представителем и даже защитником, потому что, если бы не он, здесь пришлось бы торчать ей, и когда становилось совсем скучно, он говорил себе: зато не Аня, зато не Аня. Словно напившись Аниным духом, он стал тоже возлагать серьезные надежды на красоту и свежий воздух. Когда полусонная Мила, наскоро приготовив им нехитрый завтрак на портативной газовой плитке, убежала к своим громогласным мужикам, Витя и лаской, и таской увлекал мрачного Юрку к морю. К Средиземному морю. И если бы хоть на полчаса улеглась тревога (да ведь и Юрка в любой момент мог плюнуть и повернуть обратно), по дороге было бы на что поглазеть. Сначала выгнувшийся мост через ручеек с громким именем Аялон, по шоссе на берегах которого неумолчно режут два встречных потока стремительных машин; потом бетонные бастионы Тахана Мерказит; затем румынский променад — мощенная плиткой улочка-дуга среди открытых заведений, по вечерам обсиженных подвыпившими румынскими работягами (были там и заведеньица с вечно опущенными жалюзи — с изображениями схематичных голых девиц нога на ногу: если бы Витя был невидимкой, он бы рискнул полюбопытствовать, на что это похоже); на углу — оглушительные лавчонки, торгующие аудиодребеденью; через рычащую дорогу — крикливые зазывалы у ярких лотков с фруктами, в том числе и невиданными; за лоточным поясом — помойка, пустырек с ржавыми корпусами легковушек; за ними — бетонно-мазутный промышленный район, а в двух шагах за ним — элегантный заграничный бульвар с пыльной дорогой посередине, — словом, много где можно было бы подзадержаться и подивиться или подышать пряностями из здоровенных дерюжных мешков, прежде чем доберешься до праздничной набережной со сверкающими автомобилями и стройными, ну, может, и не совсем небоскребами, но откуда-то оттуда.

Пляж сразу за набережной. Народу немного: вода, которую на Черном море сочли бы теплейшей, здесь считается холодноватой. Юрке она тоже представляется холодной: он не желает терпеть ни малейшего дискомфорта — ради чего? Он сидит, обнимая исхудалыми ручками бледные колени, на левой руке выше локтя — два глянцевого рубца: резал вены, чтобы передохнуть в психиатрической клинике, а его зашили и выставили вон, вы-

ставив счет, — с наркоманами и здесь не церемонятся; он подставляет пекучему солнцу запрыщавевшую спину (у Милы теперь тоже все плечи обсеяны фиолетовыми прыщиками) и внезапно говорит с перехватывающей дух искренностью: «Играть не во что стало. Раньше сразу бы стал строить гроты, крепости, траншеи, а теперь все пошло всерьез — и такая тоска!..»

Отвечать что-то оптимистическое было бы совсем уж невозможным притворством. Но и молчать, словно ничего не слышал, было тоже невозможно. Витя как бы в рассеянности побрел спасаться в накатывающиеся на берег косматые валы. С деревянной спасательной веранды ему закричали что-то предостерегающее на иврите; он, естественно, не понял, застыл в неловкой позе — ему с усилием перевели, указывая рукой в том направлении, куда он шел: «Сюда не добре!» И указали правее: «Сюда добре».

Витя любил бороться с волнами. Вал за валом он пропускал над собой, тщательно подныривая под их рокочущие кудлатые гребни. Он подныривал, подныривал и сам не заметил, как доплыл до затишья за искусственным островком из коралловых, решил он, глыб с вылизанными кавернами, из которых бежала вода. Он перебрался на другую сторону исполинской пемзы, на которую обрушивались валы из вольного сверкающего моря, насыщая ее водой, сверканием и серебром. Когда разбившаяся волна каскадами сбегала вниз (пемза серела, бурела, желтела), вслед за ней с обнажившихся глыб поспешно разбежались какие-то черно-зеленые паучки. Крабы, догадался он. Надо же! И еще какие-то полчища ракушек размером с божью коровку...

Может, и не обязательно каждый раз нырять, расслабился он, когда ему надоело оглядываться на настигающие волнищи, и — совершенно неодолимая сила ударила, накрыла, закувыркала, — он задохнулся, нахлебался, и если бы его успела накрыть вторая волна — тут бы ему и конец. К счастью, он успел прокашляться, вдохнуть и нырнуть, прежде чем его захлестнул нависший над ним следующий гребень. Так он и поплелся с оглядкой, не торопясь, — ибо торопиться было бесполезно, все равно не уйдешь, — аккуратно набирая воздуха, аккуратно и своевременно ныряя, и, шатаясь под ударами, выбрался на берег с окончательно испорченным настроением. Бороться с жизнью можно, пока она обращает против тебя одну триллионную своей силы. А чуть пустит в ход одну миллионную — и ты уже беспомощная кувыркающаяся песчинка.

Вечером после работы Мила наелась («обожралась») Юркиных таблеток. Она заперлась в душе и что-то все не выходила и не выходила. Искушенный в подобных делах, Юрка принялся стучать в хлипкую дверь, грозить, что сорвет задвижку. «Сейчас», — мяукающим голосом, без «и краткого» отвечала Мила. Это голос насекомого, — почему-то вспомнился Кафка. Наконец Юрка выволок ее, полуодетую, обвисшую, мяукающую, и швырнул на кровать. Как опытный человек, он не пытался ей что-то говорить, только бормотал под нос бешеные ругательства — похоже, не все цензурные. А Витя, дождавшись, когда к ней вернется дар речи, стараясь не оттолкнуть, по-отечески спросил, зачем она это сделала. «Я смотрела, как Юра их глотает, и мне тоже захотелось». Но он-то ест по одной, а ты сколько, хотелось уточнить Вите, но это был бы уже упрек. «Да что ты с ней разговариваешь, она же наркоманка, — закричал Юрка. — Слышишь, ты наркоманка!» И омерзение, с которым он выговаривал это слово, внушило Вите надежду, что самое страшное уже позади. Для них с Аней. Признаться стыдно, но сын — это все-таки не то же самое, что его жена. Хотя, если вдуматься, — жуть: послушная девочка из хорошей семьи, золотая медалистка — раз уж и до таких добралась эта зараза, значит, от чумы действительно никто не защищен.

После этого инцидента Юрка каждый вечер ее обыскивал, не заглядывая разве что в такие места, в которые имел допуск исключительно пре-

мьер-министр Израиля, но по ночам, вероятно, проникал и туда. Однако ничего не находил. Весь дневной заработок у нее ежевечерне изымался, но так как ее доходы заключались в чаевых, а их могло набраться от ста до двухсот шекелей, то она почти всегда могла где-то припрятать от двадцати до сотни монет.

«Почему у тебя глаза как у курицы?» — время от времени впивался в нее Юрка — у нее веки и правда полуприкрывали глаза какой-то полупрозрачной пленкой. «Устала, спать хочу», — жалобно отвечала Мила. «Ну так ложись — что ты *втыкаешь?*» — «Сейчас лягу».

Но почему-то продолжала пребывать в позе полулежа с замершей в руке сигаретой, которая потихоньку, потихоньку опускалась, пока не втыкалась в покрывало или в простыню — они походили на сито из-за прожженных дырок.

Чтобы забыться, Витя каждый день садился за вычерчивание очередного замка, тем более что в тель-авивских магазинах он обнаружил много новых комплектующих. Так что новые варианты позволяли забыться лучше прежних — он чертил и чертил. А Юрка перебирал и перебирал всю трогательную девичью мелочевку на фанерной полочке в душевом отсеке и наконец в стопочке гигиенических прокладок отыскал миниатюрный узелок... Он походил на клочок коричневого плаща-болоньи, в который (в клочок) была увязана самая крошечная щепотка белого порошка.

Мила сидела поникшая у сизого мраморного столика, а Юрка с отчаянными глазами вопиял к небесам: «Мне же запрещено иметь в доме наркотики! Она же меня убивает!!!» — и внезапно, ухватив со стола тяжелую фаянсовую кружку, замахнулся на свесившуюся Милину головку с идеальным девчоночьим проробором. Витя не успел бы его остановить, но Юрка в последний миг удержался сам. Однако остатки кефира, которые были в кружке, выплеснулись Миле на голову, — так она и продолжала сидеть, белая, заострившаяся, обтекая пузырящимся кефиром.

«Что тебя заставляет это делать?» — осторожно спросил Витя, когда она отмылась и немножко ожила. «Не знаю, — убитым голосом отвечала Мила. — Когда я несколько дней этого не делаю, во мне накапливается чувство, что уже пора это сделать».

Мы не сможем ее проконтролировать, ее надо отправить к родителям, пришел Витя к трудному решению, и Юрка, мрачно помолчав (впрочем, он теперь все делал мрачно), согласился. Так Мила, по-прежнему напоминающая побитую собачонку, шагнула на эскалатор аэропорта Бен-Гурион и растаяла в небесах.

И вся любовь.

После Милиного отъезда Юрка окончательно перестал выходить на улицу, а при попытках его вытащить Юркино ворчание переходило в рычание столь злобное, что Витя почитал за благо оставлять его в покое. Валяясь на тахте с сигаретой под девушкой-смертью, он том за томом поглощал собрание сочинений Курта Воннегута, и можно было подумать, что более угрюмого автора еще не рождалось в подлунном мире. Витя был доволен уже и тем, что хотя бы иногда по вечерам Юрка вскакивал с тахты и шел пройтись к Тахане и возвращался несколько повеселевшим.

Сам Витя из-за неотступной тревоги тоже не решался оставить Юрку надолго — иногда под пальмами, под неизвестными деревьями с обнаженной мускулатурой, ведя мысленные разговоры с Аней (из экономии они перезванивались не чаще раза в неделю), он добредал до сверхчеловеческих стабилизаторов стадиона, но тут же в страхе, не случилось ли чего, торопился обратно в каморку без окон и, чтобы не сойти с ума, чертил как сумасшедший. Скорее бы начались Юркины занятия в университете — можно было бы выбираться на море. А там, глядишь... Однако о возвраще-

нии домой он не смел и мечтать (но гнал и страх, что ему придется сидеть здесь до конца его дней), думать надо было о том, чтобы продлить визу. Это оказалось несложно — вместе с неграми и малайцами, в небоскребе, откуда открывался вид на угловатые бетонные волны, Витя получил право просидеть здесь еще месяц. Правда, из-за безъязыкости и беспомощности понервничать-таки пришлось, и, может быть, еще и поэтому, когда он вышел на ослепительное солнце, в его глазах по периферии поля зрения побежали серпообразные, добела раскаленные зигзаги, напоминающие какую-то неоновую рекламу. Он постоял с закрытыми глазами, и минуты через две зигзаги исчезли. Потом дня через три появились снова и снова исчезли под прикрытыми веками, — так и пошло: раз в несколько дней белоогненные серпы появлялись на несколько минут — особенно когда не выспишься или перенервничаешь. Но нервное напряжение — оно теперь было неотступно, как воздух. И спать он тоже стал неважно: с вечера старался уработаться, чтобы упасть замертво, но часов через пять-шесть просыпался, и тут уже тревога, тоска уверенно брали свое... Зато, правда, оказывали себя и преимущества напольного тюфяка: можно вертеться сколько влезет, и ни одна пружина не скрипнет.

Собственно, реальным, в данную минуту нужным делом были только приготовление еды да походы в лавку через липнущую к подошвам асфальтовую дорогу. Купленный по дешевке холодильник «секонд хэнд» был безнадежно сломан, так что ходить за продуктами приходилось ежедневно. Витя покупал в основном молоко для корнфлексов да готовые шницели для жарки. Новых блюд он избегал: ивритские иероглифы разобрать было совершенно невозможно, а тащить с собою Юрку — больше нервов потратишь на уговоры. Как-то Витя приобрел, ему показалось, кебабы, а оказалось, что это свернутые бедуинские лепешки, выпекать в золе двенадцать часов...

Временами Вите казалось, что он каким-то чудом попал и не может выбраться из колхозной автолавки где-нибудь в Грузии: все черные, громогласные, все друг друга знают, всем есть о чем поговорить помимо такой доуки, как посторонний покупатель, — можешь хоть полчаса с покупками стоять столбом перед кассой — хозяину не до тебя: то он с таким же пузаном разглядывает глянцевого автомобильного журнала, то показывает детишкам, как заряжается пластмассовый игрушечный пистолет, и стреляет цветными пластмассовыми пулями мимо твоего носа, а другие громогласные пузачи тем временем выкрикивают непонятные вопросы у тебя над ухом и исчезают, притиснув тебя животом к прилавку. Люди они не злые: он тебя притиснул — и ты его притисни, здесь на это не обижаться. Это все славный, добродушный народ — надо только быть одним из них. Не важно ведь, как ты отвечаешь — через плечо или через свой собственный таз, роясь в ящике. Еще Мила, вводя Витю в курс дела, что-то спросила у хозяина, а тот именно рылся в ящике, обратив к ним наполовину выпроставшуюся из сползших штанов задницу, — так Мила к заднице и обращалась, а та ей отвечала. Добродушно, без обид.

Витя и не обижался. Но старался поскорее добраться до дома — когда чертишь, время идет не так заметно. И тревога прижимается к некоему невидимому дну. Настоящая тревога, ожидающая неизвестно чего (или, может быть, наоборот, известно чего), а не то уютное земное беспокойство, на какие шиши без Милы-кормилицы сегодня удасться поужинать. Отсутствие денег имело даже и положительные следствия — Юрка с приставываниями поднялся с тахты и отправился искать прежнее место ночного сторожа социально дефективных подростков. Видимо, в свое время он показал себя неплохо, потому что его снова взяли на службу и вернули прежний парабеллум. Социальные обязанности сказались на нем положительно, появилось, чего ждать, — конца смены, и утром он появлялся довольно даже веселенький и дремал среди бела дня (часто с сигаретой) те-

перь уже с полным основанием. Но рок в образе собственного легкомыслия продолжал его преследовать и там. Дефективные подростки уже давно донимали его просьбами дать поцелиться из парабеллума (надо ли говорить, что передавать оружие посторонним было строжайше запрещено), и в одну несчастную ночь Юрка не выдержал — дал одному из дефективных свой пистолет да еще начал показывать, как его заряжать, как снимать с предохранителя... За этим занятием их и застала внезапная проверочная комиссия.

Больше такого места ему найти не удавалось — везде требовалось дежурить днем, а у него вот-вот начинались занятия в университете. И Витя решил, хотя для обладателей гостевой визы это было запрещено, идти работать сам: у Таханы был кусочек стены, сплошь обклеенный бумажными объявлениями (по-русски, с примесью, вероятно, болгарского — «интересно зазнамство»), и там среди пропавших псов и ненайденных квартир искали и неквалифицированных рабочих с многозначительным уточнением «разрешение не требуется». У него никто и не спросил разрешения в жестяном гофрированном сарае, в котором были расставлены ряды трехметровых мясорубок: в горловины засыпался белый порошок, а вместо фарша валились белые пластмассовые ложечки. Когда ими наполнялся картонный куб, следовало не мешкая подставить следующий, а предыдущий убинтовать скотчем и откатить к другим таким же кубам. И все дела. Правда, когда на тебе четыре таких мясорубки, дел хватает. Приходится снова до пота, в туалет некогда отбежать, не то что переждать огненные серпы с закрытыми глазами. Ну, и еще когда в мясорубке кончается порошок, нужно с полуторапудовым мешком забраться по лесенке и засыпать нового. А чтобы ты не сачковал, сверху наблюдает гигантский стеклянный глаз — граненая стеклянная будка, где, словно марсианин, сидит «израильтянин», внизу же суетятся «русские». Впрочем, Вите они и впрямь казались русскими — нормальные провинциальные мужики, которым очень хотелось доказать себе, что, по двенадцать — шестнадцать часов крутясь у мясорубок за двенадцать шекелей в час (ночью в полтора раза больше), они страшно выгадали по сравнению с жизнью в России. «Там, наверно, в помойках роются?» — «Роются», — отвечал сердобольный Витя. «А бандитизм? Говорят, в подъезд страшно войти?» — «Страшно», — кивал Витя. Кое у кого он побывал даже в гостях, осмотрел мебельные гарнитуры, высказал все приличествующие комплименты. Его коллеги очень гордились своими гарнитурами — ну и что, что неделя отпуска, — зато можно сфотографироваться на гарнитурном фоне и отправить на несчастную родину.

Все это отвлекало Витю от тоски по Ане и вообще развлекало — все лучше, чем сидеть взаперти с беспробудно мрачным Юркой, — слава богу, занятия в университете должны были начаться со дня на день, но почему-то все откладывались. Наконец они начались, но никак не могли вернуться по-настоящему, — тем не менее Юрка и с них возвращался повеселевшим. И вот именно тогда, когда напряжение немножко спало, с Витей приключилась странная и не очень приятная история. Ему стало казаться, что он совсем недавно был по Юркиным делам у какого-то врача — вроде бы лысого, с кудрявым обрамлением, — и тот по поводу Юрки говорил некие язвительные слова, а Вите удавалось его отбрить, скромно, но с достоинством; однако где это было и когда, у Вити никак не получалось припомнить. Когда он напрягался, он уже начинал видеть и врача, и его кабинет — казался, еще чуть-чуть и... Но тут его каждый раз начинало мутить, и он прекращал свои усилия.

Тем не менее однажды за ужином вся картина представилась ему настолько отчетливо, что он решил уж на этот раз... Но в последний миг его чуть не вырвало прямо на недорезанный шницель. Он поспешно вышел на крылечко и увидел, как сизый бетонный мир медленно погружается в черноту. И одновременно так потяжелело все тело — налились тяжестью

руки, голова, — что он, не в силах удержать эту тяжесть на ногах, поторопился присесть. Но тяжесть продолжала давить так неотступно, что он почел за лучшее даже прилечь. И чуть только начал откидываться назад, вместо бетонного дома и пальмы под ним внезапно увидел неразборчивое множество лиц, и со всеми ими он лихорадочно говорил о чем-то, а перед их кишением деловито прошел Юрка, пристально поглядев на него через плечо... Витя очень хорошо запомнил его взгляд — и тут же очнулся, лежа на теплом крыльце; в окне напротив по-прежнему ругались по-русски, пальма по-прежнему шевелила своей звездчатой кроной — времени, видимо, прошло совсем немного. Он почувствовал легкую боль в макушке, там оказалась влажная ссадина, — как он только достал макушкой до цемента?

«Что с тобой, ты очень бледный?» — впервые проявил интерес к его состоянию Юрка. Надо было бы к врачу, но откуда у него такие деньги? Витя стал только побаиваться, забираясь на мясорубку, как бы на него не накатило, когда он наверху, но надеялся, что новый приступ, если он случится, оставит ему несколько секунд для спуска.

Несмотря на это, Витя наконец-то почувствовал свою жизнь достаточно стабилизировавшейся, чтобы исполнить и второстепенную семейную обязанность — позвонить Аниному дяде, брату ее матери, разумеется, профессору (астрофизики). Витя позвонил и был приглашен *на шабат* — на субботний обед. В шабат автобусы не ходили, но Витя с Юркой доехали на маршрутке до географического, но не самого парадного, а всего лишь чистого и четкого центра. Профессорская чета жила в доме с тенистым двориком — мудрые гривастые пальмы и рваные бесплодные бананы.

Апартаменты родственников показали Вите очень просторными в сравнении не только с Юркиной каморкой, но и с квартирками его новых коллег. Профессор, японизированный (Юркина порода — как только в их роду появилась Аня с ее прямым открытым взглядом!) седой мужичок с роскошной хемингуэвской бородой и в шортах цвета хаки, долго показывал им всевозможные сувениры, которыми была увешана вся гостиная, — африканские и мексиканские маски, бумеранги, ятаганы... Несмотря на всю демократичность хозяина, Юрка, к Витиному удовольствию, держался очень почтительно и с ним, и с его женой, миниатюрной, как Волобуева.

Она оказалась большой общественницей — вела занятия по ивриту для новых «русских», «олим хадашим», собирала подержанные, но еще хорошие вещи для них же, — так по крайней мере показалось Вите, потому что она и ему предложила что-то в этом роде, но он отказался — какие вещи могли ему помочь! Еще он понял, что она часто приглашает необжившихся «русских» к себе на шабат — это вроде бы называлось «мицва», доброе дело, и Вите было приятно, что он своим посещением не слишком нарушает привычный им образ жизни. Хотя они с Юркой торопливо отказались от вина — Витя проследил за бутылкой с неприязненной тревогой: на доннышке повисла капля, которая сорвалась не раньше, не позже как раз над Юркиной тарелкой. Ну да авось пронесет...

Он добросовестно старался распробовать, чем так привлекают израильтян неотступные серые пасты «хумус» и «тхина», Юрка нажимал на фаршированную рыбу, вкуса непривычного, но, разумеется, безукоризненно доброкачественную: Витя отметил это, когда Юрка начал бледнеть, покрываться потом (в прохладной квартире с кондиционером), страдальчески прикрывать веки... А затем вдруг вскочил и бросился в туалет. Витя, стараясь не поддаваться испугу, последовал за ним и увидел, как Юрку, не успевшего даже прикрыть дверь, выворачивает над унитазом. Видимо, первая струя ударила совсем бесконтрольно, потому что были забрызганы и края профессорского фаянса, и прежде чем Витя сумел душевно прикрыться, его успело пронзить, что Юрка среди судорог пытается прямо руками вытереть эти края...

Но Витя был уже обстрелянный солдат — он сразу зажал все чувства и понимания сверх того, что было необходимо для немедленного действия. «Что ты съел?» — склонился он к Юрке. «Свои таблетки. Дуду хотел снять». Витя уже знал, что *дудой* в Израиле называется страстное желание употребить наркотик. «Сколько ты их съел?» — «Двадцать штук». Витя понял, что вопрос его был пустой, ибо он совершенно не представлял, насколько это опасно — двадцать штук, лучше было подумать о том, как доставить Юрку в больницу. У благополучного, хотя и переполошившегося израильского семейства машина, конечно, была. Юрку под руки свели по узкой крутой лестнице, усадили, откинувшегося, на заднее сиденье, открыли окна. «Можно побыстрее?» — время от времени угасающим голосом просил Юрка, но профессор продолжал вести машину очень осторожно; Витя тоже старался не поддаваться панике. Который был час, он не знал, но тьма стояла непроглядная, прорезаемая только редкими фонарями, — видимо, машина ползла через какой-то пустырь.

Тьма внезапно оборвалась, и в электрическом сиянии предстало необычное эlegantное здание. Юрку доволокли до вестибюля с людским кишением и множеством окошечек в чистом банковском стекле. «У него есть теудат зеут?» — докричался профессор до отрубившегося Вити. «А что это?» — «Удостоверение личности». Юрка был практически без сознания, но сумел вывернуть из джинсов залитый в пластик документ. Профессор сунул его в окошечко и начал объясняться на иврите. Витя был безумно ему благодарен, но тут жена профессора начала тащить его прочь — у нее у самой разболелся затылок. Витя ужасно боялся остаться один в своей безъязыкой беспомощности, но пришлось.

К счастью, конвейер был уже запущен. Юрку на каталке по сверкающему коридору покатали двое бодрых санитаров, которых Витя даже не разглядел, — он старался только не отстать. Они докатили Юрку до какого-то слияния нескольких коридоров и исчезли. Витя продолжал топтаться рядом: он понимал, что если отойдет, то уже больше никогда не найдет это место. Ему казалось, что он находится в трюме исполинского парохода, тем более что поблизости виднелись и круглые иллюминаторы, скованные надраенной латуной.

Юрка приоткрыл мутные японские глаза. «Прости», — еле слышно прошептал он. «Иди ты к черту!» — от всего сердца ответил ему Витя, и Юркины глаза, прежде чем снова закрыться, оскорбленно сверкнули: раз уж он в кои-то веки собрался попросить прощения, его просто обязаны простить. А у Вити в душе, наоборот, нарастал протест: да до каких же пор?!

Наконец Юрку покатали снова, и Витя снова следовал за ним, как баран, страшась только одного — отстать. Прикатили в отделение с запирающейся дверью, но и Витю пока что пропустили. Здесь, как и в России, койки стояли и в коридоре, но открывающиеся взгляду палаты были небольшие, в одной из них мерцал осциллограф. Юрка стонающим голосом стал просить сосуд для рвоты, но не успел, выдал очередной фонтан прямо на пол. Пришла красивая седая женщина восточной внешности, все вымыла и ушла. Витя снова остался один. Бред принял новые, зарубежные формы.

Наконец кто-то разбудил дежурную — не то врача, не то старшую медсестру (ее слушались), очень по-домашнему заспанную курносенькую обаяшку, которая на чистейшем русском языке попросила Витю удалиться на лестницу, где он прохаживался еще час, или два, или четыре, пока эта обаяшка не вышла к нему и не сообщила, что опасность миновала. Потом поинтересовалась, из какого города Витя приехал. «Из Петербурга», — ответил он, зная, что обычно это вызывает симпатию. «А я из Киева, — сообщила обаяшка и прибавила: — Так вот в Ленинграде и не побывала». — «Так приезжайте», — изнемогающий от благодарности, заторопился Витя, уже начиная лихорадочно соображать, где бы ее поселить, но она ответила

с таким видом, будто ставила его на место: «Я и в Париже не была, и в Лондоне». — «Ну, правильно, правильно», — поспешно закивал Витя, и она ушла, а он остался прохаживаться и прохаживаться. За окном стояла крошечная тьма.

У стены примостился белый пластмассовый столик, и Витя попробовал было на него полуприсесть, но столик оказался слишком хрупким. Оставалось прохаживаться и прохаживаться — да он бы и не усидел на одном месте. Красивая седая женщина восточной внешности поставила для него на столик пластмассовый аэрофлотовский подносик с пластмассовой же чашечкой кофе и белой ложечкой из Витиного цеха, там же были расставлены пластмассовые коробочки с несколькими видами паст для бутербродов. Вите было не до еды, но он начал жевать, чтобы не показаться неблагодарным, а благодарен он был буквально до слез, ему даже трудно было отвечать на сочувственные вопросы красивой седой женщины. Сама она была из Ташкента.

Когда рассвело, его научили, как называется отделение, в котором лежит Юрка (сам он спал), и где останавливается ближайший автобус до Таханы. Он тупо дошел до остановки, тупо прохаживаясь, дождался реву чужого автобуса. В автобусе раскаленные серпы вдруг побежали с такой неотвязностью, что почти до самой Таханы пришлось сидеть с закрытыми глазами. Добравшись до опустелой конуры (даже кот, не снеся ненависти к хозяевам, уже давно вернулся на родную помойку), он свалился на свой тюфяк только потому, что после бессонной ночи, он это помнил, полагалось спать. Он был уверен, что не заснет, однако отключился и проспал до часу дня. Он чувствовал себя совсем разбитым и, переступая на холодных плитах, вытерпел перехватывающий дыхание душ. Поглотил растворимого кофе с хлебом и только после этого сумел почувствовать не чисто умственное удовлетворение от того, что Ани здесь нет и она ничего не знает.

Затем побрел через мост к Тахане, откуда шел до больницы уже известный ему автобус.

Нужную остановку он узнал и нужное отделение отыскал довольно скоро. В отделение его пропустили, но ночные знакомые теперь наотрез отказывались его узнавать — не то посчитали, что он уже и так получил достаточно тепла, не то поняли, почему Юрка здесь оказался, а наркоманов нигде не жалуют. И то сказать, для настоящих больных мест не хватает, а тут из-за своей дури... Поди объясни, что им доставили заболевшего чумой!

Юрка уже разговаривал слабым голосом и смог назвать том Курта Воннегута, который хотел получить. Витя мог бы съездить за Воннегутом и сегодня, ему было совершенно нечем заняться, но он побоялся вызвать раздражение персонала еще одним визитом.

Из больницы Юрка вышел осунувшимся и просветленным — на его лице была написана благородная решимость человека, отважившегося на какое-то опасное, но достойное дело. Когда они добрались до каморки, он открыл Вите, в чем заключалось это дело.

«Я должен тебе сказать: я снова начал колотиться». — «Как, когда?..» — толчок ужаса, мгновенно прихлопнутый мрачной решимостью. «Помнишь, я нашел у Милки пакетик с черным? Я хотел выбросить, а потом вдруг подумал — всегда успею, все-таки денег стоит... А тоска все время нашептывает: ну, завязал ты — и много ты выиграл? Нужна тебе такая жизнь? Ну и как-то раз не удержался: думаю — ну что от одной вмаз... от одного укула сделается?.. Ну и пошло. Но ты не бойся, я еще не успел серьезную торб... серьезную дозу нагнать». — «А когда ты кололся? Когда ходил гулять?» — «В том числе. Я иногда и колесами закидывался. Ну а потом, ты же и на работе бывал». — «Я тебя освобождал от работы, чтобы ты ходил на занятия, — может, ты и туда не ходил?!» — «Ходил немного. А потом подумал, что пока не завяжу...» — «Понятно. А где ты деньги брал?» —

«Ты сам их оставлял где попало. Ты же никогда не знаешь, сколько у тебя денег. Но сейчас ты должен мне помочь». — «Ах, я должен!.. И что же я должен?» — «Я буду переламываться, а ты не давай мне сбежать. Я, может быть, буду рваться, материть тебя, а ты меня все равно не выпускай». — «Ах, вот как! Ты меня будешь материть, может быть, бить, а я должен это терпеть. Понятно. А тебе не приходило в голову, что я пошлю тебя ко всем чертям и поеду домой, билет в кармане, а ты хочешь ломайся, хочешь ремонтируйся, а я сыт по горло! Понимаешь — по горло!»

Витя никогда в жизни не испытывал такой холодной ярости. И решимости.

Тем не менее поддаться ярости или отчаянию — это был конец. Но Витя не мог и ясно соображать в присутствии своего губителя. «Сейчас вернусь», — пообещал он — ни к чему было пускаться в преждевременную грызню — и вышел на улицу, чтобы остаться одному: уж здесь-то он был один так один. Если не считать зигзагов горящего магния, которые побежали сразу же, как только он услышал проклятую новость, и теперь только раскалились и раскалялись. Но Витя не обращал на них внимания: бредя по проклятому бетонному городу, заложившему окна стиральными досками жалюзи, он думал с таким напряжением, что мозгу становилось тесно в черепной коробке. Хотя сейчас он и не имел права думать о себе — не признавать ограниченность своих сил тоже было малодушием: начать с того, что он может просто физически не удержать Юрку, — сковородкой его оглушить, что ли?.. Так еще кто кого... И правильно ли доводить дело до смертоубийства? Не безопаснее ли своевременно расстаться с зачумленным?

Для него самого безопаснее. Но принимать столь масштабные решения в одиночку он не имел права.

Так или иначе — нужно было для крайнего случая приготовить аварийный выход. Но какой?.. что он мог сделать в этой чужой стране, где он беспредельно одинок и беспомощен?.. Нет, в крайнем случае нужно везти Юрку в Россию. Вот только где взять денег на билет?.. Где, где — у Ани, больше нигде. Пусть продаст еще что-нибудь, сейчас не до церемоний, церемонии могут именно для нее и обернуться новыми несчастьями. Уж конечно, до мук, до отчаяния хотелось скрыть от нее подступающие ужасы, — но, скрывая, можно было их приблизить.

Получалось, все, чем он мог помочь Ане, — это был бодрый голос в телефонной трубке да бодряческие интерпретации случившегося: ничего страшного, разовый срыв, через неделю все будет в порядке, но лучше перестраховаться... Ее высота, как всегда, оказалась на высоте. Она держалась так, словно он сообщил ей хотя и неприятное, но вполне бытовое известие. Строгий тон она приняла, только давая инструкции относительно его самого: «Не надрывайся! Ты слышишь? Не надрывайся! Ты мне дорог не менее, чем он. Как только почувствуешь, что больше не можешь, бери его в охапку и вези сюда. Вдвоем все-таки не так тяжело».

У Вити гора свалилась с плеч, но только наполовину: все же, строго говоря, никогда не бывает так тяжело, чтобы ты не мог выдержать еще секунду... Вите хотелось бы получить более конкретное отпущение.

Сумма, которую прислала Аня, показалась Вите настолько огромной, что, увидев ее в зеленой плоти, он едва не крякнул и застыдился негра, только что отправившего перед ним свои трудовые в Нигерию по той же «Western Union». (Витя, сталкиваясь с неграми, всегда принимал особо приветливое выражение лица.) Что же она продала? Вряд ли она вынула кресло из-под финна — наверно, взялась за сервизы: майсенский фарфор, китайский фарфор — черт его знает, сколько это может стоить.

Теперь-то он не будет дураком: деньги держать только в брюках, брюки на ночь сворачивать под подушку. Однако по возвращении из «Western Union» Витю ждал новый сюрприз. Юрка орал слишком громко и слиш-

ком возмущенно, чтобы можно было поверить в его искренность: он задолжал банку кругленькую сумму, и теперь она округлилась до чрезвычайности из-за того, что он ее вовремя не вернул. «И что же будет?» — «Так и будет расти. Да пошли они к черту! Милке на старой работе две с половиной тысячи шекелей задолжали, и суд подтвердил, а они скрылись и не платят. И никто их не ищет, Милка должна сама их разыскать и вручить решение. А где она их разыщет! Зато когда *им* понадобилось — сразу и детективы, и...» — «Подожди, подожди, что, Миле этот же банк задолжал?» — «Ну, не этот, так такие же козлы... Ты знаешь, сколько директор снифа получает?» — «Какого еще снифа?» — «Отделения банка. Это что, не воровство?!» Он снова уходил от своей конкретной вины если не к *веществам*, то к абстрактным классовым обстоятельствам. Пошли они к черту, неуверенно орал он, и Витя попросил разъяснить твердо и недвусмысленно, что будет, если Юрка не заплатит свой (разумеется же, несправедливый) долг. «Ну, передадут в суд, будут разыскивать с детективами... Но можно еще очень долго прятаться». — «А долг будет расти?» — «Ну конечно. И за детективов с тебя взыщут... Да пошли они!..»

Однако Витя сомневалась, будет ли это правильно — позволить сыну перейти к жизни травимого зайца. А уж если судьба снова обернется к ним лицом, во что он, правда, теперь слабо верил, и Юрка закончит университет, станет серьезным человеком, а ему по-прежнему придется бегать от грозно нарастающего долга... Но последнюю точку поставила Аня: «Что мы, воры?! Если нас кто-то обокрал, это еще не причина нам самим обкрадывать других!» И Витя в сопровождении Юрки, у которого *ломы* еще не начались, на турбореактивном автобусе доехал до мавзолейно-полированного особняка с малахитовыми стеклами и отдал жизнерадостному молодому человеку в промасленных черных кудрях все, что положено, после чего шекелей у Вити осталось — только добраться до России.

А потом началась ломка.

Эти дни Витя запомнил плохо — он чертил и чертил, так часы ползли более незаметно. И даже отрываясь от черчения, он старался не видеть, как Юрка рыскает взад-вперед, подобно рыси в зоопарке. В первые дни его как будто бил озноб и пробирал понос, он то и дело бегал в сортир, хотя практически ничего не ел, и Витя должен был ненавидеть его, чтобы не дать волю состраданию: какое сострадание, если не завтра, так послезавтра это неотличимо схожее с человеком устройство начнет рычать и кидаться на людей из-за нехватки *веществ*, на которые оно запрограммировано. В Друскининкае, в Паланге было куда ужаснее, но тогда Витя еще готов был терпеть, а теперь почему-то больше не желал. Может, уже не верил в успех, а может, еще и не хотел расточать любовь и заботу перед тем, кому на них плевать, кому требуется только *вещество*. И когда ночью Юрка ворочался с боку на бок на скрипучей тахте (казалось, ему больше всего мешала голова — он ее клал то на подушку, то под подушку, то на тумбочку рядом с тахтой), Витя с опережающей ненавистью рычал на него: «Хватит вертеться, ты мне мешаешь спать!» Юрка пока что боялся остаться один и отвечал кротко и жалобно: «Мне же плохо». — «А мне, что ли, хорошо?!» — срывался Витя, не желая страдать еще и от жалости (бессмысленной).

И был прав: в один прекрасный день Юрка закончил аплодировать ступнями и потребовал прогулки. «Пойдем вместе», — уступчиво, но твердо (а что делать, если Юрка не согласится?..) кивнул Витя. «Пошли», — поколебавшись, согласился Юрка. Молча обошли бетонный квартал, размеченный незнакомой лакированной зеленью, молча вернулись в конуру. В следующий раз Юрка потребовал пройтись один. «Нет», — изобразил неколебимую решимость Витя, и горящий магниевый осколок молниеносно пересек каморку. «Давай ключ — что мне, в полицию звонить?..» —

«Звони», — делая вид, что готов идти до конца, отрубил Витя и снял очки. Юрка постоял, щуря припухшие веки, повзвешивал, выбирая между страхом и страстью. Страсть победила — Юрка взял с мраморного столика нержавеющей нож-пилу, которым однажды уже резал себе вены. Витя почти обрадовался: ему не верилось, что Юрка так-таки и убьет его, ну а если просто порежет, это будет только отдыхом — пока он будет валяться в больнице, ответственность с него будет снята (уж раненого-то авось возьмут в больницу и при капитализме). Но Юрка приставил лезвие к собственному горлу: «Если не выпустишь, сейчас полосну», — и какой-то бесстыдный циник в глубине Витиной души чуть не заплодировал от радости: давай, давай режь — насмерть он вряд ли зарежется, а все остальное опять-таки будет только отдых. А если и зарежется... Но тут додумывать до конца не смел уже и бесстыдник.

«Потерпи немного, я схожу за билетом, поедем домой», — как можно убедительнее сказал Витя, понимая, что билет не может служить заменой даже самым слабым колесам или порошкам. Но Юрку предложение почему-то успокоило. Он положил нож, а Витя отпер дверь, быстро шагнул наружу и мгновенно запер снова. Юрка прорваться не попытался.

Витино английское было достаточно, чтобы произнести «Раша» и «Сэйнт-Питерсбург» и ткнуть пальцем в ближайшее число в календаре. Когда с билетом в кармане он добрался до ненавистного Юркиного дома, оказалось, что Юрка вынул пластинки из сортирного жалюзи и выбрался наружу.

Витя сам удивился, с каким безразличием он обнаружил эту черную дыру: он сделал все, что мог (более или менее), а там как выйдет, так выйдет. Только бы Аня... Вот эта зона болела не ослабевая.

Зато честь, гордость все больше и больше становились предметами, без которых при нужде можно и обойтись. Когда служба безопасности компании «Эль-Аль», мгновенно выхватив из публики Юрку с его взглядом барана и осанкой верблюда, на глазах всего честного народа перетряхивала их сумки, Витя, сосредоточенно глядя поверх голов, ощущал эту процедуру не как непереносимый и несмываемый позор, а всего лишь как неприятную, но неизбежную операцию, которую нужно перетерпеть и забыть.

Перетерпеть и забыть — это умение очень ему понадобилось в психиатрическом барачном городке, обметанном останками золотой осени. На улочках этого городка попадались только торопливые медсестры да поношенные прогуливающиеся тени — выдыхающие все-таки клубочки нестойкого пара. Другие тени в линялых пижамах через решетки, вмазанные в дореволюционный звонкий кирпич, просили закурить — мне самому скоро понадобится, бурчал Юрка.

Главный врач — прокопченный, но еще крепкий мастеровой-металлист, перебрасывающий из одного угла рта в другой жеваную беломорину, — мгновенно оценил измученного папу (Аня не могла пропустить занятия) и только что поднятого с корточек сыночка, угрюмого и опухшего (лозунг «Лишь бы не героин» в действии: когда Витя попробовал пива «девятка», на которое пересел Юрка, он ужаснулся этой сивушной мерзости). Старый металлист знал максимум того, что он может сделать для ежедневно текущей мимо него вереницы человеческого горя, и давно научился не сострадать без пользы, а то и с вредом. Прописка есть? Нет. Значит, на платных основаниях. Да ради бога, на платных так на платных (Анины фарфоровые сервизы оказались просто золотыми россыпями), только возьмитесь, только сделайте что-нибудь. Но тут вмешался бдительный Юрка: «А сколько у вас человек в палате? Как — двадцать, вот в Израиле...» Ну так и катитесь в Израиль, уже, холодея, ожидал Витя, но бывалый мастеровой только глянул чуть повнимательнее и оценил, с кем имеет дело, — он и таких повидал.

Зато молодой доктор в приемном покое, пахнущем уже настоящей больницей, одутловатый не хуже Юрки, снисходить не желал, — швыряя

Юрке линиялые обноски, он бурчал с такой же ненавистью: «Если не понравится, завтра его отсюда выкинут». «Вы ведете себя не как врач, а как обыватель, вы становитесь на равные позиции с больным», — хотелось сказать Вите, но, разумеется, он не посмел, пробормотал только в сторону: он же больной... «А мы и больных насильно не держим, — злобно ответил врач. — Права человека...»

Он прибавил это с таким видом, будто говорил: хотели? вот и лопайте.

А Витя на многое и не замахивался, и, может, именно поэтому неоновые серпы не бежали в его глазах: две недели можно будет ложиться спать в уверенности, что тебя не разбудят, — чего еще надо для счастья.

Правда, изумленно-презрительный вид, с которым его сын, его крест, демонстративно разглядывал свои обноски, не сулил долгого покоя. Но и короткий покой — тоже ничего. Для него, а главное, для Ани: она совсем перестала спать без снотворного. Да и Витя долго не мог уснуть, в голове вертелось: «Я игаю на гамоське у похожис на виду»... Но все равно, большая разница, сам ты не можешь спать или тебе не дают.

Предчувствие его не обмануло: когда они с Аней, затарившись бутербродами и апельсинами, наутро пришли навесить страдальца, он, уже во всем *своем*, дожидался их в пропахшей больницей комнате для свиданий с выражением презрительной гадливости: что вы, мол, мне подсунули? Какую воду вы мне сделали?!. Спать здесь все равно что в сумасшедшем доме — у одного ломка, у другого белка (белая горячка). Но ты же лечиться сюда пришел, а не наслаждаться жизнью, не сказал Витя, зная, что это бесполезно, и добела раскаленный метеорит чиркнул по приемной и угас за ее стенами. «Ты должен сказать себе: *я должен все это перетерпеть ради того, чтобы снова сделаться...*» — проникновенно начала Аня, но даже она не договорила до конца, сообразив: уж что-что, а слово «долг» более чем неуместно перед лицом этой царственной брюзгливости.

Однако их растерянности было не суждено остаться гласом немого, взывающего к небесам, — немолодая желтоволосая женщина с материнским лицом и материнскими манерами (которых Витя никогда не видел у собственной матери) шепнула им, что Надежда с капельницей будет приходить им на дом всего за пятьсот рублей. Сумма была по их доходам не маленькая, но если мерить сервизными блюдецками, вполне приемлемая.

Надежда, уверенная, забубенно горбоносая искусственная блондинка, споро подвешивала на спинку шаткого стула дяди-алкоголика прозрачную торпеду живительной влаги, умело отыскивала вену («по веняку», всякий раз отзывалось у Вити в голове: он опасался Юркиных ассоциаций), ловко погружала иглу — и не преувеличивала значения того, что делала. Она не говорила, что догадывается о том, как Юрка после капельницы мольбами и угрозами добивается одной, другой, третьей «девятки», она говорила только о своих бесчисленных клиентах: «Хочешь — живи, а не хочешь...» — Надежда делала списывающее движение рукой. «Когда режешь здоровую печень, чувствуешь плотность, — с уважением говорила она. — А у алкашей, наркоманов, — ее лицо приобретало выражение презрительной гадливости, — одна рыхлость, тухлость...»

Витя тоже понимал, что капельницы в сочетании с «девятками» вряд ли дают заметный эффект. Но он был все равно готов платить и платить — платить за надежду, — потому что нужно же было делать *хоть что-нибудь...*

Кооператив «Надежда» подарил целых десять дней надежды всего по 30 у. е. за день, неподдельной надежды, несмотря на то что его объявление АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ было окружено ПОРЧАМИ И СГЛАЗАМИ. В бывшей санчасти котельного завода им. Жданова, отделенной от мира стальными решетками на окнах и железной дверью фирмы старшего Витино сына, царил сонная тишь: кто переламывался под наркозом, кто чуть ли не на ощупь шаркал в курительную или в уборную. Юрка,

успокоенный таблетками и невозможностью выбраться, лежа на деревянной гостиничной кровати, читал какую-то английскую книжку по социологии (ух как больно — еще надеется на что-то...), а его сосед по двухместной палате, коротко стриженный подросток с жалобным выражением на незначительном сереньком личике, в основном сидел согнувшись, пока наконец не уволок новенькую Юркину куртку и, каким-то чудом ухитрившись открыть железную дверь, не отправился ее продавать. Юрка счел эту цену вполне умеренной за избавление от «микроцефала». (Витя каждый раз удивлялся, насколько Юрка лишен чувства солидарности с товарищами по несчастью.)

Эти десять дней и для Юрки были отдыхом. А у Вити за это время появилась если не охота, то по крайней мере согласие заниматься и собой: он уступил Аниным настояниям и взял номерок к невропатологу, чтобы поведать о своей кратковременной потере сознания, сопровождавшейся ложным воспоминанием. Молодая женщина с белыми азартными глазами и вставшим дыбом бледно-рыжим ежиком, услышав его короткую повесть, пришла в восторг: вы так хорошо рассказали — прямо хоть в учебник: кислородное голодание левой височной доли мозга, вызвавшее эпилепто-морфный приступ. «А... а от чего возникает это кислородное голодание?» — «Причин может быть много. Первая — опухоль мозга, вторая — склеротические бляшки, — радостно начала перечислять невропатологиня, но с неудовольствием остановилась. — Сначала проверим вас на опухоль, я вам дам направление на томограф, а энцефалограмму сделаете в Военно-медицинской академии».

И вот они с Аней гремят из одного конца света на другой, и Аня среди давки ободряюще сжимает его руку; и Витя отвечает ей тоже ободряюще, но как-то уж очень хорошо понимает, что если жизнь захочет, то никакие пожимания не помогут. Бесплатно, в огромном больничном комбинате говорят им люди в белом: можно будет сделать через два месяца, а за деньги — прямо сейчас. Конечно, сейчас, возмущается Аня: залежи фарфора далеко еще не истощились. Витю укладывают на металлическое ложе, и оно, постукивая, вводит его голову в белый батискаф, который — так Вите кажется — на могучих велосипедных цепях начинает вращаться вокруг его головы. Это длится целую вечность — Витя успевает забыть, что он когда-то играл с Сашкой, любил Аню... Затем его, постукивая, вывозят наружу, предлагают подождать в коридоре. Аня сжимает его руку, и Витя понимает, что нужно сосредоточиться на ближайшем — на Аниных пальцах, на белом колпаке торопящейся мимо сестрички, на серых клетках линолеума... «Опухоли нет», — наконец выносят ему приговор, а он уже успел так сосредоточиться на ближайшем, что не может даже понять, о чем идет речь. Зато Аня сияет как девчонка, и только в ответ на ее сияние в его глазах начинают бежать добеда раскаленные зубчатые серпы.

Зато при снятии энцефалограммы они побежали с самого начала, с самого величественного гулко-го коридора, по которому он шел мимо буро-глянцевых неразборчивых психоневрологических генералов: он не сумел сосредоточиться на ближайшем — на собственном ногте, на чужой пуговице, — и пока ему натягивали на голову резиновую авоську, он успел понять, что для этой не очень красивой, но все равно счастливой, как все здоровые люди, не имеющие детей-наркоманов, девушки он уже не человек, а неодушевленный предмет. И когда в кабинет заглянул молодой уса-тый мужчина в подполковничьих погонах, она игриво обратилась к нему: «Сергей Модестович, выгляните в окошко, дам я вам горюшку» — Витя остро почуствовал, что *никак*, даже в качестве зрителя, не участвует в этой игре: его отсек от мира надежнейший в мире замок — несчастье.

Девушка, судя по запаху, не жалела спирта, мазала голову, подкладывала мокрые ватки под резинки. Откройте глазки, закройте глазки. Дышите глубже, вдыхайте через нос, выдыхайте через рот, плечиками старайтесь

не двигать. В глазах по черно-багровому фону плавает золотое напыление. Очень красивое, если не вдумываться...

На энцефалограмме эпилептические зубчики скакали в достатке, и во избежание будущих припадков ему было велено высыпаться и не нервничать, а также глотать финлепсин: каждый новый приступ прокладывает дорогу следующим, с энтузиазмом разъяснила ему невропатологиня, так что если будут неприятные ощущения, не нужно обращать на них внимание, в препарат нужно *вработаться*. Витя и вработывался — не выходил из дому без паспорта, чтобы, если что, его могли опознать, и, передвигаясь, постоянно выбирал место, куда упасть, — чтобы по крайней мере не в лужу. Что его особенно смущало — при эпилептических припадках возможно непроизвольное мочеиспускание — этого только не хватало... Тем не менее он постепенно привык жить и с этим «авось пронесет»: на океанский прибой шума в ушах не нужно вообще реагировать, а вот если побегут мурашки по левой щеке, тут нужно к чему-то прислониться и постоять минутку с закрытыми глазами — ну, примерно так же, как если в глазах побегут неоновые зигзаги. Однако Аня не позволила и зигзагам бегать, как им вздумается, она заставила Витю сходить в глазной центр. Витя отправился туда один — уговорил Аню без крайней нужды не пропускать занятия, а крайней нуждой был, разумеется, Юрка. Витя и в центре не сумел сосредоточиться на ближайшем, неволью зачерпнул из глубины: он ощутил себя погруженным в три могущественнейшие жизненные стихии, чьи имена бедность, старость и болезнь. Пенсионеры и здесь продолжали бороться за места, не желая понимать, что жизнь уже давно проиграна.

Центр, несмотря на свое громкое имя, оказался учреждением до крайности занюханным, и Витя, примеряясь к возможной будущей слепоте (а может, и неплохо — зато наконец ничего больше не должен... Фу, стыдные мысли), вглядывался и вглядывался.

По ступенькам как будто били шрапнелью. Гардероб не работал, все ходили с комками пальто под мышкой. Заплаканные белой масляной краской часы показывали двадцать минут четвертого неизвестно какого числа, месяца и года. Из-за многослойных натеков той же масляной краски на стенах казалось, что стены дышат жабрами. Криво намазанная надпись «Туалет» указывала в ту сторону, какую и без того можно было определить по сгущению хлорного запаха. Немазаные-сухие плафоны, корабельные кабели, черные батареи — и современный, в западном стиле, рекламный плакат, открывающий унылым профанам, как весело, красиво и престижно лечиться от аллергических заболеваний половых органов. С яркой нездешностью плаката соседствовал уж до того посюсторонний пожелтевший план эвакуации.

Витя сидел на скрипучем стуле, уставившись в линолеум, на котором четкие грани кубиков были размыты туманами протертостей. Бело-огненных серпов не было, и, чтобы удостовериться в этом, Витя время от времени перечитывал на дверях кабинета имя врача — почти тезки: Вита Сергеевна Вакулинчук. От Виты Сергеевны все выходили заплаканные, перекладывая поудобнее свои — хотелось сказать — польта.

Кабинет Виты Сергеевны был заурядный глазной кабинет со сценично подсвеченным плакатиком, на котором черные буквищи от величайшей отчетливости сходили в полную неразборчивость. Вита Сергеевна, такая уютная, словно копошилась у русской печи, что-то капнула Вите в оба глаза и своими добрыми негритянскими губами попросила подождать на кушетке, а сама вновь обратилась к старухе, прильнувшей глазом к окуляру как бы перископа. Вита Сергеевна направила в ее глаз пучок света, и глаз засиял, как драгоценный камень, — уж его-то выковырять для маленького Юрки-старшего был бы серьезный соблазн! Вита Сергеевна припала к окуляру с другой стороны и начала пристально вглядываться в

сияющий перед ней драгоценный камень, а Витя принялся осматривать плакаты по стенам. Огромный разноцветный глаз — неземной красоты планета, с лучезарным морем радужки, с великолепно облупленным тугим яйцом склеры, искусно охваченная полосатыми жгутами мышц, проплетенная дивными реками сосудов... Какой неземной мастер мог задумать и исполнить все это — чтобы поиграть и выбросить, даже ничего не выковыривая хотя бы для коллекции!..

Атрофия, говорила Вита Сергеевна и укоризненно интересовалась: «Когда вы почувствовали ухудшение?» — «Летом, на даче». — «Что же вы сразу не обратились?» — «Консервов хотелось побольше закрутить». — «А сейчас уже зима... Ох, артисты!.. Это же ваш глазочек!» — «Да мой, уж конечно, мой, чей же...»

Витя читал еще один плакат — глаз вздрогнул на неуместном слове «седло», — оказалось, речь идет о рентгеновском обследовании черепа — придаточных пазух носа, слезных путей, турецкого седла... Расценки государственные. Он взглянул в окно сквозь струистое стекло, нарубившее край крыши неровными зубьями, — блеклые сосульки неба вонзались в коричневую жуть. А через полминуты он уже лежал на кушетке, стараясь не отвести глаз от опускающейся на него гирьки: гирька легла прямо на зрачок и тут же взлетела обратно, оставив мир в угольном тумане, немедленно смытом новыми каплями. Отпечатки этой гирьки, догадался Витя, и характеризуют его внутриглазное давление.

Потом — к перископу. «Положите подбородок на бумажку, прижмитесь лбом». В глаз ввинчивается лупа, в упор ударяет белое солнце. Мигать нельзя, и Витя видит огненную растрескавшуюся пустыню, огненный такыр, его трещины — ветвящиеся жилы, — неужели можно видеть собственную кровеносную систему?.. «Давно это у вас? Ну, ваши светящиеся зигзаги? Почему же вы сразу не пришли? Ох, артисты...»

Если не считать капель катахрома, рецепт и здесь был тот же самый — спать и не нервничать. И еще не поднимать тяжестей.

Витя сидел, обливаясь слезами, но уже различая, что на его прежнее место сажают полную интеллигентную девушку — ведь раз в очках, особенно таких толстых, значит, интеллигентная; а она, оказывается, еще и плохо слышит, ей кричат прямо в ухо, в моче которого Витя, поднапрягшись, разглядел *серезжку*... Бр-р... Тоже хочет быть красивой, бедняжка... Удивительно, несчастными бывают и те, у кого нет детей-наркоманов, — кто бы мог подумать?..

А Вите тем временем уже делали укол в нижнее веко в миллиметре от глаза. За скромную плату (меньше одного дня «Надежды») ему *прокололи* целый цикл таких инъекций. Вита Сергеевна склонялась к нему так заботливо, что однажды Витя осмелился у нее спросить, не страшно ли ей работать так близко к глазу. «Страшно, — очень просто ответила она. — А когда начинала, совсем было страшно. Хорошо еще, что пациенты жаловаться не могли, мы же учились на младенцах: двое держат, третий колет. И оперировать учатся на детях, на детдомовских, за кого вступиться некому. На ком-то же надо?» Вроде бы да, на ком-то надо. Но тогда бы уж учились на наркоманах — все польза была бы от них...

Когда заплаканный Витя выходил из центра, ему за шиворот с крыши упала капля. Слезный путь, подумал он.

Слезному пути не было конца.

А потому об окончании его запрещалось даже мечтать — нужно было лишь преодолевать каждый день, каждый час и каждую минуту, как преодолевают боль, жару, стужу. Ни на что не надеясь, собравшись в кулак.

Вот только кулак не может быть орудием любви. Когда Витя на улице, в метро наталкивался на балдеющих подростков, какой-то с некоторых пор поселившийся в нем зверь сразу настороженно приподнимал уши. А

если Витя успевал разглядеть в них что-нибудь рокерское, хипповское, панковское, настороженность мгновенно переходила в ненависть. Однажды при виде пигалицы лет пятнадцати в намеренно сваливающихся огромных рабочих штанах и бейсбольной кепке задом наперед в нем даже возникло отчетливое чувство «Куда смотрит милиция?!». Если когда-то убийство казалось ему чем-то немыслимым, запредельным, то теперь он вполне понимал, что человека можно убить и из-за того, что он систематически мешает спать, — что же еще с ним делать? Нет, сам он, конечно, пока что еще не убил бы, но если раньше он просто *не понимал* убийц, то теперь — понимал. Однажды услышал по телевизору, что где-то в Башкирии, что ли, в давке на рок-концерте погибли семь подростков, и подумал раздраженно: жалко, что не семьдесят придурков. А потом показали эту самую давку — какой-то башкиренка, прижатый животом к перилам, страдальчески морщится, как младенец, собирающийся чихнуть, — Витя сел и беззвучно заплакал. И плакал долго-долго... Так и стояло в глазах это страдальческое личико.

Ну так что же, прикажете плакать с утра до вечера, с утра до вечера биться головой об стенку? Нет, выжить можно было не влажными обманщицами-надеждами, но только ссохшимся ожесточением. Прежде всего по отношению к себе — ну, плывет в глазах, ну, бегают мурашки по левой щеке, ну, сверкают магниевые зигзаги, ну, бьют электрические разряды в кончики пальцев, ну, боль в середине груди дергает, подобно нарыву, — ничего, не велик барин, не сдохнешь, а и сдохнешь, так тоже ничего. Но тогда уж и остальных приходится возлюбить как самого себя. Когда Юрка с трагически значительным видом — вот, мол, и он ходит в двух шагах от гибели! — сообщил им о смерти Лешки Быстрова («передознулся»), Аня схватилась за виски: господи, какой кошмар, я же помню его мальчуганом, а Витя успел отбить свой ужас где-то на задних подступах: «Он сам этого хотел», — Витя жил с твердым чувством «или мы их — или они нас». «Но у него же остались родители...» — «А он о них подумал?!»

Не только врагов — Витя всех опасался жалеть: пожалеешь другого, а там, глядишь, дойдешь и до себя. Только Аня оставалась исключением. Ее трогательные девичьи прибабасики, всякие там кисточки-пинцетики он старался обходить взглядом — чтобы не завывать от боли; но на зубную Анину щетку смотреть почему-то мог, — может быть, потому, что щетка была немножко растрепана, выбивалась из Аниного стиля. На щетку он поглядывал до чрезвычайности нежно: она очеловечивала Анин образ, но не затрагивала ее высоту. Не затрагивала ее высоту и теперешняя ее манера ходить, словно съезжившись от холода. Даже нынешнее ее выражение лица, когда она утрачивала контроль над ним, — покорно-тоскливое личико большой обезьянки, — даже оно каким-то образом сочеталось с высотой духа: просто больно было видеть скорбные старушечьи морщинки у губ, мятые веки, напоминающие скомканную бумагу, — просто больно и больше ничего (веки она теперь не красила из-за постоянной их воспаленности). Пожалуй, затрагивало ее высоту одно только ее упорное нежелание жить без надежд: цепляться за надежды, когда их нет, — к этому можно разве что снисходить.

Витя и снисходил. Но это чувство по отношению к Ане он испытывал впервые в жизни.

Ее внезапно возникшее почтение к церкви — это еще куда ни шло, церковь и самому Вите представлялась хотя и бесполезной, но все-таки солидной организацией. Был случай, когда он и сам, изнемогая от душевной боли, выбрел к желтому собору, окруженному перевернутыми пушечными стволами, и что-то толкнуло его войти в двери, над которыми очень чисто выбеленные ангелы держали такой же выбеленный крест. В детстве он прочел несколько антирелигиозных статей, в которых верующие заражались всевозможными отвратительными болезнями через целование об-

разов, и потому церковный запах — воска? ладана? — представлялся ему чем-то негигиеничным. Много больших картин религиозного содержания, много тусклого золота, сводов — в этом было еще и что-то устрашающее. Справа от входа говорил по мобильнику совершенно обыкновенный молодой человек, стоящий за прилавком, на котором были разложены маленькие иконки богоматери с младенцем («избывательница от плохого», прочел он на сопроводительной бумажке) и пучки тонких, неопратно-желтых свечей. Их покупали самые обыкновенные люди и тут же шли устанавливать их в латунные гнезда — сначала зажигали от уже горящих свечечек, затем расплавляли тупой конец... Они это делали с такой старательностью, обычные люди в самой обычной уличной одежде (все больше женщины, женщины...), что Витю скорчило от жалости. Да к ним, конечно, но от них один шаг и до себя: все мы несчастные брошенные дети, никак не находящие сил смириться с тем, что никому выше нас самих до нас в этом мире нет ни малейшего дела...

А потом он увидел священника в черной рясе, и на его умеренно бородатом лице была написана озабоченность столь земная, что Витя почувствовал — еще чуть-чуть, и он начнет молиться. Возвышенное выражение на лице священника показалось бы ему шарлатанством, а тут человек не изображал больше того, что имеет, — хотите верьте, хотите нет, — и уж так захотелось верить!.. И просить, умолять кого-то, целовать любые сапоги — только помогите, дайте хотя бы передышку!..

Однако Витя понимал, что в его власти лишь примешать к чистому ужасу нечистое шутовство, — ничем иным свои коленапреклонения и мольбы он ощущать бы не мог. Но если кто-то ощущает иначе, Витя мог только порадоваться за него.

Так что, когда Аня во время летних каникул на три недели повезла Юрку в какой-то специализированный монастырь под Вологдой, Витя отнеся к этому с полным пониманием. Аня покупала бесполезный товар, зато по крайней мере солидной фирмы. Да и кто знает, что может подействовать на одержимого чумою духа... Но когда Юрка по возвращении немедленно начал колотиться снова, Витя воспринял это как самое естественное дело: с чего было и надеяться на что-то другое? Все, что Юрка вывез из монастыря, было слово «пóслушник» (а не «послу́шник», как прежде полагал Витя), маленькое кожаное Евангелие с медными уголками да неприятная повадка широко креститься в тех случаях, где нормальным людям достаточно просто сказать «не дай бог». Вот когда Витя нечаянно застал Аню на кухне перед малоформатным изображением Христа, бормочущую, кося в шпаргалку: «Господи, спаси моего сыночка, хочет он этого или не хочет, господи, открой его сердце к покаянию, отверзи ум его на те бездны адовы, в которые он устремился, господи, сам будь ему отцом, ибо мы не смогли ему стать настоящими родителями, не дай погибнуть сыночку нашему, не нашими, но своими путями спаси его, аминь», — Витя начал пятиться медленно-медленно, осторожно-осторожно (проклятый паркет алкоголика!): эту молитву отчаяния он ощутил как таинство, не предназначенное даже для самых близких глаз и ушей. Но вот когда — открыто! — крестился Юрка... Или вовсе не крестись, казалось Вите, или если уж крестишься, так и живи по-божески! А Юрка жил совсем не по-божески. Как-то с неким своим «тховарищем», как, похныкивая в нос, сообщил Вите финн, Юрка навестил его и, ссылаясь на Аню, вывез два кресла красного дерева с львиными подлокотниками, — пришлось обмирать от стыда, просить финна больше ничего Юрке не давать (а самому — перетерпеть и изгнать из головы). Однако и добытой заначки Юрке при экономном расходовании могло хватить надолго. Особенно если учесть перерывы на *целителей*.

Целители, маскирующиеся под древние, солидные фирмы — церковь, наука, — все-таки, представлялось Вите, соблюдали некие минимальные

приличия. Так что, когда Аня, погруженная в очередную брошюру, спрашивала у него, не знает ли он, что такое «интракраниальная транслокация», он отвечал «не знаю» с полной серьезностью. И хотя от слова «энергия» его уже начинало подташнивать, все же, когда Аня собиралась в Бишкек, чтобы испытать на Юрке курс энергострессовой терапии, он не возражал: им с Аней как раз отвалили неожиданно крупную сумму за расписанную пышными цветами фарфоровую пластину сорок на шестьдесят. (Не вылезавший из телевизора бишкекский экстрасенс Бешеналиев поместил Юрку на недельный неохраняемый карантин в специальное общежитие рядом с восточным базаром, где совершенно свободно продавалась анаша; Юрка сбежал на четвертый день, за что был объявлен недостойным энергострессовой терапии с удержанием внесенного — весьма кругленького — задатка, — эти задатки, как понял Витя, составляли едва ли не главный источник доходов экстрасенса.)

Астрологи выглядели еще более сомнительно — где звезды и где мы! И что же, все дети в роддоме, родившиеся в один и тот же час, должны иметь одинаковую судьбу? Поэтому, когда Аня зачитывала, что Нептун отвечает за легкие наркотики, а Плутон за тяжелые (на Плуtone также лежала ответственность за секс и венерические болезни), Витя старался не поднимать глаз. Космобиологический синтез, гармонизирующий вселенную, — этим излечивались не только наркомания, но и прочие пагубные пристрастия: пьянство, табакокурение, лунатизм, увлечение азартными играми, псориаз, ожирение; та же фирма снимала и негатив в помещениях. Тем не менее Аню они обнадеживали, а брали не слишком дорого. «Врачи вам не помогли, а только причинили вред. Зато наши методы совершенно безвредны, потому что мы лечим по фотографии. Мы восстанавливаем баланс всех систем организма». Ясное дело, жулики, но все же словами «баланс», «система» и они пытаются соблудности какие-то приличия!

Но вот откровенные колдуны, исцеляющие от порчи и сглаза... Сглазили тебя — ты и сделался наркоманом. Или приобрел неудержимую склонность к скандалам. Или полюбил. Или разлюбил. Но и это дело поправимое: наша фирма осуществляет стопроцентный приворот — быстро, безгрешно, качественно. Ну что это за дела? Или взять амулеты. Разные там камешки, были даже красивые, хотя своих денег наверняка не стоили (цены умеренно высокие, гласила реклама — странное у них представление об умеренности...). Но сушеные жуки — скарабеи, уверяли торговцы надеждой — это как? А черная мумия кошачьей лапы? С янтарным же кукишем из Калининграда (из Кёнигсберга — города философа Канта, для солидности напоминали торговцы) вышло совсем глупо: Аня, как и было велено, зашила кукиш в красный фланелевый мешочек и в свете полной луны (полная луна регулярно заглядывала в кухню покойной пьяницы) повесила Юрке на шею, а потом оказалось, что кукиш исцеляет половое бессилие и подвешивать его нужно, наоборот, поближе к половым органам. Ну, ошиблась так ошиблась, прочитала не тот раздел, с кем не бывает, но она, вместо того чтобы улыбнуться, прямо-таки высматривала малейшие признаки несерьезности, чтобы тут же впасть — в нечестный, ощущал Витя, — агрессивный пафос:

— Зачем ты отнимаешь у меня последнюю надежду?!

Он отнимает. Не судьба, не Юрка — он. Тем не менее Витя по-прежнему чувствовал себя не вправе пускаться в препирательства с матерью, все теряющей и теряющей сына, когда агонии не видно конца. Но ведь снисходительность — сестра презрения...

К счастью, в Аниной душе снова брала верх былая честность:

— Прости меня, пожалуйста, на твоём месте я бы тоже так рассуждала. — (Подчеркивает все-таки, что у них разные «места».) — Но ведь есть же один шанс из миллиона — ну, пусть из миллиарда, — что эти глупости помогают? Ты ведь не станешь отрицать, что один шанс из триллиона все-таки есть?

Витя вынужден был кивнуть: один шанс из триллиона — и правда, кто его знает...

— Так ты подумай: на одной чаше шанс на спасение нашего сына, а на другой — мусор, деньги... Да я понимаю, что тебе не денег жалко, ты не хочешь совершать бессмысленные поступки, поддерживать шарлатанов — я все понимаю. Но и ты меня пойми. Ты не думай, я вижу, как ты измучился, мой верный мальчуган, я сама страшно за тебя боюсь, я же тебе не раз говорила: оставь нас, пусть лучше погибнут двое, чем трое. Я знаю, что ты нас любишь, но ты все равно переживешь это. И еще, может быть, будешь счастлив. Хоть иногда.

Витя долго обижался на это предложение — за кого она его принимает? — но однажды вдруг признался себе, что, если бы не Аня, он был бы уже готов избавиться от Юрки. Но к Юрке прикована Аня, а он прикован к ней... Только правильно ли это — всей связкой сползть в общую пропасть?

И однажды на предложение Ани он ответил серьезно и обдуманно, в отличие от своего обыкновения, не голося:

— Да, я знаю, что я это переживу. Раньше мне казалось оскорбительной сама мысль о жизни без тебя, но теперь я узнал, что человек действительно такая скотина, которая может все пережить. Так вот: я заранее отказываюсь от той будущей жизни без тебя. Да, я знаю, что эта жизнь у меня будет, и, может быть, — черт меня, скотину, знает, — может быть, будут в ней и счастливые дни. Но я от них отказываюсь. Заранее отказываюсь. Мне их *не надо*.

Витя говорил с полной искренностью и полной решимостью, но каким-то странным ледком на него повеяло в миг принесения этой клятвы. А вдруг, вплетая Юрку в свою неразрывную связку, они губят не только себя, но прежде всего *его*?. Может быть, без них он бы скорее выжил?..

Юрка вроде бы пребывал в очередной — полуторамесячной, вроде бы — ремиссии. Правда, Витя теперь ничему не верил — кто его знает, чем и как этот ремиссионер подогревается. Хотя, судя по его раздраженной угрюмости, воздержание было неподдельным. Посмотрим, стало быть, сколько он еще протерпит... Лежит, читает что-то английское по социологии, Витя старался не смотреть на соломинки, за которые все еще хватался завтрашний утопленник. Витя затоптал в памяти даже те образы, которые жгли его годами. Когда, например, еще на химфаке Юрка загремел в больницу с гепатитом, Витя не особо переживал — авось поболее и выздоровеет. Но когда среди золотистых куриных жареных ног на домашнем обеде он увидел бледную, приготовленную для Юрки на пару, — его *так* пронзило... Но сейчас он и ту стрелу разыскал и выдернул: теперь-то он знал, что гепатит тот Юрка словил со шприца. И сейчас он уже не позволял себя растрогать вялыми Юркиными попытками вернуться к нормальной жизни.

Аня же просветленно повторяла, что стержень личности человека создают обязанности, поэтому Юрка должен искать работу. Не беда, что пока он может претендовать лишь на неквалифицированный труд, — ничего, он сначала укрепит волю, а уж потом поступит в университет, и не страшно, что столько лет потеряно, когда-то люди возвращались с фронта и снова садились за парту...

— Угу. Угу. Угу, — не поднимая глаз, угрюмо кивал Юрка, и Вите казалось, что он еле-еле сдерживается.

И вдруг — Юрка действительно нашел работу. Витя, правда, усомнился: что это за должность за такая — ночной сторож в ночном клубе? Но через ночь Юрка действительно куда-то уходил, через две недели принес зарплату — ни много ни мало, а в самый раз для ночного сторожа. А еще через неделю его арестовали за торговлю наркотиками.

Следователь, который вел его дело, был вылитый Лешка Быстров — словно поднявшийся из могилы, чтобы настигнуть покуда избежавшего его участи грешника. Чувствовалось, однако, что человек он еще очень молодой, — ему пока что не надоело наслаждаться близостью к чужим безднам и бравировать наркоманским сленгом:

— Вы что, не знаете, что клуб «Прибой» — самый колбасный клуб? Там колесами открыто закидываются — экстеzi, спиды!.. Не знаете? Да это в два счета определить можно: от них большая потеря воды, поэтому пьют не пиво, а чай, официанты так и бегают с подносами с чаем.

Держаться, держаться, на мне Аня, твердил себе Витя. Ничего особенного — мир может быть и таким.

Аня сидела, как школьница, положив параллельные ладошки на колени и послушно кивая, словно для нее не было дела важнее, чем научиться отличать колбасные клубы от неколбасных.

Юрка на свидание вышел пожелтевший, как церковная свеча, одутловатый, с заплывшими японскими глазками (порыв сострадания — в железный кулак), подавленный, но не отчаявшийся:

— Да в «Прибое» вся ментура в курсах — там же по залу дилеры открыто с котлетами бегают.

— А зачем котлеты — наркотики закусывать? — Аня тоже держалась, как бы не теряя даже любопытства.

— Ну, мама, ты... Котлета — это пачка денег. А если кого-то поймают со своими колесами, не в «Прибое» купленными, — сразу зовут ментов, они там же дежурят. Если начать сажать — эта ниточка слишком далеко может потянуться.

Но Аню это не утешило. Съжившись на скрипучем диване покойника, она повторяла как заведенная:

— Мой сын губил других людей... А я всегда себе говорила: по крайней мере он губит только себя...

Витя пытался напирать на то, что Юрка торговал все-таки не героином, — она ничего не слышала. И Витя ждал, не мог дожидаться, чтобы она поскорее легла спать: утро вечера мудренее, а пока Юрка сидит, можно будет хотя бы поспать, не прислушиваясь к стукам внизу.

Аня уже давно не засыпала без снотворного, постоянно таская его с собой, чтобы не украл Юрка. И на этот раз она, видимо, подсознательно успокоилась, не проснулась от неизбывной тревоги в половине шестого. Часов в десять Витя пробалансировал к ней на цыпочках и замер от нежности, глядя на ее расправившиеся веки, молочно-белые, как тогда на копне.

Но в двенадцать он уже забеспокоился, а в половине первого, словно кто-то его толкнул, он бросился к помойному ведру и увидел две выпотрошенные пластины от Аниных снотворных таблеток — платформы, как их называл Юрка, когда желал досадить.

Выдержать можно все, если сосредоточиться на сиюмоментно необходимом: железнодорожная насыпь — значит, на следующей выходить, далекие проблески кладбища — это тебя не касается, заледенелый пандус — надо брести, но так, чтобы не шлепнуться, больничная вонь — значит, ты уже на месте, ожоговое отделение — значит, следующее твое, токсикологическое. Не изумляться, не ахать. Он должен держаться — Аня все еще на нем. А он теперь, кажется, один. Звонки. Если через две минуты никто не выйдет, значит, надо повторить. Спрашивают фамилию, ведут в заурадный кабинет с доперестроечной полированной мебелью. Хабиба Насыровна, психолог, — красивая, но отрешенная от мира восточная богиня. Опасности для жизни уже нет, но какие психологические условия ждут Витину жену после выписки? Насчет условий Витя ничего хорошего обещать не мог, но хотел бы, если можно, поговорить с женой. Минутки хотя бы две.

Хорошо, только постарайтесь ее не волновать. Под руку с невозмутимой Хабибой Насыровной появляется скрюченная Аня в свекольном халате, в дверях у нее зигзагом подламываются ноги, и Витины глаза немедленно отвечают собственными магниевыми зигзагами. Но Хабиба Насыровна поспешно усаживает Аню на красный пионерский диван и выходит, отрезанно предупредив: не волновать.

Такой косматой Витя не видел Аню ни с какого, даже самого внезапного — ночной телефонный звонок, ночной стук в дверь, — спросонья. Лицо ее было совершенно белое, в серых точечках, словно перченое сало. Витя, пристроившись рядом, говорил очень ласково и только о хорошем: уголовное дело, кажется, действительно закрывают, Юрка был прав. Хорошо, мертвенно кивала Аня и тут же, закрыв глаза, бралась за виски: самое легкое движение головой вызывало у нее затяжное головокружение. «Ну, а как ты, мой мальчуган?» — наконец еле слышно спросила она, и Витя не удержался, чтобы — мягко-мягко, казалось идиоту — не попенять ей: как же ты, мол, могла оставить меня одного. «Да, я дрянь, дрянь, — закачала она полуседой косматой головой, — я предательница, дезертирка, я мерзкая гадина», — и вдруг, повернувшись, принялась что есть мочи колотиться головой о полированную спинку дивана. Витя попытался сунуть руку между ее головой и диваном, но она мгновенно начала рвать свои космы, и не просто дергать, а выдирать целые пряди — Витя с ужасом видел, как они развеваются, зажатые в Аниных кулачках. Хабиба Насыровна, закричал Витя, обхватив Аню, стараясь прижать ее руки к туловищу, и восточная богиня, отчасти растеряв свою надмирность, немедленно вбежала в кабинет с шустрой черноглазой медсестренкой. Хабиба Насыровна ловко завернула Анин рукав, а медсестренка тут же всадила словно заранее припасенный шприц, — и обе под руки повлекли Аню по коридору. Витя успел заглянуть в крашенные белой масляной краской двери, куда ее втащили, и сквозь свою глазную электросварку увидел спортзал с толстыми решетками на окнах, а по спортзалу впритык железные кровати, кровати, кровати, кровати... Среди которых, возвышаясь, как подъемные краны на стройке, мерцали уж такие знакомые капельницы.

Головокружения у Ани прекратились довольно скоро, она перестала держаться за мебель и начала ходить на работу. Но высота ее осталась безвозвратно утраченной. Во время Юркиных «срывов» (то есть возвращений к обычному образу жизни после временных надежд, купленных у очередного целителя), прежде заставлявших ее мертвенно подтягиваться, теперь она то и дело рыдала, выдирала волосы — которые седели, казалось, прямо на глазах. (Или она просто перестала их подкрашивать? Дико и жутко было вспоминать, что когда-то эти пряди готовы были вот-вот зазеленеть продолговатыми, как египетские глаза, листочками.) А на все попытки как-то привести ее в себя — в прежнюю Аню — твердила одно: оставь нас, спасайся сам. Постепенно доведя Витю даже до того, что он решился напомнить ей о ее же словах — о том, что и горе надо нести с достоинством. И она с какой-то злобной радостью, словно речь шла о ненавистнейшем ее враге, поспешила наговорить, что достоинства у нее больше нет, что она дрянь, дрянь, дрянь и он поступит только справедливо, если бросит их с Юркой допивать кровь друг из друга, а сам обратится к новой, счастливой жизни, которой он достоин, достоин, тысячу раз достоин. Ладно, хватит об этом, никакая ты не дрянь, ты просто слишком устала, затеропился Витя и был рад уже тому, что на этот раз обошлось хотя бы без дранья волос. Тем более, что Аня теперь и безо всякой-то причины была способна накинуться с абсолютно несправедливыми, недостойными прежней Ани упреками — которые могли вдруг, так же ни с того и ни с сего, смениться столь же бурными потоками извинений, заставляющих Витю только еще глубже втягивать голову в плечи.

Из-за всего этого Витя ощущал Юрку не просто убийцей, но — свято-татцем, разрушителем святыни. Хотя никогда не давал Юрке повода об этом догадаться: расчетливый зверь, поселившийся в нем, постоянно напоминал ему, что нет ничего глупее, чем открыть врагу свои чувства, а следовательно, отчасти и намерения.

Теперь Аня чуть ли не на той же Апрашке покупала транквилизаторы, те самые, которыми время от времени обжирался Юрка, и, нечесаная, шаталась по квартирке алкоголика, правда, уже не такая скрюченная, зато обалдевшая, путающая времена и предметы, а главное — неумеренно любвеобильная. И когда она начинала с обильными слезами благодарить Витю за верность, осыпать его мокрыми поцелуями и называть своим милым мальчуганом, Вите страстно хотелось одного — чтобы это поскорее прекратилось. Теперь он ненавидел все хоть сколько-нибудь искусственные чувства — слишком уж явственно несло от них Юркой, а следовательно — чумой. Поэтому теперь и любые Анины ласки рождали в нем прежде всего настороженность, заставляли вслушиваться в интонации, вглядываться в зрачки — а не наелась ли она чего? Не надо ему было нежностей, пусть бы она лучше оставалась холодноватой, но высокой. (Боже, а как тяжело она теперь дышала!.. Не дышала, а отдувалась.)

Витя уже всерьез опасался, что Анины злоупотребления заметят и на работе, но, к счастью, на людях она всегда подтягивалась. Пока что. Однако если так пойдет и дальше... Витю подобные мысли настолько ужасали, что он гнал их прочь, прочь, и притом как можно дальше. Тем не менее поселившийся в его душе хладнокровный зверь напоминал ему, что нельзя исключать никакого варианта, нужно готовиться к любому развитию событий. Как готовиться — надо думать, главное, не спешить и не метаться из стороны в сторону. Хотя очень возможно — нет, не «очень возможно», а почти наверняка от Юрки придется избавиться. Чтобы не пришлось избавляться от них обоим. Если так дело пойдет и дальше, от Ани скоро ничего не останется, не останется ничего, что стоило бы спасать: она тоже сделается куклой. Витя в ужасе мотал головой, зажимал уши, однако спокойные жесткие слова уже успевали отпечататься в его душе. Но жалеть-то, сострадать можно всегда, какой бы она ни стала, взмаливался Витя, на что неумолимый зверь лишь усмехался: почему же ты не хотел сострадать мерзкой кукле, принявшей облик твоего сына? И был, кстати говоря, совершенно прав. Сострадать стоит только жизнеспособному. А нежизнеспособного лучше поскорее прикончить. Чтобы не мучился и не мучил других. А если безнадежному больному, робко возражал Витя, кажется, что он не мучается, — это же и означает, что он не мучается. Скажем, перед поездкой в Индию, к индийским целителям, Аня сама давала Юрке деньги на героин, чтобы он какой-нибудь глупостью не сорвал решающую операцию, — и Юрка тогда тоже не мучился, даже снова начал почитать что-то английско-социологическое. Ну и чем это кончилось, пенял ему зверь, — а главное, ты что, с самого начала не знал, какой будет конец? Аня вслед за свадебными часами с золотой арочкой изобилия подметет псу под хвост остатки фарфора и примется за мебель. Вот уже и обнаружилось, что дубовый шкаф-бастион относится все-таки к разряду движимого имущества. И ты думаешь, она случайно заговаривает о том, что вам не нужна такая большая квартира? «Но это же ее квартира! — отмахивался Витя. — Она имеет право делать с ней что захочет!» — «Что захочет... Да только соображает ли она, что делает?» — «Ей кажется, что соображает... И какое я имею право думать, что соображаю лучше, чем она?» — «А какое ты имеешь право уклоняться от решения? Ошибиться можно и в ту, и в другую сторону, но, если серьезно, неужели у тебя есть *искренние* сомнения, что ты не просто имеешь право, но *обязан* остановить обезумевшую женщину перед нищетой, в которую она готовится ввергнуть и себя, и тебя, и ваше сокровище? Которому после этого уже и не останется ничего другого, кроме как воровать. Для тебя это, кста-

ти, может быть, был бы и не худший вариант — он бы посидел, ты бы отдохнул, — но вот для нее? А ведь ты, если тебя послушать, как будто заботишься прежде всего о ней?»

Если серьезно, сомнений у Вити не было. Только он не знал, как ему поступить. С чего начать. Расчетливый зверь пока что ничего конкретного ему не предлагал — он лишь по-умному приучал Витю не шарахаться от его хладнокровных рассуждений, и хотя Витя пока что его не слушался, даже когда он его просто *слушал*, ему уже становилось легче: в присутствии его жестокой логики исчезала безысходность, а с ее исчезновением начинал поменьше дергать в середине груди нарыв размером с кулак, быстрее прекращали свой струистый бег бело-огненные серпы в глазах, таяла предобморочная щекотка в левой щеке. Правда, распродажа имущества — обмен вещей на кратковременные надежды — шла своим чередом.

Но продать квартиру они все-таки не успели.

Последнюю надежду Аня сторговала у отставного десантного полковника, который фильтровал кровь своих пациентов, кувыркая их в центрифуге; Юрка выдержал всего один запуск (задаток, по обыкновению, остался у целителя), после чего свалился в затыжное пике, из коего выходил уже не на «девятке», а на каких-то аптечных пузырьках, прекрасно разбираясь во всех действующих веществах, — Вите запомнились только барбитураты. Этот бред продолжался и днем, и ночью, только ночью он становился еще более ирреальным, уже не допускавшим и даже не требовавшим какого-либо понимания. Зачем-то Юрку снова нельзя было выпускать, ибо после этого весь курс «лечения» пришлось бы начинать заново, — не говоря уже о том, что в таком состоянии Юрка наверняка угодил бы в милицию, где его наверняка изувечили бы. Он и здесь давно бы уже выломал замок — он уже вышибал обугленную дверь алкоголика, — да только старший брат пожертвовал от своей фирмы стальную дверь, предупредив, что это первая и последняя его жертва: «Если бы вы его выгнали, у него еще был бы шанс спастись, а так он сначала сожрет вас, а потом уже и себя». Но Аня и на самые слабые намеки сразу обреченно замыкалась: «Я не смогу жить, зная, что он где-то пропадает. Я помню, однажды я всю ночь ждала его, вслушивалась в ночные звуки и поняла: я не смогу жить, не зная, где он и что с ним. Я же тебе говорю: спасайся сам, ты еще можешь спастись!»

Старший сын мудро устранился и по крайней мере больше не учил жить, но поставленная им дверь надежно держала их троих в общей клетке. Однако при всей замученности Витя тем не менее не добирался до последней потерянности, как бывало раньше: не сгибаемый зверь, уходивший в самую глубину, продолжал напоминать оттуда: не психуй, сегодня ничего не решается — таких ночей было много и еще будет много (если, конечно, ты ничего не предпримешь). И когда наступала Витина очередь отдыхать на кухне (на комкастом старом одеяле, головой под закопченным снизу, словно какой-нибудь грот, кухонным столиком), он уже не кидался на каждый грохот или вскрик: ничего ценного там разбить уже давно нельзя, а Аня должна прочувствовать, с каким безнадежным чудовищем имеет дело, — может быть, в этом и ее единственный шанс на спасение. Не надо лишать ее этого шанса, напоминал завладевший его душой, не теряющий головы (рациональный, сказал бы Витя, обладай он склонностью к философствованиям) зверь, и Вите порой удавалось даже видеть недолгие сны — в одном он плыл на катере по морю из зеленого желе, распарывающая его дно самого дна, причем желе так разворачивалось за кормой, как будто катер расстегивал невидимую молнию, — и когда Витя пробуждался от упавшего в комнате стула или от собственной тревоги, зверь сразу же обращал его внимание на главное: вот видишь, серпы в глазах уже померкли, посверкивают только отдельные искорки, как от бракованной спички, а тебе ведь велено не нервничать и высыпаться — если с тобой случит-

ся новый приступ, ты ей окажешь этим плохую услугу, ты должен беречь себя даже и для нее.

С помощью хладнокровного рассудительного зверя Витя тоже проделал очень серьезный путь к выдержке и рассудительности. Когда-то из командировки он позвонил Ане узнать, как они там с Юркой. «Все хорошо», — ответила она, но в спокойствии в ее голосе ему почудилось что-то чрезмерное. И спазм страха под ложечкой оказался такой силы, что его вывернуло прямо в переговорной будке, — уж тетка орала, орала... Но и это надо было пережить и забыть. И Вите по-прежнему казалось постыдным помнить о такой пошлости, как здоровье, однако хладнокровный зверь настаивал на своем и как в воду глядел. Когда настала Витина очередь приглядывать за Юркой, он прилег на свою зимнюю куртку под темной машиной облупленного шкафа покойного пьяницы: на раскладушке за шкафом он бы потерял из виду диван, на котором предавался безумию его некогда до безумия любимый сын, но и на куртке Витя все-таки пользовался каждой минутой, чтобы подержать глаза закрытыми, не дать бегущим серпам пройти до белого каления. Что он там затих? В отсветах каких-то городских зарев, достигавших и сюда, на седьмой этаж, было видно, что Юрка прижигает руки огоньком сигареты. В былые времена Витя бросился бы ему препятствовать, а теперь только представил, какие будут ранки через пару дней — голые и розовые, — и снова прикрыл глаза. И, может быть, напрасно: его хладнокровный советник не сообразил, что Юрку может привести в раздражение равнодушие к его страданиям, и позволил ему не только прикрыть глаза, но даже отключиться.

...Он бродил по какому-то роскошному дворцу — отовсюду бросались в глаза точеные каминные резные мраморы, переливающиеся мозаики, но куда бы Витя ни повернул, он неизбежно попадал на кухню — огромную, с множеством плит и котлов, с сонмищем колдующих над ними поваров в высоких, как боярские шапки, крахмальных колпаках. Сквозь кухню Витя пройти не решился, потому что был в зимнем пальто, он поворачивал назад и оказывался на другой кухне. Наконец он выбрался на роскошную мраморную лестницу, которую усердно драила швабрами целая бригада синих уборщиц. Витя с облегчением пустился было по ступенькам вниз, но с содроганием увидел, что по мраморным уступам стекают косы длинных шевелящихся макарон...

— А ну, гни ключ! — С хамским рыком Юрка грубо тряхнул его за плечо, и Витю от макушки до пяток как будто шибануло током. Он выгнулся, словно хотел подняться на гимнастический мост, и больше ничего не помнил. Он бы даже и не знал, что ему было что помнить, если бы, очнувшись, не увидел склонившуюся над ним Аню, все отчетливее проступающую в привычный полумрак из тающей в глазах черноты. Света она не зажигала, как будто страшась увидеть картину во всем ее ужасе и безобразии. Витенька, Витенька, всхлипывала она, ты меня слышишь, и только тогда до него дошло: был припадок. Первым делом он в страхе схватился за штаны — фф-ух, сухие. Все в порядке, я тебя вижу, как можно более ласково обратился он к Ане и с тревогой спросил: «А что со мной было?» — «Ты весь трясся и всхрапывал, как лошадь». Как лошадь... Стыдно все-таки. «Тебе было противно?» — робко спросил он, и она ответила вполголоса, но с таким пылом, что он усомнился в ее трезвости: «Как мне могло быть противно — ведь ты же мой милый мальчуган. Мне только было очень страшно».

— Ну, лана, хваит ворковать, гните ключ, — прервал их хамский рык с дивана, и Аня снова заплакала: господи, за что, за что?..

— Хваит скулить, гните ключ!!!

— Подожди минуту, сейчас разберемся, такие вопросы с кондачка не решаются, — с развалочкой ответил мгновенно пробудившийся в Вите зверь, сразу уяснив, что для начала надо потянуть время.

Витя приподнялся и прошептал Ане в самое щекочущее упавшими на него волосами ухо:

— Может, и правда отпустим его ко всем чертям? Может, мы и его этим губим — тем, что держим?

— Я уже говорила тебе: я не могу. Спасайся сам, честное слово, мне будет только легче!

Она произнесла последние слова с таким надрывом, что Витя снова заподозрил, не закинулась ли она какими-нибудь таблетками. Но дальше она говорила еле слышно и — с чистой бесконечной горечью:

— Когда-то я обещала защитить тебя от аллигаторов, а вместо этого родила тебе самого страшного аллигатора...

— Ничего, я сам аллигатор, — как бы шутя, но не так уж и шутя прошептал из Вити не теряющий рассудка зверь, понимающий, что сейчас не до драм — драмы слишком легко переходят в рыдания.

— Ну хваит, хваит шушукаться, гните ключ, — куражился на диване едва различимый в отсветах неизвестно чего аллигатор, но с пола за ним, посвечивая электрическим глазом, следил тоже аллигатор — только в тысячу раз более собранный, знающий, чего он хочет.

Жил да был крокодил, вдруг стукнуло у Вити в голову: когда-то он с большим увлечением читал эти стихи Юрке, а Юрка с восторгом возвращал ему: жий да бый кьекодий... Кажется, еще вчера это воспоминание скрючило бы Витю судорогой невыносимой боли, а вот сейчас оно лишь прибавило холода к его решимости. И если бы кто-то напомнил ему: «Я игаю на гамоське у похожис на виду», — он только пожал бы плечами: это не имеет отношения к нашему делу. Аллигаторам не интересно ничего, что не имеет отношения к делу.

И когда он снова залег головой под копченый стол, он напряженно думал исключительно о деле. Он слышал, как Аня уговаривает Юрку поспать или по крайней мере выпить чаю с бутербродом: тебе станет легче, убеждала она — и в ответ на его рык сбивалась на упреки: «Ты бы хоть отца пожалел — видишь, что с ним делается» (отца... все эти священные заклатья остались далеко в человеческом мире), — но Витя обращал на эту суету не больше внимания, чем на привычные электрические разряды в кончиках пальцев да на искры электросварки под прикрытыми веками. Он думал.

...В конце концов, пропадают же люди неизвестно куда — заманить его в лес... Нет, в лес он не поедет — не потому, что побоится, а потому, что в лесу ему совершенно нечего делать... Да и зачем мудрить, можно и в городе все проверить не хуже — ночная улица, ночной подъезд, подумают, что это какие-то наркоманские разборки...

Сквозь брызги электросварки Витя явственно представил стриженный Юркин затылок. Мог бы он размахнуться и изо всей силы ударить по этому беспомощному затылку тяжелой железной трубой? И убежденно ответил: мог бы. А по лицу? По запрыщавшему обрюзгшему лицу чайханщика, по открывшимся в оскале губок-бантиков зубам? И по лицу мог бы. И по зубам.

Витя понял, что, если понадобится, он сможет все.

Тем более пора было подменять Аню — он и вправду чувствовал себя бодрым: не сна ему, оказывается, не хватало, а решимости. «Я отлично отдохнул», — он сказал это Ане с такой уверенностью, что она без возражений отправилась на отдых головой под стол. В комнате брезжил жидкий рассвет, открытое из-за августовской духоты окно уже не чернело, а синело. Витя на всякий случай больше не ложился, чтобы внезапным пробуждением не спровоцировать новый приступ. Он сидел на скрипучем стуле за скрипучим столом, прикрывая глаза (от ненужных очков он избавился еще с вечера), только когда они начинали слишком уж искрить, и с напускным добродушием тянул все тот же вечный диалог: гните ключ, гните

ключ, гните ключ, гните ключ — подожди до утра, приляг вздремни, утро вечера мудренее, вот мама проснется, все вместе и обсудим.

На каком-то витке сорванной резьбы Юрка наконец пустился в привычный шантаж: поскольку все ножи были предусмотрительно припрятаны, он стал грозить, что выбросится в окно, и даже сел на подоконник, начиная откидываться спиной к синей пустоте. Какой-то остаток прежнего Вити еле слышно вздрогнул, но аллигатор, которым теперь он был, просек одно: не упusti! Не спугнуть, не спугнуть... Мертвея от того, что ему сейчас придется совершить — в глазах разом ударили белые молнии, — Витя подкрадывался с кошачьей мягкостью, приговаривая: осторожнее, не валяй дурака, ты же можешь выпасть, — а Юрка, видя, что победа близка, откидывался все дальше и дальше, держась за оконную коробку одними лишь кончиками пальцев.

Победа была действительно близка — Витя был уже совсем рядом. И вдруг внезапно изо всей силы как можно более резко и коротко ударил Юрку в самую середину груди и, отскочив назад, успел увидеть, как у него перед глазами мелькнули огромные Юркины кроссовки. Юркиного лица в жидком свете было почти не разглядеть, но, Вите показалось, он увидел, как оно захлебнулось сначала изумлением и тут же ужасом.

Витя ждал вопля, но за окном была тишина. Тишина, тишина, тишина и — громовой удар. Словно наконец докатившийся раскат тех молний, которые били в его глазах.

Вбежала растрепанная Аня — в синюшном свете уже было заметно, что халат ее застегнут косо, не на те пуговицы. Что случилось, что случилось, задыхаясь, спрашивала она и вдруг, увидев пустую комнату и пустое окно, все поняла. И завопила таким страшным криком, какого Витя и вообразить бы не мог. Ничего, ничего, я сейчас сбегаю, вызовем «скорую», залепетал он, но она в блеске белых молний все вопила и вопила.



ВИКТОР КУЛЛЭ

*

ПЧЕЛИНЫЕ ЧИСЛА

* *
*

Вот — роскошь для подслеповатых зенок:
восторженные ветви разведя,
торчит самодостаточная зелень
под струями дождя.

И, за бесцельно прожитые годы
казня поднаторевший в рифмах ум,
вдруг замечаешь красоту природы,
в которой — ни бум-бум.

Бумажный червь, нажравшись книжной пыли,
навряд ли смог вкусить живых плодов
той мудрости, которую копили
тысячелетья до.

Но стоит чуть попристальней взглядеться —
мир прояснится, праздничный и злой,
переводной картинкою из детства:
сними бумажный слой,

и слух, привычный к перебоям ритма,
вдруг ощутит, как торкнулась во мне
не проповедь уже — но и молитва
пока что не.

Я знаю, что не вывезет прямая...
Но для чего пичуге заводной
так остро чувствовать, не понимая:
что делать мне со мной?

* *
*

Устав искать от добра — добра,
отшкрябывать зло от зла,
почуешь, вернувшись к пробам пера,
что юность все же была.

Какой ахинеи ни города,
но чуткий холодный ком,
считающий стопы в пустой груди,
отчасти тебе знаком.

У юности тот волшебный наив,
тот самозабвенный гам,
когда, целомудрен и небрезглив,
ты верил еще словам,

но не языку. И слова в ответ
легко предъявляли себя:
и слово *любовь*, и слово *поэт*,
и сладкое слово *судьба*.

Язык же молчал. Точней, говорил
с теми, кому доверял.
Ему до звезды трепыханье крыл
и по барабану — финал.

И, этой насмешливой немотой
поверженный, — как зверье,
ты шкурой почуял, что всё — *не то*,
точнее — всё *не твое*.

Ты бился всем телом — как фиш на мели
в полметре от отчей реки —
беззвучно. Поскольку слова ушли
с другими играть в поддавки.

Но все же дополз, ободрав чешую,
жабры забив песком,
до влаги — и булькнул назад, в струю,
прозванную языком.

Признайся, не рад, что и впрямь убёг
от правды белковых тел?
Пусть тут жутковато — но, видит Бог,
ты этого сам хотел.

Пусть ты никогда не достигнешь дна
и не оставишь следа.
Пусть кровь покамест не столь холодна,
как снаружи вода, —

зато первозданная новизна
внятна тебе с азов.
Слова, что допрежь не желали знать,
послушно пришли на зов.

Наверное, это и вправду — Бог,
который вбирает в себя
и слово *поэт*, и слово *любовь*,
и страшное слово *судьба*.

* *
*

Мои года под горку катятся
с веселым ляганьем трамвая.
А я ползу, как каракатица,
за ними вслед не поспевая.

В дурной надежде стать услышанным,
под морозящей пеленою
бреду по улицам умышленным
к любимой, выдуманной мною.

Что ж, так и так дела хреновые,
пустые — как стремленье к славе.
С ее неукротимым норовом
не мне, стареющему, сладить.

А мне — нарыть стишок нечаянный.
Домой вернувшись, улыбаться.
Поставить на конфорку чайничек
и кофеек себе забачать,

чтоб сочинять свою утопию,
успешно наплевав по полной
на семантические тонкости
и на житейские препоны.

А за окошком — ветер мечется,
хрипит, как в приступе падучей.
И ястребиный коготь месяца
на клочья раздирает тучи.

* *
*

Привыкший доверять пчелиным числам,
пустышкам снов и логике лозы,
я изоцрился свой слух — но разучился
нормальный понимать язык.

Луженым связкам, помнящим крещендо
мальчишеской атаки горловой,
без разницы: колоратурный щебет
издать или звериный вой.

Вот это и зовется продолженьем
традиции — когда, лишась корней,
ты подстилаешься под поражение,
чтобы в итоге стать сильней.

И лишь завет, до крайности нелепый,
все актуальнее день ото дня:
не есть бобов, не половинить хлеба,
не разгребать ножом огня.

* *
*

Что-то совсем ослаб.
Камень, поросший мхом.
Мне уже не до баб.
Даже не до стихов.

То-то что благодать
вросшему в поры мху.
Тошно мне наблюдать,
как далеко вверху

воля и произвол
весело делят игру.
Ночью приходит волк,
лапой встает на грудь.

Впрочем, в моей стране,
в волчьих ее углах,
даже привычен мне
этот нестрашный страх.

Ибо для мертвецов
сладок привкус беды.
Смотрят прямо в лицо
желтые две звезды.

* *
*

...мы живы пока, голосисты —
и стыдно, застыв в янтаре,
горланить, что те символисты
на артериальной заре.

За слово приходит расплата —
и большего ужаса нет,
чем брат, убивающий брата,
и бред, порождающий бред.

Страшнее улыбки Медузы,
беспамятней, чем забытье,
уже не презрение Музы,
но лишь равнодушие ее.

Она жестока и открыта —
а ты от сюрпризов устал.
Как в поздних стихах у Бахыта
Кенжеева я прочитал:

поэт просыпается ночью —
он мутен, одышлив и сед.
«Ты любишь меня?» — «Не очень»...
Красивый, но честный ответ.

<Из «Оды на 300-летие Питера»>

...я, помнится, любил вернуться в этот Град,
где статуй лик суров — по слову Якобсона.
Где океан чернил извел тому назад,
не отличая кровь от клюквенного сока.

Здесь очертанья лиц текучи, как вода.
Здесь принципы тверды, но правила туманны.
Здесь невозможно жить без смеха и стыда —
как в ледяном дворце императрицы Анны.

Я ворочусь сюда, корнями прорасту
сквозь треснувший гранит в болотистое тело.
И он меня простит за наглуго тщету
вписать свой слабый текст поверх чужого текста.



ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК



МАСТЕР ПЕНИЯ

Во искупления долга

Ты знаешь, как разнять все оковы.

«Атхарваведа».

За то, что я есть на земле, — я в долгу неоплатном
и буду его возвращать, покуда я есть:
за воздух, который вдыхаю и выдыхаю обратно,
за воду, что пью, и за хлеб, что мне выпало съесть.

Ведь, сколько живу, все долги свои возвращаю, —
живущий долги выплачивает живым, —
за все, что беру, я дыханием, хлебом, водой отвечаю,
покуда я жив, расплатиться бы с долгом моим.

И так совершив, я остался бы свете на этом
свободным, лишенным долгов, как и свете на том,
в том мире, где предки и боги, — не связанным долга обетом,
во всем искупленным, любым устремляясь путем.



Егору Даниловичу Резникову.

Когда мастер пения входит в храм,
с ним в придел возвращается тишина.
Это чувствует дискант-послушник, посматривает по сторонам:
чудно легче стало вытягивать, а причина-то не ясна.

И никто не приметит из братии, как никто не подслушал досель,
миг, когда мастер пения вступает в общий хор.
А уже на голос единственный откликнулась каменная свирель —
отзвуков радугой многолиственной зацветает собор.

И хор восходит звучания лестницей, сливаясь в единый глас,
и из каждого сердца — как к солнцу лучи! — тянется серебряная труба,
выводя *аллилуйя* и *радуйся*, и *молись за нас*...
Когда мастер пения выходит из храма, его встречает толпа.

И к нему подводят для исцеления от рожденья глухих,
запущенных, *му-му* мычащих, кому и *ма-ма* не суметь.
И вот все зеваки разинут рты, будто каждому дали поддых...
Он руку кладет на грудь — человек начинает петь.

И все начинают петь, и волю дают слезам,
и слышат, что с ними согласно поют в Везеле, в Фонтене, в Тороне...
Это мастер возводит пения чистого храм
от пределов земли на западе и востоке, на юге и там — в родной стороне.

06.12.2002.

И было утро

И было утро, и было лето.
Лежала рядом, совсем раздета,

совсем раскрыта, еще спала ты,
и были губы холодноваты.

Плыла улыбка еще без тела —
а тело было тепло и бело.



АНТОН УТКИН

*

РАССКАЗЫ

БРЕЙГЕЛЬ-МЛАДШИЙ

Брейгель часто думал о том, откуда у него такая фамилия. Вернее всего, царь Петр вывез какого-нибудь Брейгеля из тучного Антверпена. Тот Брейгель был или плотником, или механиком, или хорошо разбирался в мушкетах. Или, может быть, все было еще проще — это уже во времена Анны Иоанновны — метресса Воспитательного дома по фамилии Брейгель понесла, родила, ребенка бесстыжим своим филейным телом, прелестным узким лицом, утиным носом фламандской Богоматери довела до Инженерной школы, посем умерла.

Отца своего он не помнил, родных его не знал. На все его вопросы об отце домашние неизменно отвечали: «Не болтай глупости. Ешь суп». Брейгель был почти уверен, что похожие ответы получает и Брейгель-младший, когда проявляет излишнюю любознательность.

Да, наверное, действительно умерла. Тот человек, который бросился под колеса состава, тоже, скорее всего, умер. Умер. «Уме-рла. Уме-рла». Что-то шумерское слышалось в этих звуках. Звуки, журчащие в черной гортани, ступни, утопающие в песке или мешающие глину для горшков, где поколениями будут пестовать розовые непотухающие угли и, подобно светильям, дадут имена.

В школе метрессин Брейгель за многие непорядочные и нерадетельные поступки да по малости лет сиживал за штрафным столом, покрытым мешковиной, угощался разломанным хлебом, солью и водою из деревянной чашки, стал постарше — угощался фухтелями — это сомнительное право, несомненно, добыла ему иностранная фамилия, — потом сиживал на кровельке, поставленной на орудийный запал... Потом сиживал в Югорском Шаре, на стенах крепостей, которые сам же и строил, и на изнанку фортификационных кроков наносил невесомым угольком легкие очерки мироздания, — любил рисовать.

После этого в предполагаемой истории Брейгелей следовали века умолчания вплоть до скупого упоминания в ноябрьском номере «Мира Божьего» за 1907 год о том, что некий подъесаул Павел Брейгель в составе 9-го полка Оренбургского казачьего войска принял участие в русско-японской войне. Журналы, изгнанные из учреждения по плесневелой своей ветхости, проникнутые прикипевшей известью, с измочаленными кожаными углами, к Брейгелю попали в тяжелой стопке, пережатой до неизгладимых вдавленных рубцов колючей волосяной веревкой, надежной, как аркан. В сущности, этот Павел Брейгель из «Мира Божьего» (или Петр?), если не считать сына и художников, был единственным человеком с такой фамилией, который был ему знаком. Да и то не воочию. И как раз, когда

Уткин Антон Александрович — прозаик. Родился в 1967 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ и Высшие сценарные курсы при Госкино. Автор романов «Хоровод», «Самоучки», а также повестей и рассказов. Лауреат премии журнала «Новый мир». Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.

пошел снег, он опять раскладывал свой пожизненный пасьянс, крапленый недостатками связующих звеньев.

Пошел он уже тогда, когда они собирались выйти из автобуса. У стеклянного павильона станции метро гуськом стояли несколько машин «скорой помощи», внизу, на полвагона выставив из-под козырька платформы плоскую симпатичную физиономию, застыл пустой состав с открытыми дверями, широко распахнув в обиженном изумлении свои круглые фары, — куда более живой этой неподвижностью и ярко освещенной пустотой, чем когда привычно, не считая, выпускает и выпускает своих ездовых. «Через час, не раньше», — сказала дежурная, но ничего толком не было известно. И каждую минуту улица вваливала внутрь новые и новые толпы, и все повторялось сызнова: расспросы, ответы, слухи и обещания. Некоторые звонили родственникам, чтобы те приехали за ними на машинах. Другие топтались растерянно, клубились испарения, шаркала обувь. Брейгель-младший забился в угол между будкой контролера и билетной стойкой и, обняв скрипичный футляр, выглядывал оттуда насупившись, как затравленный зверек.

— Позвони маме, пусть она за нами приедет, — капризно потребовал он.

Брейгель покачал головой с сомнением и хмуро огляделся. Люди то входили, отряхиваясь от снега, то выходили обратно, озадаченно глядя на запруженную автомобилями улицу. Сесть в один из них значило обречь себя очередным безотрадным превратностям потерянного вечера. Так они простояли некоторое время, на правах сиюминутных старожиллов разглядывая толпящихся людей.

— Надо идти, — просто сказал Брейгель-младший, положил футляр на подоконник кассы и стал затягивать завязки на капюшоне куртки.

Брейгель даже поразился, как это ему самому не пришла в голову такая простая и разумная мысль, и опять посмотрел на Брейгеля-младшего — на этот раз с уважением.

— Мы же не спешим? — спросил он непонятно кого.

— Нет, не спешим, — поспешно отозвался младший и вышел из своего убежища.

В одну руку Брейгель взял скрипку, в другой зажал рукав Брейгеля-младшего, и они устремились навстречу потоку обеспокоенных пешеходов, мимо обезумевших автомобилей и накрененных автобусов, затертых ими, точно корабли в ледовитых морях.

Если вообще связь Брейгеля с Россией представлялась странной, то уж связь Брейгеля и Оренбургского казачьего войска могла иному невежде показаться и вовсе предосудительной. Но Брейгель невеждой себя не считал. Он знал, что удобнее и короче будет пройти вдоль реки, а чтобы попасть на реку, надо было идти парком до высокого крутого берега и вместе с липами и дубами сползть на набережную.

— Тогда это будет рекорд, — восторженно предположил Брейгель-младший. — Если такой маленький малыш пройдет столько километров.

— Гм. Может быть, — отозвался Брейгель с опозданием.

В квартале от станции часто и безучастно дремали деревья и темной чащей прикрывали берега. Ближе к реке начинались липы, которые помнили еще пожар Москвы, серый сюртук императора и польский плащ неаполитанского короля. Как по мановению волшебной палочки остались в стороне смятенные толпы, сутолока машин, растерянность несчастья. Город пропал, словно его выключили. В мгновение он стал каким-то прозрачным нереальным воспоминанием; здесь же стояли полновесная тишина и серо-голубой туманный полумрак снега, и достоинство старинного парка поддерживалось тяжелыми каплями, ниспадавшими с веток с размеренной торжественностью.

Дойдя до спуска, Брейгели остановились и долго стояли, озирая открывшуюся картину. Внизу под горою, изгибаясь ровным полукружием,

текла река. Противоположный берег ее был низменный; там редкими кучами стояли деревья и бесконечно тянулись пустые поля. Дальше, мутно припушенная светом фонарей, угадывалась магистраль. И где-то далеко за нею роились желтые огни кварталов, острые, как иглы.

И Брейгели словно в целом мире остались одни.

Не долго думая Брейгель-младший уселся на мягкое место и покати́лся вниз.

— Делай как я! — выкрикнул он залихватски какое-то нелепое выражение и исчез из глаз.

Помявшись, Брейгель-старший последовал его примеру. Обеими руками он прижал скрипку к груди и, притормаживая каблуками, скользнул вниз. Съезжая, он вдруг вспомнил, что дурацкое это выражение он слышал от военных и подумал еще, что, наверное, оно существовало в армии еще во времена подьесаула Брейгеля и даже раньше.

Склон здесь был так крут, а горизонтальная полоска у реки так узка, что казалось, оба они скатятся прямо в холодную воду, изукрашенную черными расплывающимися треугольниками, отчего она выглядела пегой. Потом стало ясно, что черные треугольники — это купы деревьев на той стороне, упавшие на воду, и только изредка, между серых льдин и отражений, небо клоками показывало ее истинную окраску — пепельно-фиолетовую с черничным блеском.

Теперь, когда они спустились, надо было просто идти вдоль реки несколько километров, а потом опять подняться по высокому берегу. Так или иначе, идти предстояло не один час.

— Ну, смотри, — неопределенно заметил Брейгель-старший Брейгелю-младшему.

Брейгель-младший никак не отозвался, и они пошли.

Брейгель хорошо знал эти места. В сущности, здесь прошли многие его годы. Взгляд его, насколько позволял снег, блуждал по склону, выискивая знакомые приметы, на которых, как обрывки киноплёнки, висела жизнь. Сейчас, вспоминал он, будет то место, где искали зуб динозавра, а недалеко другое, где в песчаной промоине искали подземный ход к особняку Нарышкиных, а нашли просевший блиндаж тридцатилетней давности. А подниматься придется у лодочной станции, где он когда-то катался на лодке со своей будущей женой. Был май; на берегу цвела черемуха. В тот момент, когда он делал предложение, с их лодкой столкнулась другая, наполненная веселыми людьми. Это знамение позволяло истолковать себя двояко. Лодка сильно качнулась, и на колени им плеснуло водой.

И само это воспоминание выплеснулось так неожиданно, что деревья, заваленные снегом, на мгновение словно оделись листвой. А следом так же коротко, как вспышка, возник брошенный город, да так отчетливо, что как будто Брейгель и в самом деле услышал поставленный и чуточку обеспокоенный голос диктора: «...прекращено движение поездов по Филевской линии, автомобильный затор на Малой Филевской улице и на площади Ромена Роллана. Затруднено движение в сторону университета по Ломоносовскому проспекту. Наш корреспондент следит за развитием событий. К другим новостям...»

И уже было странно от мысли, что где-то разворачивались какие-то события. Здесь, с отрядным удивлением констатировал Брейгель, ничего не разворачивалось. Полотно воды, подгнившее проталинами, дугой подпирало берег, валом валил вязкий снег. Хлопья его, как бесформенная саранча, косо слетали из фиолетового неба. И даже было немного жутко и непривычно от этой глухой пустоты, безлюдия и таинственного спокойствия воды.

Мысли его вернулись на станцию, к тому человеку, который бросился под поезд. Бросился или упал? Кем он был? Чем обрек себя на такой конец? В какую пропасть отчаяния заглянул? Как выглядел? И какое ко всему этому имеет отношение свирепый снегопад в начале весны?

Вопросов вставало множество. Брейгель думал о нем и никак его себе не представлял. Брейгель-младший рядом торопливо переставлял ноги.

— Какой отважный малыш! — воскликнул Брейгель-старший с иронией.

— Да, я отважный малыш, — с достоинством согласился Брейгель-младший и побежал вперед.

Кое-где под ногами проявлялась обледеневшая лыжня, местами подбирравшаяся к самой кромке набережной. Вода стелилась под ногами ровным потоком. Цвета у нее не было — одни лоскуты отражений и непотаявших льдин; и все же в глубоком сумраке угадывалась ее упрямая текучесть.

Внезапно далеко впереди на берегу мелькнул какой-то слабый, но подвижный свет, пропал, опять дрогнул в пелене идущего снега.

Брейгель принялся гадать, кто мог в таком месте в такой час под таким снегопадом жечь костер, но это была какая-то несообразная загадка.

И Брейгель понял, что до тех пор, пока к нему не приблизишься, явление огня будет необъяснимо. Теперь только он, этот все еще далекий невнятный желтый огонек, притягивал к себе взгляды обоих. На всем обозримом пространстве это была единственная капля живого света.

— Мы что, в сказке? — увидев огонь, восхищенно спросил Брейгель-младший.

Оба они в наглухо затянутых, колоколом торчащих капюшонах вполне могли сойти за гномов, целеустремленно шагающих на поиски клада или спешащих отвоевывать принцессу, похищенную гением зимы. Брейгель-младший, склонив вперед голову, как упрямый бычок, упирался ею в волны ветра, бодал его, словно говоря: «Вот я тебя». Но отворачивал голову и возвращался к Брейгелю-старшему, как в крепость после вылазки, и прижимался к его бедру.

— Кстати... — сказал Брейгель, подумав про принцессу. — Мы еще должны расколдовать одну принцессу. Если ты установишь свой рекорд, то она станет свободной. — И тут же невесело подумал, что начать бы лучше с себя.

— А где она сейчас?

— Она здесь, рядом с нами, но видеть ее мы не можем.

Брейгель-младший огляделся, стремясь вникнуть в смысл этого неожиданного сообщения, потом вскричал:

— Правильно, она же заколдованная! Но мы ее увидим?

— Может быть. Но мы точно будем знать, удалось нам или нет.

Брейгель-младший сделал вид, что удовлетворился такими объяснениями, и опять убежал вперед.

Огонь приближался, трепещущая точка его расползлась на лепестки, вот уже стали различимы переливы самого пламени, то ярко вспыхивавшего и освещавшего какой-то черный согбенный силуэт, то ненадолго сникавшего, но все равно было не очень понятно, что именно горит.

Брейгели уже не смотрели под ноги, а смотрели на огонь, как жаждущие на искрящуюся влагу. По мере их приближения он вошел в свою слепящую силу, и они пили его уже маленькими глотками, процеживая сквозь прищуренные веки. Черный силуэт, который выхватывали из завесы снегопада вспышки пламени, обрел наконец внятные очертания и оказался мальчиком лет одиннадцати. Он стоял под ветками орешника, густо нависшими над тем самым местом, где угадывалась тропинка. На плече у него висел школьный рюкзачок, убеленный в складках. Рядом неподвижно, как пень, сидела такса в ватиновой жилетке и внимательно следила за действиями своего хозяина. Один за другим он вырывал листы из какой-то тетрадки и молча предавал их огню, поджигая один от другого.

Брейгели аккуратно его обошли. Качнулась ветка, сбросив пригоршню мокрого снега.

Мальчишка глянул неприветливо, видимо, не очень довольный, что кто-то застал его за таким занятием, и отвернулся, прикрыв огонь спиной. Что он делал и зачем, для Брейгеля-старшего оставалось сушей загадкой.

— Это он дневник жжет, — пояснил Брейгель-младший. — Это такая есть... Если в дневнике много двоек, надо его сжечь. И станешь хорошо учиться.

Брейгель-старший подивился этому совершенно новому для него обычаю, подивился тому, что дошкольник Брейгель-младший уже прекрасно о нем осведомлен и, похоже, сведущ в этой новейшей обрядовой магии. В его время дневники, если уж они несли в себе неизбежность позора и наказания, попросту выбрасывали, а потом беззастенчиво ввали, что временное доказательство бесчестия потеряно, украдено, забыто.

— Только надо так, чтобы никто не видел, — пояснил еще Брейгель-младший. — Никто-никто.

— Но мы-то видели, — заметил Брейгель.

— Да, мы видели. Не знаю, что теперь будет, — с сожалением согласился младший, как будто ставя под сомнение грядущую силу кощунственно нарушенного обряда.

Брейгели продолжали идти, уже молча и сосредоточенно, словно выполняя какую-то работу, а вокруг по-прежнему ничего не изменилось, как будто мир явил себя раз и навсегда: набережная, тесно прижатая к самой воде крутизной берега, вода, прижатая под шапками снега внизу к каменному окружию, сизые от снега липы, фиолетовое небо без звезд, густо затянутое снегопадом. И чтобы хоть что-то здесь изменить, нужно было просто переставлять ноги.

Брейгель еще раз оглянулся — огонька было уже не видать. Видимо, мальчик завершил свое священнодействие и удалился со своей молчаливой спутницей в чащу мокрого леса или ждал, пока посторонние свидетели отойдут подальше.

Снег повалил еще торопливей, как отчаянная контратака армии, навсегда уходящей за перешейки. Мысли Брейгеля, как это бывает при быстрой ходьбе, насыщались внешними впечатлениями и вспыхивали смыслами коротко, точно страницы сжигаемого дневника. Но впечатление сложилось уже одно, и мысли в голове Брейгеля сменяли друг друга, казалось, без всякой связи. То он думал о своей работе, то проносился образ откуда-то совсем из прошлого, то вдруг она выростала и словно бы шла с ними рядом, сливалась с ним, и говорить с ней становилось проще простого — как если бы он говорил сам с собою. Но больше слушала... Как-то Брейгель-младший случайно увидел у него ее фотографию. «Кто это?» — спросил он. «Так, — мрачно ответил Брейгель. — Одна знакомая принцесса». «Сразу видно, что принцесса, — не раздумывая выпалил Брейгель-младший. — Такая красивенькая, умненькая-разумненькая, р-румяненькая!» «Румяненькая», может быть, пришлось к слову, потому что фотография была черно-белая.

Попался им дуб, под которым много лет назад ночь напролет с двумя друзьями жгли костер, а ему наутро надо было ехать на Угрешскую улицу. Брейгель взглянул направо и снова увидел, как в поздних сумерках моторная лодка не спеша расстегнула реку, как лодочный след разошелся к берегам, мятым оловом вывернув изнанку воды; вспомнил, как все замолчали и долго смотрели за тем, как она успокаивается и терпеливо возвращает свой зеркальный дремотный покой. Друзья тоже пошли в армию — месяц спустя. Один никогда не вернулся по самой уважительной из причин, а другой, скоро после возвращения, улетел за тридевять земель, через три океана, и иногда звонит, и голос его в трубке достигает слуха Брейгеля с опозданием, и даже слышно, как гудят и вибрируют провода, пробрасывая, продувая сказанное через десяток тысяч километров.

Вспомнил он, как однажды во время разговора друг прервал себя на полуслове и неожиданно спросил, на кухне ли он и что ему видно из окна. Осень стояла безвозвратная, шел четвертый час ночи. Он был на кухне. «У твоего отца горит свет, — сказал он, — одно окно во всем доме...» Он

вглядывался в темноту, видел розовый прямоугольник на сером фасаде, видел, как изводит ветер, таскает за волосы коленапреклоненные деревья, на треть еще покрытые мокрыми грубыми листьями, как мотает фонари в детском саду за домом, как морочит снасти проводов, занавеску в розовой створке, подбирал слова, чтобы передать, как чернеет октябрь, как холодными бесчувственными брызгами залетает в открытую форточку, как цепляют изодранный оком роши рваными краями тяжелые тучи, как беспокойно мучается ночь и никто этого не видит, и не сразу понял, что фонари неподвижны, — что это ветви, таскаемые порывами ветра, то закрывают их, то дают им тускло блеснуть в черноте. Трубка терпеливо дышала ожиданием, тихо гудела спеленатым эфиром, а потом, вняв прерывистому рассказу, донесла до него из калифорнийского солнечного полудня: «Боже мой... Боже мой». И слова эти заслонялись хриповатыми помехами, точно эти знакомые обоим огни.

А если бы небо было ясно, сияли бы над нами, малыш, Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар и Бенетнаш, огромным ковшом черпающие небеса. И ты бы задрал личико, и в твоих восхищенных глазах отразились бы они все сразу и еще много других...

А тебя-то я сегодня не видел. И только сейчас понял, что даже не знаю, какого цвета у тебя глаза.

Если бы ты знала, как мне нравится, когда у тебя недокрашен ноготь и виден его незакрашенный светло-бежевый уголок или когда после еды в уголке рта держится крошка. Или, когда ты паркуешь машину, то и дело опрокидываешь пластиковый мусорный бак, стоящий у посольства этой страны со смешным названием, в которой творятся отнюдь не смешные вещи. Нравится, когда забираешь волосы в резинку, а они выбиваются слева длинной изогнутой прядью, и ее округлость, которую золотит солнце, напоминает мне твоё плечо. И как, болтая по телефону, ты укрываешься волосами с головой, и солнце, прерываясь сквозь финское окно фотографическими шторками облаков, озаряет эту накидку выдержанными порциями; или когда в уголках твоих глаз собираются морщинки — их все больше — тебе ведь не двадцать лет, и мне это тоже нравится. И вообще все, что ты делаешь, ты делаешь легко, с небрежной и неопрятной легкостью, бывает ведь легкость опрятная и неопрятная, правда, малыш?

И все это, о чем думал сейчас Брейгель, некому было сказать... Кем же был тот человек? Тот человек? Мысли его вернулись на станцию. Брейгель опять пытался себе его представить, и опять безуспешно. Он заставлял себя предположить чье-то горе, его невыносимую пустоту, а видел только «скорую» с помятым боком, обиженную морду переднего вагона и неторопливо идущего по пустому перрону милиционера в закинутой на затылок фуражке. И дальше этого воображение ничего ему не рисовало.

А что мне в тебе не нравится, того я просто еще не знаю. И, наверное, не узнаю никогда. Скоро ты сменишь работу, и я тебя забуду. Забуду, как забыл себя. Ведь я же тебя придумал. Пройдет время, и я придумаю кого-нибудь еще. Это несложно. Сложно вот придумать человека, который бросился под поезд. Вот это почему-то не получается.

Разве можно жить без любви? А я живу. И Брейгель принялся думать, как жил тот единственный знакомый ему Брейгель, о котором и было-то известно, что участвовал он в русско-японской войне, и больше ничего. Если, конечно, он вообще имел какое-то отношение к тем Брейгелям, которые барахтались сейчас в снегопаде.

Журнал имел продолжение, но не имела его маньчжурская эпопея Брейгеля: в следующем номере «Мира Божьего» то место, где, согласно оглавлению, должно было содержаться продолжение повествования о действиях 9-го Оренбургского полка, зияло провалом, как целиком изъятый зуб. Похоже, было присвоено каким-нибудь ревнителем военной старины. А может, листы эти пошли на растопку в особенно лютый российский

год — кто-то окоченевший рванул наугад целую книжку, измял, вложил в отверстие ржавой «буржуйки», а вокруг старческой белой рукой аккуратно и неумело выстроил шалашик из тонких сухих щепок цилиндрового бюро с проевшими лак чернильными пятнами.

И поплыл дымок над Знаменкой, снимая с крыш голодных галок.

Да, и еще мне очень нравятся, что в распутицу каблуки твоих сапожек часто бывают вымазаны глиной и то, что ты не обращаешь на это никакого внимания: твои мысли заняты чем-то другим. И очевидное тебе никак не разглядеть. Интересно, чем? Это было у кого спросить, и сделать это было очень даже просто: снять промокшую перчатку, скользнуть рукой в карман куртки, семь раз ткнуть негнушимся пальцем миниатюрные кнопки, потом еще одну, потом просунуть холодный аппаратик под капюшон, приладить к уху и ждать гудков. И вот этого-то сделать было почему-то нельзя.

Еще через полчаса впереди на сиреновом снегу завиднелись черные фигурки. Издалека было еще не очень понятно, как и зачем они двигаются: двинутся ли навстречу, удалятся ли и что означают их перемещения. То они сновали по берегу, то обмирали, то оказывались на самой реке, словно идущие по воде, то пропадали вовсе, тонули во мраке и являлись уже словно из-под воды, а то изгибались насаженными на крючки червяками. И даже само их движение в темноте угадывалось с опозданием, как бы отслаиваясь от субстанции тел, как голос друга с благоустроенного континента.

Метров через сто пятьдесят к беспорядочным движениям добавился собачий лай, который словно их озвучивал, но чтобы соединить одно с другим, требовалось нащупывать их глазами и держать зрачками бережно, как насекомое в пальцах.

Сначала Брейгелю казалось, что люди впрягли собак и те катают своих хозяев, однако собачий лай — грозно многоголосный — доносился откуда-то со стороны.

Скоро стало ясно, что серые возвышения на льдине — это две снежные крепости, а черные фигурки, совершающие замысловатые движения вокруг них, — мальчишки, играющие в снежки. Крепости были высокие, выше Брейгеля; каждую из них осеняли тряпичные знамена, уныло висящие на длинных шестах.

Брейгели остановились и некоторое время наблюдали за мальчишками. Льдина, очерченная в воде неправильным коромыслом, соединялась с нею тонкой серой каймой и пестрела узорочьем следов.

Эх, друг любезный, знал бы ты, какие снежные крепости умел строить твой папа, каких солдат лепил из пластилина, какие вырезал им доспехи из пивной жести. Как ехал домой на одной лыже в черном лесу из далекого пригорода, а обломки другой тащил с собой, потому что чешское крепление никак нельзя было выволить, и бросить его тогда тоже было немислимо... Как сидел за штрафным столом, покрытым мешковиной...

И вышел из детства, и познал добро и зло, и горько плакался о том.

Через несколько шагов они увидели собак. Собаки, скучившись, стояли в черном жерле водосточной трубы и лаiali наружу, на снег.

Было заметно, что Брейгель-младший притомился и, возможно, уже раскаивается «за» свой запальчивый подвиг. Но деваться было совсем некуда — только идти вперед. Справа крутой склон в глубоченной снежной целине, подпираемый толстенными стволами, слева — река. Они и шли в тишине снегопада, в глухой тишине капюшонов, и только Брейгель-младший временами тихонько вздыхал, совсем, казалось бы, по-взрослому, но с тем особенным каким-то смиренномудрием, присущим только детям и иногда старикам.

И Брейгель снова помянул того старинного Брейгеля, условного пращура, который ехал со своей сотней на японскую войну.

Брейгель представил, как тянется в такую же непогоду колонна кавалерии, по три в ряд, обсыпаемая мокрым снегом, изгибается змеей частокол башлыков, глуховато звякает сбруя, и граница жизни и смерти пока там, где ступает передними ногами гнедая кобыла Айша, на которой, сидя в седле по-киргизски, легонько похлопывая сухонькой рукой в шерстяной перчатке кобылину шею, сгорбился старенький полковник, выдавший всякого. И почему-то у дороги горит дерево — одно на весь прилесок, а вокруг на много верст ни села, ни станции, ни заимки, и все об этом знают. И как всадники в рядах, проезжая мимо грозно горящего дерева, поворачивают головы в мохнатых папахах, скидывают башлыки и смотрят на вертикальный струящийся столп огня, обнимающий несгораемую плоть, на багряную лужу зарева у угольного подножия, и как воцаряется тишина, и как, с суеверным ужасом взирая на огонь, крестится бородастый урядник, подбирает потуже поводья, и как красные отблески пламени мечутся в зрачках фыркающих лошадей, исходящих паром еще более мутным, чем самый вокруг туман. И как впереди своей сотни едет подьесаул Брейгель и приходит ему очередь смотреть на горящее дерево, на снопы искр, взлетающих навстречу снегу, и он тоже смотрит; видит, как алый комок отблеска соскакивает с его седла и с юрким проворством саламандры катится снизу вверх по отполированному до желтой черноты древку сотенного значка, и скачет назад, в ряды, и прыгает там на одном месте, как сумасбродный смельчак, перебегающий реку по несущимся льдинам, метит удила и чувствует, как кусочек льда на его усах растаивает и каплей скатывается по нижней, треснувшей посередине губе. А под зеленой бекешей у него на груди фотографическая карточка студии Оцупа, и та, что смотрит с нее на мир излишне строго, очень ему нравится. И он, шурясь на яркий огонь, вспоминает, как ему нравилось пристегивать к ее ботинкам коньки и нравилось потом жжение в пальцах от прикосновения к раскаленным морозом полозьям «Нурмиса». И непогода, и дичь эта очень ему по душе: он смотрит с высокого берега Сунгари во мглу на седые пространства холмистой тайги, пресный запах снега перебивает острый запах лошадиной холки, и, вопреки непроглядной темени, многое в эту минуту подвластно его взору. И все в мире кажется ему не таким уж сложным, как казалось еще в Омске, когда, гукая буксами на стыках моста, эшелон резал в холодном солнце свинцовый Иртыш.

Наверное, она тоже сейчас смотрит телевизор или слушает радио, и там говорят о том, что Филевская линия метрополитена парализована, потому что под поезд бросился мужчина, — теперь это точно установлено, — что от станции метро «Багратионовская» пущены дополнительные автобусы и движение понемногу налаживается. Сколько за эти два года было других девушек, сколько я починал чепухи, лета своя и живша во прелести и всем говорил всякую всячину. Иногда правду. Дарил цветы. Это приятно не только девушкам. А тебе я могу подарить цветы только в день рождения. Ты же замужем. Твой муж приветливо со мной здоровается. Ему это будет неприятно. Я сам был мужем. Я не хочу его расстраивать.

И то верно, малыш. Прав был Павел наш Брейгель. Наблюдать непогоду, слоняться по сумеречным комнатам и поглядывать в мокрые от дождя окна совсем не то, что самому участвовать в этом беззлобном бунте природы. Вот идешь ты, как мы сейчас, лепит снег, потоки ветра обтекают тебя, мгла застит взор, и наплевать тебе на все предписания и воззвания, если, конечно, ты не идешь под влиянием одного из таких воззваний. А если идешь под его влиянием, значит, оно того стоит. А если не стоит, то ты ошибаешься. А ошибки приводят к прозрениям. А я, малыш, давно уже не ошибался.

И Брейгель все думал и думал, почему он никак не может задать один простой вопрос, досадовал — и не находил ответа и снова блуждал взглядом по нескончаемому склону.

Мысли и воспоминания упорядочились; их стало можно листать, как книгу. Как альбом. Или как дневник. И, листая, Брейгель увидел с тоскою, что оценки в нем, в этом дневнике, все больше неважные. Особенно по поведению. Особенно по метафизике. А еще больше абсолютно пустых страниц: никто не вызывал, сам не просился. Хотел открыть Огненную Землю, а открылась сберегательная книжка, усмехнулся он про себя. Да-а, неважный, Брейгель, у тебя дневник, подумал он. Сжечь бы его, подумал он, как тот мальчишка. Сжечь. Есмь бо яко древо сухо, стояще при пути...

Брейгель коротко глянул на малыша. Хорошо, малыш, что ты не знаешь, о чем я сейчас думаю. Мои мысли были бы тебе непонятны и испугали бы тебя.

Как же это все началось? Совсем незаметно, как начинается сама жизнь. У меня нет того единственного воспоминания, когда видеть и слышать тебя сделалось моей потребностью. Я не помню, какого цвета у тебя глаза.

Скоро ты сменишь работу, и я забуду твой голос. Буду помнить только его цвет — лиловый, льняной. Мы будем знать друг о друге, но едва ли созвонимся. Может быть, однажды, спустя год, два. Как-нибудь. Да будет уже и ни к чему. А это жалко. Потому что только тогда, когда раз в семилетие входит в наدير ко всем заблуждениям ума голубая звезда Толиман, — только тогда расцветает на берегу заснеженной реки волшебный папоротник, и тихо светит вокруг крохотной оранжевой точкой, и горит недолго, и видит его не все.

Прошлое тогда недоступно сожалению, золою лежит на углях. В душе языков, сколько бы их ни знал, на каком бы ни думал, гнет всего сослагательного теряет свое могущество и уступает его непререкаемой власти свершаемого и совершенного, обретая свободомыслие подмалевка. Можно тогда протереть небо до звездного блеска, собирать их, звезды, как спелые ягоды, и складывать в капюшон алмазными углями. Только смотри, малыш, стоит отвести от них взгляд, прожгут они твой колпак да и улетят себе обратно.

И Брейгель испугался, что минута, непостижимая с земли, прошла, потух огонь, истекли секунды. Но минута пока не проходила и длила себя во всей своей широте. Даже не прибавляя себе частиц, она умножалась ликованием и наполнилась радостью, как круглый снежный ком, раскручивая землю с запада на восток. И идти становилось все легче и просторнее, хотя смутная тропка по-прежнему была узка и извилиста. И заточение его в ее колее было исчислено.

Но как скажу тебе о том, имея деревянный ум, войлочный язык и мысли как отрепья от пакли? А может, и не надо ничего говорить. Ведь я же тебя придумал. Я вообще-то выдумщик, усмехнулся Брейгель. Аще есмь не мудр, а в премудрых ризу облачихся, а смысленных сапоги носил есмь.

Наверное, зачем-то так надо, умиротворенно думал Брейгель. Зачем-то ведь ехал когда-то какой-то Павел Брейгель мимо неопалимой уссурийской купины, и вот теперь спустя сто лет еще какие-то Брейгели идут в одиночестве, в пустоте и безмолвии.

Под мутными и все-таки высокими небесами разница между Брейгелями исчезла, стала незначительной — просто у одного из них был в руках скрипичный футляр, а у другого руки были свободны. И словно бы вокруг них самих сложился тоже футляр — соткалась оболочка из пара, дыхания, мыслей, тех редких слов, которыми они обменивались, — и хранил их в пути, и легкие блики неуловимыми летучими молниями очерчивали в его внутренности пределы допустимого и давали понять, что без них самих, Брейгелей, его несущих, во всем обозримом явился бы некий ущерб.

Сколько нужно было поколений, пронеслось у Брейгеля в голове, сколько людей, к которым, пожалуй, не испытываешь никаких родствен-

ных чувств, должны были родиться и умереть разными смертями, пережить, передумать несурезицы, переделать пустяков, мелко ссориться, крупно ошибаться, и все для того, чтобы сейчас два абсолютно незнакомых им человека, о которых они не имели никакого понятия, свершали странное шествие по задворкам большого города.

И стоило об этом подумать, все стало легко и просто. Весь мир теперь умещался в одном взоре. И дальше этих очертаний, которые он вмещал, представить что-либо было невозможно и нельзя, как если бы они служили границами огромной картины, отделяющими совершенно другой, непостижимый уже мир. Вот река. Вот древний лес, кажущийся суровым, на самом же деле облеченный всей нежностью и меланхолией послуживших парков. Справа на противоположном берегу реки темнеют строения, прикрытые рубищем снега, щели сочатся светом; ограждение, наполовину плетеное, наполовину сколоченное из досок, прочно цепляется за луговину. Вот в ограде провал, обращенный к реке, и сквозь него видна часть двора, орошенная криво подвешенным фонарем в конусообразном рефлекторе; снег влетает из-под него серебристыми перьями; золотится влажная солома, сбитая ворохом у столба под навесом, и уже тускло, в благостом изнеможении, мажет светом по яслям. Вот еще несколько шагов — и коридор воды, как половик, пересекает ровная желтая полоса. Полоса лежит неподвижно, и только края ее немного сморщены течением, и так и тянет перебежать по ней, как по мосткам, смотреть лошадей. Потому что в провале ограды то появляется, то исчезает, ходя по кругу, маленькая невзрачная чалая лошадка и в красных рейтузах на ней — девочка-подросток. И снова пропадает свет, остается позади, а прямо перед ними акварельной линией рассвета, нанесенной походя, прерывистой кистью, тянется магистраль, и ее сосредоточенный шум, как ожерелье звуков, на нее низанное, остается на одном месте. А за нею, на семи холмах, растет город, и там где-то сидит она, окруженная несметным количеством электрических лучей, не очень важных удобств, ест яблоко, смотрит на свою тень, стесняется своих мыслей, а о чем думает — неизвестно. Вот Брейгель-младший, ничегошеньки еще не знающий о том подъесауле, который тоже любил кататься на коньках, ни о том, какие измышления бродят в голове его спутника. Там, за спиной, человек, который бросился под голубой состав метро. Это должно было пугать или угнетать, но Брейгель при мысли об этом неизвестном человеке чувствовал почему-то прилив радости. И еще отчего-то ему представлялось, что у этого человека непременно должен был быть с собою желтый кожаный портфель, который он прижал к груди в момент падения под стальные колеса поезда.

Брейгель не заметил, что снег давно перестал. Вот, думал он, кто-то умер, а мне так хорошо, так славно. И он чувствовал почти благодарность к этому неизвестному самоубийце, который так круто развернул течение вечера. Знаешь, малыш, если удастся осуществить задуманное, то тебя будут называть Брейгель-младший. И это будет служить неисчерпаемым источником всякого рода добродушных шуток. Но это, конечно, при условии, что ты последуешь моему примеру.

С этих высот все казалось осуществимым. И уже не нужно было никуда звонить, потому что, казалось, все главное уже сказано и хорошо известно в зримых этих пределах; что она поэтому все уже знает, не может не знать, и он теперь тоже знает, о чем она думает.

И словно бы между ними уже состоялось все то, к чему приводят телефонные разговоры, встречи, что ревниво и отрешенно замыкается в себе, а потом благодатным теплом изливается в мир.

Теперь Брейгель стал думать о Брейгеле-младшем, глядя на острие его раскачивающегося от ходьбы капюшона. О том, как ему живется, как он встает по утрам, какая кислая у него физиономия. Как он тащится, полусонный, в сад, а на любого первоклассника с портфелем смотрит с уваже-

нием и восхищением. И больше не верит, что есть говорящие вороны, а Волшебного Рака с презрительным разочарованием обзывает мягкой игрушкой. И как с кривлянием выговаривает какому-нибудь своему приятелю: «Жадина-говядина — турецкий барабан», — этот наивный приговор-речевку, что вот уже лет триста русские дети передают друг другу из уст в уста, как платье на вырост, которому нет износу... И дальше...

Как будет хлопать дверь подъезда, когда он, набрасывая на плечо школьный рюкзачок, будет вырываться на улицу. Как его перестанут называть по имени, а все чаще по фамилии, непременно выпуская «и краткое». Как будет звучать металлическая команда: «Брейгель, к доске!» — и как он, взъерошенный, будет нехотя выбираться из-за парты и обреченно брести к доске, предчувствуя неприятности для своего дневника. И как кто-то, позади сидящий, зацепит ему за воротник бумажку со словами: «Брейгель дурак», и как весь класс будет хихикать, переглядываться, смеяться, а девочки, сидящие на первых партах, пуритански подождут губы, и сам Брейгель-младший тоже улыбнется — так, за компанию. Как станет клянуть раньше времени композитовую клюшку «КОНО», как научится преступной премудрости переводить яичным желтком печатки с медицинских справочников. Как присядет за штрафной стол, покрытый мешковиной.

И как однажды тоже задумается, что за необычную фамилию он носит, и спросит отца, а тот, пожалуй, не сможет ему объяснить толком, и придется ему выдумывать.

И легенды будут видоизменяться в зависимости от времени года.

— Ой-ой-ой, — выдохнул Брейгель-младший. Силы его были на исходе.

— Ну что, ла нучки? — спросил Брейгель-старший, как спрашивал несколько лет назад, когда младший был еще совсем малыш.

Брейгель-младший встал как вкопанный, словно только и ждал этого предложения. Несколько секунд на его личике отражалась борьба.

— Но ведь тогда мой подвиг может не засчитаться? — засомневался он.

— Да, может и не засчитаться, — сказал Брейгель-старший как бы размышляя, точно где-то существовала специальная комиссия по рассмотрению таких деликатных вопросов.

— Тогда пойдем! — мгновенно решил Брейгель-младший и зашагал вперед с новой непоколебимостью. И они снова пошли в тишине, и снова Брейгель-младший вздыхал ненароком, упрямо отстаивая свой рекорд.

Занесенная снегом лодочная станция ровным прямоугольником нависала над водой. Сверху между деревьев к ней спускались то ли лыжные спуски, то ли просто тропы. Брейгель захватил в свою руку податливый стебелек руки Брейгеля-младшего и повлек его в гору.

И опять они поднимались среди величавых огромных лип, и опять липы мокро чернели мощными стволами и держали в ветвях тишину падающих капель.

Дворами они вышли на улицу. Нескончаемыми вереницами тянулись машины, бросая на обочины фонтаны мутной жижи. Задние просвечивали фарами те, что двигались перед ними, и было ясно видно, сколько именно пассажиров сидит внутри.

Идти по этой слякоти вдоль домов по обыкновенному тротуару было скучно и неинтересно. Брейгель-младший сник окончательно, он насквозь промок, и ему было зябко. Но все же для приличия он вспомнил про принцессу.

— И где же она? — спросил он.

— Уже дома, — сказал Брейгель. — Ест зеленое яблоко.

— А где она живет?

— Где живет? — рассеянно отозвался Брейгель. — В Москве.

— Да ну-у, — протянул Брейгель-младший с недоверием. — Разве принцессы живут в Москве? — Он зашел под навес остановки и, усевшись на сиденье, презрительно и вяло болтал ногами в мокрых ботинках.

— А почему же мы ее не видели? — сделал он еще одну попытку убедиться в осязаемой сущности волшебства.

«Потому что все по-настоящему волшебное совершается незаметно и совершенно неожиданно, и увидеть это никак нельзя, можно только почувствовать», — хотел сказать Брейгель, но промолчал.

— А как ее зовут? — продолжил Брейгель-младший свои разоблачения.

— Знаешь, друг, — назидательно проговорил Брейгель, — здесь, на Ляодунском полуострове, мы не называем имен. — И повторил про себя: Ляодунский полуостров, гаоляновые поля. Оля, Оля. Это хотелось повторять.

Брейгели дождались автобуса. В салоне Брейгель-младший опять повеселел, протиснулся к запотевшему стеклу, протер себе кусочек окошечка и две остановки не мигая смотрел на толкущиеся внизу легковые машины и на рекламные щиты. Пассажиры стояли тесно — видимо, последствия катастрофы не были еще изжиты. Рядом с Брейгелями стояли парень и девушка в одинаковых спортивных куртках и что-то по очереди говорили друг другу на ухо. Сбитая набок шапка Брейгеля-младшего приходилась им едва по пояс, мокрый капюшон прильнул к ее джинсовому бедру. Он стоял, обняв вертикальный поручень, то и дело прислоняясь к нему губами.

— А ну-ка! — прикрикнул Брейгель. — И так губа растрескана, а он еще к грязному поручню... — уже тише добавил он, покосившись на соседей.

Молодой человек и девушка повертели головами, опустили глаза и с улыбками воззрились на Брейгеля-младшего. Оттого что взрослые незнакомые люди обратили на него внимание, он заважничал и приосанился. Быть может, он думал, что они уже знают про рекорд, им только что установленный, или по крайней мере догадываются о нем. Он вкрадчиво поворачивал голову, оставляя на месте шапку, и возводил на девушку пристальные глаза, как бы желая удостовериться, не она ли и есть расколдованная им принцесса. На губах его заиграла самодовольная улыбка. И чтобы спрятать ее, он снова ткнулся лицом в поручень. И на этот раз Брейгель-старший ничего ему не сказал. А они продолжали смотреть на него со сдержанной нежностью, переглядывались с улыбками; в глубине их глаз сквозило смущение, и, в общем, не было секретом, о чем они думают. У метро они вышли.

Из станционного перехода поднимались и выходили спокойные усталостью люди, которые, наверное, и знать-то не знали, что случилось несколько часов назад. И все было как обычно.

— Сумка свалилась под вагон, — выпалил Брейгель-младший в прихожей, освобождаясь от мокрых ботинок.

Дома у Брейгеля-младшего они узнавали вязкие подробности давешнего светопреставления. По словам говоривших, то был сущий ад и кошмар и ветрополох.

— Мы ничего такого не заметили, — сказал Брейгель-старший и открыл скрипичный футляр. Внутри было сухо. Красная байка хранила толику тепла. Только ярко, глянцево чернел напивавшийся влагой обод. Колодочка смычка переливалась перламутром. Щелкнули стальные замки, мигнули металлом, и опять всплыл смутный образ бросившегося под поезд человека.

Брейгель дождался, пока согреют чаю, поглядел, как Брейгелю-младшему натирают ножки спиртом, и тоже пошел домой. Сам он жил в двух кварталах отсюда, на другой стороне бульвара.

Успокоение проникло уже в улицы. Весна робко восстанавливала свои права, пережив то ли мигрень, то ли наваждение. Но небо над домами было по-прежнему грязно-фиолетово, беспорядочно подсвечено снизу мешаниной помраченного света, как отработанная и засыхающая палитра. Выше оно чернело, и сивые увесистые облака, проседая, тяжело отползали к юго-западу, указывая дорогу в снегопад.

Брейгель-младший умирался и, конечно, уже спал. Я ведь очень давно не видел, как ты засыпаешь, малыш, подумал Брейгель. Не видел. И это моя вина.

Он шел не спеша, шагал осторожно, словно нес какую-то хрупкую и драгоценную вещь, способную сломаться от любого неловкого движения.

Дойдя до перекрестка, Брейгель остановился.

Было жалко, что закончился такой необычный день.

В глазах плыла черная, заброшенная до лета река в фиолетовой пойме, облюбованная собаками и детьми. Дрожал на краю безлюдного берега оранжевый живой огонек. Высоко за снеговыми облаками звезда Толиман колола бездну голубым лучом.

На светофоре красного, уперевшего руки в бока человечка уже давно сменил зеленый, с занесенной ногой, а Брейгель почему-то не переходил дороги и смотрел, как слоятся на маслянистом асфальте многоцветные отблески. Продолжал он стоять и тогда, когда человечки сменились еще раз, отразившись внизу размытыми пятнами. Подъехавший таксист сделал ему вопросительный знак, но он его даже не заметил. Человечки, выстаивая положенное в своих черных квадратах, поочередно пластались на асфальте — один «р-румяненький», второй как зеленое яблоко. Машин не было ни справа, ни слева, но Брейгель продолжал стоять, уставившись в блестящий асфальт, ни о чем уже не думая. Росчерки нечистого света лежали и на тротуаре — невразумительные и безучастные, как любое отражение.

Здесь, у этого пустого перекрестка, все казалось уже не столь очевидным.

С нарастающей тоской он ощутил, как начинает идти трещинами бесценная его ноша, почувствовал, как меняет форму футляр, как он обвисает наподобие спущенного воздушного шара, как соскальзывает с него становящаяся дряблой эта оболочка, ветшает и ускользает по частям, понял, что вот-вот выронит свой чудесный шар и он разобьется здесь же, под ногами, на его глазах, и его осколки тут же смешаются со всеми этими рассеянными дробьями бликами светофоров, фонарей, витрин — тревожных в своей неподвижности, — а каучуковые колеса машин рассеют и разнесут, растащут, раскатают по тысяче дорог его самого, и он еще раз согнет в перегонах между станциями, в переулках, в прерывистых дыханиях, в газетных развалах, в провалах связи и в выпусках новостей.

Вот сейчас он занесет ногу, ступит на мокрую блестящую поверхность дороги, сомнет собственное отражение, пересечет незримую черту, скомкает остатки себя и сунет в карман, как конфетную обертку.

И в то самое мгновенье, когда шар уже готов был безвозвратно скользнуть вниз, разлететься на тысячу осколков, и Брейгелю оставалось лишь созерцать это в бессилии, и он даже зажмурился, чтобы притупить свое отчаяние, чей-то голос отчетливо и неслышно, без насмешки, без выражения, произнес над самой его головой, а потом еще раз, внутри него, из какой-то такой глубины, о существовании которой он никогда не подзревал: И еще хочешь... и ты... и ты твори... Твори также.

Делай как я.

Смотри на огонь.

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТЕНДРЕ

Человек в парусиновых штанах сидел на цементной ступеньке белого егерского домика, в жидкой тени молоденькой шелковицы, ел абрикосы и смотрел в ту сторону моря, куда лошадиной шеей загибалась Тендровская коса. Одряхлевшая собака, давно равнодушная к своим обязанностям, ленивым движением пальцев старческих глаз провожала косточки, летевшие в чертополох за ржавую рабицу. Уже неделю этот безымянный человек околачивался на побережье, расспрашивая рыбаков, как перебраться на

Тендру. На ночь заходил в маленькие степные деревеньки, замкнутые в черешневых садах, или оставался на берегу, душно пахнущем водорослями, и, напрягая зрение, смотрел в море, надеясь уловить проблеск маяка.

Он не мог себе дать отчет, зачем ему это надо. Даже не мог сказать определенно, как его сюда занесло. Еще меньше его объяснения говорили рыбакам. Само слово Тендра заманивало, как русалка, но ничего не обещало. Его этимология никак не поддавалась ухищрениям памяти, но тем пленительнее было носить его в себе и подбирать отмычки.

Если принять за навверное, что скифы в море не выходили, то этот маяк, устроенный еще греками, должен был казаться им каким-то Элизимумом, никак не доступным с суши, обиталищем сурового божества, и когда зажигалось его далекое, одинокое око, они, вероятно, прикрывали детям глаза суеверными ладонями и сами отворачивались к ревнивому земному огню очага, глодавшему сырые кизяки.

Из рассказов, чья скупость, несомненно, была рождена недоумением перед его пристрастной праздностью, он уже знал, что много лет назад на косу перебрались лошади, расплодились и одичали и ходить поэтому по косе этой в узких местах небезопасно; но, впрочем, зная еще многое, не знал совершенно, какие они на самом деле, эти лошади, обитатели этой косы, кто их питает и поит, как они развевают хвосты и что делают со своими павшими собратьями, как светит маяк и что можно понять или почувствовать, привалившись влажной спиной к пористому внутри подножию, глядя, как, укладываясь, ворочается море, как одиноко, отстраненным достоинством горит Полярная звезда, словно бы осознавая свое предвечное предназначение.

Ничего этого он не знал, да и бросил об этом думать.

Но временами перед глазами словно бы возникали одичавшие лошади, до конца времен заключенные на узкой песчаной косе. Он представлял, как неистово меряют они ее, свою темницу, диким бегом, сотрясая потаенную основу, разбрызгивая белый песок, как пьют дождевую воду, скопившуюся в снаряжных воронках, жуют желтыми зубами бледную острую осоку, на ночь кладут головы друг другу на шеи и не шевелясь стоят под звездами, под белесоватыми разводами Млечного Пути.

Рыбакам сложно было понять его упрямство. Они задумывались, морщили лбы, махали прокопченными руками в сторону Тендры, поглядывали на карманы его белых парусиновых брюк, где, по их мнению, таилось вознаграждение — сам размер его отпугивал их, — покачивали головами, выглядывая в бинокли пограничный катер, переносили отплытие со срока на срок, как будто собирались навечно — за золотым руном, на поиски Лавиния, в Галлиполи, на Лемнос, — за Геркулесовы столпы, к черту на рога.

Попадались и такие, которые вели себя так, как будто он по незнанию гнетущего всех здесь обычая задавал какой-то неприличный вопрос. Ничего не объясняли, загадочно морщились, словно предоставляя ему самому догадаться о невозможности исполнения его желания. Но догадки его не посещали. Да и желание утеряло уже всю легкомысленность прихоти, потому что соленая пыльца сплошь покрыла локти и шею.

Днями он бродил по желто-красным солончакам, намотав на голову просоленную майку, забирался на курганы и выглядывал на горизонте нежно мреющий, прерывистый штрих этой загадочной косы, словно бы повисшей в воздухе. Курганы зияли дырами раскопов, словно пробитые черепа, во впадинах криво стоял татарник, но он был уверен, что коричневые кости никуда не делись, оставлены грабителями на месте и спокойно почивают в своих могильниках, обобранные раз навсегда и тем застрахованные от дальнейшего беспокойства. Ходить по этому кладбищу было весело и покойно, а сама смерть казалась отсюда дальше и призрачней, чем когда-либо. Можно было зайти в воду и бесконечно долго брести по колено в горячей воде. И это тоже было кладбище; будто бы один из офицеров

Ушакова сказал: «Увидеть Тендру и умереть». И многие тогда действительно умерли. Водоросли темными лентами устилали волнистое дно и шевелились едва заметно, когда ветер скользил по просвеченной лимонным солнцем воде. Мористее виднелся заброшенный плавучий док, черный до полудня, серо-фиолетовый к вечеру, издалека похожий на змееобразный лесистый остров, обращенный к берегу своим торцом.

Море без единого клочка паруса или точки, молчание курганов, безлюдие желтеющей степи — эта лаконичность повергала душу в восторженное оцепенение. И казалось, что все, что уже минуло, произошло на глазах, а то, чему должно было случиться, свершалось в эту секунду. Впервые в жизни он ничего не ждал, никуда не спешил, а то, о чем беспокоился, жило уже своей, отличной от его, жизнью.

Обратный билет, уже просроченный, он носил с собою, превратив его в бледно-желтую истрепанную трубочку непонятного назначения. Иногда для чего-то разворачивал ее и смотрел на цифры, которыми был зашифрован его отъезд, а потом опускал его на прозрачную воду, наблюдал его покачивание на мельчайшей зыби, а когда надоедало, следил по часам, сколько времени он сохнет, как залитый в форму гипс, сохраняя очертания последней волны.

И так проходил день за днем. Мысли его вскипали от недоумения, от солнечного жара, пенились, как волны, и подавались назад, ожегшись о сопротивление чужеродной стихии.

И в иные мгновенья он готов был согласиться, будто владела им блажь, сводило с ума всевластие вымысла.

И ему стало казаться, что самое это место, куда он так стремится, доступно далеко не каждому и что одного желания попасть туда недостаточно. И более того, существует ли оно вообще? И чем больше он думал, тем страннее казалось ему это сочетание: остров Тендра. По отдельности все виделось и слышалось понятным — остров, Тендра. Но когда запятая исчезала, как с небосвода июльская звезда, словосочетание как бы из легких выдыхало воду...

По вечерам солнце упиралось в море столпами голубого света, косо оперев их в зеркальную поверхность, словно сопротивляясь неизбежному падению в бездну горизонта. Но время оказывалось сильнее, подпорки эти иставали в потоках стекающей лавы. Шар тяжелел, наливался красками увядания, величественно опускался в пустом небе, краснея от напряжения, пропал за Кинбурнской косой и долго выглядывал оттуда пурпурным заревом.

Он возвращался в карман залива, единственная стрелка его удивительных часов, как светляк, зажигалась зеленым фосфором. На ночь слушал мягкую речь хозяйки — были, которые память ее берегла среди забот и превращений существования. Как плескались парусами летучие шаланды, как полоскалась кефаль на их скользких днищах, как крейсер «Кагул» — бывший мятежный «Очаков» — громил большевистскую батарею у Каховки. Как плыл в Скадовск транспорт «Молдавия», спасая одесских евреев, как мучительно погибал «Красный Казанец», загнанный на остров Долгий немецкими самолетами, как в жарком воздухе умирали его моряки, а потом море день за днем отдавало их по очереди, по одному, и всех их дочери рыбаков уложили в соленую почву, не поставив ни звезд, ни крестов. И он выслушивал ее жизнь, делая поправки в своей скудной летописи. Глядя на ее лицо, иссеченное впадинами и расщелинами морщин, как кусок высокого побережья, невозможно было не поверить, будто у земли есть край. И он с невесомой грустью думал о том, как прекрасен бывает мир и как жалко бывает его покидать.

И думал, что в эту самую минуту маяк уже выталкивает свой свет в темноту, и сердце его сжималось тоской по его прохладе.

И уже почти сквозь сон слышал эти ее слова: «Что ты будешь робить с цим життям?.. Умру, умру, хиба останусь?.. Жива ж в землю не полезу».

Сахар, сахар за пять гривен, «ты бачишь?», — солью посыпанное небо, и вдруг выныривала непонятно из какого времени взявшаяся бессмысленная шансонетка: «Ах, Жорж, я так устала, возьми меня назад — в чертог империи, в блаженства дивный сад», и снова — по пяти гривен сахар, и снова привязчивая из недавней курортной недели: «Не верь, не бойся, не проси, не верь, не бойся...» И, «знаете», хотелось сказать кому-то, засыпая, — «все пустое, абсолютно все. Даже сон».

Но потом являлась она — с бронзовыми волосами, туго забранными на затылке на греческий манер, в золотой диадеме скифов, и Полярная звезда, сиявшая в изголовье, осеняла лицо с неуловимыми чертами блаженством любви, мощью материнства, — с витой гривной на крепких ключицах, под стройной высокой шеей, и рекла разверстыми устами курганов, растворенными царскими вратами, языцами колоколен, распахнутыми пастьями капищ грозно и ласково: «Верь, не бойся», словно бы приглашая перешагнуть залив и увязнуть вместе в кремовом песке косы, в струях покорно распущенных своих волос. И за дуновением этого голоса хотелось идти без оглядки, волнуя шелковистый ковель.

Во сне он видел разных людей; некоторых он знал хорошо, некоторых совсем не знал. И она тоже приходила к нему во сне, уже без диадемы, и голос ее был не грозен, но просто ласков. Лица ее он не мог разобрать. Говорила с ним тихо, словно жалея его, как если бы у него, у них случилось только им одним понятная радость, с которой оба вынуждены расстаться. И причастность их друг другу была несомненна. И несомненной была неисчерпаемость встречи, суетность, случайность всех разлук. Они сознавали неизбежность того, что должно произойти, и он разговаривал с ней словами, которые раньше всегда боялся произносить.

Милая, милая, ты пришла. Я любил тебя всегда, просто не знал об этом. Просто забыл. Ты прошла по стольким дорогам, но ведь и я шел к тебе. По медной степи, под гремящими небесами.

И как ее звали, и кто она была, он тоже не очень понимал. Он мог бы назвать разные имена, и все оказалось бы правдой.

Но все же этот мысленный разговор будоражил его радостью, и он просыпался от счастья, в убежденности, что он не одинок, как были не одиноки до него все эти люди, устлавшие степь и дно мелководий своими костями, изглоданными едкой солью, высосанными корнями полыни. Хотелось плакать от этого чувства, сознание неслышно бредило бродячей блоковской строкой: «...радость будет... в тихой гавани все корабли...» — и, убаюканное, незаметно окуналось в сон и лежало на его волнистой поверхности, как просроченный билет на просвеченной солнцем воде. И лишь одно беспокоило: как и где искать ее после пробуждения, но он знал, что уже найден он, и успокаивался бездумной уверенностью ребенка.

И было в эти мгновенья совершенно ясно, что будет так до тех пор, пока недоступный тот маяк роняет свой белый свет на поверхность цветущей воды, пока кобылицы, не знавшие узды, встряхивая спутанными гривами, пьют лунный свет из песчаных воронок и мечутся над ними в поисках пристанища черноголовые чайки...

Как-то ночью он не выдержал и пошел на берег, надеясь увидеть хотя бы свет маяка и напитаться им, как часовая стрелка. Он стоял неподвижно, высматривая этот короткий, как удар, толчок света и тринадцать секунд мрака, который — был бы свет — он отличил бы от этой вязкой темноты вокруг, развалившейся на полыни, обложившей курганы воском осиных сот. Но только вязко пахло тиной, и ноги утопали в ней, как в многолетней хвое. К горизонту сползали плотные облака, и тьма там держалась непроницаемая, так что глаза уставали и начинали фантазировать грязно-розовыми полосами заката или просто фиолетовыми пятнами. Даже звезды сквозь тонко размазанную облачную пелену светили мутно, как через стекло хаты, где он ночевал. И только на противоположном бе-

регу залива утло помаргивали огни полузаброшенных хуторов и далеко на северо-западе в небе разливалась зелень Очакова.

И то, что он не видит свет маяка, его угнетало и рождало в то же время ощущение, что он и вправду стоит у пределов зримого мира, и постигать большее не было сил.

Засыпая той ночью, он был уверен, что предстоит непогода, однако день наступил, как и предыдущий, залитый солнцем от и до, как человек, умеющий наутро выполнять обещания, данные накануне хмельным вечером.

Он напился чаю и пошел по степи к кордону заповедника. Берег здесь возрастал над морем метра на полтора, и полоса под изъеденным, избитым волнами обрывчиком была увалена водорослями.

Егерь появился под вечер, хмуро поздоровался, сунув вялую ладонь, и, отведя глаза, сказал, что он тут недавно, на Тендре не бывал, плыть туда не хочет, потому что боится мели, и во взгляде его открыто читалось: не проси. Это подтвердила его жена, со значением поглядывая на небо, и как бы в извинение пригласила пообедать.

На обратной дороге он пригляделся к цветкам чертополоха, отметил, как далеко колючки отгибаются от лилово-пурпурных корзинок, предрекая погоду, и покачал головой, вспомнив егерскую жену.

«Тож ты чуешь, сынок, чи ни, усю жизнь здесь прожила, а на той Тендре не була. А ить рыбачила с чоловіком, и усе...» — утешила его хозяйка и тяжело вздохнула, надолго задумавшись о чем-то своем.

И снова начиналось утро, и стрелка невозмутимо чертила круги в отведенном ей месте циферблата. Солнце, умывшееся в водах всех океанов, отдохнувшее и помолодевшее, взлетало над степью, сзывая под свои лучи крапчатых ящериц, просовывало пальцы между веток, забиралось под ровную сень винограда, целовало абрикосы в бархатистые веснушчатые щеки, проницало мутноватые стекла в синих рамах, дотрагивалось до бугристых стен, золотило кусочки соломы, впеченные в побеленную глину.

И очередной день наступал заведенным порядком, соперничая в блаженстве с мудростью снов.

И тянулись по берегу изумрудно-зеленые заборы камыша, белоснежные столбы жирных мартынов в его провалах, на горизонтальных полосках, желтых от песка, черных от водорослей, — сапфировое дыхание воды обжигало взгляд своими непроницаемыми оттенками, и только когда разводило зыбь, глаза отдыхали на белых гребешках, рябивших загустевшую синеву моря.

И он опять срывал голубоватые метелки полыни, растирал в пальцах и осязал сладкую горечь пересушенной земли, и рыбаки уже не обращали на него никакого внимания, избегая встречаться с ним глазами.

На девятый день он отступился, повиновавшись неизбежности, которую никак не мог себе объяснить. Был понедельник, день невозможный и не существующий для жителей любого побережья. Колючки чертополоха плотно прижались к головкам цветов, и из степи надвинулись сизые, войлоком свалявшиеся облака. За окном машины текли поля, рассеченные шпалерами тополей в белых линиях гольфах. «Ах, Жорж, я заскучала», — голос размалеванной женщины томил малиновых дроздовцев, топивших свои предчувствия в разбавленном вине. Но водитель, который его вез, не слышал этого голоса. Он проследил его взгляд и кивнул головой на заросшие поля. «Раньше Богу не молились, — сказал он, мрачно усмехнувшись, — так он шел как по заказу. Теперь молимся — хоть бы что».

В городе, два столетия назад окрашенном красной охрой, оказалось пасмурно и малоллюдно. Он купил себе новый билет и больше не сворачивал его трубочкой.

Собиралась гроза; притворенные окна вторых этажей медленно моргнули отражениями низко летящих птиц. Капли ливня, как степные разведчики, упали осторожными шлепками на широкие толстые листья, а

потом низринутись в неисчислимом количестве и истоиво ударили по мостовой. Продавщицы в голубых передниках встали на порогах своих лавчущек, сложили на груди руки и, зябко поводя голыми плечами, смотрели вдоль улицы. Потоки воды, сплетаясь в косы, бурливо задерживались у стоков, как у стен неприступных, не сдающихся городов, и струились дальше в Днепр по покатым улицам, сметая тротуары. Девушки скидывали туфли и бежали босиком, мужчины шествовали так, отдавая на волю стихий ботинки, кроссовки и сандалии. Кто-то искал спасения под стенами, находил его под карнизами, на серо-сухих цементных островках, у исполинских стволов платанов, шелушащихся коричневой папиросной корой; люди забивались под пестрые зонтики кафе, изумленно озирая свои намокшие одежды и проводя ладонями по волосам.

Циферблат его часов давно уже покрыли капли, брошенные с проезжей части затонувшей машиной, но под толстым стеклом секундная стрелка, тонкая, как звездный луч, уверенно шагала куда-то в ей одной ведомую невообразимость. Часы умели измерять глубину, высоту — все это, впрочем, до определенных пределов, — указывали стороны света, местоположение в пространстве, однако пока не отвечали на тембр голоса, не ведали тональности причастий, не различали оттенки Марса, цвет доспехов его, и им оставалась неведома власть тьмы.

Пиво, которое он пил со всеми другими под зеленым зонтиком, называлось «Сармат», легонько щекотало горло и совсем не пьянило, потому что пьянил за него оглушительный дождь. Одурманенный своей неудачей, он вспоминал курганы, початые алчностью или любопытством, и старался припомнить, какую разницу находит наука между скифами и сарматами, а потом, глядя на этикетку бутылки, принялся соображать, где, под какой звездой сгнули народы, столь же бесчисленные, как капли этого дождя, и куда деваются закрывающие горизонт стада, вереницы скрипучих кибиток, и кто перебирает поколения, как зернышки четок, в скрюченных, сведенных подагрой пальцах, или, может быть, вот эта тоненькая стрелка — он глянул на часы, и она, захваченная врасплох, испуганно замерла под его взглядом, а потом неуловимым толчком догнала, восстановила свое положение в пространстве, — короткими рассчитанными движениями отмеряющая сроки, или заунывный след кочевой кибитки, ползущей по берегу между курганами мимо света, доносящегося из пучины моря, — след, кажущийся непрерывным и беспредельным, кончающимся только там, где кончается степь. Куда все уходит? Потом и их, ушедших, кто-то сменил, — ах да, кажется, готы, потом половцы, или кипчаки, или куманы...

Но пиво все-таки называлось «Сармат», а названия — не пустые звуки. Сармат. «Мат. Там. Матрас. — Играть в слова с этим выходило быстро и просто. — Матрас. Надо было просто». Надо было покупать надувной матрас и плыть к ней на нем. Город Тарс на берегах холодного Кидна, писал Страбон. Он поглядывал на этикетку, и вместе с напитком в него вливалась досада, и мысли завлакивало сознанием, что ему не суждено увидеть Тендру, путь туда ему заказан, прегражден какой-то ошибкой или невольным прегрешением.

И словно бы видел, как смотритель маяка, чей облик невообразим, сидит на песке на камышовой циновке и ждет, когда потухнет заря; в зубах у него варган, он оттягивает костяную пластину и отпускает палец, и меланхолично раздается над простором воды: тен-н-н...дра-а... тен-н-н...дра-а... Лошади, заслышав этот щемящий медлительный зов, прядают ушами и поднимают морды. Им нравится этот звук. Им они любимы. Только ему они послушны. И он, не переставая считать их, незаметно для себя начинает раскачиваться, угадывая ритмы земли.

Дождь прекратился, долго еще стекая с веток тополей, но едва посветлело, и грохочущий сумрак грозы превратился в сумерки вечера. Он шел к

гостинице, свежесть наполняла улицы, ставшие спокойнее и шире. Вопросы, которые он только что задавал себе, показались такими вечными, что стало даже неудобно об этом думать. Он спустился к набережной со спичечный коробок, зажатой доками, и облокотился на перила у памятника первому кораблю, который тоже носил название. На барельефе постамента бородатые плотники с тесьмами на длинных, благообразно расчесанных волосах ворочали бревна мачт и тесали шпангоут, а солдаты в треуголках, с фузьями в руках то ли сторожили эту работу от близкого неприятеля, то ли ждали погрузки, почему-то устремив орлиные взоры в противоположную от моря сторону.

Со стороны Никополя и впрямь показался прогулочный катер и вонил вздернутым носом, словно принюхиваясь к ветру, гнавшему поверхность Днепра против течения, как бы не решив, приставать ли к причалу здесь или бежать вниз на Голую пристань.

И все-таки, перебивая испаряющийся хмель, в нем сквозило упрямое сознание, что вот-вот ему открылась такая тайна свободы и любви, которую многие люди ищут всю жизнь и не могут найти, и что с этим делать, он пока не знал. Да и определить ее толком все еще не мог. «Что?» — спрашивал он мысленно и напряженно прислушивался к ответу, к неслышному току древней реки, чтобы переложить его в слова, хоть как-то доступные его разумению. У стенки набережной на черной воде показались два окурка, пластиковая бутылка и обрывки водорослей и трав, похожих на махорку.

«Не верь, не бойся, не проси», — заклинали, переклестывая друг друга, высокие истошные голоса, и барабаны сопровождения прошибали стены ночной дискотеки. И казалось ему, еще одно усилие разума, одно неистовство чувства, и — «тен-дра» — мелодично шелкнет замок, его волшебное звучание останется с ним и то сокровенное, что уже владело им, навсегда изменит его жизнь. За спиной послышался какой-то шепот, и он подумал, что это парочка влюбленных соперничает с каштановым шелестом листьев. На шепот он оглянулся, желая удостовериться в своей правоте, но не успел додумать этого. В голове его вспыхнуло, и на волосах выступило пятно, в свете удаленного фонаря принявшее окраску цветка татарника на пробитом заступом кургане. И туда, откуда просочилась и потекла эта пурпурно-лиловая влага, протиснулся бронзовый голос, как будто в прорезь почтового ящика успели втиснуть письмо, треугольником сложенную похоронку, или кто-то успел вскочить на подножку уходящего вагона, пока торопливо, скручивая браслет, снимали часы и выворачивали карманы парусиновых брюк: «...верь, не бойся...», «...не...».

«...верь, не бойся...» — обдало всю его внутренность этим вещим рыком, заглушая все прочие звуки земли. И от этого голоса, как от непристойной ласки, снова где-то далеко в провалинах курганов вздрогнули и качнулись цветки татарника, задохнулся ветер и дунул сам на себя, и степь выгнула спину.

В речной воде тело похолодело и подтянулось. Штанины то вздувались пузырями, то послушные смене галса, облегали ноги длинными складками. Река то вытаскивала его на стрежень, то подталкивала к берегу — совсем как тот пароходик, который мелькнул ему на прощанье разборчиво освещенной рождественской елью.

Но Днепр и сам не знал, где кончается он и начинается что-то большее. Его протащило по плавням, через камыш, под старыми вербами. Зацепившись за крюк Кинбурнской косы, гнилистый лиман покачал его в раздумье и передал плотным, упругим морским водам.

Около Очакова по нем безучастно скользнул пограничный прожектор, и луч его не вернулся, побежав дальше к западу.

Через день ветер переменился, и горячее солнце опять вызолотило и выгладило мелкое море.

Ни сети, ни рыбы, ни крабы не тронули его. Убранный узкими лентами водорослей, он плыл до тех пор, покуда на мокрый лоб его не пала блеска далекого еще света, рассыпавшись на соленых каплях сверкающим бисером. И если бы он сохранил способность видеть, он различил бы ясно, как прямо перед ним выросла из воды коса, как восстал черный шест маяка и на его верхушке вспыхнул и погас белый свет, а потом тринадцать секунд собирался с силами в гулкой башне из рассыпчатого ракушечника. И в эти доли времени белый проблеск зажигал его глаза холодным неземным огнем, равнодушному свету которого внимают трепещущие сердца моряков и который означает для них спасение, дарует им жизнь и который они, обнимая бушприты, одушевляют в краткие минуты ликования.

Волны, мягкие, как складки погребального покрывала, торжественно сменяясь, несли его к серебряной песчаной полосе. Покров чистой ночи переливался звездами. Время от времени иные из них срывались и устремлялись вниз, цепляясь за своды колючими оранжевыми хвостами.

Из темноты, словно ею и рожденные, вынеслись лошади и встали на берегу.

В сияющей тишине, укутав копыта в пене прибоя, печальными глазами следили они за его приближением к Тендре.



ЮРИЙ КОБРИН

*

СИРЕНЕВЫЙ ХУТОР

Над обрывом

Русский театр сокрушается в Вильнюсе —
ни карниза, ни фриза, ни архитрава.
Что не продали, то исподволь вынесли
или трактором утрамбовали в гравий.
Фундамент взломали в бульдозерной ярости,
аплодисменты и те — в зияющей яме...
Занавес-облако вздувается парусом,
три сестры мечутся в авангардистской драме.
Цивилизатор в поддых впендюрил культуре,
вставшей в позу... Чайка вскрикивает с надсадом,
дядя Ваня с обрезом, что браток в натуре,
бежит босой по пенькам вишневого сада.
Над обрывом века зритель растерянный
остановлен бесчеловечной нотой
циркулярной пилы в визжащей мистерии,
разрубающей мозг шашкой Чарноты.
Над обрывом века хоть стой, хоть падай
на ветру без имени и без отчества.
И оглох в ночи взыскующий града.
Но еще не слеп, как кому-то хочется.

МКС*

Друскининкай. Роняет клен лист,
тропинка к озеру пестра.
Кормилец Ландсберга Чюрленис
с портрета хмурится с утра.
Глаза имеют пищи вдоволь:
сто лет прошло, а жизни пресс
не легче тяжкой пищи вдовьей,
и дятлом заколочен лес.
Минорный лад, ты с птичьим хором
сорвался с нотного листа,
космогонических теорий
не затупилась острота...

Кобрин Юрий Леонидович родился в 1943 году в Черногорске Красноярского края. Учился в Вильнюсском госпединституте, закончил Высшие литературные курсы. Автор 10 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских авторов, выходивших в вильнюсских и московских издательствах.

В феврале 2003 года награжден Рыцарским Крестом ордена Великого литовского князя Гедиминаса.

* Монограмма, которой Микалоюс Константинас Чюрленис подписывал свои произведения.

Казалось бы, вчера готов царь
 простить марксистский интерес
 неискушенного литовца,
 забредшего в бомондный лес
 Санкт-Петербургских вернисажей,
 «...но! Голь на выдумки хитра,
 а после, дома, что он скажет
 в краю, где хмуры хутора?»
 И псы-филёры держат стойки:
 — Чурлянис вышел со двора! —
 А гулко окающий Горький
 спешит стряхнуть слезу с пера.
 Сто лет прошло, а где же сказка
 тех фантазийных королей?
 Вновь видит мальчика-подпaska
 босым, худым среди полей...
 И от простуды ноет челюсть,
 мозжит от бляенья козла,
 переступающего через
 ужей раздавленных тела.

Но чурли-чюрль, но в Ратничеле
 вода, как и тогда, светла...

Облако белой сирени

Петру.

Юность прошла незаметно,
 скрылась тактично за садом.

Пахнет прохладой летней,
 выдохшимся лимонадом.

В облако белой сирени
 я погружаю руки...

Сбрасываю напряжение,
 знанье чужой науки.

Вот провожает ветер
 ту, что ушла тактично.

Шрамиком сердце метит,
 впрочем, это о личном.

Опыт моих терпений
 стер мне ладони, локти.

И голубели вены,
 воздух буйствовал в легких!

Опыт моих сомнений
 был мне дарован свыше.

Зря ли я без ступеней
 в детстве ходил по крышам?

Годы моих забвений,
 вы на задворках Европы,

где состоянье лени
 новый дарует мне опыт.

Мир заключен в палисадник,
 провинциально величье...

И спешившийся в ночь всадник
просит на площади спичек...

Грозди сирени. Так что же,
воздух, ты — фиолетов?

Лица у местных прохожих
с европейским приветом...

Что-то не очень воздух
свеж и чист на задворках.

Вот и спасают гроздья,
запах сирени горький.

Трудно не стать циничным
в нашем искусстве опасном, —

общество тянет привычно
к белым, коричневым, красным.

Облако влажной сирени,
ливень, что за оградой,

мне даровали зренье,
опыт — что еще надо?..

Сиреневый хутор

Поедем с тобою на хутор,
где нас привечают друзья,
где Ляля по озеру утром
плывет, средь кувшинок скользя,
где Владик наперсточек водки
разделит с тобой пополам,
где чутким становишься, кротким,
по вере где миру воздам.

На хутор, сиреневый хутор,
где бабочек станем ловить,
где добрым быть хочешь и мудрым,
без мыслей о будущем жить.

На хутор, в зеленые ветки,
чтоб дома с тоски не завить,
деление раковой клетки
на воздухе остановить...

На хутор, на хутор, на хутор!
В молочном тумане земля,
где кофе несут нам, как будто
в кафе «Клозери де лиля»¹.

Как шприц, человек одноразов.
Зачем ты над чашкой молчишь?

Тебе ж обещал я в алмазах
сиреневый город Париж...

¹ «Сиреневый хутор» (франц.).

Про это

Рамуте и Юозасу.

Сижу на бережку и думаю про это...
Благодарю, Господь, за испытанье летом,
когда мне надрезал сухие связки скальпель,
я ощутил лицом всю животворность капель
прошедшего дождя на веточке сирени,
которую жена творила в день рожденья!
Та веточка была махрова и лилова...
Благодарю, Господь, ты поступил сурово
за то, что я бывал порой в угаре винном,
за то, что рисковал я ремеслом старинным,
за то, что надрывал за честь глухих сограждан
я горло... И оно перегорело дважды.
Сижу на бережку и думаю при этом:
а все-таки оно совсем не злое, лето, —
благодаря ему узнал, кому я нужен
и без корысти *кто* со мной душевен, дружен.
Я, старый атеист, у Бога на пороге...
Молю Тебя, продли, продли мои дороги!
Сижу на бережку у речки Ратничеле,
свищу, пишу, курю, а как бы вы хотели?



СЕРГЕЙ БОЧАРОВ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕЙЗАЖ: КАМЕНЬ, ВОДА, ЧЕЛОВЕК

Водно-каменное пространство северной русской столицы — таков петербургский пейзаж. Трехсотлетнюю историю Петербурга можно увидеть с этой, «пейзажной», точки зрения как борьбу природных сил, за которыми — силы духовные, они и определяли в петербургской истории оценку этого единственного на земле небывало противоречивого города. Что он, что его символ — Петр-камень как основание Церкви, город святого Петра, или новый Вавилон, апокалиптическая «блудница, сидящая на водах многих» (Откр., 17: 1), какую в лике родного города увидел в начале XX века задушевный друг Блока, Евгений Иванов? ¹

Это слово — «пейзаж» — в описаниях Петербурга первым, кажется, произнес Батюшков в 1814 году в своем этюде «Прогулка в Академию художеств». Батюшков даже уподобил картину города сразу двум живописным жанрам. «Пейзаж должен быть портрет» — сказал Батюшков. Он писал это, когда оформление классического облика города близилось к завершению (как раз, по Пушкину, «прошло сто лет, и юный град <...> вознесся пышно, горделиво») и уже сложившийся в главном архитектурный пейзаж превращался и вправду в лицо Петербурга, его портрет. Но и пейзаж и портрет в применении к городу — это все же метафора: городская среда как метафорическая вторая природа и метафорическая городская личность. Метафоры обычные, но в исключительном случае Петербурга в них было и нечто совсем необычное. Оно было в том характере нового города, для которого Достоевский ровно через полвека (в 1864-м, в «Записках из подполья») найдет сильное и не вполне обычное тоже слово — самый «умышленный» город на свете.

В этом не совсем обычном слове слышна негативная экспрессия (по словарю Даля «умышленник» — то же, что злоумышленник), — поставим рядом слово «умысел» с ближайшим родственным — «замысел». А ведь именно сам момент чудотворного замысла любили живописать создатели петербургского мифа — и Батюшков в своей прозе, и Пушкин в своей поэме, который в первых строках «Медного Всадника» прямо следовал воображению Батюшкова («И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные!»). На эти картины замысла и отвечал Достоевский своим неприязненным словом, в котором замысел дефор-

Бочаров Сергей Георгиевич — филолог, исследователь русской классической литературы. Автор монографий о «Войне и мире» Льва Толстого (1963), поэтике Пушкина (1974), книги «О художественных мирах» (1985), «Сюжеты русской литературы» (1999), «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества» (2002; совместно с И. З. Сураг). Постоянный автор «Нового мира».

¹ «Москва — Петербург: pro et contra». СПб., 2000, стр. 312.

мировался в зловещий умысел. В сокровенных записях для себя Достоевский и прямо отвечал на пушкинское «Люблю» («Люблю тебя, Петра творенье»), рисуя в ответ антипейзаж Петербурга: «Виноват, не люблю его. Окна, дырья — и монумент».

Но и уже в то же время, что Батюшков, и даже немного раньше, в 1811 году, иначе, нежели он, оценил тот самый замысел учитель Батюшкова в нашей культуре, Карамзин. В написанной для императора Александра I «Записке о древней и новой России» он сказал о «блестящей ошибке Петра». Такая оценка была одной из причин, по которой записка Карамзина не могла быть напечатана в России в течение почти всего XIX столетия. Слово «ошибка» Карамзин произнес первый, а затем его повторяли не раз и вплоть до наших дней — от Карамзина до Солженицына (который в статье «"Русский вопрос" в конце XX века», вернувшись с ней в 1994 году в отечество, собрал картину роковых ошибок русской истории, в их числе и петровская «безумная идея раздвоения столицы», и предложил представить нашу историю — как историю лучшую, чем она получилась, — без Петербурга — а значит, и нашу культуру без «Медного Всадника»). В 1829 году Гёте, вспоминая наводнение 1824 года, говорил Эккерману о местоположении Петербурга как о непрости-тельной ошибке Петра и хотел бы видеть на этом месте только гавань, но не столицу великой империи (Карамзин хотел видеть там лишь «купеческий город для ввоза и вывоза товаров»). Довод у всех этих критиков Петербурга был тот же самый — природный, можно даже сказать применительно к нашей теме, пейзажный: все в качестве контраргумента рисовали убогий пейзаж тех болот, на которых был воздвигнут великий город. «Человек не одолеет натуры!» — резюмировал Карамзин. Самый же беспощадный взгляд уже в начале XX века бросил на Петербург петербургский поэт.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.

От «блестящей ошибки» у Карамзина до «проклятой ошибки» у Иннокентия Анненского — разница; но и сходство — «ошибка». Оценка Карамзина — объемная, сложная, двойственная; этой непримиримой двойственности, объема противоречий совсем еще нет у Батюшкова — у Пушкина они явятся в полной силе и после Пушкина станут главным в образе Петербурга и в самом его «пейзаже». Взгляд поэта XX века — пристрастный до несправедливости, до прямого отрицания уже сложившегося образа Петербурга. Как это — «ни миражей», когда о «миражной оригинальности Петербурга» так хорошо было сказано Аполлоном Григорьевым еще в 1840-е годы и эта «миражность», призрачность сделалась в петербургских описаниях общим местом; и как это — «ни чудес», ведь когда бы древняя традиция перечисления чудес света была продолжена в новое время, сам Петербург, конечно, был бы объявлен одним из таких рукотворных чудес — «*Полнощных стран краса и диво?*»

Но — где еще найти столь противоречивое чудо? Ведь что стало чудом? Чудом стал успех противоестественного замысла — то самое «одоление натуры», что, вопреки Карамзину, с блеском все же осуществилось; *блестящая* все же вышла ошибка. В великих думах строителя-демиурга у Пушкина присутствует слово «назло» — «*назло надменному соседу*», — и недаром такое слово возникло: ведь еще до Пушкина князем Вяземским проговорено было то же слово иначе в панегирическом, заметим это, стихотворении «Петербург» (1818), где было сказано прямо — «назло природе» («Чей повелительный, на-зло природе, глас / Содвинул и повлек из дикая пустыни / Громады вечных скал, чтоб разостлать твердыни...»). В панегирической также картине великого замысла у Пушкина все же заложена и двусмысленность. «Природой здесь нам суждено...» — но окружающей бедной природы он просто не видит, что тонко отмечено в пушкинском тексте: «И *вдаль глядел. Пред ним широко / Река*

неслася...» — следует пейзаж, мимо которого, мимо того, что «пред ним», устремлена великая дума — «вдаль». Во Вступлении к поэме поэт говорит свое «Люблю» белой ночи, этой волшебной драгоценности петербургского пейзажа и символу также особенного пейзажа духовного, о чем другой поэт еще столетие спустя скажет как о крепчайшем растворе петербургской сверхнапряженной нервной духовности («Бывает глаз по-разному остер, / По-разному бывает образ точен. / Но самой страшной крепости раствор — / Ночная даль под взглядом белой ночи»). Но разве не природная аномалия это волшебство и в восторженном пушкинском описании — «И, не пуская тьму ночную / На золотые небеса...»? И не в едином ли пейзаже связано это волшебство с другой аномалией, когда перегражденная Нева пойдет обратно от моря, подобно двинувшемуся шекспировскому Бирнамскому лесу? Наконец, вызывающе формулируется главная аномалия пейзажа и всего петербургского замысла — в словах о том, «чьей волей роковой / Под морем город основался...» (настолько формула вызывающая, что то и дело цитируют, невольно исправляя в согласии со здравым смыслом: «Над морем...»). «В его идее есть нечто изначально безумное», — скажет о Петербурге историософ уже XX века (Г. П. Федотов).

Замечательная книга Н. П. Анциферова в 1922 году была названа им — «Душа Петербурга». В начале книги автор цитировал Тютчева, известные строки о том, что есть природа: «В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык». Анциферов смотрит на родной город, как Тютчев смотрел на природу. Романтический взгляд на природу, в которой «есть душа», породил европейский пейзаж как сравнительно поздний жанр в истории живописи. «Душа Петербурга» непосредственно ощущается всяким, кто чуток к этому единственному месту в мире, и что бы ни наговорили извне (маркиз де Кюстин) и изнутри (будь то и сами Гоголь с Достоевским) о бесхарактерности и безликости Петербурга, он непосредственно узнается в поэтических отражениях сразу, «в лицо», без объявления имени, «с первых строк», как это сказано в стихотворном обращении московского поэта Бориса Пастернака к петербургскому поэту Анне Ахматовой: «Какой-то город, явный с первых строк, / Растет и отдается в каждом слого».

Есть душа Петербурга — значит, есть и его пейзаж — одушевленная городская среда; еще раз вспомним Батюшкова: «Пейзаж должен быть портрет». Но есть вызывающий парадокс в самом понятии о петербургском пейзаже, возникшем «назло природе». И однако это «назло» в петербургской идеологии было претворено в ее героический и даже сакральный момент. Приближенные пели Петру, льстя ему, из богородичных песнопений, входящих в состав великопостного покаянного канона и говорящих о непорочном зачатии: «Богъ идѣже хоцеть побѣждается естества чинъ»². Революционный по существу разрыв с национальным прошлым и как бы с самой природой уподоблялся духовной победе над естеством в христианской символике. Феофан Прокопович, церковный панегирист Петра, на его апостольском имени строил его апологию и прямо провозглашал, что прежде видели в нем только богатыря, а ныне «видим уже и Апостола»³. Оказывалось двусмысленным и самое имя нового города, нареченного именем святого апостола, но сразу естественно перенесшего свое название на исторического Петра, так что и «град Петров» у Пушкина («Красуйся, град Петров...») — это, конечно, тоже уже не город св. Петра, а город Медного Всадника. Петр-камень, на котором была основана Христианская Церковь, обратился в строительный камень, ставший главным реальным символом петербургской истории и первым словом в образе петербургского пейзажа. Духовный символ стал пейзажным.

² «Канон великий. Творение святого Андрея Критского». М., 1915, стр. 27, 61, 101, 128.

³ См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого. — В кн.: Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 3. Таллинн, 1993, стр. 210.

Автор идеи петербургского текста литературы, В. Н. Топоров, обращает внимание на удивительную однородность разных описаний Петербурга и повторяемость в них тех же ключевых понятий. «Создается впечатление, что Петербург имплицитно свои собственные описания с несравненно большей настоятельностью и обязательностью, чем другие сопоставимые с ним объекты описания (напр., Москва), существенно ограничивая авторскую свободу выбора». Петербургский текст отличается особой силой небольшого числа общих мест, с обязательностью присутствующих в любом описании; они же определяют и петербургский пейзаж. Схема этого пейзажа в самом общем выгледит так: вода и камень в разнообразных между собой отношениях минус земля. Много воды и много камня, почти нет земли. Ограниченным образом входит в пейзаж и зелень — Летний сад, острова; но зелень, по наблюдению Н. П. Анциферова, сочетается «не столько с землей, сколько именно с камнем и водой, образуя некое триединство пейзажа Петербурга».

«В болоте кое-как стесненные рядком, / Как гости жадные за нищенским столом». Это петербургские могилы на публичном кладбище, где человека должна принять земля. А принимает — вода, и с этой водой в открытой могиле, куда опускают гроб, мы встретимся вслед за Пушкиным у Некрасова и Достоевского («В могиле слякоть, мразь, снег мокрый, не для тебя же церемониться?» — в тех же подпольных записках; и все вообще они — «по поводу мокрого снега» как пейзажного символа). Жуткая вода заменяет святую землю, *вода как земля* в этой святой ее обязанности — принять в конце концов человека. «Хоть плюнуть да бежать» — на сельское родовое кладбище, где стоит широко дуб, «колеблясь и шумя...». Бежать в пейзаж настоящий из петербургского.

И все-таки есть он, по-иному чудесный, и триединство, означенное Анциферовым, является гармонично у Батюшкова: город радует ему глаз приятным разнообразием, происходящим «от смешения воды со зданиями» плюс зелень Летнего сада; и Батюшков предлагает сравнить прелесть «юного града», как назовет его все-таки тот же Пушкин (через сто лет он все еще юный!), с ветхим Парижем и закопченным Лондоном. Пушкин вначале тоже живописует гармонию двух основных элементов: «*Невы державное течение, / Береговой ее гранит...*» Спокойная и торжественная картина. Но ровно за год до петербургского наводнения, вдали, у моря, в Одессе, записано во вторую главу «Онегина» (до 3 ноября 1823 года) — всем известное: «*Волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень...*» Фундаментальные оппозиции мира. Волна и камень! Както недаром они здесь возникли Пушкину впрок, наперед, на близкое будущее. Предсказано петербургское наводнение ровно за год без всякой мысли о нем. И еще через десять лет, тоже ровно, аукнется в петербургской поэме, на смежной спокойной картине, — волна ополчается на гранит:

Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной...

Река мечется, как больной, в своей гранитной постели. Начинается рассказ о бедном Евгении, и когда мы дочитали «петербургскую повесть», мы возвращаемся к этой ее завязке, еще раз ее прочитаем:

Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной... —

и видим, что в эти две пейзажные строки вместились вся драма поэмы, потому что в них незримо присутствует человек. Он незримо присутствует между этих двух строк, потому что он и погибнет, как между этими строками, между двумя стихиями волны и камня — державного города, основанного «под морем». Бунт «побежденной стихии» направлен не прямо против малого человека, он направлен против большого медного человека, своего победителя, который на своей скале посреди города «*взором сдерживает море*» — так незадол-

го до Пушкина обрисовал картину спора другой поэт, Степан Шевырев. Стихотворение «Петроград» Шевырева написано в том самом 1829 году, когда Гёте осуждал Петра за Петербург. Стихотворение Шевырева, поклонника Гёте, удостоенного его похвалы за разбор «Фауста», напротив, — один из апофеозов Петра. У Шевырева море напрасно спорит с Петром («*Море спорило с Петром...*»), а тот уже в виде медного сторожа города одним своим взором сдерживает море. Картина спора у Шевырева проста, она не предполагает той исторической истины, сформулированной недавним исследователем петербургской темы, что «власть победителей над побежденными имеет тайной (и, быть может, магической) своей стороной власть побежденных над победителями»⁴. После «Медного Всадника» взгляд на спор изменится и явится в русском художественном сознании картины *водной* именно гибели Петербурга: на одном из рисунков Лермонтова, о котором рассказано в воспоминаниях В. А. Соллогуба, и в стихотворении Михаила Дмитриева «Подводный город» (1847) на месте бывшего Петербурга — водная гладь, из-под которой торчит кончик одной из петербургских архитектурных вершин — Александровской колонны с ангелом или шпиль Петропавловского собора, и тот же «пасынок природы» из первых строк поэмы Пушкина привязывает свою ветхую лодку к шпилью. Так пророчество при основании города — «Петербургу быть пусто» — исполнилось в виде водной пустыни. Основанный «под морем», город и оказался под ним в итоге борьбы как будущий новый Китеж. Но не святой, а проклятый Китеж. Не Китеж — Вавилон, блудница на водах многих..

В стихотворении Шевырева в споре двух надличных сил между ними нет человека. Пушкинская картина борьбы несравненно более сложная. Всю картину меняет результат петербургской истории — «*просто граждан столичный, / Каких встречаем всюду тьму*». Нева, стихия — природный враг Петрова дела, но в конечном счете обе силы в споре друг с другом действуют против бедного героя заодно. Между двумя надличными силами истории и природы в их между собою борьбе Евгений гибнет как человек. Его и его Парашу смыывают обе стихии вместе — петербургское наводнение и стихия истории.

В недавней книге Г. З. Каганова о петербургском пространстве воспроизводится акварельный рисунок одного из творцов этого пространства — Джакомо Кваренги; рисунок, хранящийся во Дворце дождей в Венеции, относится к 1780-м годам и изображает только что возведенный Фальконетов монумент Петра на Сенатской площади. О рисунках Кваренги в книге говорится, что в них архитектор-классик словно не совпадает с самим собой, он больше интересуется камерными участками городского пространства, схваченными с низкой точки зрения, глазами частного человека. Так и в рисунке Медного всадника — «точка зрения здесь взята очень низко, она соответствует положению глаз сидящего, а не стоящего на площади человека»⁵. Монумент при этом взят как раз со стороны будущего дома Лобанова-Ростовского со львом, на котором Пушкин усадит Евгения. На рисунке Кваренги, таким образом, предвосхищена точка зрения пушкинского Евгения на монумент. И вот с этой низкой точки зрения сидящего человека монумент несоразмерно возвышается над окружающим пространством, в том числе над зданием Сената за ним, которое на самом деле гораздо выше его. Памятник подавляюще громаден — но таким его «*в неколебимой вышине*» и увидит находящийся на уровне потопа Евгений. Так за полвека до «Медного Всадника» была предвосхищена точка зрения обычного человека на несоразмерный ему имперский город.

До петербургской поэмы за несколько лет было у Пушкина петербургское стихотворение, миниатюра; стихотворение любовное, почти мадригал, но оно открывается общим взглядом на город, довольно мрачным.

⁴ Виролайнен М. Н. Камень-Петр и финский гранит. — В кн.: «Ars interpretandi». Сборник статей к 75-летию проф. Ю. Н. Чумакова. Новосибирск, 1997, стр. 156.

⁵ Каганов Г. З. Санкт-Петербург: образы пространства. М., 1995, стр. 40 — 42.

Город пышный, город бедный,
 Дух неволи, стройный вид,
 Свод небес зелено-бледный,
 Скука, холод и гранит...

Можно здесь пока остановиться, на середине стихотворения. Вот такой пейзаж-портрет имперской столицы. Герцен в одной своей статье сильно передал впечатление от этих пушкинских строк. В написанном по-французски очерке о Бакуanine Герцен рассказывает, как в 1840 году провожал его до Кронштадта, когда тот покидал Россию; из-за поднявшейся бури их пароход вернулся назад, и перед ними вновь с моря вставал приближавшийся Петербург. «Я указал Бакуanine на мрачный облик Петербурга (*l'aspect lugubre de Petersbourg*) и процитировал великолепные стихи Пушкина, в которых он бросает слова точно камни, не связывая их меж собой»⁶.

Как замечательно и убийственно точно: слова точно камни. «Город пышный, город бедный, / Дух неволи, стройный вид...» Потрясающий город как некое монолитное противоречие. Но — монолитное, «каменное». «Только камни нам дал чародей...» — откликнется будущий петербургский поэт (Иннокентий Анненский) в стихотворении, которое уже было цитировано. А до него Раскольников у Достоевского откликнется, созерцая с моста над рекой великолепную панораму города-государства, — «духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина». Пышная! «Город пышный...» И от пушкинской панорамы веет духом немым и глухим.

Но мы задержались на середине миниатюры, где происходит вдруг неожиданный поворот:

...Все же мне вас жаль немножко,
 Потому что здесь порой
 Ходит маленькая ножка,
 Вьется локон золотой.

«Вас» — кому это сказано, что ему жаль? Трудно сразу поверить, но те же «скуку, холод и гранит». Поэт повернулся к городу и говорит теперь не о нем, а ему. Пушкин вдруг к нему *обращается*, не прерывая дыхания, в той же фразе (все восемь строк — одна фраза), и мрачная панорама превращается в нежную лирику. Стихотворение движется так, что противоречия Петербурга вначале располагаются рядом на плоскости как несвязанные контрасты, вторая же половина пьесы обращает плоскостную картинку в объем. Объем, в котором есть плоский фасад и глубокое внутреннее пространство. Поэт почти признается в любви к холодному городу за то, что в нем «ходит маленькая ножка» Анны Олениной, в которую он влюблен. Милый малый масштаб совершенно уравнивает огромную панораму и оправдывает ее. Поворот картины — и мы проникли за внешний фасад, за которым открылась теплая жизнь, и недаром она является на грандиозном фоне в малых деталях — маленькая ножка и золотой локон.

Фасад и внутреннее человеческое пространство, петербургское и человеческое как несоразмерные величины — по-иному это предстанет в «Медном Всаднике». В знаменитом Вступлении повторяются те же подробности мрачной картины — «стройный вид» и «гранит», но здесь поэт говорит им «Люблю». В глубине же картины не милая маленькая ножка, смягчающая картину и с ней примиряющая, а *маленький человек* — фигура, недаром возникшая в XIX веке именно в петербургской литературе; и эта фигура, напротив, омрачает великолепную панораму Вступления. Несоразмерность картины не только в том, что борьбу составляют в ней две фигуры столь разного размера (истори-

⁶ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 7. М., 1956, стр. 344, 355. Воспоминанием о Герцене в связи со стихотворением Пушкина я обязан В. Д. Сквозникову: он в своем разборе стихотворения напомнил это место из Герцена (см.: «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении». Т. 3. М., 1965, стр. 63).

чески и политически), но и две фигуры *из разного материала*. И однако фигура несоразмерно малая, человечески слабая, уязвимая, смертная пророчит бесильным бунтом своим крупнейшую тему литературы века — борьбу двух сил огромных, Империи и Революции. «Город трагического империализма», — так скажет о нем Н. П. Анциферов. И бунт Невы также эту тему тайно пророчит: еще раз вспомним мысль из упоминавшегося исследования — тайная власть побежденных над победителями.

Замечательно, что при всех исторических переменах чувство противоречия архитектурного фасада и внутреннего человеческого объема сохраняется как глубокое петербургское впечатление. Можно сослаться на два высказывания уже из нашего времени — устно сказанные (телевизионным образом) слова театрального режиссера Генриэтты Яновской о божественной архитектуре, возникшей без всякой мысли о человеке, которому жить в ее окружении, и написанный только что (и еще не опубликованный) текст Андрея Битова на тему «Петербург и вода», где Битов пишет о родном городе: «В нем есть пространство, но нет объема. Одни фасады и вода. Представить себе внутреннюю или заднюю часть дома бывает затруднительно. Живут ли там? И кто? Петербург населен литературным героем, а не человеком. Петербург — это текст, и ты часть его. Герой поэмы или романа».

Странное чувство — но ведь оно сохраняется через времена и потрясения как постоянное чувство города: оба свидетельства изнутри — принадлежат коренным петербуржцам (ленинградцам) уже наших дней.

В 1917 году борьба Империи и Революции разрешилась (возможно, не окончательно). И настал в петербургской истории краткий период, на котором в завершение этого размышления хочется задержаться в связи с нашей темой петербургского пейзажа. Это сумеречные первые пореволюционные годы 1918 — 1920, о которых столь многие замечательные свидетели вспоминали со странным восторгом. «На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты» (Мстислав Добужинский). «Кто посетил его в страшные смертные годы 1918 - 1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление <...> В городе, осиянном небывальными зорями, остались одни дворцы и призраки» (Георгий Федотов). «Зелень делает все большие завоевания. Весною трава покрыла более не защищаемые площади и улицы. Воздух стал удивительно чист и прозрачен <...> Петербург словно омылся <...> Четче стали линии берегов Невы, голубая поверхность которой еще никогда не казалась так чиста. И в эти минуты город кажется таким прекрасным, как никогда. *Тихая Равенна*» (Анциферов).

Я позволю себе прибавить к этим письменным свидетельствам устное, слышанное мною в 70-е годы от Александры Ивановны Вагиновой, вдовы Константина Вагинова, — он сравнивал революционный Петербург с Римом последних времен, разоренным варварами, когда в нем осталось несколько сот жителей и по дикому городу бегали волки, но стояли те же дворцы и храмы.

Усиленно-пейзажные впечатления, переплетенные со смертными мотивами, и эти итальянско-античные, римско-равеннские ассоциации — особенность этого парадоксального любования опустевшим городом, в котором неожиданно катастрофически подтверждалось его гордое самоназвание — Северная Пальмира (классические руины в пустыне). Страшные события вернули «петербургскому пейзажу первоначальную прелесть», потому что можно теперь «любоваться тем, чем любовались сто и двести лет тому назад, — Невой, которой возвращается почти целиком ее ширь, ее раздолье, ее пустынность. Ведь и смерть и агония имеют свою великую прелесть» (Александр Бенуа). «В Петрополе прозрачном мы умрем», — в близком предвидении этих времен писал (в 1916 году) Мандельштам.

«Исчезновение обычной жизни, обволакивавшей здания, как бы выпустило на свободу собственный художественный смысл импозантной петербургской архитектуры, и он заполнил все обозримое пространство — то самое, где

погибали вещи и где не могли больше находиться люди» — так объясняет историческую атмосферу этих впечатлений искусствовед-исследователь петербургского пространства (Г. З. Каганов).

«Петербургу быть пусто» — в каком-то смысле (конечно, не окончательном) осуществлялось пророчество, и катастрофа возвращала городу «первоначальную прелесть». Как уже позже, перед второй мировой войной, скажет Ахматова Лидии Чуковской, — «Ленинград вообще необычайно приспособлен для катастроф»⁷ (за два года до ленинградской блокады это сказано!), — и этот петербургский катастрофизм просматривается и сквозь петербургский пейзаж и его историю. И Петербург как «нервный узел России» (Г. Федотов) просматривается сквозь этот пейзаж — роль, которую, надо надеяться, не совсем еще утратил этот город и в наши дни.

⁷ Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М., 1997, стр. 53.

ЛИЛЯ ПАНН



АРИТМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Русская литература в Америке породила свой собственный «проклятый вопрос»: почему Нью-Йорк, где обитает несметное количество выходцев из России, присутствует в нашей поэзии так скудно и, главное, фрагментарно? Почему уникальный феномен Нью-Йорка не схватывается цельным образом, приличествующим Великому городу, тем более «столице мира», что бы это ни значило? Или именно *то*, что «столица мира» означает в наши времена, как раз и сопротивляется воплощению в поэтическом слове?

В статье «Великий город, окраина империи» («Знамя», 1994, № 10) Петр Вайль ставил вопрос шире: «Удивительным образом и у самих американцев, по сути, нет литературной парадигмы Нью-Йорка — город возникает по кускам, так слепые описывают слона». Оставляя в стороне прозу, в самой природе которой рожать «слона» по кускам, спросим задолженности с поэзии. Объяснение Вайлем литературной фрагментарности Нью-Йорка: «Для целого нужна передышка, чтоб натурщик посидел тихо. Нью-Йорк текуч, стремителен, изменив, его не уложить на бумагу», — мало оправдывает поэта, движению мысли которого и скорость света не предел.

Наш поэт редко положит глаз на громаду, вздыбившую скалистый океанский берег Нового Света, а ведь «город контрастов» со всеми своими причудами пейзажа, архитектуры и социума прямо-таки вызывает к портрету в полный рост.

Значит, просто не хочется поэту заводить диалог с Городом... Еще не так давно Манук Жажоян выяснял отношения с Парижем и Петербургом, был с ними на «ты»¹. Или Бахыт Кенжеев после первого же посещения Парижа отчитывается: «На что похож? Скажу: на сад камней, / замусоренный, бестолковый, / который чем древнее, тем верней / поит лозой известняковой»², однако на что похож Нью-Йорк, автор доверительных лирических монологов не проговорился и после многих нью-йоркских дней. Не только не воспел, но проклятиями в адрес Великого монстра не обмолвился.

Скорее всего, Нью-Йорк для русского поэта не Великий монстр и уж определенно не Великий город. Возможно, даже не город. Но почему?

Часть ответа дал Бродский. Он оказался в Нью-Йорке в 1974 году, и, судя по его замечаниям в интервью разных лет (Нью-Йорк, мол, «сообщает тебе твой подлинный размер»³), город завершил воспитание стойка. Бродский находил в Нью-Йорке как домашний уют, так и своеобразный «эстетический ряд», что не помешало ему прийти к выводу, что нью-йоркский пейзаж поэтом психологически не переваривается: «Претворить это в твой собственный внутренний ритм, я думаю, просто невозможно. <...> Естественным путем Нью-Йорк в стихи все же не вписывается».

Панн Лиля (Лидия Романовна) — литературный критик. Родилась в Москве; в 1976 году эмигрировала в США. Автор книги «Нескучный сад. Поэты, прозаики. 80-е — 90-е» (1998) и многочисленных статей в российской и американской периодике.

Статья написана на основе доклада, прочитанного на симпозиуме «Америка глазами русских» в университете Мидлбери штата Вермонт США в июле 2002 года.

¹ Жажоян Манук. Случай Орфея. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2000.

² Кенжеев Бахыт. Осень в америке. «Hermitage» (USA), 1988.

³ Бродский Иосиф. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями. М., Издательство «Независимая газета», 1995.

Разве что Супермен из комиксов, говорил Бродский, мог бы написать адекватные городу небоскребов стихи. Это из беседы с Соломоном Волковым⁴. Впервые беседа была напечатана в газете «Новый американец», в начале восьмидесятых. Помню, я удивилась. Как же так? Ведь традиция поэзии урбанизма уже вековая, почему же тогда столица урбанистического мира (вот какого мира Нью-Йорк столица) остается на обочине? Бродский говорил, разумеется, о поэтических удачах, и я тоже только их имею в виду. Неудач хватает, как показали хотя бы интернетные конкурсы «Русская Америка», среди которых «Сетевой Бродвей-2000» выделил из американской темы в современной русской литературе исключительно нью-йоркскую. Бродский говорил не только о русской поэзии, но я буду говорить именно о ней, о той ее части, о которой могу судить, — о современных русских поэтах с весомым опытом жизни в Нью-Йорке.

Время подтвердило в целом правоту Бродского. Поэты третьей (доперестроечной) волны эмиграции — за исключением Дмитрия Бобышева, о ком ниже, — Нью-Йорк в стихи не вписали — при том, что новосветский опыт колоссально сказался в их творчестве. Сжигание за собой мостов плюс протрезвление в стране — лидере массовой культуры имели своим следствием трансформацию эмигрантской отчужденности в свободу несокрушимого стоицизма.

Третья волна вынесла на берега Нового Света несколько незаурядных лириков, а противостоять в стихах Нью-Йорку могут только эпика, точнее, лироэпика, вот в чем дело. В сравнении с лирикой эпос — Супермен, способный взлететь над Манхэттеном и, в отличие от Супермена комиксов, вдобавок к городскому пейзажу, увидеть еще исторический. А где взять эпиков, эмиграция как-то больше привлекает лириков (и физиков, само собой). Частично вакуум заполнил цикл «Звезды и полосы» Дмитрия Бобышева⁵. На мой взгляд, этот поэт сильнее в эпичности, нежели в лиризме, — во всяком случае, в стихах американской темы.

Бобышев прожил в Нью-Йорке свой первый эмиграционный и, судя по его стихам того времени, счастливый год (1980). Эмиграция для него имела второе лицо — новой любви, женщины, для которой Америка — родина. Сказалась тут «биография» или нет, только перед нами в стихах не растерянный эмигрант, а жизнерадостный, веселый человек — разумеется, сильно потрясенный, но и жадно впитывающий новые, сногшибательные впечатления. Его они с ног не сшибают не только благодаря опоре на любовь — главное, он твердо стоит на метафизическом фундаменте христианства, и новая реальность у него ловко встраивается в христианскую парадигму земли и неба. Небоскребы Нью-Йорка, на взгляд Бобышева, неба не касаются: неба, то есть Неба, в Нью-Йорке вообще нет, есть одна земля. На ней произрастают разнообразнейшие плоды цивилизации, и душевный комфорт Бобышева покоится на уверенности в правах человека на самые сочные плоды при обязанности помнить об их тленности, обязанности не сотворять из них кумира. В последнем, по его впечатлениям, Нью-Йорк не силен.

Нью-йоркские стихи Бобышева питаются классическим отвращением русского интеллигента к пресловутому материализму Америки, при этом наш поэт готов нелицеприятно оценить свое наследство — *«ужасную, как тот кровавый хлеб, духовность»*. Со временем Бобышев не только справляется с фобиями культурного шока, но и воспекает материальное изобилие Америки в «Жизни Урбанской» с одическим размахом державинской «Жизни Званской». Взять анакреонтическую ноту в заунывном пении эмигрантов — это взять ноту если не выше, то шире. Но такое возможно только на просторах Америки, за пределами Нью-Йорка. А вот как начинался для него Нью-Йорк:

⁴ Волков Соломон. Диалоги с Иосифом Бродским. М., «ЭКСМО», 2002.

⁵ Бобышев Дмитрий. Полнота всего. СПб., «Водолей», 1992.

Рабство отхаркав, ору:
 — Здравствуй, Манхаттн!
 Дрын копченный, внушительный батька — Мохнатый,
 принимай ко двору. —
 (Реет с храпом
 яркий матрас на юру:
 ночью — звезд и румяных полос ввечеру
 он от пуза нахапал.)

Крепкий подножный утес
 выпер наружу.
 Нерушимую статью мускулисто напряжив,
 будь на месте, как врос,
 каменный друже.
 Твой чернорезерный торс
 встал на мусоре Мира в нешуточный рост.
 То-то вымахал дюже.

В свое время маяковско-залихватские переливы интонации не пользовались особенным успехом в узком эмигрантском кругу, но антисоветские и многие другие страсти прогорели, так что теперь Бобышеву за темперамент (остроте зрения не помеха) можно сказать только спасибо.

Возвращаясь к «Большому Яблоку» (домашним именем, данным нью-йоркцами своему городу, Бобышев предсказуемо называет одно из стихотворений своего цикла): батька Махно тут при чем? Мои собственные слуховые галлюцинации? Но вот почему каменный «Манхаттн» мохнатый, это ясно: тут, в восприятии Бобышева, доминирует земная, хуже того — животная жизнь. Нью-Йорку могло бы найтись местечко в «Бестиарии», бобышевском шедевре, написанном позже и вряд ли бы появившемся на свет, если бы поэт не провел год жизни в Нью-Йорке, где человеческое, слишком человеческое — хуже того, животное — разгуливает не таясь по городу. От животного в себе самом поэт отнюдь не отрешивается. «Родина моя, жена, семья, свинья» и прочие указания на свинскую природу человека у него во множестве и даются легко (слишком легко!), поскольку его кредо несокруσιμο: «Ты, тело, — всё же я, но мы не заодно», «Небо — ключ. Земля — замок. Се слово крепко».

Животное в человеке без труда стимулируется обществом потребления. Стихотворение «Тот свет», начиная с названия, работает на двух смыслах метафоры: помимо того, что любая эмиграция — малая смерть, эмиграция новосветская, американская таит духовную смерть в свежих для русского эмигранта соблазнах практического материализма. «По вавилонам барахла, / живой, идешь, хотя отпет и пропит, / свой поминальный хлеб располола, — / где палестинам снеди нет числа...» Отметим мимоходом характерную для этого поэта уместную непринужденность отношений со словом: *располола* — это, конечно, неоконченное, брошенное на половине слово из выражения «разделив (с кем-то) пополам» или «располовинив», потому как не с кем «поминальный хлеб» делить.

При желании можно говорить и о нью-йоркском мифе Бобышева — городе гедонизма, обреченном на гибель:

...враз разорвало
 льва-монолита вразмет.
 Вижу — рой в этом трупце, и соты, и мед.
 Сладким сильное стало.

Библейские коннотации неотъемлемы от поэтики Бобышева, и его нью-йоркские стихи имеют их своими несущими перекрытиями. Материальное изобилие как главное достижение страны, некогда сильной пуританским аскетическим духом, предсказано, если угодно, в Библии, в Книге Судей (11: 14), в эпизоде с мертвым львом: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое», — эти слова поэт ставит эпиграфом к «Большому Яблоку», звучащему после событий 11 сентября 2001-го осуществившимся пророчеством.

Яблоко, само собой, — символ грехопадения, совпадающего в глазах христианина с просто земной жизнью человека: «Жри-ка яблоко по черенок, это — жизнь, / червячок ты веселый!» Человек на земле — червяк. Какой уж тут Маяковский! Скорее юрод, фигура, неотъемлемая от христианской культуры.

Большое Яблоко — большое грехопадение; грех первородный помножен на собственный грех Нью-Йорка — плод американской демократии: «КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО». Этот «плакат» поэт вывешивает в небе над Манхэттеном в другом стихотворении цикла — «Полнота всего». Заглавные буквы в «плакате» не от бессилия Бобышева выразить сильное переживание, а ради изобразительности: именно так нужно увидеть бобышевскую формулу нью-йоркского духа: на манер рекламы в небе — как видит поэт, бродя по ночному городу, потрясенный открывшимся ему смыслом этого места:

Здесь мига не отложено до завтра...
От первых нужд, чем живо существо,
до жгучего порока и азарта, —
КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО
из черепа торчит у Градозавра.

Буквально самого себя прияв,
каков ты есть, ты по такой идее
неслыханно, неоспоримо прав,
из низких и нежнейших наслаждений
наслаивая опыт или сплав.

Ночной Манхэттен мерещится поэту *черепом* во все небо: так он прочитывает кодовую комбинацию освещенных и темных окон небоскребов — это чисто внешне, а апокалиптической начинкой образ обязан внутреннему видению судьбы мохнатого Зверя — *Гразозавра* — исчезнуть в духовной эволюции человечества. Но как противоречивы его чувства к Городу здесь и сейчас! И какой терпкостью интонации отмечен финал:

Вот потому-то, жизнью вусмерть пьяный,
в разгаре невиденного дня
прошу: да не оплакивайте в яме
Мафусаила юного, меня,
исполненного звуками и днями.

Нью-йоркский миф Бобышева после событий 11 сентября 2001-го находит завершение в стихотворении «На части», напечатанном в «Новом мире» (2002, № 4). Стихотворение, на мой вкус, слабее прежних, и понятно почему: те писались без подсказки, а «На части», подозреваю, подгонял порыв типа «а что я вам говорю?!»:

Откуда мне знаком руинный вид?
А — в первый тот наезд в Манхэттен,
в миг: — Ах, вот он! —
с боков — некрополи стоячих плит
и вывернутый взгляд
на град
с наоборотом.

Нас нет, а памятник уже стоит.
Да, гордый город был.
В минуты сломан.
На колени, словно слон,
пал, которому вдруг ломом
в лоб вlepили наповал,
на слом.

Мы не в ООН, а в стихах, и потому холодноватое отношение к жертве исторического процесса не запретишь, но вялость образа поваленного слона отметить необходимо, поскольку с самого начала речь шла о поэтических удачах. В целом же вклад Дмитрия Бобышева в нью-йоркскую тему самый су-

шественный, хотя и не все ньюйоркцы испытают радость узнавания. И не потому, что будут обижены нещедростью сочувствия, а потому, что многим дороже другие ракурсы, не непременно апокалипсические. Так, Борис Парамонов, будучи поставлен мною перед «проклятым вопросом» о дефиците хороших стихов нью-йоркской темы, мгновенно исторг из себя: «Нью-Йорк! — Какой огромный странноприимный дом!» — и стал бранить поэтов за тяжелейший грех неблагодарности. Так ведь этот благодарный — не стихотворец...

Формула «КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО», приложимая исключительно к эстетическому ряду Нью-Йорка (так сказать, горизонтальная составляющая формулы), уточнит ответ Бродского на вопрос, почему этот ряд не вписывается в стихи. Если эту горизонтальную составляющую формулы Бобышева помножить на вертикальную метафору Бродского «на попу поставленное царство» (в его нью-йоркском пейзаже «Над Восточной рекой»), то получим формулу «тела» Нью-Йорка во всем объеме: КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО × НА ПОПА ПОСТАВЛЕННОЕ ЦАРСТВО.

Собственно, в беседе с Волковым Бродский этот объем и имел в виду, говоря о невозможности его переварить ритмически, о несовместимости его с «внутренним ритмом» стихотворца. Именно стихотворца, Бродский не говорил о поэзии в широком смысле слова. В самом деле, поэтической прозой небоскребы Нью-Йорка вполне перевариваются. Так, эссе Александра Гениса «Нью-йоркские тени», удостоенное первой премии на конкурсе «Русская Америка-2001» в категории pop-fiction, имеет законное отношение и к категории поэтического — по параметру образности, а также по хорошо известной способности, присущей сильному поэтическому сознанию, именно в образах предсказывать будущее. (Случай и Бобышева.) Вот отрывок из этого текста, написанного до 11 сентября 2001-го:

«Идя по нью-йоркской улице вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрестанных метаморфоз. Как во сне, сквозь стену тут пролетает птица, тень облака служит шторой небоскребу, в который бесшумно и бесстрашно врзается огромный „боинг“».

Действительно, оказывается, NON-FICTION!

«В этой скабрёзной игре света и тьмы и нам достается соблазнительная возможность — слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо — „людогоград“».

После 11 сентября нью-йоркский пейзаж Гениса приобрел колорит юмора висельника, но все равно это пейзаж кисти поэта. Однако — не стихи. И потому сказочное существо «людогоград» пока еще не дышит. Прозаический текст содержит, так сказать, код, ДНК «людогограда», дело — за магией оживления, за магией стихотворчества. Борис Слуцкий в свое время пытался ее постичь:

Похожее в прозе на анекдот,
Пройдя сквозь хорей и ямб,
Напоминает взорванный дот
В соцветье воронок и ям.
.....
И что-то входит, слегка дыша,
И бездыханное оживает:
Не то поэзия, не то душа,
Если душа бывает.

Но когда ямбы и хорей подступаются к «анекдоту» нью-йоркского пейзажа, то какофония — «кромешная приемлемость всего» — по законам акустики подавляет гармонию, внутренний ритм стихотворца. Стихотворчество ведь — резонансное явление, внешние ритмы усиливают внутренние. Улицы Манхэттена с их хаотичной порослью разношерстных небоскребов заняты, местами уморительны, но они — улицы — поражены *аритмией*, а кто способен впустить аритмию в себя без того, чтобы с собой не расправиться?

Это эстетика, а тут еще экология. Лето в этом городе не только тяжело, но и уродливо: горячий цех — такое впечатление от городского пространства, перманентной строительной площадки. (В тропиках или пустыне бывает, может быть, и жарче, но никак не тяжелее, поскольку красота спасает.) Подавлять и унижать может не только политический, но и городской климат. А урбанизм все крепчает. Кажется, небоскребов достаточно, но строят еще и еще, все выше и выше; повсюду в Манхэттене, как ни посмотришь вверх, идет надстройка. Бродвей в самом центре — в районе 42-й улицы — измордован решительно и бесповоротно. А ведь двадцать лет назад был с человеческим лицом. Сейчас — машина, завод-гигант (я говорю только об архитектурном стиле, не об индустрии развлечений). Когда от рева кондиционеров в «июльскую жару» (в кавычках, поскольку температура определяется не только июлем, но и жаром отработанного кондиционерами воздуха) не слышно шума городского, нелепо даже ставить вопрос о диалоге с Городом. (Проблема летней жары в гигантских метрополисах Америки не надуманная. Год назад бестселлером стала документальная книга «The heat wave» — «Тепловая волна» — о том, как в Чикаго в одну из тепловых волн лета 2000 года погибло свыше 800 человек.)

У Солженицына Нью-Йорк вызвал омерзение (ощутимое меж двух-трех строк, уделенных им первой встрече с городом в мемуарах «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»), и трудно преуменьшить его — омерзения — роль в завершении воспитания нонплюралиста. С Америкой у Солженицына, как у Синявского с советской властью, «стилистические разногласия», подозреваю, не менее бескомпромиссны, чем идейные. Тем более, что они совпадают: что такое плюрализм, по Солженицыну, как не «крошечная приемлемость всего»?

Со «стилистическими разногласиями» шутить не стоит. Потребность в красоте на уровне фундаментального, животного инстинкта выращивает техногенные фобии, коллективные неврозы, разжигает агрессивность фундаменталистских движений. Думаю, что «боингом» 11 сентября управлял — на расстоянии — другой «эстетический ряд» и, в глубинном импульсе, на глубине глубин, доходящей до нашего общего предка — прачеловека, кем бы он ни был, — все та же мечта о красоте, которая спасет мир.

Хотя в эстетике безобразного художники издавна находили свой хлеб и урбанизмом поэты вдохновлялись легко, Нью-Йорк не знает меры. «Стилистические разногласия» поэтов с нью-йоркским пространством стали непреодолимыми. Неудачный симбиоз экологии и эстетики в Нью-Йорке всплыл еще в давнем, единственном нью-йоркском пейзаже Бродского «Над Восточной рекой», упомянутом выше:

Боясь расплескать, проношу головную боль
в сером свете зимнего полдня вдоль
оловянной реки, уносящей грязь к океану,
разделившему нас с тем размахом, который глаз
убеждает в мелочных свойствах масс,
как заметил гном великану.

В на попа поставленном царстве, где мощь крупниц
выражается дробью подметок и взглядом ниц,
испытующим прочность гравия в Новом Свете,
все, что помнит твердое тело рго
vita sua — чужого бедра тепло
да сухой букет на буфете.

Автостадо гремит; и глотает свой кислород,
схожий с локтем на вкус, углекислый рот;
свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.

Голова болит, голова болит.
Ветер волосы шевелит
на больной голове моей в буром парке.

Удивительно слаб финал, Бродский заканчивает его кое-как, но это «кое-как» не преднамеренный прием, — мол, голова так болит, что не до стихов, и

я закругляюсь со всеми этими поэтизмами, — а просто тусклый стих («ветер волосы шевелит» — да Бродский ли автор?!). По Бродскому, «человек есть испытатель боли», и боль душевная, экзистенциальная хорошо лечится поэзией. Но для поэзии телесная боль человека — не тема (пока). А телесная болезнь города?

«Невписывание Нью-Йорка в стихи» — подозреваю, тот симптом болезни города, который определяет ее прогноз. Кто-то предпочтет говорить скорее о болезни (или дряхлости) поэзии, не поспевающей за цивилизацией. Так или иначе, наш «проклятый вопрос» — Нью-Йорк глазами русских поэтов — столь же относится к литературе, сколько и к антропологии. Собственно, так его и поставил Бродский в шутке о Супермене.

А что поэты постсоветской эмиграции, точнее, миграции, с менее драматичным жизненным этапом (мосты не сожжены)? Каков Нью-Йорк поэтов «гудзонской ноты»? (Так мы с Соломоном Волковым окрестили группу современных поэтов Большого Нью-Йорка, живущих по обе стороны Гудзона⁶, среди которых, на наш взгляд, наиболее интересны Александр Алейник, Владимир Гандельсман, Марина Георгадзе, Владимир Друк, Ирина Машинская, Вадим Месяц, Григорий Стариковский, Александр Стесин.) При всей драме отчуждения от новой действительности, она — Америка — допускается в стихи. Но Нью-Йорк по-прежнему фрагментарен, «слона» не видать. Определенные попытки предпринял Александр Алейник, но больно уж он неровен, слишком много у него срывов в нью-йоркские клише. (Есть и свое: «бетонная весна зарстающего горизонта» — это уже образ-символ).

Чаще всего Нью-Йорк — не герой стихов, а их редактор — редактор их интонации. Эмигрантская лирика от этого прибавила пронзительности в мотиве одиночества как последней свободы, а Нью-Йорк все стоит за стихами, на авансцену выходит чаще всего... своей подземной частью — сабвеем, то есть метро. У Владимира Гандельсмана, к примеру, есть по меньшей мере две ярких подземки: «В бронхах это хрипит Бронкса» и «Нью-йоркский ноктюрн», обе в адском колорите :

Вбегай, дурачок долгожданный, в вагон,
мычи в испареньях мочи, —
агония дня, заоконный огонь —
о чем он мычит, толмачи? —
расчесано тысячетье в ночи
до крови и царствует вонь.

На жалость не бей мою, не нависай,
а ногти грызи не грызи
и локти в заплатах кусай не кусай —
я в сон соскочу без слезы, —
лишь хвостиком кисти вильнет Хокусай
и с ветки вспорхнет Чжуан-цзы.

Заключительный аккорд «Нью-йоркского ноктюрна» утверждает полную независимость поэта от места проживания. «Месту», однако, желательно зависеть от поэта («улица корчится безъязыкая» etc.).

Совсем другого, пастельного (эмоционально) колорита — подземный пейзаж у Ирины Машинской, впечатление такое, что едешь в московском метро. Подземка у нее символическую роль ада подчеркнута не играет, духовную же смерть в стихотворении «Сегодня видно далеко...» символизирует статуя Свободы, «дура чугунная», свидание с которой у автора все никак не состоится (Веничка и Кремль!) Понятно: свобода медленно и непредсказуемо добывается трудом души, а не гарантируется переездом в «страну свободы».

⁶ Волков Соломон, Панн Лиля. «Мы подкидыша станем качать». — «Арион», 2000, № 2.

Мотив несрастваемости с новой городской реальностью характерен для старшего поколения поэтов «гудзонской ноты», младшие (выросшие в Нью-Йорке) — Стариковский, Стесин — куда менее истощены в эмигрантском вое (это не оценка, а квалификация), чем, например, Владимир Друк:

эмиграция — это ссылка
эмиграция — это сука
в правой руке — вилка
в левой руке — булка

как яблоко или облако
новости и борода
Америка — ненадолго
не навсегда

Эмиграция изменила этого известного когда-то московского «ирониста» радикально. Брак новой темы и старой поэтики оказался на редкость удачным. Игровой, шутовской элемент по-прежнему очень силен в Друке, но добавился лиризм. Кровный сплав черного юмора и лиризма, очень, очень горького, — и вот вам «черный лирик», его-то и не хватало русско-американской поэзии. Чернуху она отторгает, но жесткие линии в ее спектре необходимы для прочности конструкции. А тут еще у Друка наклонности «поэта-гражданина» — явление редкое и ценное в эмигрантском гетто.

идите прямо — до того угла
где вам предложат беспроцентный loan
и где дадут один бессрочный rent
и здесь и там — не более чем клоун
поэт в америке не меньше чем поэт

Это из финала поэмы «Второе яблоко». Поэт, мне кажется, видит эмиграцию *вторым* грехопадением, искупить которое можно, только дав себе правдивый отчет в совершённом выборе. Надо вместить в себя ту правду, что глаза колет:

америка — как новая жена
с которой спишь на старой простыне

Далее идет чисто друковская игра по сшиванию без швов из лоскутов российского и нью-йоркского быта этой самой «*простыни*» — чтобы утереть ею нос тем, кто пребывает в самодовольстве, весьма типичном для эмигранта в Америке. Вот почему мне померещился «поэт-гражданин», мы отвыкли от обличительства. Оно освежает. У Друка оно, разумеется, смешано с самообличительством, с самонасмешкой. Короче, идет клоунада, грубая, не без мата. Степень ее грубости определяет интуиция поэта, которую читатель оценивает своей интуицией, осознанием прав поэта на столь рассерженный язык и как следствие доверием.

Поэзия Вадима Месяца эмигрирует из Нью-Йорка на Природу, с ней «стилистических разногласий» нет. Город не то чтобы полностью отвергается, но видится — со всеми своими «небоскребами» — малым, слабым и в конечном счете жалко-трогательным в соседстве с Природой. Америка все еще в значительной степени Природа, даже в нью-йоркских окрестностях, на том же Лонг-Айленде, где Месяц написал самозабвенную поэму «Гусиный пригород». Сибиряк Месяц со своим сухопутным прошлым очарован Океаном, одно время заполнявшим его стихи...

Все вышесказанное никак не означает, что русские поэты — «в жизни», в быту — не любят Нью-Йорка — его есть за что любить: он откровенен, честен, действительно демократичен, у него бесподобное чувство юмора, он смешит своей архитектурой и умиляет своим жителем. Нью-йоркские уродства впаяны в нешуточную красоту природного ландшафта, забить ее урбанизму пока не удалось. Да и океанский климат с его частой сменой настроения, в общем, дает возможность «перелетовать» лето, а в плохие дни кондиционер

«выручит» (в кавычках, ибо его гудение не может исподволь не разрушать нервную систему). Пока еще Нью-Йорк — генератор человеческой энергии в чистом, сыром виде, от которого только ленивый не заряжается, и потому стихи тут пишутся в избытке. Тут — в Нью-Йорке, но не о нем. Сказано в упрек не стихотворцам, а городу. Стихотворчество в глубине глубин — бессознательный, воистину стихийный ритуал; в стихах, независимо от их содержания, бытие принимается одним своим подчинением законам гармонического слова⁷, и если в таком ритуале город не присутствует в роли символа, если он лишь «используется» — значит, он сбрасывается с парохода Вечности.

А когда Нью-Йорк не исключается из ритуала стихотворчества, когда он заставляет говорить о себе — не важно что: слова отчаяния, омерзения, проклятия — все лучше, чем игнорирование поэтом, — тогда и создается некое подобие «нью-йоркского текста» — в том смысле, в каком определен «петербургский текст» В. Н. Топоровым⁸. Напомню, что не любое художественное произведение о Петербурге можно отнести к «петербургскому тексту», а только такое, где образы городской реальности символизируют антинормы человеческого бытия, где жизнь предстает «на краю, над бездной, на грани смерти». Стало быть, «петербургский текст» пишется сознанием мифопоэтическим.

Точно так же не любую литературу нью-йоркской темы можно записать в «нью-йоркский текст». Скажем, бытописательная «Иностранка» Довлатова на «нью-йоркский текст» не тянет в отличие от некоторых его редакторских колонок в «Новом американце» — и в отличие от «Эдички» Лимонова, где «мой друг Нью-Йорк» помогает автору творить его личный миф — миф о схватке «поэта» с «суками»-буржуями. Да и замечательная глава о Нью-Йорке в «Американе» Вайля и Гениса⁹ — полноценный «нью-йоркский текст».

«Нью-йоркский текст» — мышь рядом с горой «петербургского текста», но прежде чем остановить безумное сопоставление, я не удержусь от характеристики одной заметной черты, присущей обоим текстам. Вернее, это черта обоих городов — *бесчеловечность*, при том что Петербург и Нью-Йорк бесчеловечны по-разному. В то время как Нью-Йорк бесчеловечен своим уродством (диалектически связанным с человечностью по отношению к «маленькому человеку» — эмигранту), Петербург бесчеловечен красотой. В городе Петра (Камня) красота Камня обязана в значительном объеме «каменному равнодушию» Города к каменщикам, под которыми надо понимать не только строителей, но и всех тех, за счет которых Камень торжествует три века. Дьявольская (во всех смыслах) красота «Петра творенья» и породила двухполюсный «петербургский текст». Если полюса Петербурга — красота и зло, то полюса Нью-Йорка — добро и уродство (из которого исходит экологическое зло). Между соответствующими полюсами натянуты силовые линии текстов.

По В. Н. Топорову, «петербургский текст» «обучает читателя правилам выхода за свои собственные пределы». Принцип известный: где опасность, там и спасение. «Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал».

Что касается духовного идеала, вызываемого к жизни диалектикой «нью-йоркского текста», ничему, кроме несокрушимо стоического отношения к человеческой участи (и кроме любви к жизни, поскольку «всюду жизнь»), этот «текст» научить не сможет. Так — уже благодаря Бродскому — расширяется понятие «бесчеловечности».

Духовный идеал Бродского строился сначала в городе на Неве, а достраивался в городе на Гудзоне, что безусловно сказалось на частотном словаре поэта, где «бесчеловечность», кажется, встречается не реже «бесконечности». Для

⁷ Аверинцев Сергей. Ритм как теодицея. — «Новый мир», 2001, № 2.

⁸ Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., «Прогресс» — «Культура», 1995.

⁹ Вайль П., Генис А. Американа. М., «СЛОВО/SLOVO», 1991.

Бродского эти понятия неразрывны: бесчеловечность как пренебрежимо малое количество человек во Вселенной — внеэтическая категория. «Преодоление смерти» входит в духовный идеал Бродского как трудно доставшееся, светлое самоотрицание. Через него же Бродский смог «выйти за собственные пределы». Уроки Нью-Йорка, который, как уже цитировалось, «сообщает тебе твой подлинный размер», пригодились. Путь к самоотрицанию был долог, начался на родине, шел через *эгоотрицание* (прошу прощения за неологизм); особую роль в избавлении от оков «я» сыграла любовь к *altra ego*¹⁰ (так!)...

Интересный случай слияния «петербургского» и «нью-йоркского» текстов явлен в цикле стихов «Вода Невы и Гудзона»¹¹ Анатолия Наймана. В том ли дело, что поэт провел в Нью-Йорке, слава Богу, не лето, а осень (лучшее время года в этом городе), или впрямь Манхэттен в своей нижней части напомнил ему Петербург, только эти два города-антипода через общего далекого предка он записывает в родню:

А город, по сути, что здесь, что тогда — Амстердам:
тот петрографический, камнем расчирканный короб,
в который суда волокут груз, вода — хлам, —
над вечной рекой ждущий конца город.

Васильевский остров мерещится ему в южной части острова Манхэттен столь живо, что другое стихотворение цикла переходит в благодарственное обращение к Всевышнему за подаренную поэту роль слагаемого в той сумме, куда входят и Петербург с Нью-Йорком:

...за то, что Ты — море, а остров Твой — глыба,
как глина в фарфоре за миг до оплыва,

за то, что Ты — волны, а остров Твой — камень,
с которым безвольно в пучину мы канем,

за то, что Ты — гавань, а остров Твой — судно,
с которым проплавал всю жизнь я попутно,

за то, что Ты — невод, за то, что я — рыба,
за то, что Ты — слева и справа, спасибо!

Спасибо, спасибо Вписавшему остров,
как в сумму, как в сигму, как в дельту апостроф,

чтоб мы на омегу похожее устье,
гуляя по берегу, читали без грусти.

Чтобы прочесть этот буквенный пейзаж крайней плоти Манхэттена, омываемой двумя реками — Гудзоном и Ист-ривер, — нужно вспомнить, что сумма в математических формулах обычно обозначается греческой заглавной буквой сигмой Σ. Да еще сигма напоминает омегу ω, поставленную на попа. Вот такое вписывание Нью-Йорка в греческий алфавит...

Нью-Йорк.

¹⁰ Бродский Иосиф. Сочинения. Т. 6. О скорби и разуме. «Altra Ego». СПб., «Пушкинский фонд», 2000.

¹¹ Найман Анатолий. Ритм руки. М., «Вагриус», 2000.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

*

ПРЕКРАСНАЯ ЧУЖБИНА

Английская озимь

Любить ли сад, безумствуя, насадно...
уйти в него навек и безвозвратно...
себя ль посеять, семя ли — как знать...
сквозь тело и одежду прорасти...

Первые ростки появляются уже в январе — это пробиваются к жизни крокусы, им полагается цвести в раннем феврале. Они прорастают даже сквозь зеленую кожуру газонов. Чудесное зрелище: по всем паркам, скверам и лужайкам Лондона разбрызганы яркие разноцветные капли.

Крокусы — это стойкие оловянные солдатики ранней английской весны. Они стоят долго — часто до середины марта. В России в это время поля только начинают освобождаться от снега. Из-под снежного покрова пробивается нежная зелень озимых, посеянных осенью хлебов. От их жизнестойкости, это я помню еще из школьной программы, зависят виды на урожай в стране.

В Англии нет таких проблем. Здесь булки, как известно, растут прямо в супермаркете. Во всяком случае, я только один раз видела летом большое хлебное поле вблизи Кембриджа. Остается гадать, откуда такое продуктовое изобилие, если на полях почти ничего, кроме клубники и кормовой травы, не произрастает. Ну, это к слову...

Зато круглый год Британские острова, включая Ирландию, покрыты яркой изумрудной зеленью, напоминающей озимые поля России. Английская вечно-зеленая озимь — это знаменитые на весь мир подстриженные газоны. Конечно, они есть и в других странах, но там нет такого климата, такой влаги, благоприятной для растений и малопривлекательной для людей.

А к первому марта обыкновенно весь остров — от нежных южных пяток до лысоватой островной и очень северной макушки — уже в палевом мареве расцветающих нарциссов. В Уэльсе нарцисс, наряду с луком-пореем, — национальный цветочный символ. В Англии — это роза. В Ирландии — трилистник. А в Шотландии — чертополох!

Между крокусами и нарциссами вызревают душистые грозди гиацинтов. Я люблю их — до обмирания души. Для меня это цветок любви: и внешний вид соцветий, и дурманящий, кружащий голову запах — все это колыхает кровь, будоражит воображение.

Ну да, это оттуда — из середины семидесятых: он всегда их дарил мне в марте, покупая не у того ли старика возле метро «Сокол», которого описал потом в чудесной балладе «Мотылек и гиацинт»... Как они благоухали в сухом воздухе зимней еще комнаты с заклеенными окнами и заколоченным на зиму балконом. Нездешние, они казались нарядными, надушенными иностранцами, нечаянно забредшими в гости к бедным (по молодости) московским по-

Григорьева Лидия Николаевна — поэт, эссеист, журналист. Окончила историко-филологический факультет Казанского университета. Автор семи поэтических книг. В настоящее время живет в Лондоне.

этам. И стояли в воде долго и свежим запахом, как мягким опухалом, оведали наши ночи (и дни).

Эти северные наши гиацинты, выращенные в неведомых никому, полузапретных советских теплицах (частное предпринимательство — почти криминал!), поставленные в водопроводную хлорную воду, умирали молодыми: увядали, не войдя в зрелый восковой возраст. Оно и к лучшему.

Оказалось, что, набирая плоть, блаженствуя в покупном английском компосте, они начинают страдать одышкой, рано становятся жирными и дряблыми. Раздобревшие, большие, лоснящиеся, глянцево-восковые, они однажды падают, отяжелев, на другой цветок и подминают его под себя, переламывая сочную толстую цветоножку. Погибают как бы от хорошей жизни и жирных харчей.

Выходит, что обжорство и цветам не впрок... Рано дряхлеют, перезревают. И я научилась их срезать заранее, до первых признаков одряхления. Суровая водная диета, аскетический образ жизни (вода в стакане и ни тебе — шмеля в прическу!) приводит их в чувство. Так можно продлить и молодость любимого цветка и не сойти с волны его благоуханий. Или это мне только кажется...

Как приступом берут сады могучие тюльпаны! Уже в апреле они расталкивают распашными широкими листьями все, что толклось до них на клумбе (горке, бордюре или грядке). Берегись! — как кричали русские лихачи. Умный садовод сам подчистит для них пространство. Ужо тебе! — припозднившийся, зазевавшийся нарцисс ли, гиацинт ли, крокус. Никто тебя теперь и не увидит, и не заметит под тюльпановыми шатрами. Гордый, красивый цветок — сам себе пан! И всяк на свой фасон, и вкус, и цвет... Издалека видно.

А что, если — нет? Тогда ты прожил свой короткий тюльпаний сезон (читай — жизнь) ой как зря. Но разве могут быть среди цветов такие абсолютные неудачники? Ну, допустим, ты вообще не проклюнулся из луковицы, не взошел, не произрос, не расцвел. Может быть, просто проспал нужные сроки, тогда есть надежда продремать еще три сезона и взойти как ни в чем не бывало через год. Если ты из тюльпаньей семьи с хорошей наследственностью, выдюжишь эту незадачу.

Весной двухтысячного года в садике моем маленьком, но необъятном, безразмерном, меняющем смысл, суть и форму согласно сезонным потребам, тюльпаны взошли гигантские, как пальмы, чашеобразные, как телевизионные тарелки. Они заполонили собою все садовое, космическое гиперпространство, ввинтились в небо и оттуда склонили благосклонно расписные свои колокола.

Вот с одним-то из них и случилась весьма поучительная история. Но следует начать *сначала*.

Желтый тюльпан

У каменной ограды сада, увитой вечнозеленым плющом, среди роз, едва оперившихся к апрелю, и камелий, уронивших на землю свои пышноголовые красные и розовые цветки еще в феврале, — стройными рядами, навтыяжку, выстроились батальоны мощных нарциссов. Они держали строй уже около двух месяцев — армейская выдержка, да и только. Я уже и внимания на них не обращала, тем более, что особых забот они не требуют.

А тут вдруг по телевизору показали конкурс садовых нарциссов. В Англии много чудачков, чем только не увлекаются люди, что только не культивируют. И любят результат выставлять на всеобщее обозрение. Но это все же был не репортаж с очередной выставки цветов или садовых интерьеров. Это был действительно конкурс!

До этой телепередачи я считала нарцисс цветком обыкновенным и вполне *рядовым*. Но то, что я увидела, заставило меня изменить свое мнение: это было шоу красавиц и раскрасавцев нарцисьих племен и народов! На бархатных подушечках, под стеклянными колпачками, поддерживающими постоянную температуру и влажность (долгий путь из родного графства, томление, ожидание

решения высокого жюри — не должны отразиться на внешности конкурсантов!), вальяжно возлежали головки роскошных нарциссов — невиданных форм и оттенков!

Был, безусловно же, избран нарцисс из нарциссов — цветочный принц, нет, скорее король или даже — император британской весны! Под бурные аплодисменты зала и замирание садоводческих сердец...

Нельзя было не заметить и светящиеся любовью лица владельцев и создателей (любителей-селекционеров) этой красоты. Они сияли восторгом постижения неведомых простым смертным пространств, где обитает красота в чистом виде. Та самая, которую *ни съест, ни выпить, ни поцеловать...* Запомнилась пожилая пара отнюдь не фермерского вида: телеоператор укрупнил наворачнувшиеся им на глаза слезы радости за победившего цветочного любимца — до размеров груши дюшес!

На следующее утро я с повинной головой пошла к своим нарциссам, чтобы новыми глазами на них взглянуть, умилиться и раскатыться в былом бесчувствии.

Вот только тогда я его и увидела... Как я могла его не видеть раньше?! Ведь он рос не внутри нарциссовой толпы, а с краю. Он словно изо всех своих тюльпаных сил стремился прорваться вперед, отойти в сторону и стать наконец-то замеченным!

Желтый, абсолютно желтый (не пестрый, как другие, и не в крапинку, как некоторые), он был совершенно незаметен среди таких же желтых нарциссов (хотя бывают и белые, и оранжевые, и персиковых оттенков, и почти розовые...).

Вот судьба, подумала я. Угораздило же воткнуть прошлой осенью безымянную луковицу именно в это место! И ведь обойди весь сад — такого чисто-желтого тюльпана больше нет! Мы сразу задумали и купили цветовую смесь, и не ошиблись — это красиво. Так что цветы почти не повторялись.

Но этот, этот... Не там родился. И никем не стал. Возрос бы в цветнике у самого дома, вблизи деревянного садового стола, за которым бражничают или чаевничают наши частые гости. Среди огненных, лиловых, бордовых и прочей пестроты, он был бы единственный — желтый! Неповторимый, выдающийся — во всех смыслах. И могло бы случиться в его биографии: «Фото писателя Б.» на фоне красного цветника с желтым тюльпаном (невиданной красоты!) посередине. Или «Фото зам. спикера супердержавы» на фоне...

Таракан, может, и не ропщет, а тюльпан роптал. Я чувствовала это, потому что чувствую цветы и знаю свой сад наизусть. Он не хотел умирать в неизвестности (не так ли и ты, о поэт?). Я стала его навещать, разговаривать с ним, увещевать, как говорится. Гордыня, дескать, грех, то да сё... Думаю, что слушал он меня вполуха, а думал о своем, тюльпаньем. Почему все софиты в нашем доме направлены не на него, что-нибудь в этом роде.

Пришлось (да и хотелось) снять его на фото. А получилось — расплывчатое туманное желтое пятно на фоне четких желтых нарцисских армейцев. Судьба, однако...

И судьба непростая, потому что в этом году он вообще не пробился к свету. Думаю, не захотел. Нарциссы в этом году расцвели в Лондоне на две недели раньше, чем обычно, — зима была солнечная и не злая. Набрали плоть гиацинты, заявили о себе ростками пионы и тюльпаны. Все, кроме того, о котором я рассказала. «Где родился, там и пригодился» — эта поговорка к нему, видимо, не относится. Как и ко многим из нас, к сожалению...

Не все стриги, что растет!

К хорошему и вправду привыкаешь быстро. Перестаешь замечать, как много вокруг вполне рукотворной красоты и даже — красоты.

В Йоркшире, например, где из земли произрастают только камни и низкорослая овечья травка, где знаменитые вересковые пустоши могут породить в воображении, казалось бы, только собаку Баскервилей, — пришлось, по-видимому, жителям исхитриться, раз они сумели превратить в сад сам воздух, его

сосуды и емкости, его вогнутости и выпуклости — воздушный бассейн, одним словом. Маленькие городки в Озерном краю, сложенные из беспросветно серых (почти без оттенков), безрадостных каменных глыб, расцвечены каскадами цветов, ниспадающих на изумленного чужестранца прямо с неба. Висячие горшки и чаши только подразумеваются, они сокрыты в цветочных чашобах, в густых жирно-зеленых джунглях.

То же самое можно сказать не только про цветущие круглый год английские сады и парки, но и про воздушные цветочные водопады даже в самых городских районах Лондона: цветут фонарные столбы, подоконники, балконы и старинные пабы. Среди последних есть у меня любимцы: в яркой цветочной упаковке они больше напоминают подарочный новогодний набор, чем питейное заведение. Они так плотно увешаны корзинками с ниспадающими из них фиолетово-розовыми, оранжево-желтыми, голубыми и малиновыми каскадами цветов, что порой кажутся фантазией художника, живой иллюстрацией к сказке. И уж если в этой сказке нашлось для тебя место, нужно читать ее умеючи.

Любой, самый неспособный «ботаник» может попытаться вырастить в благодатном, «крымском» климате южной Англии все, что угодно, — от мезозойского роскошного папоротника или пальмы — до японской камелии, гортензии или гигантского кактуса.

Можно вырастить сад и в ладони, как утверждают японцы, создавшие целую философию мини-сада. И следует заметить, что садовая культура островных стран — Японии и Англии — во многом схожа. Главный принцип — максимум красоты при минимуме занимаемой площади. И в этом искусстве им нет равных.

Сад, который достался мне вместе с купленным домом, оказался запущенным и трудновоспитуемым. Мне не хватало в нем сирени и жасмина. Захотелось посадить выющую глицинию и японскую камелию, цветущую уже в феврале. А рядом — пышноголовую розовую гортензию, в честь давней подруги, которой это имя очень идет.

Я исполнила все задуманное с немалыми затратами труда, но сад мой все равно куксился и капризничал, потому, видимо, что это был — *сад с загадочной русской душой, но возрос на чужбине чужой...* Он не хотел принимать на веру мои неумелые нововведения: трудно подсчитать, сколько посаженных мною растений не прижилось и погибло. А сколько денежных единиц, в виде купленных сезонных цветов, было съедено слизняками и улитками, вообще лучше не подсчитывать, чтобы не заболеть.

Пока я сообразила, что покупаю не просто цветы, а деликатесы для ночных садовых обитателей, пока нашла нужную отраву, безопасную при этом для моей кошки, для лис, белок и птиц, утекло много воды с дождливого английского неба. Но всему свое время, и я путем проб и ошибок научилась «живописать» летний сад яркими мазками бегоний и петуний: ползучие обжоры их почему-то обходят стороной.

И все эти годы я с нескрываемой завистью смотрела из окна второго этажа на соседний сад, равномерно и яростно цветущий круглый год. Казалось, что его воспитал и за ним приглядывал человек-невидимка. Дело в том, что соседний дом последние несколько лет занимали равнодушные к прелестям наемного садового интерьерера квартирьер-съемщики разных мастей. Кого мы только там не перевидали: от коммуны молодых и шумных клерков (плюс их подружки по выходным!) до большой работающей негритянской семьи, прогоревшей в парикмахерском бизнесе и со слезами покинувшей большой дом, оплачивать который им было уже не под силу. Будни капитализма, так сказать...

Короче, сад был бесхозный, но самовозрождающийся и прекрасный. Он хорошо просматривался из окна кабинета, в котором я работала над книгой. Видеть изгородь, густо увитую лиловыми клематисами, было для меня невыносимым упреком, ибо в моем саду погибли уже три этих цветочных особи. Вечнозеленые кусты и кустики, шарообразно подстриженные Бог весть когда и кем, но не теряющие формы, плетущаяся по бордюру фиолетовая травка,

создающая пестрый ковровый узор. А чего стоили выныривающие по весне в самых неожиданных местах то крокусы, то нарциссы, то тюльпаны!

К чести сказать, я не просто завидовала и страдала от чужого умения распорядиться небольшим садовым пространством. Я брала уроки не только умелой планировки сада с учетом сезонного цветения, но училась очевидной любви и наглядному терпению у сотворившего этот сад садовода, давно переехавшего на жительство в графство Кент, где состоятельные англичане любят коротать преклонные лета на свежем сельском воздухе, и сдающего лондонский дом посторонним людям в ожидании скачка цен. Цены, надо отметить, за последние годы подскочили просто запредельно, и год назад дом был наконец-то продан. Но задолго до этого я написала стихотворение, в котором попыталась выяснить свои отношения с соседним, ну просто бессовестно и роскошно цветущим садом! Называется оно «Домашнее воспитание»:

Уже который год подряд
я вижу, как прекрасен
чужой и беспризорный сад.
Мне замысел не ясен!
Тогда домашний сад к чему —
воспитанный, несорный,
когда цветет не по уму
бродяга подзаборный?
Цветет, ветрами теребим,
подкидывшем подброшен!
Наверное, он был любим
и правильно заложен.
Он был воспитан без затей,
без тени вероломства:
чем жизнь несносней и лютей,
тем здоровей потомство.

Казалось бы, вот сделала нужное художественное обобщение, исчерпала, так сказать, тему... Но не тут-то было. Жизнь не остановишь, и она каждый день преподает нам свои уроки, приводя нужные ей примеры даже в виде садовых историй. Нужно только не лениться читать этот вечный учебник.

Оказалось, что одна история закончилась, началась — другая. И если вначале это была история созидания, то потом началась история бессмысленного разрушения. Вернее, это история предпринятых новыми хозяевами (страны, сада или дома, какая разница?) садовых реформ (а чем они отличаются от общественных?), которые закончились, на мой взгляд, катастрофой.

Чудесная молодая пара поселилась рядом с нами! Интеллигентные и дружелюбные молодожены — Стив и Мишель — сначала долго перестраивали и переиначивали дом по своему усмотрению. В конце концов — это их дело. Им тут жить, заводить детей. А саду — цвести! — как сказал поэт. Но не тут-то было.

Однажды к ним пришла умудренная почтенным возрастом английская родственница, и под ее чутким руководством они выкорчевали, разворотили весь сад, не оставив ничего живого! Ну нет бы обойтись со старым садом по китайскому варианту: тихой, бескровной переделки сложившейся годами, устойчивой и плодоносящей (художественно бедно) системы. С большевистским пылом они уничтожили все, что подвернулось им под руку. Я бы забрала у них на воспитание и кормление растения, которые они выбросили как ненужный хлам, да, боюсь, меня неправильно бы поняли. В чужой монастырь со своим уставом не ходят...

Целый год я видела из окна искалеченный, израненный «шоковой терапией» сад. Никто им не занимался, никто не спешил залечивать рваные раны. А сам он уже, лишенный корней, лишился смысла жизни, как выброшенные на обочину истории английские шахтеры в начале восьмидесятых, в пылу тэтчеровских реформ. Да и мало ли примеров из нашей российской человеческой жизни мог бы привести каждый из нас?

Вот уж действительно — не все стриги, что растет! Прав, как всегда, великий коллективный скептик Козьма Прутков!

Да и мы сами, обосновываясь на новом месте, обживая его, всегда ли вникаем в замысел Творца и в смысл происходящего? Пытаемся ли добавить что-то свое в копилку добра и цветения или рубим с плеча и сразу — под корень? Старую мебель и ту лучше хранить до поры до времени, ибо она может оказаться ценным антиквариатом и прокормить потомков, если они поймут, что именно досталось им в наследство. Богатейшие всеанглийские антикварные базары, салоны и выставки учат пришельцев из страны, где любят рубить с плеча (не свои, а чужие головы!), стремиться в будущее, не отрицая прошлого во всех его трагических аспектах. Вот уж каких уроков нам не преподавали в советских школах и вузах, призывая отречься и забыть самовоспроизводящееся историческое (ботаническое), ухоженное (или запущенное) предками пространство.

К садам истории не стоит подходить с топором. А ведь рубим, рубим и сейчас, отсекая целые куски от садовой изгороди (от культуры, литературы и др. и пр.). Ну просто как мои английские соседи. Слаб человек перед соблазном переустройства мира по своему, а не по Божьему промыслу...

А история соседнего сада еще не закончилась, она развивается медленно и странно — по указке новых хозяев. Только месяц назад, через год после «погрома», пришли два добрых молодца из садовой фирмы. Убрали узорные плиты, меж которыми и вилась удивительно стойкая, яркоцветущая травка, не пощадили дивный двухцветный колючий шарик омелы, вокруг которого по весне водили хороводы разноцветные крокусы, и... раскатали по территории новехонький (одноцветный!) ковер газона. Посадили, конечно же, новые кустики и цветы, расставили огромные горшки и вазы с цветами... И надо отметить, что обошлось все это в большую копеечку. А чем им всем старый сад, так талантливо задуманный, не угодил — для меня до сих пор загадка. Пока все это примется, войдет в силу...

Скучно, скучно смотреть мне на этот весьма ординарный, без прежних изысков и фантазий, сад. Но уже есть надежда, что он укоренится и забушует новой, может быть, непредугадываемой мною красотой. Надо набраться терпения и подождать. Может, и в России со временем все образуется. Может быть, не только на Британских островах, среди вечнозеленых лужаек, но и в родимой стороне жаждущие новых перемен в жизни люди со временем укоренятся и даже дадут плоды, пригодные к употреблению.

Лондон.



КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



СТАРШАЯ ДОЧЬ КОРОЛЯ ЛИРА

Нынешней зимой на вручение одной из литературных премий Владимир Бондаренко явился с портфелем, туго набитым собственными книгами. Впрочем, он всегда появляется на литературных тусовках с большим портфелем, вытаскивая пачки газеты «День литературы» и раздавая направо и налево, друзьям и врагам. Меня этот жест обычно обезоруживает. Когда тебе с широкой улыбкой протягивают газету, где про тебя написана какая-нибудь гадость, остается только надеть на свое лицо такую же улыбку и принять подарок. На этот раз, довольно посмеиваясь, Владимир Бондаренко протянул мне книгу «Красный лик патриотизма», торопливо надписав: «Алле Латыниной дружески для полемики». Взяла, конечно. Ну, насчет того, чтобы «дружески», — лукавство.

Было, правда, время, в конце семидесятых, когда мы сталкивались в коридорах шестого этажа старой «Литгазеты», на Цветном бульваре (да и кабинеты рядом были), случалось, и разговаривали. Владимир Бондаренко тогда работал в верноподданнической и рутинной «Литературной России» и был очень не прочь перейти в «Литературную газету», интересовался русским авангардом, гордился знакомством с Лилей Брик, цитировал Хлебникова и, как он вспоминает, сам «искал молодых революционеров от искусства». Ничто тогда не обещало превращения изобретателя космополитической «московской школы», адепта современной жесткой городской прозы в пламенного вожака патриотического воинства.

Мне приходило на ум, что, когда все дружно ринулись добивать опостылевший режим и Владимир Бондаренко обнаружил, что в лагере антикоммунистов и демократов все места уже заняты, а в противоположном, напротив, — вакантны, он выбрал «патриотическую оппозицию», как выбирает расчетливый жених выгодную невесту или честолюбивый выпускник вуза — перспективное место службы.

Больших денег на этой службе, правда, не платили, зато можно было тотчас получить видную должность в патриотическом департаменте, а там и свой департамент возглавить.

Работа есть работа. Анафемствование демократов и либералов в «Дне литературы» стало составной частью патриотических бдений Бондаренко, я нередко попадала в число анафемствуемых, иногда огрызалась, но большей частью отмалчивалась. Вскинулась было ответить на статью «Словесный Лохотрон», что появилась в «Литературной газете» (2002, № 2, 23 — 29 января) вскоре после того, замечу, как мне была протянута книга с дружелюбным приглашением к полемике: все-таки, когда тебя обзывают лохотронщиком за манипулирование писательскими именами лишь в пределах одного либерального списка, а потом принимаются манипулировать именами внутри другого, еще более узкого списка, — появляется желание хотя бы вернуть обвинение...

Но тут мне попались на глаза размышления Ильи Кукулина по поводу некоторого количества дел, за которые не стоит браться, замечательным образом совпавшие с моими собственными. «Например, не нужно пробовать изобретать вечный двигатель. Нельзя играть с наперсточником. Нельзя спорить с литературным критиком Владимиром Бондаренко» («Литературная газета», 2002,

№ 6, 13 — 19 февраля). Правда, сам же Кукулин и нарушает это правило: обнаружив, что Бондаренко, не спросив согласия, уже записал его в свою армию, пытается от воинской повинности уклониться. Даже в подлоге вербовщика обвиняет.

Что ж — и это знакомо. Бьюсь об заклад, что Бондаренко и бровью не поведет и в следующей своей книге перепечатает газетную статью без единого исправления, обозначив Илью Кукулина в числе своих молодых единомышленников и не обращая никакого внимания на трепыхание жертвы, пытающейся выбраться из дружественных объятий. А лучше бы и не трепыхаться так нервно. Смешная получилась у Кукулина статья: начал с едкой иронии, а кончил жалобным всхлипом — мол, Бондаренко нас использует, «разводит». Да кто ж этого не знает? И — раздумала я отвечать: чего ради раздувать вокруг имени Бондаренко огонь полемики, которого он только и жаждет.

Но тут посыпались новые книги Бондаренко: «Белый лик патриотизма» (в дополнение к Красному), «Русский лик патриотизма»; вот вам уже и трехтомник¹, вот вам уже и теория «трех ликов русского патриотизма», вот уже Бондаренко с телеэкрана ее пропагандирует. Вот уже и в «Книжном салоне» «Литературной газеты» (2003, № 7 (5912), 19 — 25 февраля) появляется почтительная рецензия: «Кабинетный житель, бледнолицый историк конца XXI века, питомец капиталистического „рая“ когда-нибудь разыщет в виртуальных библиотеках будущего книги Владимира Бондаренко и возрадуется удачной находке. Пред ним предстанет настоящая историческая „коллекция“ русских патриотических деятелей второй половины XX века. ...Может, вчитавшись, услышав живые голоса целого поколения ушедшего века, он призадумается о нас — непримиримых и о себе — всем довольном. Какая она была, русская жизнь конца XX века?»

Да это уже не критика, а фантастика. Что с другими-то источниками случится? Мировая война? Информационная катастрофа? Все книги погибли, и о том, какая была русская жизнь конца XX века, можно узнать только из сборников газетных публикаций Владимира Бондаренко, растасованных по трем книгам? В таком случае, бедный историк: он получит одно из самых ненадежных и бесполовых свидетельств.

Вообще-то издание сборника статей и интервью — дело нормальное. Какой журналист не хочет видеть результаты поденного труда нескольких лет в виде книги? Тут есть два принципа — или ничего не менять в тексте и ставить даты под статьями (иногда снабжая их примечаниями, если новые события того требуют), или как-то приводить устаревшие факты в соответствие со временем.

Бондаренко — рачительный хозяин. У него ни полушки не пропадет: каждая заметочка в газете «День литературы» будет пристроена. Даже если другая ее дублирует — не беда. Даже если факты устарели — все равно сойдет. Правильно? Вот еще. Комментировать? А зачем. Даты под статьями ставить? Так это же все равно, что военную тайну выдать.

В результате в главе о Солженицыне, например, гадания о том, что будет с Солженицыным после его возвращения в Россию, следуют за дежурной заметкой по поводу присуждения Солженицынской премии Евгению Носову и Константину Воробьеву; кагэбэшников, допрашивавших Леонида Бородина, автор обвиняет в том, что они теперь «работают у одного из лидеров Всемирного еврейского конгресса — банкира Гусинского», а проклятия кровавому и антинародному ельцинскому режиму, ритуально исторгаемые рядом героев Бондаренко, соседствуют с надеждами на его падение. Анахронизмы Бондаренко не смущают: субстанция времени в его книге отсутствует.

Противоречий он не стесняется тоже. Трудно не заметить, что тезис, высказанный на одной странице, опровергается на другой, что одни и те же био-

¹ Уже появилось полное издание в одном томе: Бондаренко Владимир. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. М., «Алгоритм», 2003. (Примеч. автора.)

графические факты оцениваются со знаком плюс или минус в зависимости от принадлежности героя к «нашим» или «не нашим». Если ненавистные Бондаренко шестидесятники, либералы и демократы были причастны к идеологическому аппарату ЦК КПСС, как Карякин, заведовали отделами газет и журналов, как Егор Гайдар, были секретарями Союза писателей, как Григорий Бакланов, так они — «бездарные прихлебатели режима». Если же Феликс Кузнецов возглавлял Московское отделение Союза писателей, послушное воле ЦК, то он не прихлебатель, а созидатель: «из космополитического болота создал оплот патриотических сил». А если Валерий Ганичев работал в самом ЦК КПСС, так он — «русский меченосец», причастный к созданию «Русского ордена» в ЦК, противостоящего «пятой колонне», а его начальственные посты в «Молодой гвардии» и «Комсомольской правде» — не служба режиму, а служение русской идее («не случайно при словосочетании „Молодая гвардия” вздрагивают все сатанисты и русофобы»). Если Евтушенко и Вознесенский писали о Лонжюмо и Братской ГЭС, так они — «придворные поэты», если свершения советской власти славил Михалков — так он служил «сильному и единому государству».

«Я всегда сужу о художнике не по его интервью или публицистическим статьям, а по его творческим работам», — пишет Бондаренко, предваряя беседу с Никитой Михалковым. Лукавит, конечно. Эстетика для Бондаренко глубоко вторична. Была бы засвидетельствована патриотическая направленность речей и действий писателя, а там Бондаренко и в его творчестве достоинства найдет. Эта хамелеонская переменчивость особенно наглядно выступает, когда персонажи из враждебного лагеря внезапно обнаруживают лояльность к идеям Бондаренко.

Был, скажем, Лимонов «пресловутым Эдичкой», бесстыдно описавшим гомосексуальный акт, — и Бондаренко защищал здоровую патриотическую литературу от тлетворного влияния этого эмигрантского богемщика, авангардиста и порнографа, чуждого русской традиции. Но вот Лимонов «покраснел», обратился партию родственного толка — и Бондаренко обнаружил у него «русскую природу таланта», близость к Достоевскому и записал в продолжатели русской традиции.

А уж сколько желчи было вылито на Владимира Сорокина, на его «фекальную» прозу, на его циничный постмодернизм, глумливо выставивший на осмеяние не только советские, но и истинно русские ценности. Но тут издательство «Ad Marginem», публикующее Сорокина, выпустило книгу Александра Проханова «Господин Гексоген», да так удачно раскрутило, что получил Проханов премию «Национальный бестселлер». И ругать Сорокина стало несподручно. Пришлось даже сделать реверанс перед удружившим соратнику и патрону издательством и защищать Сорокина от обвинений в порнографии и от «Идущих вместе», побросавших книги Сорокина в гигантский унитаз. Что же касается самой премии «Национальный бестселлер», то она тоже, разумеется, была помянута недобрым словом в числе других либеральных затей. Зато когда она досталась Проханову, Бондаренко принялся писать о «прохановском прорыве». Незадолго перед тем аплодирующий Галковскому за отказ от Антибукера — отказ получать «свой кусок пирога от разворованного национально-господарского капитала, ограбившие Россию), Бондаренко совершенно забывает о происхождении капитала, кусочек от которого достался Проханову...

Но лояльность к Сорокину — все же вопрос тактики, глядишь, рассорится Проханов с «Ad Marginem» — и снова Бондаренко Сорокина в порнографы запишет. А стратегическая линия селекции писателей — это, конечно, патриотизм. Все патриотическое продуктивно, все непатриотическое (оно же либеральное, демократическое) — бесплодно.

Скажу сразу: я не поклонник поздней толстовской точки зрения на патриотизм. Я не про зацитированный афоризм относительно патриотизма как последнего прибежища негодяя, принадлежащий, кстати, Сэмюэлю Джонсону,

английскому поэту и библиографу XVIII века, и имеющий смысл, прямо противоположный тому, что вкладывает в него наша пресса. (The last refuge of a scoundrel — точнее перевести: «последнее убежище негодяя», refuge — это убежище, место спасения, то есть человек совсем пропащий может еще спастись делами на благо родины.) Однако у Толстого есть немало и других высказываний против патриотизма прежде всего как чувства, несовместимого с христианством. В статье «Патриотизм или мир?», написанной в 1896 году, он, к примеру, утверждает, что «патриотизм не может быть хороший», как не может быть хороший эгоизм.. «Если... мы действительно хотим мира, то патриотизм есть пережиток варварского времени, который не только не надо возбуждать и воспитывать, как мы это делаем теперь, но который надо искоренять всеми средствами: проповедью, убеждением, презрением, насмешкой». «Надо радоваться, — наставляет писатель, — когда от нас отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения», а восхвалять свой народ так же глупо и смешно, как восхвалять самого себя. Однако в «Войне и мире» лучшие люди не радуются нашествию Наполеона, а сопротивляются ему, и патриотическое чувство изображено там Толстым как чувство естественное, высокое и жертвенное, а не как пережиток варварского времени.

Я не отношусь и к числу тех, кто готов уверять, что русофобия — выдумка Шафаревича. Он не только ввел термин в актуальный оборот, но и подметил явление, хотя его трактовка происхождения этого явления сама по себе исчезновению русофобии, к сожалению, не способствует. Но я думаю, что худший ответ на чувство национальной уязвленности — это проповедь своего национального превосходства. «Россия — все, остальное — ничто», — выбрасывает Владимир Бондаренко в массы свой лозунг.

Рядом с таким лозунгом неизменно появятся и другие составляющие той же мифологемы: поиски врагов нации, объяснение печальных событий русской истории заговором, действиями мировой закулисы. Так, по мнению Ильи Глазунова, масоны, которые пролезли через прорубленное Петром окно в Россию, поубивали всех, кто был за православие, самодержавие и народность, а «Пушкин был убит масонами через организованную бытовую историю». И Бондаренко вполне сочувствует своему собеседнику. С помощью конспирологии можно объяснить все. Например, почему героев книги Бондаренко травит либеральная пресса: она, конечно же, куплена врагами России.

При этом Бондаренко нет никакого дела до того, что о Василии Шукшине, Владимире Максимове, Викторе Астафьеве, Юрии Мамлееве в этой прессе писали куда больше и разнообразнее, чем в «Дне литературы», что Солженицына в националистической прессе травили куда сильнее (ни в одном демократическом издании не могла бы появиться такая оскорбительная статья, как статья Нилова «Образованец обустроивает Россию, или Предательство в маске», что напечатал «Наш современник» в 1998 году, в № 11 — 12, — полная убогой трамвайной ругани: «власовщина чистейшей воды», фашизм, предательство, двурушничество, враг России, человек без чести, ума и совести, «ничтожество»).

Аргументы обычно ничем не подкрепляются, ссылки отсутствуют, но случается, Бондаренко конкретизирует обвинения — и лучше бы он, право, этого не делал. Вот он пишет, что публикация отрывков из «Бесконечного тупика» Галковского вызвала поток оскорблений и «злую ругань» либеральной интеллигенции. «„Бесконечный тупик“ советский литературный критик Андрей Немзер назвал „Колхозный еврей“ и „Вислоухий лопух“, а критикесса Н. Иванова заявила, что это эфемизм женских половых органов».

Я привожу эту цитату не для того, чтобы обратить внимание на неряшливость фразы («„Бесконечный тупик“ назвал „Колхозный еврей“»), — если начать выписывать подобные фразы у Бондаренко, статью придется увеличить втрое.

Лучше вернемся к Галковскому. Так вот: я утверждаю, что ничего подобного Наталья Иванова о Галковском не говорила (укажите источник цитаты,

г-н Бондаренко), а вот слово «талантливый» по отношению к Галковскому употребляла и в одной из новогодних анкет назвала изданный крохотным тиражом «Бесконечный тупик» среди пяти лучших книг года. Я помню это потому, что сама в той же анкете назвала книгу Галковского в пятерке лучших. Но все подобные детали для Бондаренко несущественны. Если уж он записал кого-то в патриоты — так тот должен быть врагами России затравлен.

Но что такое патриотизм? Оказывается, «патриот России может числиться в самых разных, даже противоположных по идеологии партиях» («Три лика русского патриотизма» — «День литературы», 2002, 12 февраля).

Для Бондаренко патриоты — и те, для кого их страна началась с октября 1917-го, чей вождь Сталин, кто считает коллективизацию достижением социализма, тоскует по военной мощи, Берлинской стене, по дисциплине и порядку, а ГУЛАГ мнит законным инструментом очистки общества от вредных элементов. Патриоты и те, для кого Россия в 1917 году прекратила существование, кто считает Октябрьскую революцию большевистским переворотом, Ленина — идеологом тоталитаризма, Сталина — кровавым диктатором, коллективизацию — сломом хребта нации, а ГУЛАГ — символом режима.

Для Бондаренко все они — носители своей правды, частицы которой годятся для строительства нового патриотизма. Но, допуская множество видов патриотизма и признавая продуктивность каждого, Бондаренко невольно оказывается на почве политического плюрализма, свойственного ненавистному либерализму. Так что ж — может, широта Бондаренко простерлась до того, что он готов признать патриотами и тех, кто хочет видеть Россию свободной и открытой страной, кто мечтает привлечь инвестиции в производство, дать всем желающим работу, поднять уровень жизни, науку и образование, — словом, тех, кто хочет видеть Россию сильным, богатым, полноправным членом мирового сообщества, а не изгоем, пугающим мир своей непредсказуемостью, своей бедностью, своей тлеющей агрессивностью, способной взорваться?

Но нет. С левой экстремой соединиться — это еще куда ни шло (в последние годы «День литературы» явно дрейфует в эту сторону). Собрать под знамена русского патриотизма Бондаренко хочет не созидателей, а разрушителей, чтобы «вместе... свергнуть антирусский режим, не защищающий наши национальные интересы», или хотя бы «реально влиять на действия правительства, как влияет Ле Пен на политику Франции». В парламент собрался? Что ж — исполать. Только ведь объединить все эти пестрые силы легко лишь на страницах газет «Завтра» и «День литературы» (и то бывшая единомышленница Капиталина Кокшенева выволочку устроит за то, что Бондаренко закрывает глаза «на мерзопакости письма Вл. Сорокина» и предлагает «забыть похабщину Лимонова»: нечего с Бондаренко объединяться, сначала разъединиться надо («Красный джип патриотизма», www.hrono.ru).

Объединить всех можно лишь на страницах книг о трех ликах русского патриотизма. И то постоянно приходится приписками заниматься. Бондаренко прекрасно понимает, что если предъявить миру патриотическую колоду писателей, в которой — Анатолий Иванов и Михаил Алексеев, Владимир Бушин и Михаил Лобанов, Валерий Ганичев и Татьяна Глушкова, Станислав Куняев и Александр Проханов, то трудно будет заявить, что вся литература — это *наши*, а либеральный лагерь — совершенно бесплоден. Поэтому он, вдохновленный примером Чичикова, вписывает в свою ревизскую сказку умерших. Николай Рубцов, Василий Шукшин, Владимир Солоухин, Виктор Астафьев, Владимир Максимов, Лев Гумилев — все оказываются соратниками Бондаренко. С ними легко. Они уже ничего не могут опровергнуть. Можно, например, написать, что Л. Н. Гумилев воспринимал победу демократии как измену России, «которую горячо любил». И сослаться на такой источник: «известно от близких и знакомых Гумилева».

Получается, что ученый, отрубивший два срока в лагерях, ненавидивший советскую власть, дождавшийся падения цензуры и периода обвальных публи-

каций своих произведений, горячо переживал, что их вновь не запрещают? Биограф Гумилева С. Б. Лавров свидетельствует, что демократов он действительно не жаловал и говорил, что «демократия, к сожалению, диктует не выбор лучших, а выдвижение себе подобных». Но гумилевский скептицизм по отношению к демократии как политическому институту (и в особенности к конкретным политическим деятелям) — вовсе не означает симпатии к рухнувшему режиму, который для него не только не отождествлялся с Россией, но ощущался как ей враждебный.

Передернуть карты, впрочем, можно и в расчете на то, что живой и здравствующий писатель не унижится до полемики, а прочие — проглотят. Так, Бондаренко объявляет Солженицына «лидером русского национализма», надругав подходящих цитат из книги «Россия в обвале» и намеренно опустив солженицынское определение патриотизма как чувства любви к своей родине «с готовностью жертвовать ей, делить невзгоды, но со служением не угодливым, не поддержкою несправедливых притязаний, а откровенным в оценке её пороков, грехов и в раскаянии за них». А ведь солженицынские рассуждения о возможности искажений патриотизма, крайнего националистического переклона («только наша порода!», «только наша вера!»), о «внесении своей национальности выше мыслимых духовных вершин, выше нашего смирения перед Небом» — имеют прямое отношение к Бондаренко, не говоря уже о категорическом отказе писателя считать русским патриотом того, кто «заключает малодушный союз со своими уничтожителями-коммунистами».

Бондаренко как раз за такой союз, но делает вид, что эту мысль Солженицына он не заметил, и настаивает на своем: Солженицын не только лидер русского национализма, он и свое отношение к Сталину пересмотрел, признал, что от него «получила вся страна Разгон в Будущее». «„Отойдет вот это ощущение как бы продолженной войны — а Разгон останется, и только им мы совершим невозможное“, — цитирует Бондаренко Солженицына и продолжает: Вот это — художественный образ всего русского, а по сути, и мирового XX века — сталинский Разгон в Будущее». И космические полеты, и атомные ледоколы — все это его результаты, и поразительно, что это осознал «главный антисоветчик страны».

Доверчивый читатель может удивиться: так, значит, в рассказе «На изломах» Солженицын перечеркнул все дело своей жизни: восхитился Сталиным, признал его волю мощным двигателем прогресса, а крах КПСС — результатом действия демонических сил? Разумеется, нет.

Рассуждения о великом сталинском Разгоне принадлежат герою рассказа, Емцову, которого Солженицын отнюдь не героизирует, как это считает Бондаренко. Писатель исследует этот человеческий тип: энергичного, понятливого, чрезвычайно эффективного менеджера, технократа, не подверженного интеллигентской болезни рефлексии. Емцов будет с невероятным энтузиазмом создавать и строить приборы для противоракетной обороны, но, когда горбачевская перестройка разрушит оборонный комплекс, он не будет стенать, как другие красные директора, одним из первых пойдет на приватизацию, раздробит гигантский завод на кучу мелких предприятий, безжалостно уволит две трети рабочих, примется нащупывать коммерчески успешные проекты, создаст банк — в общем, станет хозяином предприятия, менеджером которого он был.

«У меня такая идея, что делать деньги — оказалось интересное занятие. Никак не меньше, чем отбивать пульс ВПК или, скажем, соображать в кибернетике», — любит повторять теперь Емцов, который «не только не расслабился от излома», но расхаживает по территориям бывшего военного комплекса «по виду ещё властной и гордей, чем прежде, знаменитым тогда красным директором»... Ну и где здесь солженицынское восхищение Сталиным?

Замечательны также упреки Бондаренко Солженицыну, зачем-де он публикует свои статьи в «космополитической» либеральной прессе, вместо того чтобы отдать их «Дню литературы» или «Нашему современнику». Да потому, что Солженицын не хочет быть «своим» в узкопартийном стане, а обращается

ко всему народу, к нации, пытаюсь реабилитировать национальное чувство, скомпрометированное именно теми, кто присвоил себе эксклюзивное звание патриота.

Любовь к собственной стране, чувство принадлежности к своему народу — естественны (что не мешает, разумеется, видеть все недостатки и своей страны, и своего народа). Но чувство это требует сдержанности и не должно проявляться в громких поисках врагов России, пятиминутках ненависти к ним и словесной игре, участники которой стараются перекричать друг друга, соперничая в выражении любви к родине.

У меня всегда возникает подозрение, что тот, кто кричит всех громче, больше других лукавит. Когда шекспировский король Лир, собираясь разделить между дочерьми королевство, вопрошает дочерей, как они его любят, — кто изощряется в красноречии? Две старших дочери, бесчувственных и корыстных. А искренне любящая Корделия, смущаясь громких слов, сначала вообще ничего не хочет сказать о своей любви к отцу, а потом, принужденная, скупко произносит: «То, что в сердце есть, / До губ нейдет. Люблю я вашу милость, / Как долг велит: не больше и не меньше».

Обвиненная в черствости, она проклята недальновидным отцом, лишена наследства — но именно правдивой Корделии суждено защитить отца, преданного льстивыми и лживыми старшими дочерьми.

Бондаренко соперничает в красноречии со старшей дочерью короля Лира. Слава богу, что король не торопится вручить ему полцарства.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — «ВОР»

Из «Литературной коллекции»

Этот роман существует в трёх версиях: исходная, 1926-27 гг.; перedelка 1959 г.; и перedelка 1982 г. В 20-е годы роман прогремел, но и получил жестокую советскую критику. К 50-м годам изрядно забылся, и, видимо, автор захотел дать ему новую жизнь, но уже приемлемую в советском русле. (Этой редакции я вовсе не смотрел.) Судя по году, выскажу догадку, что уступки могли быть значительны и досадны для автора. Отсюда могла возникнуть потребность в 3-й редакции, в чём-то возобновительной, а само собой — и с нарастающим от возраста мастерством. (Я сверил лишь уступки нескольких ранних мест, не сплошь.) В дальнейшем разбор идёт только по исходному варианту 20-х годов.

Ставка автора — на занимательность и сквозную яркость изображения, чего бы ни коснулся. Напряжённо старается писать свежо, фигуристо. Особенно заметно такое в начале книги, потом эта литературная непростота (расчёт на образованного читателя) исчезает. Но это — и не в струе тогдашнего авангардизма, никак. Пожалуй: ещё не было схожих текстов в русской литературе, свежесть — отменная.

Тем не менее — автор под сильным влиянием Достоевского. Однако — никак не ученическим: Леонов — не в ряду покорённых, увлечённых учеников. Влияние Достоевского у него переплетается с самобытностью. От Достоевского — непомерное сгущение сцен (как именины у толстухи Зины, ч. II, гл. 13—15, переходящие в разоблачительное чтение дневника унижаемого соседа; или поминки у неё же, III, 4—5); внезапность появления новых лиц; пестрейшие компании, карнавал персонажей, типов; бурный поток монологов, полилогов, да с обострениями; надрыв, униженность, юродство; или неправдоподобные сочетания, как вор Митька Векшин перед *правилкой* над предателем банды прыгает на ходу в пролётку психиатра с острым вопросом: допустимо ли убить безоружного человека (IV, 3) — и следует блистательный диалог. Однако: Леонов *не* повторяет словесной фактуры Достоевского, в подражание чему чаще всего и впадают. И ещё Леонов ярко *расцветчивает* все лица, тогда как романы Достоевского льются скорее в серо-бело-чёрном цвете, красок недостаёт. Но — нет у нашего автора нигде той высоты мыслей и того духовного верхнего «этажа», какими так славен и характерен Достоевский.

Вполне в манере Достоевского и действует в романе всеобщий доверенный посредник («конфидент») — посторонний свидетель многих ситуаций, сюжетно связывающий персонажей. В качестве такого введен писатель Фирсов. Само по себе введение писателя как действующего лица всегда производит впечатление вторичности произведения, недостатка авторского воображения. Но тут у Леонова решение нерядовое, динамичное. Фирсов задумал роман о воровской среде, собирает материалы по требованиям сюжета то там, то здесь, вступает в личные соотношения с персонажами, кому помогает, с

кем дружит, с кем пропивает гонорар, в кого влюбляется, попадает и сам в «достоевские» сцены наплыва визитёров или исповедательные (как с убийцей Аггеем, I, 20, возжелавшим перед смертью оставить и свой след в публичности); да и фирсовская манера сбивчивых бесед и метаний тоже отдаёт Достоевским. В таком включении сочинителя есть и удавшаяся игривость (ещё усиленная юмористической добавкой вора Доньки, изливного в стихах). Создаётся двоение литературной формы, роман в романе, как составное яичко в яичке — хотя от этого же снижается реальный вес книги. (Конечно, в советских условиях такой назойливый собиратель сведений был бы всеми сочтён сексотом и отвергнут, но уж тут условность.) Заодно через Фирсова демонстрируются и находки из леоновской записной книжки, неиспользованные фрагменты авторского пера, да и попытки высказаться по философским верхам, хотя это не получилось веско. Через него же, осторожно, ощущение писателя в советском бытии: «Наше время нужно пока запечатлевать лишь в фактах, без всяких примечаний», и «пририсовал домик с решётчатым окошком». — «Писатель сейчас в забвении. С нами общаются только через фининспектора. Какая расточительная щедрость эпохи».

Но вот, незримо для нас, тот мнимый, вставной роман уже написан и опубликован, ранее реального, ещё незаконченного, оттого расходится с ним в развязке, но даёт возможность Леонову огласить и предупредить ожидаемую им будущую критику. Роман Фирсова громят за «идеологический пессимизм», «идеологические ошибки», за «подражательность классике». «Как мог, на самом рассвете» общественного бытия, герой Гражданской войны (Дмитрий Векшин) опуститься в вора? Сказалась «недостойность эстетического подхода к революции». (Да не «эстетического», а затруднение Леонова было в том, что не мог он распахнуть в Векшине прямое разочарование итогами революции. Я не искал по газетности, как на самом деле честили леоновского «Вора», думаю, что и покрепче.)

Роман «Вор» изобилует яркими сценами (трактир, шалман, застолья, цирк и многое другое). При этом Леонов никогда не измельчается в лишних деталях, а выхватывает: живопись и портретность. Везде очень свободный, нестеснённый (и своеобразный в разных социальных слоях) диалог, иногда и до нарочитой изошрённой ломаности. Клубок персонажей очень уплотнён (хотя местами искусственно). Действие весьма стремительное, пустых глав не бывает. Много живого остроумия.

Но всё это с оговоркой: так — в первых двух частях. Они — целиком необходимы в общей композиции и наилучше разработаны. В начале III части ещё сохраняется та же хваткость, блестящие главы — и вдруг ощущение опадания действия, необязательные сцены, как будто сюжеты исчерпались — и автор не знает, чем наполнить, и можно бы идти к развязке? Роман как бы начинает распадаться сам собою, теряет упругость, плотность, хребет. В начале IV части — короткая вспышка на несколько глав, снова острая проза, сверкающие диалоги, сцены (как изящно передана, IV, 4—5, вся смена блюд, никак не давая прямого описания стола). Но нет, дыхание не возвращается в роман, сущностного действия всё равно уже нет, оно исчерпалось. Автор затягивает развязку, да явно колеблясь, как быть с заглавным персонажем Митькой, некместно добавляет ещё новое юмористическое лицо, смазывает сцену решающей воровской *правилки* — вялое, затянутое, неубедительное окончание. (В редакции 1982 часть IV отсутствует, заменена укороченным Эпилогом.)

Однако: насколько роман оправдывает своё название? Насколько Дмитрий Векшин (один раз названный и «русским Рокамболом») является смысловым и организующим стержнем книги? — Никак. Здесь что-то не задалось. В многочисленных (и удачливых) заботах о множестве образов и, хотя бы с III части, в сомнениях-томлениях об общей конструкции и задаче — автор не нашёл истинного места и смысла заглавному герою.

Первое появление Векшина в трактире как будто обещает богатую разработку образа. Однако она не состоялась, даже и внешне мы его плохо различа-

ем: крупная фигура, мало представимые у него бачки? — да вот чуть ли и не всё, что остаётся в памяти читателя.

Формально узнаём, что Дмитрий — сын что-то очень уж нищего железнодорожного будочника (это — реверанс автора: мол, в дореволюционной России весь народ был нищ?), ушедший из дому в раннем возрасте, прошедший юность неизвестно где, — в Гражданскую войну был, ни много ни мало, комиссаром кавалерийского полка. Но и это важнейшее прошлое героя сообщено нам одним лишь *называнием*, не проявлено чертами характера, и не узнаём из тех лет никаких реальных эпизодов. (Все воспоминания о Гражданской войне — почти игрушечны.) Или — сохранившийся бы круг ветеранов, военных друзей? (Только двое: ординарец его Санька-Велосипед стал вором, по-прежнему почитающим своего Хозяина; и другой — Аташез, тогдашний секретарь полковой ячейки, теперь — директор, советский чин, но — эпизодическое лицо.) Сообщено вскользь: потом, за самоуправство, Векшин был отстранён от должности — но не видно, чтоб судим? и как и когда ушёл из партии большевиков, или из Красной армии? Затем одно упоминание о 1924 году: когда в Доме Союзов стоял гроб с Лениным, то Векшин ходил ко гробу: прежде того «он полон был надежд говорить с Лениным, единственным человеком, которому доверялся весь». — Но вот разливается НЭП, и мы почти сразу видим Митьку воровским паханом и лично *медвежатником* — вскрывателем сейфов. Да в каком-то полусознательном состоянии (которое дальше овладевает им всё чаще) бредущим в то самое акционерное общество, которое ночью ограбил и где как раз производят розыск. (Благополучно его миновав, вскоре почти все выкраденные тысячи проигрывает в карты.)

Замах замысла можно понять: красный комиссар — и вдруг воровской вожак? — в советское время? (Кто знает много биографий тех лет, так и не очень удивится.) Но Леонов — из осторожности? — уходит от мотивировок, от объяснений, даже в ущерб простой живости героя. Воровская компания (тот же Санька-Велосипед, и Донька, и Панама-Толстый, и балтийский матрос Анатолий Машлыкин, в Гражданскую «одиннадцать атаманов своими руками задавил», и убийца Аггей) обрисована ярко. Особенно Санька-Велосипед, решивший «завязать» воровскую жизнь, соединившийся с милой тихой женщиной и насильно вырываемый Хозяином в «дело», — мстит ему тем, что выдаёт.

Большую часть романа Митька неприкаянно бродит, ища, у кого утолить душу — или у Маши Доломановой, отторгшей его возлюбленной ещё отроческих лет и тоже опустившейся в воровской мир; или у чудака-слесаря одинокого Пчхова (исповедуется ему: «Обрублен я и боли не чувствую»); или у влюблённой в него соседки по коммунальной квартире. То — болен влётку, то в сумбуре, то в нём какие-то «голоса кричат, разрывают», то галлюцинации; то в нём «непомерно очищенные мысли» (но нам не приведены), какие-то внутренние умственные монологи, явно не по нему. (Портит и лобовое — для цензуры? — авторское объяснение: «Лишь на перегоне двух эпох, в момент великого переустройства, возможно такое болезненное метание», — о, далеко не только «на перегоне».) Вослед этим шатаниям бредёт и читатель в попытке понять, чем же это кончится. Воровское «дело» показано одно, неудачное (подкоп под ювелирный магазин). Да разок посещение «шалмана» для картёжной игры. Кто-то выдал их милиции. Подозрение-догадка, кажется, на возлюбленную Машу — и к концу II части мнится, что Митька готовится к расправе — не открытой нам, и тем загадочней (II, 17). Но намерение его, накалённое знойным днём при чых-то похоронах, гроб обтянут красной бязью, и красное платье помнится у любимой, — далее перезатянута и увяло ничем (II, 23). Вот не тут ли и потерян возможный стержень сюжета. (Расплата, но уже с другим предателем, оттягивается до конца IV части.)

В опережающем (и не совпадающем) сюжете Фирсова — «вор, по честности и воле, погибнет смертью жестокой и великолепной». Было ли так задумано у Леонова? Но решилось совсем не так.

Самое неестественное, что Митька не прячется, живёт открыто, при известной его воровской славе, — и никто его не арестовывает. Или это — от века «социальной близости»? власти заняты «контрреволюционерами»? Всё тот же Аташез ободряет Митьку: не задержу тебя, «такие нам нужны. Ты дороже 40 тысяч [человек? рублей?] стоишь», уезжай-ка ты из Москвы в 24 часа. Но Митька с атаманской малодвижностью и не шевелится на совет. — Между тем забрасывается нам и такая социальная версия: будто Митька в натуре не простонароден, а — незаконный сын помещика Манюкина — ныне разорённого революцией и тоже нам показанного, очень ярко.

Так и не освоюсь с главным героем романа, плохо развидев его и не поняв — читатель к самому концу книги награждён милым социалистическим решением: Митька уехал в дальнее сельское место, пошёл к лесорубам, научился у них трудиться, затем поступил на завод, одновременно учился, — ну и так стал достойным членом общества. И не опозорил своего комиссарского прошлого...

И — стоило огород городить, Леонид Максимыч?

Несостоявшаяся подруга Митьки — Маша-Вьюга (детская любовь их описана лирично), чья юность искалечена воровским изнасилованием, она — куда внятней (ещё урезчённее от женских демонических характеров Достоевского). Метучая, властная, мгновенно-решительная, — такою стала она из кроткой девочки. Да, это она и *заложила* шалман, чтобы погубить своего насильника Аггея (вскормленного на крови той же Гражданской войны). У неё броская, меткая, точная речь. И «отточенная, бесстрашная её красота»; «к её лицу не шло сострадание. В рисунке её стремительных бровей и тонких повелевающих губ негде было уместиться даже любовной жалости». Митьку в его душевном сокрушении и упадке она вглубоке продолжает любить, но не до того, чтобы вернуться к нему. Маша-Вьюга — «неотгоняемое видение» и для сочинителя Фирсова, он падает перед ней на колени. (Ещё о ней между делом: с Семнадцатого года она сочувствовала красным.)

Напротив, изрядно бледно обрисована Митькина сестра Таня; образ её поддерживается почти только цирковым акробатическим антуражем. Что она когда-то разобьётся — это обречённо предвидимо. Не растепают и похороны её.

Но она и приписана-то в роман лишь в дополнение к Николке Заварихину, с кем тщетно пытается совершить «бегство в замужество». Заварихин — «русская сила» — самобытный, предприимчивый деревенский парень, ринувшийся в нэповский город для делового разворота и обогащения — «как бы имея весь мир в кармане», стать «хозяином льна». К Тане у него грубая нежность, но даже и простого внимания к ней не хватает за напряжёнными деловыми заботами. Уже после близости (в размышлении: «смотри, клоп ползёт» по стене) одождает у Тани денег для разворота своего дела, но при этом обещает, что отдаст с процентами. При первом увидении её акробатического номера (ещё до знакомства) сдуру заорав на весь цирк: «Разбейся!», — он потом поддерживает Танино намерение оставаться в цирке: больше дохода будет.

Собственно, тип такой, с лихо купеческими разворотами — то широкий кутёж в кабаке для всех присутствующих («разгневанная сила»), то ярая гоньба в пролётке («хорошее приспособление лошадь», а «машину не разжалобишь»), притом и с жадностью в расчётах и в быту, — для русской литературы никак не нов и многовариантно описан. Нова лишь привязка к нэповскому периоду после недавней деревенской хлебозаготовочной выголодки, озверившей Заварихина: «Совесьть заместо хлеба сожрали в голодные годы». (Но об этом мотиве автор больше ни слова.) В отличие от безудачного воровского вожака, которого автор пытается (малоуспешно) выставить нам романтически, — Заварихин без снисхождения окарикатурен. И это — с целью. У Леонова проступает здесь такое социальное провидение: вор — идёт вниз, а этот мужик, «дикая сила», — вверх. И пред близким торжеством такого типа зрится Леонову опасное будущее, деревня ему страшна. В другом месте: «Берегись, как бы осмеянный тобою богоносец не надел жилетку с серебряной цепочкой через грудь».

Но в предчувствии таком, в опасении своём Леонов сильно прошибается: ещё два-три года, и всех этих заварихиных смелет с костями большевицкая мясорубка, а воры-то многие как раз успешно вростут в советский аппарат.

Русская деревня тоже слегка присутствует в романе — но как? Вот этот угнетающий грабёж, насилие от властей, расстрелы, голод — разумеется не даны ни штрихом. Сперва — курьёзное и злозавистливое письмо от заброшенного Митькой его сводного брата Леонтия; затем, уже в III части, при расслаблении фабулы, автор отправляет Дмитриядохнуть деревенского воздуха, освежиться душой. И попадает он там на карикатурную бессмысленную свадьбу с непристойными танцами. («Развалившееся очарование детства и родины».) У Леонтия — «крупные, из чёрного камня выточенные глаза», а речь — замудрённая, с ускользающим смыслом, и очень злая. «Вплотную поговорить, чтоб страшно стало обоим». Напряжённо, но неясными словами выражает Леонтий мужицкий протест против всего городского. (Вообще народные слова рассыпаны небогато.) Дмитрий теряется перед братом и поспешно уезжает в город.

Не прямо от автора, а почти и прямо: «Электрические вожжи нужны для этой враждебной дикой силы. Умная турбина, новый человек». (Вслед «Вору», через год, Леонов опубликовал ещё «Необыкновенные истории о мужиках», где русская деревня показана зверским лицом, — так благословение грядущему раскулачиванию? Ещё через год, в 1929, наш автор стал и председателем Всероссийского союза писателей...) От Леонова — по его последним книгам старости? — этого не ждѣшь: такого отщата от народного сознания, такой чужести ему.

А более всего удались Леонову второстепенные персонажи, отчётливые характеры, — от них в романе яркое многолюдное оживление. Кроме трактирной публики да воровского шалмана большая часть их втиснута в одну и ту же коммунальную квартиру, где они и мелькают, где и происходят многие с ними события.

Тут и насадчик всех законов фининспектор, и он же преддомкома, Чикилёв. (Развешивает по квартире постановление, «правила жизни», блюдет за недопустимыми отклонениями. «Через милицию буду действовать».) — Любвеобильная толстуха Зинка Балдуева (поющая песенки в пивной). — Её брат Матвей, всё сидящий над классиками марксизма (а спит на ящиках), сестре: «Родство наше — простая случайность». — Тут и разорѣнный революцией барин Манюкин, зарабатывающий тоже в пивных и трактирах, перед гулящим народом, витиеватыми импровизациями — яркословными, даже с избытком яркости картин. (Этому Манюкину, когда-то создателю земской школы, когда-то владельцу многотысячной, теперь отобранной, библиотеки, «на семи грузовиках увезли в революцию», — ходом романа затем приписано внебрачное отцовство — то ли Митьки, то ли Леонтия.) Ныне Манюкин, почти раздавленный, жалкий, трепещет перед Чикилёвым — до «льстивого скрипа дверью», чтобы быть неслышным. А Чикилёв снисходит до женитьбы на Зинке, но высмеян ею: «воробей к корове сватается!» — Ещё одна соседка по квартире говорит всего несколько фраз — а характер! — Ещё, особняком от этой квартиры, — старобытный, нутряной, весьма характерный слесарь Пчхов в одинокой конуре, изрекающий мудрости косным языком. И милейший старый немец-циркач Пугель, заботливый опекун Тани.

Как жаждет Фирсов «кусочек прямо из жизни вырвать» — так щедро вырывает и представляет нам подлинный автор романа. Удача — большая.

Но все эти персонажи и события льются в обычном жизненно-бытовом потоке, почти не несут разительных жестоких черт первого советского десятилетия. Однако вправа ли мы из исторического далека упрекнуть раннего Леонова в том, что он старается эти черты обходить? Ему, видно, и так изрядно досталось от советской критики за показанное, это можно проследить и по довольно-таки невинным фрагментам, которые он выбрасывал при поздних редакциях. Например:

— одно высокое лицо сказало: писать непременно полезное в общем смысле;

— жизнь приходит в стройный порядок: пропойца пьёт, поп молится, нищий просит, жена дипломата чистит ногти;

— за человеком следить надо, человека нельзя без присмотра оставлять. В будущем государстве каждый может прийти ко всякому и наблюдать его жизнь. Тогда все поневоле честными будут.

Не проследил я, остались ли, или убраны такие места:

— официальный курс страны на краснощёкого человека;

— кругло выдумать, так незачем и от правды отличать;

— согласно декрету, но не забывайте;

— все законы исполнять — тогда и жить станет николи;

— жалость — контрреволюционная добродетель;

— Не трудящийся не должен кушать — ведь это против меня направлено!

— Синдетикон варить из всех бесполезных;

— Пора, наконец, перепланировать вселенную;

— Будь я начальник, я бы всем сочинителям приказал на жизнь смотреть весело;

— Из мести нынче пишут, а месть плохое вдохновение;

— товарищ монархист! одолжи рубль до восстановления родины;

— Всё сумбур какой-то. Ты скажешь: поезд из мрака туннеля ещё не вырвался в голубой просвет? А не долог ли туннель? не безвыходен ли?

Большая доля таких мыслей приписана потерянному барину Манюкину. А вот из недавних красных бойцов, разочарованных наступившим НЭПом (модная тогда тема):

— А спекулянтствующая дрянь смеётся. Да, погибла революция.

Митька Векшин ему, «трудным грудным шёпотом» (иначе прозвучит фальшиво, автор-то понимает):

— Ты смеешь задирать хвастливые рога перед революцией? Она идёт из миллионов сердец, валит горы, перешагивает бездны. Революция есть полёт вперёд и вверх.

Ответ:

— А пятка у неё тяжёлая? а глаз в пятке нет.

Промелькнут черты быта: «советский чин, прогуливающий казённые червонцы»; «введение в пивных — просветительных программ»; «обширная борода великого зачинателя»; «приличный притон», а «в соседних кварталах гроздились семьи ответственных работников»; «Глаза людей смотрели глухо, как бы сквозь дымку, за которой укрывались от правды завтрашнего дня»; «Живы ещё слёзы в людях».

Что ж, и это всё — немало. Советская действительность изрядно прикрыта, ГПУ не нависает, как всюду у Булгакова, но Эпоха — не пренебрежена. Да руки надо держать писателю коротко.

Язык Леонова в «Воре» упруг, многими местами изобретателен. Но иногда автор нарушает «звуковой фон», употребляет слова по соседству с прямой речью — непостижимые для говорящего персонажа.

Для передачи пейзажа Леонов ищет свежие выражения. Солнце, луна — каждый раз новыми словами. «Пространные взбег голубых небес» (между облаками); «небо, заряженное громами, стремглав неслось, одетое в дождливые облака»; «небо висело»; «клок неба торчал»; «предвестные лучи»; «бушуют звёзды»; «как не лопнут щёки у ветра?..»; «скачут листья»; «золотозакатный подсолнух»; «ненадыханный май»; «пустовейная тишина»; «слежалась густая, влажная тишина»; «пел снег под ногами»; выражала «вода откровенные свои

смыслы». И городской пейзаж у него виден. (Да и сельский — в лирических сценах юных Мити и Маши.)

Но поиск свежих выражений — и шире, не только к пейзажу.

«То неточное и неуловимое, что люди называют жизнью». — «Большая любовь [к революции, к Интернационалу?], разделённая на всех, согревала не жарче стеариновой свечи». — «Деревья великодушнее людей». — «С грохотом вонзаясь в убегающую даль» (поезд); «тесно уху от грохота»; «полузабытый шелест её одежд»; «робкая видимость слезы»; «изюмные глаза жаворонков»; «шрапнель раскрывала смертоубийственную пятерню»; «каждому металлу своя ржавь» (цвет ржавчины, Пчхов); «ноги лошади махом рвали пространство»; «колесатые гиганты» (автобусы); «многожелезное звучание»; «щекотальная музыка»; Зина «точно держала две дыни за пазухой».

Блистательно выдержана речь Манюкина и Чикилёва. Да и диалоги воровского мира, без пересыщения их жаргоном.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

В «КРУГУ» И ВНЕ «КРУГА»

Анатолий Найман. Все и каждый. Роман. — «Октябрь», 2003, № 1 — 2.

...г-н Авсеенко изображает собою, как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света.

Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя».

Литературная судьба двух превосходных американских прозаиков — Ф. С. Фицджеральда и Т. Капоте — одинаково досадно грустна и глубоко печальна. Оказавшись достигнутой и поглощенной капризным гротеском громадного их тщеславия, она поневоле сократилась и до времени прервалась. И хотя удовлетворение этого суежливого в одном и щегольского в другом случае тщеславия усилий требовало разных и успеха оказалось не равного, но было все равно мучением для души и прискорбием для литературы. И тот и другой силились блистать (и с большим или меньшим успехом блистали-таки) в высшем обществе. Причем если Капоте общество это самое было своим по рождению, хоть и чужим по дару, то Фицджеральду хоть и чужим было и по рождению, но по темам, его писательским даром воплощаемым, мнилось ему освоенным, близким, почти своим. В зоре этого «почти», так его и не преодолев, и сгинул один из лучших писателей Америки. Капоте же просто бросил писать, целиком уйдя в «пыль маскарадных развлечений»: хмелящую круговерть балов, раутов, пикников и великосветских приемов.

Суетное желание родового светского щеголя «блистать» в бомонде и тщеславное стремление парвеню стать «высшему кругу» своим или, на худой случай, быть к нему «поближе» вполне как поведение естественны. Но литератор, сознательно такой путь выбирающий, сойти с него без потерь не сможет.

Новый роман Анатолия Наймана написан от лица рассказчика — невзрачного, ничем социально не примечательного литературного поденщика и безвестного художника, случайно оказавшегося в больничной палате соседом «обаятельного баловня судьбы, дообаявшегося и добаловавшегося до инфаркта». Баловень этот — некто Андрей Новиков, сын крупного официозного архитектора советских дней, ныне пребывающего не у дел, но сохранившего для себя и семьи все предельно возможные привилегии советского пенсионера первой руки.

Но сказанный Андрей Новиков, даже будучи центральным персонажем романа, подлинным его героем все же не является. Предмет литературно героический, то есть предмет особого внимания и внимательного же писательского вникновения, составляет малый, но великосветский круг отпрысков ближних бояр советской власти 60-х годов. То есть «жирные», так сказать, «сливки» поколения тех самых шестидесятников, которым в год оккупации Чехословакии было примерно либо под тридцать, либо чуть за. «Предмет литературно героический» — здесь не ироническая оговорка. Ибо героем повествования является именно замкнутый для непосвященных «всех остальных» небольшой круг «благородных юношей», нобилей по наследству в первом поколении. Самостоятельным соборным героем романа воссоздается именно сообщество, стая, а не каждый из этих сомкнувшихся для золотой жизни еще до рождения персонажей в суверенной отдельности. Персонажей, ни разу не усомнившихся ни в наследственном своем праве на эту самую золотую жизнь, ни в наследственном же, сообразном такой жизни, поведении. Силящийся же жить в непохожей своей и неповторимой самобытности центральный персонаж романа Андрей Новиков крепко связан круговой порукой избранничества и законом замкнутого кружка. Именно ими всегда и предаваемый, и выручаемый, и, в конце концов, за несоответствием касте изгоняемый, он постепенно обнаруживается фигурой драматической и странной. Драматической оттого, что в конце концов из конформиста превращается сначала в добровольного отшельника, а вскоре и в вынужденного изгоя. Изгоя совершенно новой, гораздо более спор-

вистой и жесткой поросли «нобилитета» — «нобилитета детей». То есть «нобилитета» годов цинических не прикровенно и лицемерно, каковы шестидесятые — семидесятые, а бесстыдных уже откровенно и нелицеприятно, каковы с лихвой — девяностые. А фигурой странной оттого, что, кроме как в изгнании, оказывается еще и в полуснисходительном пренебрежении и в полувисокомерном сочувствии у сторонящегося автора-рассказчика. Рассказчика, со всей тщательной скромностью тушующегося, зато и на редкость беспристрастно судящего.

Но даже если задаться трудом непохожесть эту индивидуальную внутри «благородного собрания» все-таки отыскать и отметить, то все равно даже и в совестливо ренегатствующем Андрее, даже в конфузливом его, августа 1968-го, конформизме найдешь разве что разные оттенки одного и того же общего цвета и едва различишь только степень его густоты и насыщенности. И, наоборот, не отыщешь тех резко не общих признаков личности, что психологически отличают одного из них от, из них же, другого. Они все из «них», из «наших». Но их, взысканных судьбой, совсем немного, хотя для того, чтобы чувствовать и числить себя уверенно «на особицу», как раз необходимо и достаточно. Живущих по законам узко избранного, все себе позволяющего, ни преград, ни отказов не ведающего элитарного «нашества».

«У составлявших их круг, у всех без исключения, связь с родителями существовала тесная и никогда не антагонистическая, никаких отцов-и-детей — даже если душевной близости и не было». (Здесь кстати будет вспомнить одну из самых темпераментных речей Хрущева 8 марта 1963 года, с ее приснопамятным «У нас нет проблемы „отцов и детей“»). «Отцы и дети жили в союзе, близком к патриархальности восемнадцатого века: умеренный интерес друг к другу, невмешательство, преемственность. Детям импонировало место, добытое родителями в обществе...»

Тут остановимся и попробуем разобраться в преимущественных позициях автора-повествователя, и обнаружить место, которое он в неспешном течении романной жизни занимает.

Начать с того, что автор, по смиренному своему выбору «малого и роли не имеющего», легко отыскивает и занимает кресло на самом скромном краешке, на самой незаметной обочине той жизни, которую он, обрядившись для пушей убедительности в линялый больничный халат случайного свидетеля и темпераментно любопытствующего рассказчика, описывает будто бы совсем ненароком, из праздного любопытства и совсем-совсем со стороны. (Здесь, заметим в скобках, вкратце в повествование некоторая несообразность. А именно, не вполне ясно, как, если учесть контекст времени, могли оказаться соседями по больничной палате нищий, перекасти-поле, поставщик неприятных текстов и успешный архитектор — прирожденный советский аристократ и избранник судьбы со младенчества? Но это к слову). Однако эту свою не вполне удачно, по Достоевскому, выбранную стойку автор-рассказчик объясняет со всей возможной открытостью и неспешностью.

«Я рассказываю о людях, которых едва знаю. ...Однако не могу сказать, что воображаю. Я всех, кого знаю, кого вижу, с кем встречаюсь, — знаю, вижу, встречаюсь *так*... Но все они группируются в цельные картинки. Я их не воображаю, а рассматриваю. Картинки, похожие на узоры. Где-то внутри меня. ...Я не знаю, что пишу: узнаю, когда напишу. ...Во мне может не быть правды, даже наверное нет, в словах — есть. Почему во всей этой истории, ни в одном эпизоде, нет меня? Потому что в жизни Андрея, не говоря уже об остальных, я не играю никакой роли. Не принимаю никакого участия и не играю роли... Если называть вещи своими именами, он меня не замечает. И видите? Я не строю иллюзий, не фантазирую, не додумываю того, чего не наблюдаю. Я рассматриваю картинку, в ней меня нет — стало быть, нет и в истории».

Однако место, выбранное автором для обозрения чужой жизни, не столь уж ничтожно и выгодно не одним лишь тем, что позволяет ему, любопытствующему, глядеть на «картинку» со стороны. Важнейшее для рассказчика прозрачно сквозит в другом. Дело в том, что свой «наблюдательный пункт» он располагает не столько в стороне от происходящего, сколько выше его. Морально выше. Что дает автору возможность, а главное, самочинное право эти «похожие на узоры картинки» не толь-

ко бесстрастно описывать, но и в многословно-философических отступлениях в скобках их толковать. Толковать, конечно, не впрямую, а косвенно — контрапунктом, в котором рефлексия собственного «я» густо смешана с морализаторством, а обширное культурное знание — с вольными, накоротке, упоминаниями Бога и частыми к нему, в подспоре словесной своей убедительности, обращениями.

Есть в отношении автора-рассказчика к своим героям и еще одна, решающая, особенность. Так разглядывают страстно желанное, но ни в какую недостижимое. Недоступность винограда неволит насмешку: он зелен. Прегражденность «пути наверх» и недоступность «жизни наверху» нудит к снисходительной на ее счет иронии, к резковато-наблюдательному сарказму и приводит в конце концов к сладострастному о ней гротеску. Поэтому вся протяженная конструкция этого не лишнего увлекательности романа постепенно утрачивает заявленное вначале строгое равновесие между темой (в виде повествования собственно) и контрапунктом (в виде авторских отступлений в скобках) и явно перекашивается в сторону отступлений, то есть философско-психологических обнаружений личности рассказчика, его непринужденно-интеллектуальной рефлексии. По мере долговременного течения романа сюжетно решающими становятся не события романной жизни, более или менее занимательные, а напряженно-созерцательные или нарочито отвлеченные авторские к этим событиям комментарии. Происходит это, кажется, оттого, что события характеров начинают все больше повторять друг друга, становясь предсказуемыми и предназначенными (да иначе и быть не может, учитывая особенную авторскую установку на «разглядывание картинок», абсолютную замкнутость «высшего» круга и сквозящее в описаниях намеренно ироническое, потаенно же — едва ли не завистливое отношение к нему рассказчика).

Отметим по этому поводу две выразительные приметы. Первая из них замаскирована неторопливым эпическим зачином повествования, всем его неспешно объективно созерцаемым течением и являет собою чувствительный монолог рассказчика прежде всего о себе самом и о своих морально-философических предпочтениях. Ибо идейным и композиционным стержнем романа на всем его протяжении остается высказывание, а не рассказ. «Картинки жизни», *так* увиденные и *так* знаемые», не самодостаточны, не самоценны для автора-рассказчика: сами по себе, как самотворящееся естество дней его персонажей, они его не занимают. Интересны же они ему как повод для собственных пространных раздумий да как предмет для воплощения давней, но бессильной иронии, так и слышимой, так и видимой в каждой строчке повествования. Но это не есть ирония наблюдательно-спокойного, хладнокровного «остранения», а есть саркастическая, то есть активная, ирония непричастности «к кругу посвященных», тщетная, но злая ирония горделивого в нем неучастия.

Но упорное стремление рассказчика в этом самом «высшем круге» если не быть, то побывать определяет вторую из особенностей-примет его места в ткани романа. Он сочувственно передоверяет некоторые собственные мысли и восприятия, некоторые проявления собственного мировоззрения центральному персонажу — Андрею Новикову. Но тут позиция морализирующего наблюдателя и самоуверенность демиурга служат ему плохую службу. Рассказчик не обременяет себя трудом пожить жизнью героя или основаться внутри его личности. Андрей, вопреки декларации о возникающих «картинках», выстроен им загодя. Заранее выделан как нерешительный конформист или решительный защитник оскорбленной женщины, как неуклюжий протестант или удачливый архитектор, как одинокий затворник-богомаз или как светский лев. Пуская своего героя, как дитя, погулять по жизни, рассказчик жизнь эту ему наперед расписывает. Расписывает, потому что мудр, всеведущ, морально безупречен, стяжать славы не ищет и «знает, как надо».

Однако в таком косвенном сопоставлении себя с героем он не избегает серьезного онтологического противоречия. Противоречия, только в самом финале романа раскрывающегося во всей своей неразрешимости. Дело в том, что по конструкторским соображениям творца его жизнеописания Андрей свою жизнь в бомонде проживает, как умеет, сам — сам ею вживе тяготится и сам же от нее отказывается. Автор же рассказчик брезгает ею, не только там ее не прожив, но и, парадоксальным образом, к ней вождедея. Оттого и приводит способ его размышлений на

память реплику из давней пьесы Леонида Леонова: «Я сам детей не имел, но в мыслях моих всем владал и, наслаждаясь, простился».

Соблазнительно, правда, предположить, что Андрей — неудачливое, страдающее «альтер эго» тоже измлада тонкокожего, а ныне мудро-усмешливого рассказчика. Слишком щепетилен, слишком робок, слишком совестлив и слишком естествен, чтобы не только жить, но и хотеть удержаться в мире даром доставшихся беспредельных возможностей благополучия и самодовольного жуирования жизнью. Слишком морально нервен и слишком одарен способностью любить, любить не только женщину, но и Бога. Но всего этого в нем настолько слишком, а во всех остальных персонажах (исключение, да и то неполное — Марфа Качалова: бывшая жена Андрея, а позднее мать игуменя большого монастыря) настолько же слишком прямо противоположного, что кажется ошибкой литературного вкуса такое предположение всерьез допустить.

Удобно выбранное тихое гнездо наблюдателя «картинок и узоров» жизни помогает писателю в деле осуществления замысла своей многосемейной саги. Но главное, благодаря месту «первого встречного» спорится у него труд воплощения стиля. Стиля, как прежде говорили, «развязного» и ничем посторонним, вроде строгого к слову отношения, не принужденного рассказывания. Будто и впрямь следуя совету молодого Пушкина молодому же Бестужеву о том, что «роман требует болтовни», немолодой уже рассказчик в романе Наймана тоже взапуски болтает. Причем делает это не только в отступлениях сам, но и созидает весьма словоохотливыми своих персонажей. Впрочем, сам пафос этого стиля отчетлив, последователен и, конечно, узнаваем. Это пафос и стиль всех прозаических свершений Анатолия Наймана, начиная с «Неприятного человека».

Но есть между первым и последним по времени романами писателя одна небольшая, но «дьявольская разница». Дело идет об иронии не только как о форме литературного высказывания, но и о его (высказывания) нравственном существе. Если в «Неприятном человеке» ирония, проливаясь едкими своими струями на людей и положения круга близкого и рассказчиком знакомого не понаслышке, еще напориста, искренна, победительно горька, полна энергии одинокого морального учительства, то в последнем романе ирония эта несколько барственно снисходительна и витиевата. Это желчно прихотливая ирония запоздалого декадента. Или господина Журдена. Но Журдена... книгочая — блескуче умного, саркастичного, в словах безудержно обильного, однако все равно стремящегося «во дворянство».

Вообще, стиль прозы Анатолия Наймана отличается мнимо-неопрятным красноречием очень начитанного и очень оживленного ума, а прежде прочего, его стремлением высказываться и выказывать себя предельно раскованно, не стесняясь книжными условностями. В этой «неопрятности» и в этой раскованности сквозят одновременно два разных опыта. Опыт тщательно выстраивающего очередную строку поэта — и опыт случайных рифм, в поэзии могущих, и даже успешно, заменить смысл, в прозе же такую способность утрачивающих. Проза требует самоиронии и смысла как такового.

Но брезжит в романе «Все и каждый» одно важное свойство, что не очень резкой, едва видной, но глубокой чертой проходит подо всем его полем. Это тщательно утаиваемая за бесстрастной, почти «дендистски» лощеной созерцательностью рефлексия растерянности перед жизнью. Рефлексия, которая, если ей случается выйти за рамки доморощено-житейского философствования, всерьез становится философией почти бытийной. И тогда, окрашивая словесную ткань, придает жанру «семейного романа» дополнительный — экзистенциальный — смысл нового «романа воспитания». Причем смысл этот полон тонов не столько иронически-пессимистичных, сколько жутковато бурлескных.

В качестве объявленной им роли стороннего наблюдателя рассказчик с сочувствием всезнающего пессимиста и по видимости спокойно отслеживает путь некоего инакомыслящего «аристократа», отступающего от своего круга. Идущего от наследственного конформизма, через отступничество, сначала к добровольному, а потом и вынужденному изгнанию из врожденного ему «высшего общества». Но сквозь насмешливо-хладнокровный скепсис рассказчика иногда просвечивает напряженная оторопь опасной психологической примерки. Примерки автором кос-

тума героя на себя. И вот в эти-то очень, к сожалению, редкие моменты повествования подлинное чувство приходит на выручку к безоглядно словоохотливому и культурно налитанному писательскому опыту плодовитого романиста.

Некоторые из самопризнаний рассказчика «Всех и каждого» можно обобщить в такую, скажем, форму искренней в себе неуверенности: «Я — это что-то кроме, что-то, не совпадающее с восприятием меня». Именно в малой этой щели «между „я” и восприятием „я”» помещается живое, не отглаженное бархатным самодовольством чувство и чутье живописца, руководясь которым рассказчик описывает, например, многие в романе похороны — похороны как стариков, так и их противоречивых иллюзий.

Имея в виду эту глубоко подспудную, не одну лишь философскую растерянность, беспокойство и оторопь рассказчика перед жизнью, им самим проживаемой, можно предположить существование некоего парадокса внутри повествования. Парадокса, либо заложенного автором в саму материю романа (что сомнительно), либо переживаемого им в материи собственной души, невольно усомнившейся в дарованной свыше благоустроенности жизни (что вероятно). Ибо роман, в некоторых — не контролируемых снисходительным всезнанием рассказчика — проговорах чувства написан об ужасе жизни в социуме вообще, о нестойкости каждого ее дня, каждого поступка, каждой человеческой связи. Или о неверной приблизительности этих связей, или об их обреченности, или об их изначальной разорванности. Может быть, именно потому так и увязиста, без единого сбоя, гладкопись романа, потому так, без сучка, без задоринки, щеголевата, что внутри самоуверенного литературного жеста живет ужас и внутренней жизни, и внутренних монологов — ужас не как скоротечное чувство, а как наследственная черта, присущая жизни вообще.

Так неподдельное чувство пробивается сквозь культурное многословие, пытаясь выручить (и случается, — выручает) из беды писательского снобизма философию прямого, вслед велению души, всматривания «маленького человека» в «малютку жизнь».¹

Владимир ХОЛКИН.

Великий Новгород.



«КРИТИКА ПОЭТА» ИЛИ «ПОЭЗИЯ КРИТИКА»?

Павел Белицкий. Разговоры. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 192 стр.

Книга московского поэта и литературного критика Павла Белицкого «Разговоры» любопытно составлена: ее пространство поделено между чередующимися поэтическими и эссеистическими циклами (ранее публиковавшимися в журналах «Октябрь», «Арион», «Вопросы литературы» и других периодических изданиях).

Идея объединения этих жанров под одной обложкой, похоже, начинает завоевывать популярность. Вспомним вышедшую в издательстве «Лимбус-Пресс» книгу Геннадия Айги «Разговор на расстоянии» так же, как и книга Белицкого, включающую в себя эссеистические и стихотворные разделы и затрагивающую темы назначения и смысла поэзии.

Само название «Разговоры» предполагает наличие реального или воображаемого собеседника — либо подразумевает некий внутренний монолог, *разговор с самим собой*, и в то же время — определенную публицистичность. Жанр этот не нов и весьма распространен — от «Диалогов» Платона до самых последних книжных новинок. В качестве примеров можно привести не только уже упомянутую книгу

¹ Другое, во многом противоположное, мнение о новом примечательном романе Анатолия Наймана читатели «Нового мира» могут обнаружить в разделе «Периодики», составленном Павлом Крючковым (2003, № 7, стр. 236). Редакция склоняется скорее к мнению составителя «Периодики», хотя не отказывает рецензенту текущего номера в оригинальности и остроте анализа. (*Примеч. ред.*)

Айги, но и «Разговор о рыбе» Павла Улитина (культурологическая эссеистика), «Разговор о стихах» литературоведа Ефима Эткинда, «Разговоры» князя Сергея Волконского...

Конечно, эти пересекающиеся названия — не заимствование, а скорее свобода номинации. Но совершенно очевидно — для русской литературы уже стало традицией, что *разговоры* так или иначе затрагивают именно вопросы культуры и современного искусства.

Поэзия плюс литературоведение под одной обложкой — это придает текстам внутренний динамизм, даже, если угодно, конфликт, что вторит идее автора о драматическом взаимодействии пластов литературы, выражающемся в нашем случае в противопоставлении жанров.

И вот что еще дает право этим эссе становиться в один ряд со стихами. Сама критика Белицкого в какой-то мере и есть *поэзия*. Существует расхожее понятие «проза поэта», предполагающее некий утонченно-изысканный стиль письма. Похоже, можно всерьез говорить и о термине «критика поэта».

Впрочем, и таких случаев в истории литературы было уже сколько угодно: от Иннокентия Анненского с его «Книгами отражений», от барона Николая Николаевича Врангеля (брата известного белогвардейского генерала), блестящего знатока искусств, хранителя Императорского Эрмитажа, чью художественную критику современники находили *поэзией*, до современного петербургского писателя Виктора Сосноры.

Читаем у Белицкого:

«Глаз Флобера, — круглый, выпученный, — будто приспособлен читать только набранное петитом.

Нет, не „тина мелочей“, но пальцы, собранные в скрупулезную, тщательную щепоть: даже японская кисточка велика для столь мелких деталюшек, столь тонких, просвечивающих полутонов; в такой щепоти можно булавку держать, как кий, и — великое искусство! — весь роман, вся история жизни разыгрывается бисерным бильярдом ритма фраз, рикошетов интонаций и падежных окончаний, выверенных, как дуплет...»

Вдохновенный, виртуозный слог, обилие парадоксальных идей и умозаключений... Что же это еще, как не поэзия?

Первый раздел «Разговоров» озаглавлен по-гречески «Χροῖος Πρωτος». За ним следует любопытное эссе «Символика пещеры и скитания Одиссея», в котором, отталкиваясь от трактата Порфирия «О пещере нимф», посвященного разбору и истолкованию XIII песни «Одиссеи» Гомера, автор исследует мифологему пещеры — «земного лона», «срединного царства мировой горы (земли)» — и символическое значение ее посещений-инициаций. «Одиссей, путешествуя по лону земли „ни живой, ни мертвый“, как бы балансирует на пороге двух миров». Это «сакральное пространство, находящееся между реальным миром и царством мертвых, связанное и с тем и с другим и являющееся как бы неким ярусом между ними, некоей стадией на пути из одного мира к другому. Она же — лоно и утроба земли, сочетающая в себе функции зачатия, плодородия, но и погребения (в последнем случае возможно еще и возвращения, и воскрешения — от египетского ба, возвращающегося за своим ка, ожидающим в усыпальнице-пещере внутри горы-пирамиды, до воскрешения Лазаря). То есть пещера — пространство промежуточных, переходных состояний, где возможно только не подлинное и неполное существование, подобное сну».

Эти древние образы нашли отражение и в поэзии Павла Белицкого:

Мне вняты стали каменные сны.

.....

Я выхватил из мраморного мрака
 Два имени загадочных: итака
 И телемак. Ни свойства, ни числа,
 Ни действия, ни признака, ни знака
 Не знаю их. Но помню: плеск весла,
 Как женщину ласкающего воду,
 Наваял мне тяжелый, долгий сон.

А влага, проточившая породу,
 Теперь меня в пещере пробудила...
 Бродил ли я, душа ль моя бродила?
 Гипнос со мной шутил иль Посейдон?..

(«Пробуждение Одиссея»)

Следующий эссеистический раздел — «Человек между временем и культурой» — объединяет размышления о творческой и нравственной позиции Дельвига, Флобера, Вагинова, Маяковского и Блока.

Если эссе о Дельвиге, «таланте прекрасном и ленивом», разменивающим свой гений «на серебряные четвертаки», как и декларируется в названии, — настоящая апология «малозначительного», потерявшего «на строевом смотре российской словесности», но несомненно одаренного поэта, то следующая за ним статья «Господин Флобер» представляет собой не что иное, как форменную филиппику.

На примере романа Флобера «Госпожа Бовари» рассматривается проблема так называемого «текста ради текста», превращения средства в цель, или, если угодно, подмены этой самой цели. «Люди, жизни — только орудия, без которых, увы, не обойтись, придаток к „стилю“, и — ах, если бы можно было написать роман, где не было бы ни сюжета, ни действующих лиц, произведение, которое целиком и полностью держалось бы на стиле, и только на стиле!..»

Главная мысль о «Госпоже Бовари» озвучена устами братьев Гонкур: «Разрезая страницы этой книги, мы вдруг начинаем понимать, чего именно всегда так не хватает нам у Флобера: в его романе недостает сердца...»

«Господин Флобер» предстает нам в образе стилиста-«булавочника», которому в своем романе «было важно одно — передать серый цвет, цвет плесени, в котором прозябают мокрицы», сама же история, которую «нужно было сюда всунуть», так мало занимала писателя, что еще за несколько дней до начала работы над романом госпожа Бовари была задумана как «набожная старая дева, никогда не знавшая любовных ласк».

В эссе о Маяковском «Я хочу быть понятой моей страной» сформулирована суть и задача футуризма: «Если символизм стремился построить поэтическую мистерию и храм, то футуризм в лице Маяковского «стремился распространить их границы до пределов поэтического государства, мыслимого к тому же в масштабах всего „земшара“»

«Человек между временем и культурой» — размышления о творчестве Константина Вагинова. («Поэтика Вагинова — это мистерия распада и хаоса, в котором сталкиваются, перемешиваются и аukaются, блуждая, реалии, казалось бы, самые несопоставимые») Цикл завершает «Разговор о Блоке», передвинувшем «ударение со „слов поэта“ на „суть дела его“».

В следующем цикле эссе, «Слишком человеческое», автор даже выводит определение поэтического искусства: это «высшая форма синтаксиса языка, высшая не только потому, что здесь мыслимы смысловые соединения „прыжками с джонки на джонку“, поперек формальной логики, а логика не фатальна, но и потому, что она — коммуникация, осуществляемая на уровне сочувствия. Поэзия — это синтаксис сочувствия, позволяющий человеческим языком говорить и мыслить о том, что, казалось бы (например, символистам — казалось), словами не скажешь».

Далее Белицкий рассуждает о «деле поэзии и поэзии деланной», «поэзии навыка» и «вялотекущей поэзии»; о корпоративности в творчестве («мануфактур-поэзия»), о современных литературных направлениях, в частности, о постмодернизме: «Это модернизм уже без „метафизического сквознячка“, без метафизики вообще, а потому и без очарования и без веры во что бы то ни было, в том числе и в самого себя».

Автор довольно едко отзываясь о состоянии современного стихотворчества, по сути, постулируя упадок современной поэзии: «Бессмысленная описательность ради описательности, красивость ради самой себя и ничего больше», «„культурная“ версификационная патока».

В нынешней литературе «ничего не болит», «в ней нет ни сюжета, ни диалога, ни действия, в ней все окончательно утряслось, разрешилось и ничего не происходит... Так себе, „контора пишет“. Она же, как следствие, и читает».

«Державинское отношение к поэзии как к делу государственного строительства» утрачено — она превратилась в сугубо частное дело, стала не более чем „интеллектуальной игрой”».

Словом, полный декаданс и развал. Может быть, марш-бросок упомянутых в «Слишком человеческом» поэтов литературного объединения «Алконост» (в котором, кстати, состоит и Павел Белицкий) исправит положение вещей в сегодняшней «вялотекущей поэзии»?

Белицкий находит в своей книге место и проблемам толстых журналов. Раньше периодические издания существовали как органы литературных группировок, между которыми возникал накал страстей, теперь же в журналах сплошная рутинная, создается образ «некой „литературы вообще”, лишенной внутренней драматургии, движения, конфликта».

Но главный вопрос на повестке дня — а кому нужна эта самая литература? И нужна ли она сейчас кому-нибудь? И Павел Белицкий назвал этого человека, дав точное определение его (существующему ли?) антиподу, — «непишущий читатель». Стало быть, она нужна *тем, кто пишет*. Развивая эту мысль, хочется продолжить: похоже, читателя в чистом виде больше не существует. Просто в профессии занято достаточно людей, чтобы создать видимость интереса и впечатление, что есть потребитель.

Эссе Белицкого написаны вдумчиво, изысканно, профессионально (то есть в определенном смысле неуязвимо), с интеллектуальным блеском и обилием ссылок. Общий тон подкупает — тон ученой беседы, философско-филологической дружбы с читателем. И несмотря на то что порой в нем сквозит некоторая дидактичность и явно назидательные нотки, — это текст, который хочется читать с карандашом в руке.

Вернемся к собственно поэтическим разделам. Их четыре: «Хрөөоо Прөөоо», «Ямбы», «Из разговоров о Москве» и «Из „Безыскусных разговоров”». Тематика стихотворений простирается от античной мифологии («Два послания к музе», «Дева, летящая с трубой и лавром в руках», «Архаики чудовищная кость», «Пробуждение Одиссея») до современных реалий («Вот я снова — в посвисте железном...», «До кольца и — на „Парк культуры”»). Заметно много стихотворений посвящено «филологическим» темам — творчества, поэзии, словесности, литературы:

И мы грызем глагольчик — пресный,
Как поминальная кутья.

Или:

Или все, что гордо зову «словом», «слогом», «речью»,
Для Тебя лишь нечто
Вроде маргышки на трапедии?..

Если Белицкий-эссеист, как уже говорилось, не чужд дидактики, то отличительная черта его стихотворений — отсутствие итоговой морали. Это стихи «без конца», обрывающиеся на логическом многоточии. В них нет выведенного резюме, итога — того, что принято называть «чувством финала».

Именно такое стихотворение с открытым концом — «Постскриптум» — завершает собой «Разговоры» и ставит в конце книги-беседы это самое многоточие вместо привычной точки.

Поговорим... Да о чем говорить...
Глупо пустое в порожнее лить,
стыдно словами играть...
Все, что понятно, — понятно давно,
все остальное — как было темно,
так и осталось, и будет опять...
вроде не то чтоб... но все же оно...
как бы сказать....

По иронии судьбы с этими строками перекликается одно из стихотворений уже упомянутого здесь поэта и критика барона Врангеля:

...Не судите ж меня строго.
 Что я, себе же на беду,
 Вам написал белиберду.

(«Мое завещание»)

Что ж, как шутят филологи, жертвы неизбежны: книга найдет своего читателя.

Евгения СВИТНЕВА.



...А ОНИ К НАМ ВСЕЙ СПИНОЙ

Апология Украины. Сборник статей. Редактор-составитель Инна Булкина. М.,
 Модест Колеров и «Три квадрата», 2002, 221 стр.

Темна наша родина... Блуждает она за ветря-
 ками и никак не найдет веселого шляха.

Микола Хвильевый, «Синие этюды».

Десять украинских авторов (с добавлением Милана Кундеры) размышляют, куда идет Украина и пришла ли она к чему-нибудь по истечении первого десятилетия независимости, — так получился сборник «Апология Украины». Составитель Инна Булкина пишет, что первоначально задумывался диалог российских и украинских авторов, но из этого ничего не вышло: те и другие «не просто пишут про Украину по-разному, они в принципе пишут о разных вещах».

В год торжества незалежности украинская интеллигенция, за немногими исключениями, была убеждена, что «веселый шлях» ведет в Европу; со своей стороны Европа, казалось, готова была принять в свои объятия заблудшее чадо. И вот: «2001-й, юбилейный для Украины год, — пишет Оксана Пахлёвская, — был ознаменован глубоким скепсисом с обеих сторон: Украина обвиняет Европу в прагматизме и непоследовательности, в непонимании собственно украинских проблем. Европа зеркально отражает тот же самый репертуар обвинений, переадресуя их Украине...»

Что Украина даже в еще большей степени, чем Россия, выглядит сегодня дурнушкой в европейском хороводе, это понятно. Материальное разорение (значительно большее на Украине, чем у нас), ниже умственное никого не красят. Не исправляют положение (скорее усугубляют его) раскрутившиеся скоробогачи (нередко с криминальным уклоном), впавшие в опасную иллюзию, что они суть подлинные хозяева не только настоящего времени, но и будущего тоже. Россия, хоть и опираясь на костыли, еще сохраняет имперскую осанку; и еще выделяется на мировом торжище богатствами своих природных закромов. А Украина, просто сколок советской империи, хотя и очень крупный (по территории она примерно равна Франции, да и по численности населения не сильно ей уступает), остается «на задрипанках» европейской и мировой жизни.

В Европе она, как пишет Наталка Белоцеркивец, *кривенька качечка* (хромая уточка), пытающаяся заново обрести идентичность — из перышек, небрежно брошенных ей перелетными стаями.

Вопрос самоидентификации для Украины особенно сложен. Русские привыкли считать украинцев братьями, вышедшими из одного семейного гнезда — Киевской Руси. Татаро-монгольский ураган, налетевший с востока, под ударами которого рухнула Киевская Русь, обычно как-то выводит из поля внимания, что происходило в западной, в частности, юго-западной ее части, той, что впоследствии стала называться Малороссией (в значительной степени огражденной от татаро-монгольского ига литовским щитом). Формирующийся великорусский гигант, поглощенный борьбой с восточными ханами, мало интересовался, чем живет будущая Малороссия. Между тем у нее завязался продолжительный, на несколько веков растянувшийся

«роман» с Польшей¹. Результатом явилась определенная полонизация Украины — сильно выраженная на Западе, где дошло до обращения населения в католическую веру, и убывающая по мере продвижения к востоку. Когда совершилось (этапами — с 1654 по 1795 годы) воссоединение Великобритании с Украиной (впрочем, оставшее вне русского флага Галицию), это была уже во многом инородная страна, внутренне расколота между католическим Западом и православным Востоком.

Сегодня этот раскол дает о себе знать, быть может, как никогда остро. Пишет та же Белоцеркивец: «Выбор: Россия — Европа, который со времен Хвылевого снова вышел на передний план украинских (и, наверное, белорусских) интеллектуальных дискуссий, для людей, которые мыслят проще (или конкретнее), означает противопоставление „коммунизма” — „капитализму”, тоталитаризма — демократии, отсталости (провинциальности) — цивилизации и высокой культуре». Для других людей, которые мыслят сложнее, включая автора процитированных строк, понятия «Россия» и «Европа» заслуживают более разнообразных характеристик, это во-первых, а во-вторых, Украина не так уж свободна в выборе между ними, как этого хотелось бы ее нынешним западникам.

Вот последовательный западник Юрий Андрухович, сидя где-то в предгорьях Альп, вздыхает о том, какая-де Средняя Европа ухоженная, сколько здесь внимания к «мелочам» быта, какое чувство формы выработано веками и т. д. и т. п., а Украина имела несчастье принадлежать к миру, где три года скачи — найдешь все то же Великое Ничто и ничего кроме. Она ли в этом виновата? Оказывается, все дело «в нашей беззащитности перед Востоком».

Нельзя отрицать, что приведенная антитеза, вынесенная непосредственно из советского опыта, имеет некоторый смысл. Неверно здесь то, что Украина представляется объектом деструктивных (назовем их таким скучным словом) сил, но никоим образом не их субъектом.

Чуть западнее на сей счет думают иначе: то «страшное» и «безумное» (М. Волошин), что есть в российской жизни и российской истории, исходит также и от Украины. Цитируемый Кундерой польский писатель Казимир Брандыс пишет: «Судьба России не является частью нашего мироощущения, она чужда нам, мы за нее не в ответе. Она давит на нас, но не является частью нашего наследия. Примерно так же я реагировал на русскую литературу. Она пугала меня. Поньше меня ужасают некоторые рассказы Гоголя и все произведения Салтыкова-Щедрина. Я бы предпочел не знать этот мир, не знать о его существовании». Кундера уточняет: «Брандыс, конечно, не отрицает художественной ценности творчества Гоголя, он говорит лишь об ужасе отображенного им мира. Пока мы находимся вне этого мира, он чарует и притягивает, но, смыкаясь вокруг нас, тут же являет свою ужасающую чуждость».

И ведь никто, кажется, не отрицает, что Гоголь украинец, хотя и писал по-русски. И многие сюжеты его, из числа тех, что ужасают некоторых западных читателей, — украинские. И рождены украинской землей. Таков Вий («колоссальное создание простонародного воображения», согласно авторскому примечанию), что весь в черной земле, а лицо на нем железное; таковы и другие его жутковатые создания, вдруг возникающие посреди всеобщего веселья. Даже чудный при тихой погоде Днепр в иных случаях может ужасать, как в «Страшной мести»: «Весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи».

Примечательно, что «безумное» украинской истории вызывает у нынешних украинцев не столько осуждение, сколько одобрение: об этом свидетельствует, в частности, широко распространенный, особенно среди русскоязычных, культ батки Махно (он был русскоязычным). Махновщина, эта новейшая трансформация казатчины, выступает как воплощение исконной украинской воли к свободе, как «пропащая сила», изначально обреченная и тем не менее сохраняющая обаяние в глазах современной психологической Гуляйпольщины.

Да и сама казатчина, пользующаяся еще более широким и даже официальным признанием, есть порождение Дикого поля со всеми вытекающими отсюда послед-

¹ Подробнее я писал об этом в статье «Украинский вопрос» — «Дружба народов», 1993, № 10.

ствиями. Лишь с большой натяжкой можно видеть в Запорожской Сечи начатки государственности; скорее это была разбойная вольница, славная, правда, своими походами против ляха или татарина, но и «гулявшая» иногда по собственной украинской земле так, что сплошной стон в ней стоял.

А украинское народничество — не только враждебное петербургской империи, но и глубоко чуждое «немецкой Украине», то есть Галичине, которую оно и за Украину-то не признавало, — было, если можно так сказать, еще более народническим, чем в России, по той простой причине, что на Украине не было своего национального дворянства (если не считать казацкой старшины, приравненной к дворянству при Екатерине II), а было только русское и польское (точнее, русскоязычное и польскоязычное), крестьянами воспринимавшееся как вдвойне «чужое». Украинское народничество не ограничивалось любованием шевченковским миром вишневого сада и девичьих песен, но объявило непримиримую войну дворцам, а наиболее воинственное его крыло, возглавленное В. Антоновичем и прозванное хлопоманским, стало идеализировать гайдамаков как «резателей панов и жидов». Не удивительно, что эта народническо-хлопоманская стихия стала органической частью Русского бунта семнадцатого и последующих годов.

Стоит заметить, что М. Хвильевый (1893 — 1933), который в статье Александра Гриценко выставляется западником, может считаться таковым лишь в весьма специфическом смысле. Иначе трудно понять, почему, например, Катрю, пожалуй, единственное положительное лицо главного его произведения «Повесть о санаторной зоне» (1924), тянет не в Европу, а в прямо противоположную сторону — в Сибирь, где «воют северные ветры, зато как славно»; и наоборот, «именно в Лондоне и подобных городах» находится, по ее мнению, «настоящая пустыня», и жить там тягостно и «скудно».

Да, Хвильевый был влюблен в Европу «докторов Фаустов», понятую в духе некоего футуристического конструктивизма. Но путь в эту Европу пролегал, с его точки зрения, через радикальное обновление. Как говорит другой персонаж «Повести о санаторной зоне»: «Мы видим, что западная цивилизация гниет и в ней гниет человечность (тема Н. Я. Данилевского, тоже, между прочим, украинца — Ю. К.). И мы знаем: вскоре придет новый спаситель, и предтечей ему будет Аттила. Предтеча пройдет с огнем и мечом мятежной грозой по полям Европы, и только тогда (только тогда!) свежие потоки прорвут напряженную атмосферу». И откроются двери в некий «прекрасный загоризонтный край».

Странное «западничество», особенно на сегодняшний взгляд, когда футуристический конструктивизм уже не вызывает прежнего энтузиазма, а Аттила, который *semper in motu* (наступает по-прежнему — да с разных концов) становится многолик и, во всяком случае, никакого обновления Европе не несет.

Все сказанное не отрицает, конечно, того, что в глубинном смысле Украина принадлежит Европе. М. Н. Катков писал, что Европа есть то, что основывается на фундаменте греко-римской древности. В освоении классического наследия Украина, увлеченная Польшей, шла впереди Великороссии и, более того, в продолжение длительного времени тянула ее за собой. Архангельский мужик, с которого все в новой России начиналось, учился в Славяно-греко-латинской академии, которую украинцы — низкий поклон им за это — основали в Москве. Но последующее развитие *европеизма* в культурных верхах России весьма осложняет для украинцев вопрос о том, простирается ли Европа (в культурном отношении) только к западу от них, или к востоку (точнее, к северо-востоку) она тоже в некотором существенном смысле присутствует.

Как бы то ни было, в языковом отношении большинство украинцев и сейчас примыкает к России. Это у нас складывается впечатление, что русский на Украине вытесняют, — а если верить авторам сборника, насаждение украинских школ — отчаянная и совершенно безнадежная попытка справиться с засильем русского языка. Тарас Возняк, например, пишет о «практически повальной и окончательной уже русификации Юга и Востока»; здесь люди «на самом деле живут в российском информационном пространстве, проникаясь проблемами государства Россия, и потому по большей части пребывают „россиянами“, а не „украинцами“». Даже в

столице, утверждает Мыкола Рябчук, «государственного» языка практически не слышно, а попытки воспользоваться им публично нередко натываются на раздраженное: «Мы этого коровьего языка не понимаем» — или попросту: «Да говори ты на человеческом языке!..»

При этом никто из авторов сборника даже не помышляет о том, чтобы вернуться в лоно России. Как говорится, мы к ним всей душой, а они к нам всей спиной. Не случайно попытка составителя организовать диалог сорвалась: похоже, что авторов «Апологии Украины» просто не интересует, что можно услышать от российских коллег. Возможно, они не читали даже Г. П. Федотова, чьи статьи составили вежу в осмысливании украинского вопроса русской интеллигенцией. Сужу по тому, что единственная в сборнике цитата из Федотова взята не из первоисточника, а из какого-то украинского журнала.

Поразительно единодушие, с каким авторы сборника считают, что до 1991 года Украина была «колонией» России. Это примерно то же самое, как если бы шотландцы посчитали свою страну английской колонией. У шотландцев есть, как известно, свой нор, свое наречие, существенно отличающееся от английского литературного языка, есть, наконец, давние счеты с Англией, из-за которых многие шотландцы и посейчас косо смотрят в сторону южных соседей. Но что-то я не припомню, чтобы Шотландию принято было называть английской колонией. Напротив, рядом с англичанами шотландцы всегда ощущали себя — и воспринимались остальным миром — как соимперская нация. А Р. Саути, Р. Л. Стивенсон и другие шотландцы в стихах и прозе так же приветствовали «Юнион Джек» на мировых путях, как это делали их английские собратья.

До некоторой степени подобным же образом и украинцы были в составе Российской империи (как и позднее СССР) соимперской нацией. Это настолько очевидно, что вполне может быть принято без доказательств. Дело доходило до того, что в окружении Александра II одно время всерьез подумывали о переносе столицы империи в златоверхий Киев, поближе к Константинополю (идею подбросил фельдмаршал А. Барятинский, который был сторонником «натиска на юг»).

Говорят, что Украина чувствовала себя ущемленной в части языка. Но украинцы, которые сами себя знали за русских, вольны были говорить по-украински с кем угодно, кто только их понимал (так по крайней мере было до 60-х годов XIX века). А что при петербургском дворе и в свете принято было пользоваться русским литературным языком, так это естественно. В лондонском свете тоже не принято было пользоваться шотландским наречием, как и в Париже — говорить по-провансальски; никому, однако, не приходило в голову считать на этом основании Шотландию и Прованс колониями соответственно Англии и Франции.

Повторю, что некоторая инаковость Украины в составе России не подлежит сомнению. Факты, однако, говорят о том, что в иные времена империя не только не мешала проявлениям инаковости, но сама способствовала им.

Все великие империи, видимо, стремятся к тому, чтобы объять необъятное. Об этом размышляли римские писатели IV — V веков, приходя к запоздалому выводу, что в свое время Риму было бы лучше воздержаться от захвата некоторых территорий, ставших для него только обузой, а в конечном счете способствующих начавшемуся распаду империи.

Нечто подобное произошло и с Россией. В 1795 году третьим разделом Польши Екатерина II фактически восстановила западную границу Киевской Руси (вне ее осталась только сильно полонизированная и сверх того еще и онемеченная Галиция). Но внутренне присущий империи импульс расширения толкал ее дальше, и спустя двадцать лет к России была присоединена сама Польша (примерно в границах наполеоновского Великого герцогства Варшавского). Великодушный Александр I, объединив две страны под одной державой, дал Польше относительно либеральную конституцию; более того, рассматривал ее как прообраз будущей российской конституции. Это, впрочем, хорошо известные факты; менее известно другое: ясновельможные получили возможность «тихой», но от этого не менее значимой религиозно-культурной реконквисты на территории, ранее присоединенной к России по трем екатерининским разделам. И так продолжалось фактически до

польского восстания 1863 года. Применительно к этим годам выражение «лях создал хохла, чтобы насолить москалю», не вполне лишено смысла.

Восстание, которое Александр II назвал «бесплодным» (оно, впрочем, не для всех было таковым: один из моих прадедов, разгромив повстанцев, привез домой в виде «трофея» жену-полицу, народившую ему потомство), между прочим, ставило целью не только восстановление независимости Польши в границах Царства Польского, но и присоединение к ней ранее отторгнутых украинских и белорусских земель. Лишь тогда в Петербурге осознали, что «домашний старый спор» ведется не только на поле брани, и лишь тогда воспоследовали ограничения на употребление польского и украинского языков².

Другим опрометчивым шагом на западном направлении было, по-видимому, присоединение Галиции в 1939 году — глубоко окатоличенного края, со времен Киевской Руси никогда не принадлежавшего России. Когда рассыпался СССР, Галиция (это четыре или пять областей) со всей доступной ей энергией потянула Украину «прочь от Москвы».

В результате Украина оказалась глубоко расколотой по географическому признаку; настолько, что, по мнению некоторых авторов, говорить о единой нации можно только с большой долей условности. «Лишь треть населения Украины, — утверждает, например, Рябчук, — имеет четкое национальное самосознание... Две трети — это не россияне и не украинцы, это „местные“... Потенциально они могут стать и россиянами, и украинцами, и даже гражданами Киевской Руси, а могут и сотворить — сколотить какую-то свою, херсонскую или криворожскую, нацию (наподобие „крымской“, которая, похоже, творится на наших глазах)». Особенно далеки друг от друга, чтобы не сказать враждебны друг другу, восточные украинцы и «западенці», «бандерівці», которые, с точки зрения первых, «випендрюються», пытаясь говорить на своем «правильном» (то есть еще в XIX веке нарочито полонизированном) языке за всю Украину.

Можно сказать, что в этом конкретном отношении Украина как раз движется в сторону Европы, где мало-помалу размывается общенациональное (немецкое, итальянское и т. д.) чувство и, наоборот, усиливается чувство своей областной принадлежности.

В целом тяга украинской интеллигенции (или по крайней мере той ее части, чьи взгляды отразила «Апология Украины») в сторону Европы, конечно, сохраняется, только за последнее десятилетие она стала более выборочной. Многих нынешняя Европа отталкивает: если коротко — изменяю своей собственной сущности. Если подробнее — равнением на американские модели, самодовольством толпы, проистекающим отсюда падением нравов; «брюссельской бюрократией», наконец. Такое отношение к Европе, точнее, к западной ее половине ныне разделяется частью интеллигенции в других странах Восточной (бывшей подсоветской) Европы, включая и саму Россию.

В то же время некоторое охлаждение в отношении Европы отнюдь не сопровождается (речь идет по-прежнему об авторах «Апологии Украины») потеплением чувств к восточному соседу. Напротив, вызывает настороженность процесс «белорусизации», как его называют, Украины — экономической экспансии России, проводимой теперь уже на капиталистической основе: более мощные российские олигархи скупают на Украине собственность и привязывают к себе тамошних олигархов, которым «западенская» символика незалежности не мешает ставить «себе-карманные» интересы выше всего остального.

Не прибавляет симпатий к России возрождаемая у нас советскость. В этом отношении с авторами «Апологии», кажется, солидарна украинская интеллигенция в своем большинстве.

Другой аспект. Как это ни парадоксально, волны американизации идут не только с запада, но и с востока: русскоязычная Украина воспринимает их через русский

² Очернители империи постоянно напоминают об этих ограничениях, оставшихся в силе, в общем, около сорока лет, и «забывают» о предшествующем, гораздо более длительном, периоде терпимого или даже поощрительного отношения к польскому и украинскому языкам.

шоу-бизнес, более вульгарный и более циничный, чем западный. В этом еще одна причина, почему украинская интеллигенция поворачивается к нам спиной.

Главная беда Украины, с точки зрения авторов сборника, — отсутствие национальной идеи, еще более заметное, чем в России. На мой взгляд, вопрос лежит несколько глубже. Национальная идея — это все-таки уже сознательный конструкт. Речь должна идти о выявлении фундаментальных интуиций, о новом их озвучивании, которое позволило бы продолжить движение в сторону гражданского общества западного классического типа и в то же время позволило бы восстановить историю теснейших связей с Россией (в основе коих — не только и даже не столько исхождение от одного этнического корня, сколько православие).

Жан-Франсуа Лиотар писал, что Большой нарратив европейской истории не только допускает, но и предполагает существование, равно для больших и малых народов, неких *petits récits*, «рассказиков», «побасенок», плотно заполняющих собою европейский хронотоп. *Petits récits*, утверждает Лиотар, таковы, что их нельзя использовать; напротив, это они используют нас, чтобы выразить себя. Надо лишь суметь сообразовать их с наступившей новью (к России это относится так же, как к Украине). В противном случае получится как у Гоголя, где сорочинский заседатель, чтоб ему не довелось больше обтирать губ после панской сливянки, так неудачно выбрал место для ярмарки, что, кажется, никакое дело там не выгорит и о любом парубке, что там толчется, можно сказать, «ще спереди і так, і так; а ззаду, ей-же-ей, на черта!» (что спереди он еще так-сяк, а сзади, ей-же-ей, похож на черта!).

Юрий КАГРАМАНОВ.

АПОЛОГИЯ «МИНИМАЛЬНОЙ» УКРАИНЫ*

Центральноевропейские предпочтения украинских интеллектуалов свидетельствуют об их пассивных жизненных стратегиях

В России об Украине знают довольно мало, и познания эти весьма стереотипны, поэтому представления об этой стране, образом Украины, его смысловой наполненностью в сознании российской интеллектуальной публики манипулировать не так уж и сложно.

Именно подобные мысли посещают при чтении сборника «Апология Украины», рассчитанного прежде всего на российского читателя и недавно изданного в Москве в почти гесиодовской серии «Труды и дни» совместными усилиями известного историка и политтехнолога Модеста Колерова и издательства «Три квадрата».

Составитель сборника Инна Булкина, прежде известная как ученица Лотмана, как толкователь поэзии Боратынского, как редактор и соиздатель киевского журнала «Зоил» и обозреватель «Русского Журнала», дебютировала в новом для себя амплуа — составителя сборника концептуальной геокультурной эссеистики, а также переводчика с украинского языка.

Собранные ее промыслом под одной обложкой тексты весьма разнообразны в жанровом плане, что есть несомненная удача: эссе, публицистические, концептуальные и научные статьи. Впрочем, для издания подобного рода, ориентированного на представление в России заведомо малоизвестных тем, странным кажется отсутствие сведений об авторах и о времени написания или первой публикации самих текстов. Не вполне прозрачен и способ «собирания» последних — так один приятель автора настоящих заметок, чей текст помещен в сборнике, только от него и в связи с их написанием узнал о своей причастности к инно-булкинскому проекту.

Заняты эссе Юрия Андруховича и Игоря Клеха об их ощущении пространства: баварского — в соотнесении с Украиной и европейскими путешествиями первого и львовского — в соотнесении с Москвой и московской жизнью второго.

* Еще один взгляд на рецензируемый сборник. (Примеч. ред.)

Воспроизведен также фрагмент знакового для апологетов центральноевропейского дискурса эссе Милана Кундеры «Трагедия Центральной Европы», эссе написано почти двадцать лет назад и множество раз перепечатано в русскоязычной прессе, в том числе Глебом Павловским в журнале «Век XX и мир». Европа — как высшая ценность: «Мы умрем за Венгрию и за Европу». «„Умереть за свою страну и за Европу“ — такая мысль не может прийти в голову москвичу или ленинградцу, но именно так могут подумать в Будапеште или Варшаве», — пишет Кундера. Конечно же, он не прав, но лучше бы он был прав — сложно посчитать, сколько москвичей, ленинградцев и прочих жителей не-Запада умерло хотя бы за последние сто лет во имя процветания «Европы», под которой в данном случае подразумевается «Большой Запад».

Есть еще тексты Наталки Белоцеркивец, Александра Гриценко, Оксаны Пахлёвской, Мыколы Рябчука, Тараса Шумейко, Костя Бондаренко, Тараса Возняка и Владимира Золотарева. Большинство из них лишено менторского тона и апологетического пафоса — используется, как правило, технология «мягкой» пропаганды. Поэтому спорить или соглашаться со словами — бесполезно, интереснее — со смыслами.

Основная интенция, главный «message» почти всех авторов и составителя Инны Булкиной — о том, что Украина должна стать частью Центральной Европы. При этом сама «Центральная Европа» понимается как несомненное благо, вера в которое не может подвергаться никакому сомнению.

О том, что Центральная Европа — это лимитроф (цивилизационная окраина) «настоящей», романо-германской, Европы и что центральноевропейская идентичность исключает какую бы то ни было геополитическую субъектность, то есть этим странам дозволено быть лишь сателлитами, ни в сборнике, ни на Украине вообще предпочитают не говорить.

О том, что Центральная Европа — это ареал распространения западного христианства и интеграция туда предполагает усиление грекокатолического вектора и ущемление православного, пытаются просто «забыть».

О том, что главный культурный конфликт на Украине — это конфликт не между русскими и украинцами, между русско- и украиноязычными, между москвофилами и москвофобами, между сторонниками и противниками вступления в НАТО, а между носителями центральноевропейской геокультурной идентичности и восточноевропейской, основанной на поствизантийском наследии, стараются не вспоминать.

О том, что за «Центральной Европой» не стоит никакого универсального смысла, никакой своей «большой правды», что за нею нет никакой активной, созидательной, витальной энергии, тшчатся умолчать и убеждают себя в обратном.

Иммануил Валлерстайн, впервые введший само понятие геокультуры, понимал под нею определенный культурный способ иерархической организации мирового пространства, в котором выделяются общества, входящие в цивилизационное ядро мира («Золотой миллиард»), периферийные общества, общества-«изгой» и общества-полупериферии. Сборник Инны Булкиной фактически направлен на то, чтобы убедить себя, а также и российских читателей в том, что Украина в условиях Нового Мирового Порядка вполне достойна стать обществом-периферией. Иначе говоря, из Украины-Малороссии, «окраины» пространства с центром в Москве или Санкт-Петербурге, превратиться в «окраину» Большой Европы.

Авторы статей — люди по большей части интересные, но отобранные тексты нередко тусклы и банальны, предсказуемы почти все ходы авторских мыслей.

И о том, что «консолидирующей идеей для украинского общества может стать отныне его европейская природа, культурный синтез его многовековой европейской традиции, глубоко выстраданной и оплаченной слишком большими жертвами» (Оксана Пахлёвска).

И о том, что «Украина еще не стала ни по-настоящему плюралистическим открытым обществом, ни по-настоящему постколониальным государством: в ней и до сих пор диковинным образом соединяются черты неокOLONиализма, автоколониализма и внутреннего колониализма» (Мыкола Рябчук).

И о том, что «построить эффективную и самостоятельную идентичность на основе фактического билингвизма населения Украины (в условиях жесткого прессинга со стороны российского неоимперского дискурса и неороссийской/русскоязычной идентичности) невозможно» (Тарас Возняк).

Впрочем, ценна следующая мысль того же автора: «За независимость нового государства Украина и воплощение проекта „Украина“ не было пролито практически ни единой капли крови. Поэтому он в буквальном смысле слова бесценный. Ему нет цены, он не оплачен, и потому его должным образом не ценят».

Ну а сравнения типа нижеприведенного пускай останутся на совести авторов (в данном случае — поэтессы Наталки Билоцеркивец): «Что касается русского дракона, то наш Юрий Змиборець обречен его побеждать — и никак не победить. Возможно, Юрий и змий способны существовать лишь вдвоем?..»

Встречаются, конечно, и более здравые взгляды на геокультурную реальность: «Если понятие интеграции Украины в Европу (или возвращение в Европу, если кому-то так больше нравится) и имеет не мифологическое, но конструктивное содержание, то содержание это, думаю, тождественно созданию в нашей стране зрелого гражданского общества и развитой рыночной экономики. Ни в какой другой „европеизации“ я потребности не вижу» (Александр Гриценко).

Из всего контекста выбиваются две статьи — «Проект „Украина“» Костя Бондаренко и «Украинский культурный герой: Иван Сирко, Нестор Махно, Тарас Бульба» Тараса Шумейко. Возможно, по той причине, что в них заявлено в чем-то максималистское видение Украины: первый говорит о возможности «дерзкого и веселого» украинского будущего — без дерзости и веселья Украина обречена, и именно это весьма красноречиво показало минувшее десятилетие. Второй исследует феномен «мятежного героя» в украинской культуре на примере литературного Тараса Бульбы и вполне исторических — запорожского кошевого атамана Ивана Сирко и героя Гражданской войны Нестора Махно. А ведь именно подобные личности дают Украине надежду на некую максималистскую перспективу, на определенную осмысленность собственного существования.

Да, «проект страны», «проект „Украина“» — это красиво. Но стране крайне необходима и сверхзадача, сверхсмысл существования. А об этом в нынешней Украине никто не говорит, никто не пишет, никто не думает.

Нынешняя Украина как реальная страна, как участник международных и геополитических отношений по большому счету лишена какого бы то ни было продуктивного смысла. Печально, что люди, имеющие репутацию «лучших умов» Украины, начисто лишают даже ее «проект» какого бы то ни было трансцендентного измерения.

«По умолчанию» подразумевается, что сборник репрезентирует как бы всю панораму существующих на Украине геокультурных рефлексий, однако имеет место тонкая манипуляция с сознанием российского читателя: практически все тексты — об одном и том же — о благостности и неотвратимости так называемой «евроинтеграции». Но в украинском общественном сознании, даже в сознании интеллигенции, нет такого единомыслия по этому вопросу, тем более если подразумевается интеграция в НАТО и даже в ЕС.

Единственная позитивная роль «Апологии Украины» в том, что она довольно точно фиксирует весь набор «минималистских» стратегий и стереотипов относительно Украины — по крайней мере авторы-«минималисты» существенно облегчили задачу тем, кто захочет сформулировать, описать контуры и геокультурную матрицу этой самой иной, новой, «максимальной», Украины.

Проблема лишь в том — как и всегда для украинцев, — кто же готов стать максималистом?

Андрей Н. ОКАРА.

*

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОСТОИНСТВА

Соломон Волков. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. [Предисловие Якова Гордина]. М., «ЭКСМО», 2003, 704 стр.

Книга начинается так. 16 мая 1965 года четверо молодых музыкантов приехали в Комарово, чтобы играть Ахматовой квартет Шостаковича. Пока длилась музыка, пошел град, сменившийся снегом. Потом выглянуло солнце, взошла раду-

га. «Я только боялась, что это когда-нибудь кончится», — сказала Ахматова, выйдя на крыльцо.

А за два с половиной века до описываемых событий — и тоже 16 мая — молодым царем была, по легенде, заложена крепость на острове Заячий: Sankt Piter Bourkh.

Волков создал не просто книгу по истории города или даже его культуры. Не только разглядел и подробно исследовал двуликий петербургский миф, намеченный уже Пушкиным, — о городе-мучителе и городе-мученике, — но поступил как петербуржец: создал свой миф: — миф о мифе. Миф (мифос, повествование) ведь не есть создание некоей «второй правды», миф есть прежде всего вторая парадигма. А что до легенд — легенды правдивее не-легенд уж тем, что отвечают цельному образу — человека ли, города ли. Что с того, что Петра в тот майский день, может быть, и не было на Заячьем. То есть не было ни орла, ни тесака, ни крестом выложенного дерна. Что с того, что даже точно переданная фраза Анны Андреевны (как и многие ее фразы) похожа на легенду. Из нее вытягивается нить: страха-бесстрашия-стыда-достоинства-терпения — то есть главные темы не только книги Волкова, но и самой истории Петербурга. Как отмечено В. Г. Гаршиным (из дневника Н. Пунина 25 сентября 1941 года¹, А. А. боялась налетов и «вообще всего», а на выражаемые ей восторги по поводу ее бесстрашия отвечала: «Я — не боюсь? Да я только и делаю, что боюсь»). Эта книга еще и о том, из какого *страха* растут — музыка, поэзия, архитектура. Растут, еще как ведая стыд. Эта книга о чисто петербургском феномене: легче сойти с ума, чем изменить духу города — то есть самому себе. Через много лет поэт совсем другой дикции — московский поэт — скажет: «Нам, как аппендицит, / поудалили стыд». Книга Соломона Волкова — о другом месте и другом времени: *до* операции.

Можно ли говорить о культуре Петербурга, не сводя повествование к архитектуре и литературе? Оказалось, что можно. Музыка, театр в целом и балет в частности, живопись, ну и, конечно, поэзия и архитектура — и все равно прежде всего музыка — в стуке топоров, в вертикалях шпилей, в страшных паузах глухоты: волнах невских наводнений, волнах разгневанных толп.

«Музыка — это ветер, и шелест, и говор, и стук, и хрустенье, и визг... Зачем нет регистра „ветер“, который интонирует десятками тона?» (Илья Сац).

Не случайно же, что именно петербургский поэт жаловался, что не слышит больше музыки. Соломон Волков — историк культуры, но прежде всего — музыкант. От этого так интересно в книге все, так или иначе относящееся к музыке. А с нею оказываются связанными и художники «Мира искусства», напитавшиеся Чайковским, и Ахматова, слушающая Шостаковича, и Юдина, читающая с советской сцены Хлебникова и Пастернака. Ну и, конечно, балет: Петипа, Фокин, Балланчин — самое умышленное искусство *в самом умышленном городе*, классицизм, царство пропорций и стиля, строгие линии — кордебалет дворцов вдоль набережных — или другое: барочная фантазия постановок, маски, маски, акварельная бесплотность воздуха, в котором парит нарисованная танцовщица, — а на улице праздник — кареты, кареты, газовые фонари. Лиза вторая, бросающаяся в Зимнюю канавку, — Лиза первая, выходящая замуж, поэзия в музыке, музыка в поэзии и город-декорация, город как вечно меняющийся, но в своей призрачности постоянный задник сцены, — все это великолепный сюжет этой великолепной книги.

Поразительна плотность этой энергии творчества, замечательно переданная автором, ибо и автор ею заморожен. Энергией замысла: от болотистого черновика и видения Города над ним — к его драматическому воплощению. Заморожен превращением черновика в беловик.

Pro speculo = смотреть вдаль. Это — замысел зрения. Город не на сейчас, город на перспективу. Парадная литография «Панорама Петербурга» гравера Алексея Зубова, где уже изображены здания, которых еще нет в природе. Звуки парадов. Российский парадный подъезд: плац, плац, плац. Каллиграфия России.

Книга подробна, как сам город. Эта подробность изображения — не сводимая ни к «натуральной школе», ни даже к акмеизму — отразилась и в повествова-

¹ «Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин». СПб., «Невский диалект», 2002.

нии. Как обычно, читатель Волкова получает тут множество подарков — бесценные детали вроде известной, но легко забываемой фразы Анненского, присутствовавшего при пощечине Волошина Гумилеву: «Достоевский прав — звук пощечины действительно мокрый». Или — интересное и менее известное признание Ахматовой (о той же истории с Черубиной): «Очевидно, в то время (1909 — 1910 годы. — *И. М.*) открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим». Забавный twist, как говорят англичане, к образу А. А. Но вот и другое о ней же: Ахматова отказалась выступать на вечере, где Блок должен был читать «Двенадцать», — и Блок назвал это в своем дневнике «поразительным известием». Неожиданное и смешное — Баланчин об Айседоре Дункан: «танцует, как свинья». Неожиданное и зябкое: «*Это „всего лишь музыкачка“, но в ней есть яд*» (Михаил Кузмин о своих музыкальных сочинениях). Казалось бы, энциклопедии невозможно читать подряд — а от этой книги не оторваться.

Если сравнить английский (первое) ее издание с русским — можно узнать многое о нас самих: сухой остаток — это мы.

Ибо больше всего — это миф о гнете и о терпении. В отличие от расплзающейся под нажимом Москвы, Петербург предстает твердым кристаллом с уже заранее заданными гранями: надавишь — лишь трещины по нему, как весной по невшскому льду, — и молчит.

питер-ни-тер-ни-тер-ни-терни

Легенда: орел, взлетевший во время закладки крепости над головой Петра. Легенда: два куса дерна, вырезанные самим царем и сложенные в виде креста, — «*Здесь быть городу*». Легенда: Достоевский уже на эшафоте успел пересказать соседу сюжет задуманной в Петропавловской крепости повести. Эта последняя легенда, впрочем, больше всего похожа на правду оттого, что Петербург, может быть, самый рабочий город в России — и именно потому не сдавшийся.

Пятая симфония Шостаковича написана в 1937-м, Седьмая — в 1941-м. В книге есть две цитаты, которые стоит привести. В 1937-м Шостакович: «Если мне отрубят обе руки, я буду все равно писать музыку, держа перо в зубах». Прокофьев: «Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасение...» Отзвук цветаевского, московского «в поте пишуший, в поте пашущий» — неслышное *в поте плачущий*. Чайковский, оплакавший город. Ахматова, оплакавшая поколение. Но симфония ли, реквием ли — пишутся, когда слез уже не остается.

Книга Волкова — гимническая ода. Несмотря на известные знатокам и незнатокам компромиссы, история культуры Петербурга предстает здесь как энциклопедия достоинства. Групповой снимок — вроде тех, что висят сейчас в «Бродячей собаке». Какие лица, какие судьбы! Софроницкий, Юдина, Пунин, Соллертинский... Юдина, неожиданно получившая от Сталина крупную сумму денег, написала ему в ответ, что *жертвует деньги на церковь и будет молиться за то, чтобы Бог простил Сталину его тяжкие прегрешения перед народом*. Это — не Петр, на которого в старости Юдина была похожа, — Евгений, грозивший истукану: «Ужо тебе...»

Петербург предстает у Волкова как город, *избранный* быть жертвенной чашей империи.

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар...

«Никто из восторгавшихся ими (этими стихами. — *И. М.*) в годы Первой мировой войны, ни даже их автор — не знали — не догадывались о том, с какой беспощадностью и полнотой жертва, предложенная Ахматовой, будет принята», — пишет Волков. Читатель убеждается в том, что жертва может оказаться — и оказывается — сильнее того, чему она принесена.

Петербург построен на энергии сопротивления: Всадника — болотистой кости почвы и почвы — копытам Всадника.

Читая «Историю культуры Санкт-Петербурга», мы слышим, видим и даже осязаем все происходящее с поразительной для академического по замыслу труда яс-

ностью: окровавленный невский лед, эхо гранитных берегов, акустику набережных, *дымок костра и холодок штыка*. Мы видим, как ночью по улицам мчатся пожарные в шлемах, с пылающими факелами в руках, как над Невой лопаются и шипит фейерверк, пораженно взираем на опустевшую и поруганную столицу, на враз поголубевшее небо.

И все эти совпадения, все неслучайные даты... Всё в этом городе недаром, и всякое событие есть отзвук другого. Оттого так хорошо тут всему, что построено на отклике и цитате. Например, музыке, например, поэзии, архитектуре, живописи, истории — культуре.

Ирина МАШИНСКАЯ.

Нью-Йорк.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА

+5

Мишель Уэльбек. Платформа. Роман. Перевод с французского И. Радченко. М., «Иностранка», 2003, 344 стр.

Уэльбек нашел то, чем можно прошибить и самого толстокожего читателя. Новый роман Уэльбека провокационен не меньше, чем его «Элементарные частицы». Во-первых, писатель снова выносит в повестку дня и ставит во главу угла сексуальность. Читая роман, начинаешь подозревать, что, может быть, это на самом деле потаенный нерв современной западной цивилизации. Вторая бомба в романе — воинствующий антиисламизм. С исламом автор связывает все самое плохое для него в мире: фанатическую одержимость, агрессивный антигуманизм, отсутствие любви как сакральной ценности... Впрочем, Уэльбек готов идти и дальше. «Когда я посетил Синай, где Моисей получил от Бога 10 заповедей, я испытал своего рода откровение. Оно состояло в полном отторжении монотеистических религий, самая тупая из которых — ислам». Так он говорит. Мне кажется, такие заявления свидетельствуют сегодня только об одном: голова у человека работает быстрее его души. Но, как бы там ни было, наживка сработала. И если скандал — средство привлечь внимание читателя к текущей словесности, то скандал был. Коса нашла на камень. Из сетевой прессы мы извлекаем обрывки информации. Скажем, имам Центральной мечети Парижа Далиль Абу Бакр потребовал, чтобы автор «Платформы» предстал перед судом. Имам предъявил Уэльбеку обвинения в том, что он, выражая свою ненависть к исламу и Корану, оскорбляет многомиллионное мусульманское население, и в том, что он призывает врагов арабов совершать преступления против мусульманского палестинского народа... Да, это вам не художочная антисорокинская затея «Идущих вместе». Этак можно и фетву схлопотать. Впрочем, для писателя религиозное негодование имамов только подтверждает его мрачные выводы. А скандал в данном случае лишь средство, интрига в романе Уэльбека — то зерно, из которого вырастает большая и важная мысль. Книга и впечатляет масштабом авторского обобщения, звенящим в ней нервом эпохи. Снова разговор у Уэльбека идет не менее чем о плачевной судьбе скользящей под откос западной цивилизации, о горестной участи западного человека. Выстуженный, идущий вразнос мир, опустошенный и несчастный человек. Уэльбек, конечно, — закоренелый пессимист; но не мизантроп. Отпевая цивилизацию Запада, он, как ни странно, по-своему любит людей. Или, может быть, правильнее сказать, сострадает им. Этаким «пострелигиозный» гуманист, со слезой в уголке глаза. Читая роман, это как-то чувствуешь, а потому вдруг однажды отвечаешь писателю взаимностью. И его одинокие, неприкаянные страдающие герои, Мишель и Валери, не только заняты химерическим коммерческим проектом,

но и пытаются любить. В отличие от «Элементарных частиц», «Платформа» вызвала однозначно благожелательные отзывы в России. Удивляться этому или нет?

Эмиль Мишель Чоран. После конца истории. Перевод с французского Бориса Дубина, Натальи Мавлевич, Анастасии Старостиной. СПб., «Symposium», 2002, 544 стр.

Парижский отшельник Чоран тоже был пессимистом, отчаянным и закоренелым. Но к тому ж он еще и ярый мизантроп, который не верит не только в настоящего сегодняшнего человека («это разноплеменное скопище отбросов, осколки со всех частей света, блевотина вселенной» — вот среди кого приходится ему жить), но и в ницшевского завтрашнего Сверхчеловека. Этот мрачно-величественный остроумец-гностик умел оформить свое перманентное отчаяние в кинжальные афоризмы, по-своему скрестив французскую традицию с Ницше. Афоризм — жанр, который не предполагает никакого продолжения, никакого развития, как не имеет перспективы развития остановившийся взгляд Чорана на мир, его духовный столбняк. Книга Чорана внеисторична и безблагодатна. В клоаке века, на стогнах мирового града Чоран — эмигрант из Румынии, о величии которой мечтал в своей глупой юности, — предается унылому богоборчеству. Не нравится ему Бог. Чоран подозревает, что Бог зол и мстителен. Иначе откуда столько страданий? Почему и зачем проклят человек? Этого Чоран не понимает, фокусируя свое внимание на факте смерти. Только в смерти есть еще, по Чорану, толика смысла. Но и этот смысл лишен трагизма. Чоран ведь не отчаялся даже, он уже впал в равнодушную искусную оцепенелость. «Приобрести весь мир, потерять душу? Я поступил лучше: потерял и то, и другое». В книге нет полета, нет горних миров. Постепенно читая, начинаешь ощущать стеснение, удушье даже. Какую-то отраву испаряют эти листы. «Ад, — пишет Чоран, — это *немыслимость* молитвы». Книга как ловушка, как кусочек ада! Каково?.. Подобно Уэльбеку, Чоран дважды эмигрант. Он покинул не только родину. Сын православного священника эмигрирует из христианско-гуманистической цивилизации Запада. Куда? В том-то и дело, что деваться ему особо некуда. Разве что в безрадостные околлубуддийские дебри. Да и оборвать пуповину, связывающую с миром Запада, окончательно не удастся. Нет в вызове Чорана ницшеанского неистовства. Вот и апеллирует он то к скептику Пиррону, то к стоику Марку Аврелию, а то и к пророку Мани. Перманентное переживание бытия как несчастья означает, что Чоран так и не смог оторваться от христианского сакрума — «распятый без веры». Его сосредоточенная тоска — это наиболее убедительное выражение радикального исхода и наиболее явственный знак отсутствия иных обетований, тупика, в который упирается маршрут *постхристианина*. «Хотя я и клану весь белый свет, но все же привязан к нему, судя по этим приступам тоски, напоминающим симптомы бытия».

Андрей Волос. Маскавская Мекка. Роман. М., Издательский Дом «Зебра Е», 2003, 416 стр.

Новый роман Волоса — это, кроме всего прочего, впечатляющая коллекция отечественных архетипов. Социальные и экзистенциальные матрицы, национальная планида и русский человек в собственном соку. Плюс к тому, в подарок любителю полижанра и полистиля, забавное сочетание проблемного романа, соцарта, фэнтези, сатирического гротеска, лавстори и еще чего-то. Сплав не всем покажется бесспорным, но *такого* рода «бесспорной» прозы, может быть, не бывает вовсе, *такая* проза и должна топорщиться во все стороны. Провоцировать, раздражать. Новый роман Андрея Волоса мне больше всего напомнил сатиру Булгакова 20-х годов (вплоть до скрытых интертекстуальных цитат). В нем нет политической конъюнктуры, автор безуспешно пытается мыслить на уровне глобальных тенденций и угроз. И при этом остается безупречным гуманистом, что в нынешние смутные времена почти вышло из моды. Если герои Уэльбека уезжают на Во-

сток, то у Волоса Восток сам приходит в Москву. Которая и не Москва уже, а вовсе Маскав. Вместо цивилизованного рынка на стогнах Третьего Рима перекипает восточный базар. Нельзя сказать, что автор (кстати, эмигрант из Душанбе) в восторге; тем более, что у него в романе параллельно с криминализованной азиатчиной, в скольких-то верстах от столицы, еще существует отреставрированная в духе лучших сталинских традиций резервация «совка». Такие вот громоздкие повороты руля. Социальный пафос автора двойится. Или это я не решаюсь понять, предостережение предо мною — или приговор. То ли писатель хочет сказать: пока Россия, аки былинный богатырь, маяется на перекрестке судьбы, история уже делает (сделала??) свой выбор за нее. То ли мысль Волоса такова: русские как народ, падкий на крайности, обречен либо на самый дикий анархический разгул — либо на железный тоталитарный зажим. Куда ни кинь — всюду клин. Но есть же в стране хорошие люди. Есть. Тут Волос идет испытанным путем, актуализируя булгаковско-пастернаковскую тему любви и преданности двух интеллигентных одиночек-отщепенцев, тему женской верности и жертвенности. Герои красиво друг друга любят и нелепо пропадают в смертельных русских даях. Архетипический сюжет, который покуда не поправили ни история, ни ментальность. Неожиданный, остроумный, горький и трогательный роман — и по-настоящему увлекательное чтение. Пружина натянута очень туго и раскручивается с огромной скоростью, так что при чтении волосы шевелятся от ветра.

Марк Эймс. В Россию с любовью. Записки американского изгоя. М., «МАМА-ПРЕСС», 2002, 160 стр.

Три нервных пессимиста в начале списка — не слишком ли много? Тогда вот вам записки своего рода оптимиста. Эймс-живчик.

...Американец в современной России — тема богатейшая. Причем это не просто дипломат или журналист, корреспондент какого-нибудь *Дейли емейли*. Американский чудак Эймс приехал в Россию на полупостоянное жительство: туда, где жить интереснее, чем на его родине. Издает здесь газету «The EXile», ведет колонку в «Птюче» (где, как можно понять, его переводят на уличный русский В. Осовский и К. Ласкари). Крутит дешевые романы, общается с разнообразными маргиналами. Россия Эймса — перманентный бедлам, место тотальной и фатальной катастрофы. Но при этом еще и пространство предельной свободы от любой и всяческой нормы. Собственно, в том и состоит прелесть жизни в России для человека из страны, где скучная норма является органическим элементом повседневности. Вкушать освобождение от оков общественного мнения, выпасть из уз гражданского общества с его озабоченностями и долженствованиями — вот что составляет повод для регулярных удовольствий этого не весьма примерного пациента русской клиники. Конечно, в соответствии с собственным вкусом ему пришлось выбрать для себя богемно-расхристанный круг, чтобы кружиться в нем как белка в колесе. Притом поругивать Америку, сурово осуждать американизацию России, превращающую в офисных рабов талантливую богемную сексуальную прококаиновую московскую молодежь... Потом эдак на полгода вернуться в US, пожить в скучном Луисвилле. Потом снова вернуться... в Москву. Вообще Эймс — личность цельная, но довольно неприятная. Для кого-то — лишь талантливый мерзавец, паразитирующий на полутрупце. Но вот чем он покупает — искренен, чертяка. Не жалует ни Россию, ни Америку, ни себя. Последнее примиряет с первым. Есть в опусах Эймса определенность позиции, есть некий полюс смысла, который помогает яснее осознать координаты твоих экзистенциальных возможностей. «Наступил Новый год, а у меня все те же старые проблемы: диарея и больной член. Читатели этой колонки, возможно, надеются, что после событий в Нью-Йорке я перестану писать о плохом сексе и поносе, но хрен вы угадали. Извините». Чего уж там, Марк, валяйте и дальше в том же духе. А мы вот запомним: Россия есть место свободы. Как бы ни казалось это странным в обиходной суете.

С. А. Козлов. Аграрные традиции и новации в дореформенной России (центрально-черноземные губернии). М., «Российская политическая энциклопедия» («РОССПЭН»), 2002, 560 стр.

В сухом остатке после знакомства с фундаментальным трудом Сергея Козлова — проходящая лейтмотивом мысль о том, что вдохновителями и организаторами всех русских побед в аграрной сфере были помещики-рационализаторы. Такие, как Евгений Карнович, создавший образцовое хозяйство Пятницкая Гора в селе Великом Ярославской губернии, обеспечивший зажиточность своих крестьян и, между прочим, сумевший каким-то образом изжить в своем имении пьянство и воровство. Вопрос в том, что дает нам этот вывод сегодня. А вот что, по мнению автора книги: «...гораздо разумнее (рациональнее) не выступать в защиту Традиции против Новации и наоборот (что нередко происходит в современной России), а, напротив, — научиться творчески и непредвзято сочетать различные принципы хозяйственной деятельности». Возможно, оно и так. Но я-то о другом: как всегда, все в России решает личность. Хотим мы того или не хотим. И главная нынешняя нехватка — это недостаток таких вот творческих личностей во всех сферах общественной и культурной жизни. Скажете, нет?

±4

Иэн Бэнкс. Осиная фабрика. Роман. СПб., «Азбука-классика», 2003, 256 стр.
Уильям Сатклифф. Новенький. Роман. М., «Фантом-Пресс», 2003, 288 стр.

Сначала о Бэнксе. Я соблазнился замечательной коллекцией отзывов на роман из английской прессы. И за, и против, вокруг и около этого шотландца, переведенного Александром Гузманом. Впечатление от книги, однако, не сильное. Во всем этом опусе есть ощущение измышленности, изготовленности. Ситуация: остров; отец и сын; трудное детство; мир без будущего. И вообще ад — это другой. Этаким кромешный экзистенциализм, вразнос и распивочно. Рассказывает о себе мальчик-кастрат, обладающий тонкими чувствами и высокоразвитым интеллектом. Ему по складу души, по опытности рассудка лет под пятьдесят. В финале же и во все окажется, что мальчика-то и не было. А был... верней, была... ну да ладно, вдруг кто-то захочет прочитать этот роман вопреки моему кислому отзыву. Пусть его ждет тогда сюрприз, который, впрочем, только усугубляет ощущение болезненности и неправдоподобия. Мальчик в детстве изошренно убил трех других ребяток и умело ушел от ответственности. Теперь он уже только балуется: сжигает живьем кроликов, загоняет ос в нарочно придуманные ловушки... Плюс стандартный набор критицистских банальностей, социальных («Это они заставляют всех плясать под свою дудку — умирать за них, работать на них, голосовать за них, защищать их, платить налоги и покупать им игрушки...») и теологических («Эрик все еще верил в Бога и не вынес осознания того, что Он (если он действительно существует) способен допустить, чтобы такое произошло хотя бы с одним из существ, якобы сотворенных Им по Своему образу и подобию»). Что-то от Фаулза, что-то от Голдинга, что-то от современной западной словесности среднего уровня, которая в основном все-таки не холодна и не горяча, однако умеет имитировать огонь в заизвестковавшихся жилах. Но. Чтобы сказать что-то хорошее. У нас в России нынче практически нет книг о подростках. Когда-то были, да все вышли. Припоминаю, как я недавно загорелся, обнаружив однажды в серой книжечке «Москвы» повестушку Максима Свириденкова о жизни старшекласников. А вот англичане и сегодня пишут интересные все-таки книжки об этом опасном и остром возрасте. Скажите на милость, какой доктор педагогических наук, промышляющий литературной критикой, не сделает тут стойку?

Взять хоть последний, неостывший еще, пирожок: переведенный Анастасией Грызуновой дебютный роман Уильяма Сатклифф «Новенький». Легкое воскресное

чтение, не больше, — так написал об этом романе немецкий сетевой рецензент. Наверное. Но как все-таки непринужденно писатель проблематизирует жизнь юного героя, как складно дает ему почувствовать вкус жизни, ее побед и поражений! Тут тебе и привычная у альбионитов национальная (на сей раз еврейско-английская) самокритика, и парадоксы тинейджерской дружбы, и актуальная проблема половой идентичности... Ну не улыбайтесь, это вам уже все ясно, а героям забавной книжки Сатклиффа — отнюдь. И читателям ее есть о чем поспорить на классном часе. В. Костырко в новомирском отзыве (2002, № 5) на опубликованный у нас несколько ранее второй роман Сатклиффа «А ты попробуй» укоряет автора за то, что он не отделяет себя от героя-тинейджера. Не встает повыше. Есть такое дело. Вообще условный вектор от Бэнкса к Сатклиффу — это характерный для нашей цивилизации вектор инфантилизации человека. Мимо всех и всяческих усложнений. К простоте. Однако не всякая же простота заведомо хуже воровства. Правда, уже и не ясно, чем же важен для нас такой наивный герой. Однажды и сам Сатклифф попытался сосредоточить своего персонажа на этой проблеме. И вот у героя вышло: «Кому какое дело до *тебя*? Ну, я... я... ну, то есть я думал, что я гей. Некоторое время. Честное слово. Чтоб мне провалиться. Я... э... еврей. Это немножко необычно. И пальцы у меня на ногах — они гнутся и гораздо длиннее, чем у всех». Чем богаты...

Фернандо Аррабаль. Красная мадонна. Роман. М., «Текст», 2002, 205 стр.; Фернандо Аррабаль. Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата, или Как Лилия в шипах. Роман. М., «Текст», 2003, 189 стр.

Ах, лучше бы я не читал Аррабалева «Влюбленного кастрата». Тогда бы я, глядишь, оценил его виртуозный талант повыше. Но что случилось — то случилось. «Красная мадонна» — роман о матери-убийце. Она хотела сделать свою дочь самым совершенным существом, воспитать великую женщину и гениального мастера, который сможет реализовать таинственный алхимический план. Но ни педагогическая, ни материально-вещественная алхимия не удалась. Почему? А почему нам знать! Аррабаль не объясняет, отчего девушка томилась в объятиях прекрасной матери и мечтала о сумасбродствах. Его роман похож на дорогую прекрасную безделушку, на изыск мастера-ювелира. Это шедевр декоративного стиля. Великолепные периоды, эффектные афоризмы, затейливая ткань повествования, сновидческий сюрреализм. Отчетливее понимаешь игровую и ироническую природу Аррабалевых текстов после знакомства с его «Кастратом». Здесь главный герой — форменный безумец, и манера повествования воссоздает сумбур вместо музыки, живописно происходящий в сдвинутом сознании персонажа. Само название романа звучит как причудливая и заманчивая музыка. Увы, безумие утомительно, и можно только посочувствовать переводчице Нине Хотинской, упорно искавшей средств для красивой игры на сомнительных качествах поле.

Иржи Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя. Роман. СПб., «Азбука-классика», 2002, 352 стр.; Иржи Грошек. Реставрация обеда. Роман. СПб., «Азбука-классика», 2002, 256 стр.

В «Легком завтраке» сначала кажется, что это — исповедь нашего современника. Что-то в одном ряду с Уэльбеком, только в гораздо более мажорном колорите, без явного привкуса апокалипсина. Потом, однако, оказывается, что основной предмет несколько иной: взаимоотношения мужчин и женщин, причем в остроумно-поверхностной, хотя и не вовсе банальной трактовке. Ненавязчиво проведена мысль: миром правят страстные женщины, в то время как простофилю мужчины балуются и шелапутят. Неглубоко, но правдоподобно. Получилось легкое, затейливое чтение. Проза Грошека сразу вызывает безотчетную симпатию. Забавные шутки, эротика на всякий вкус, щедро явленная античная эрудиция (ух как это всегда радуется, от Киньяра до Юрсенар!) плюс элементы триллера и постмодернистской игры. Прага вдруг превращается в Рим, герои двоятся, случайный сопливый маль-

чишка становится, на тебе, императором Нероном, а Нерон подменяет себя статистом и растворяется в бездне времен... И много еще тому подобной чехарды. Только самые требовательные читатели нашли у Грошека крупницы пошлости. Книжку очень живо обсуждали в Рунете (см., например: <http://www.phg.ru/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=5&topic=1>), искали и находили в ней всякие философские заглублиния. Между тем проза Грошека оказалась и в центре скандала редкостного качества. Некоторые подозрительные эксперты предположили, что имеют дело с элегантно мистификацией. Де перевод с чешского А. Владимировой — это никакой на самом-то деле не перевод. Чешского писателя, кинорежиссера и журналиста Грошека вовсе нет на белом свете, а роман сочинился где-то между Малой Арнаутской и питерским Чкаловским проспектом, на котором находятся некие издательские мощности. Подозрения, возможно, небезосновательные («...какой, скажите, чех-русофил мог бы поведать нам, например, такую историю: однажды ему предложили текст Цицерона со словами: не хотите ли книгу Цыци? — А может быть, все-таки Кики? — парировал он. Для этого чех должен говорить по-русски»). Но тогда можно только радоваться тому, что есть и на просторах нашей родины такой вот сочинитель, скромно спрятавшийся за неброским псевдонимом. Впрочем, этот скандал не помешал появлению на русском языке в том же переводе второго романа. Вероятно, вскорости выйдет на радость поклонникам и критикам и третий, про *ужин*. Ну и рано или поздно мы узнаем подробнее об авторе этих книг, которые все-таки больше обещают, чем дают.

— 1

Вадим Руднев. Характеры и расстройство личности. Патография и метапсихология. М., Независимая фирма «Класс», 2002, 272 стр.

Известный филолог, философ и семиотик Вадим Руднев предстает в этой книжке как клон своего не менее известного предтечи, Игоря Смирнова. В аннотации к книге обещано рассмотрение системы человеческих характеров, механизмов защиты и личностных расстройств через призму художественного дискурса. С первой же минуты у меня возникло искушение снять с полки смировскую «Психодиахронологику» и сравнить два текста, новый и старый. В какой-то момент бороться с соблазном становится невозможно. Снимаешь, сравниваешь. Похоже. Но сходство не в пользу рудневского опуса. При всей, мягко скажем, сомнительности идей, заложенных в смировскую «психоисторию русской литературы от романтизма до наших дней», читать ту книжку можно было с интересом. Царапало и сквозило. Руднев же... ну просто зануда. Я даже не пытаюсь оценить его вклад в психологию. Не уверен, что он слишком велик. Но литература присутствует в этой на вид весьма ученой книжке не по делу. У Руднева происходит самое печальное, что только можно себе представить: тотальная редукция смыслов. Евгений Онегин — *ананкаст*. Татьяна Ларина — *истеричка*. Гончаров и вообще реализм — *депрессивный дискурс*. Юрий Олеша — *обсессивный дискурс*. Владимир Сорокин — *«последний великий русский писатель XX века, который не только подвел итог всей русской литературе большого стиля, но и в определенном смысле — всей литературе Нового времени»*. Эх-хе-хе. Тем не менее и у Сорокина — тот же, прости Господи, *обсессивный дискурс*... Диагноз Рудневу — примитивизация едва ли не всякого текста на фоне тотального психохарактеристического детерминизма. Так писать о литературе нельзя запретить. Но нельзя и заставить нас так понимать литературу. Из относительно удачного: забавный анализ психики Иудушки Головлева как бы за пределами и авторских намерений, и исторического контекста, и — отчасти — просто здравого смысла (*«В защиту Иудушки»*). Из весьма характерного: Иисус Христос — случай *экстраективного бреда в ответ на авторитарность «фарисейско-иудаистского сообщества»*.

Ярославль.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ГИБЕЛЬ БОГОВ

Слышал про город Черногорск?.. Параша, а не город: тринадцать шахт, двадцать винных лабазов, две туберкулезные больницы, четыре кладбища и сорок тысяч уродов, быдла, которому больше деваться некуда.

Б. Акунин, «Алтын-толобас».

(ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА). Точнее, из ящика. Дибров и Михалков, Михалков и Дибров. Трансляция фуршета, подводящего черту под Московским кинофестивалем-2003. Престижная ресторация, постсоветская светскость, непринужденный юмор, как *они его* понимают. Прямой эфир, звонок телезрителя, который недоволен тем, что: а) Михалкова много, б) Михалков вальжен. «А вы чем обыкновенно занимаетесь?» — интересуется ведущий, Дибров. «Просто слесарь», — отвечает телезритель, может, подсадной, а может, пошутил.

Как бы то ни было, глаза Михалкова наливаются ртутью, если не свинцом, а рот изрыгает огонь: «Пускай впредь каждый занимается своим делом!» Назидательный такой Михалков. Что он имел в виду? Например: отныне слесарь не имеет права на любопытство. Или: его, Михалкова, будет со временем еще больше. Ровно столько, сколько барину захочется.

Показательна вот эта воля к размежеванию. Примечательна вот эта актуальная потребность: заменить недавнее навязчивое *равенство* — необоснованной *разницей*. Заменить в прямом всероссийском эфире легким движением руки (языка). «Аристократический габитус высокомерия», — клеймил в похожих ситуациях соотечественников один строгий французский социолог. Но разница (на этот раз обоснованная!) все-таки есть. Традиция французского аристократизма все же не прерывалась. Цветущая сложность западноевропейского общества несомненна, а его разнообразие неотменимо. Неужели Михалков и Дибров всерьез полагают, что «ушли в отрыв», ускорившись на вираже перестройки? Очередная утопия совкового сознания.

«Некоторые даже на приглашение обижаются, или, как у нас выражаются отдельные аристократы, *берут в падлу*» (Б. Акунин, «Алтын-толобас»).

(ВНИМАНИЕ!) Единственный фильм пресловутого фестиваля, который я целенаправленно отыскал и отсмотрел, — это внеконкурсные «Магнитные бури» драматурга Александра Миндадзе и режиссера Вадима Абдрашитова. На сочинском «Кинотавре» картине вручили всего-навсего третью премию. В телевизионной беседе с непотопляемым Дибровым недвусмысленно возмутился записной эстет и тоже телеведущий Сергей Шолохов. Дескать, «Магнитные бури» — лучший фильм «Кинотавра». Профессиональный и на удивление мощный. Но главное (главное!): авторы обеспечили идентификацию зрителя с героем фильма. Этому герою — сочувствуешь, сопереживаешь.

Ничего себе Шолохов, завсегдатай салонов, распорядитель светских тусовок: на время сеанса легко совпадает с героем! А герой, извините, слесарь. В *буквальном смысле* этого неприличного слова.

(ПРОСТО СЛЕСАРЬ). Итак, городок, вполне совпадающий с акунинским Черногорском. Все так и есть: четыре кладбища, двадцать винных лабазов, сорок тысяч уродов вокруг градообразующего Завода, которому предстоит акционирование с последующей приватизацией. Выдвинулись два конкурента, два лидера-руководителя: допустим, Марчук и Савчук. Рабочие поделились пополам: одни за Марчука, другие за Савчука. Бьются насмерть: кулаками, ногами, ломами и целями. Ночами, на городском мосту и в сумраке заводских цехов. Таков всеобщий удел, то бишь социальная жизнь, однако у самых удачливых случается еще и личная.

В малогабаритной хрущобе крепкий слесарь Валерка счастливо живет с трепетной блондинкой, молодой женой, которую увел из-под носа у ее бдительной стар-

шей сестры, крашенной в рыжее стервы-лахудры. Эта агрессивная московская проститутка (по профессии) возмущена пролетарским бытом. Мечтает увезти сестрицу обратно в столицу, видимо, «пристроить к делу». В конечном счете так оно и выходит.

Поначалу неохотно, а потом все более уверенно Валерка сбегает на ночную войну. За это достается и ему, и жене. «Если убежишь снова, меня не найдешь!» — тоскует по-настоящему кроткая супруга (очевидные аллюзии и *предельно* сильные архетипы: «царевна-лягушка», Пропп и т. п.). Убежал, действительно не нашел, бросился на вокзал. Теперь жена тоже рыжая лахудра, в отбывающем вагоне, с искренней слезой на щеке. И это первый урок картины: кинематограф — предельно грубое искусство. Смена прически, а тем более цвета волос — достаточный, убойный драматургический ход. Вполне соответствует многостраничным психологическим выкрутасам в литературе. Так работают: Линч у них, Миндадзе и Абдрашитов у нас. Остальные, кто тщится обозначать метаморфозы характера посредством неумелого диалога, попросту некомпетентны.

Едва уехала любимая, едва прервалась личная жизнь, замирают и социальные битвы. Оказывается, Савчук с Марчуком давно обо всем договорились! Скорее всего, с самого начала имитировали конкуренцию. Торжественный митинг, победа консенсуса над здравым смыслом собравшихся, еще вчера молотивших друг друга почем зря. «Да как же это, братцы? Ведь друг друга не жалели?!» — «Брось ты, ведь ничего и не было!» Сновидческая поэтика, Хичкок, если не Бунюэль.

В довершение налаживается личная жизнь. Оказывается, слесарь Валерка — предмет вожделений некой суровой, чтобы не сказать могучей крановщицы, сколько-то месяцев следившей за парнем из своей укромной кабины, курсирующей вдоль цеха. Что называется, «мне сверху видно все, ты так и знай». Очень грубый, предельно сильный ход сценариста Миндадзе: эта, татаро-монгольского вида, похожая скорее на юношу, на молодого чингисхана или тамерлана, в деталях отследила судьбу, теперь *знает про парня все*. То есть абсолютно все!

«Она еще вернется!» — вроде бы сердобольно, сочувствуя, комментирует бегство Валеркиной жены. Прибирает в его квартире, до деталей восстанавливая былую обстановку. Находит под сервантом утерянное обручальное женино кольцо, примеряет, естественно, не может снять: пальчики полноваты, совсем другая конституция. Грубая, честная кинематографическая работа.

Ясное дело, жена не вернется, да и кольцо снимешь разве что вместе с пальцем. Ясное дело, останется здесь навсегда. Новой хозяйкой. Вот Валерка возвращается с митинга. Намеревается выпасться. «Ты куда? Сегодня рабочий день, пора в цех!» — встречает его в дверях новая подруга жизни. Возле проходной он впервые интересуется ее именем. Конец.

За одно это, за грубое и одновременно изящное решение личной жизни героя, за ненавязчивый кошмар *вторжения и подмены*, Абдрашитову с Миндадзе следует вручить все мыслимые отечественные премии, попутно открыв неограниченное финансирование! Наконец-то явились двое и спасли честь отечественного искусства.

«Не волнуйся, она вернется!» — с непроницаемым выражением лица говорит Валерке крановщица. Торжествует? Навряд ли, *эта* лишена психологического измерения. Просто знает, что все будет так, а не иначе. Татаро-монгольская «парка», степная богиня судьбы. «Магнитные бури» — это примерно то, о чем всю свою творческую жизнь мечтал Тарковский, мистика повседневности. К чему, однако, не имел никаких шансов прорваться. В силу социокультурной ограниченности и сопутствующего интеллигентского нарциссизма.

Итак, ни у кого не остается сомнений: не вернется, не сбудется. Пространство картины — все та же пресловутая Зона тарковского «Сталкера». Четверть века назад герои той классической картины питали иллюзии, заказывали Чудо. И, кстати же, свою утопию — утопию свободного творческого порыва — вполне реализовали! Все чаще раздаются публичные голоса российских интеллектуалов: «Наше время — расцвет и акме отечественной культуры». А помните, совсем недавно, в «Сталкере», Писатель страдал на два голоса с Ученым: *и скушно, и грустно, и нельзя*.

В довершение этой локальной темы припоминаю, как в перестроечную Тулу (скорее всего 1989 год) приехала делегация «патриотически настроенных» москов-

ских литераторов. «Утопически настроенная» провинциальная публика пыталась бороться с непопулярными в ту пору варягами («Наш современник» и т. п.) посредством наспех заученных аргументов из «Огонька» и оголтелого позднесоветского телевизора. Хорошо помню, с какой непередаваемой тоской глядел на эту публику Александр Казинцев: «Что вам до „Огонька“, записных демократов и красных директоров? Они — стараются для себя. Им будет лучше, вам — навряд ли». Ныне вся эта провинциальная, с позволения сказать, интеллигенция спилась, скурвилась или сошла с ума. С другой стороны, уровень русскоязычной гуманитарной науки вырос во всем мире, не поспоришь.

Собственно, я вот о чем. Такое понятие, как «утопия», — своего рода пропагандистский трюк, орудие социальной борьбы. «Утопией» назовем ту умозрительную конструкцию, осуществления которой не пожелаем себе. Она нам попросту невыгодна или опасна. Поэтому, успокаивая себя, говорим: «Природа непременно победит» — или: «История все расставит по местам».

На самом же деле утопии сбываются. Умозрительные конструкции запросто и с пугающей регулярностью становятся у нас Историей и даже Природой.

(ПУСТОЕ МЕСТО). В одном первоклассном гуманитарном журнале наших дней я прочитал информационное сообщение о докладе румынской барышни Оаны Матееску «Воровство, продажа, дар: радости приватизации в румынской деревне», где рассматривается «трансформация понятий права, морали и собственности, сопутствовавшая закрытию ранее успешной румынской фабрики и ее постепенному расхищению жителями деревни, в большинстве своем являющимися ее же бывшими работниками» («Новое литературное обозрение», № 60, стр. 443).

У меня законный вопрос: проводятся ли аналогичные научные исследования у нас? Существуют ли, в конце-то концов, хоть какие-нибудь квалифицированные тексты, описывающие, как реально функционирует постперестроечное расейское общество? Или дело по-прежнему сводится к изощренным филологическим штудиям? К-изучению-влияния-поэтики-унылого-Набокова-на-мировоззрение-сумасбродного-Пупкина? Мне очень хочется узнать про свою страну что-нибудь новое, не фиктивное. Все же мой опыт, мои познавательные возможности ограничены. Как, впрочем, у каждого.

А «Черногорск» Миндадзе — Абдрашитова очень похож на «Косую гору», металлургический городок между Тулой и Ясной Поляной. До смешного. Уверен, по ночам они тоже дерутся, после чего их прекрасные блондинки устраиваются валютными проститутками в Москву, а их brutальные крановщицы делают с растерянными постсоветскими слесарями все, что захотят.

Но кино все-таки не об этом. И совсем уже не об этом моя попытка рецензии.

(КОЛЛЕКТИВНОЕ ТЕЛО). Вот именно, попытка рецензии, а не отвлеченные штудии. Проблема нашего нынешнего кино в том, что новоявленная знать пробует играть в развитой капитализм, которого, равно как и здорового рынка, нет в помине. Придумывают, снимают какие-то нелепые, ходульные истории из жизни эмансипированного среднего класса и даже буржуа. На самом деле никакой эмансипации по щучьему велению, в одночасье произойти не могло. Стратификация прежняя: единый и нерушимый (пост)советский народ. Действительно, некоторые теперь при деньгах и мечтают заказать изысканные буржуазные сюжеты: триллеры, хорроры, комедии, полноценные мелодрамы, где отдельные самостоятельные герои в хороших костюмах от Армани действуют по собственному хотению. Как в западном кино. Но ничего не получается: неуд, кол, точнее, минус сто баллов. Даже не утопия, а кретинизм. «Магнитные бури» — вот вам социокультурный портрет постсовка. Степь, Зона, Завод, несамостоятельные, отставленные от реальных дел, ни за что не отвечающие мужики в спецовках, пара проститутки и загадочная крановщица, украшавшая чужое обручальное кольцо, а больше никого. Исчерпывающее описание, модель нашей реальности.

Любопытный, на редкость точный эпизод: Савчук и Марчук ведут свои сепаратные переговоры прямо... в заводской столовой, в уголке. Валерка первым замечает двух чудаков в пиджаках и, нисколько не удивившись (!), указывает на них товари-

щу. «Так нам снятся пространство и время», — комментировал Эйзенштейн донельзя условную, но оттого не менее информативную конструкцию своего «Грозного».

Вот именно, *все в одной столовке*.

И нет в этом ничего хорошего. *Нестерпимо* хочется пересесть, в свою очередь, дистанцироваться от *этих*, чтобы никогда с ними не встречаться. Хочется разместиться в иной социальной нише, да ее, на беду, не предусмотрено. Никто в нынешней России не эмансипирован, куда ни убежишь — *повсюду* производители публичной речи Дибров с Михалковым дистанцируются от слесаря. Раз дистанцируются, настаивают на разнице, значит, на самом деле вполне совпадают.

(ПУСТОЕ МЕСТО-2). Картина Абдрашитова и Миндадзе неизбежна, как конец света. По правде говоря, лично мне ближе совсем другое киноискусство, то самое, которое десятилетиями заказывают западноевропейский и американский средние классы. Какие-нибудь Цукеры с Абрахамсом, какие-нибудь Хичкок с Ромером и Кроненберг с Любичем. Хорошо причисанные женщины, предприимчивые, отвечающие за себя мужчины — вот подлинные герои моих синефильских грез. Однако подобного рода сюжеты, равно как и подобную реальность, нужно заслужить. Вначале требуется, что называется, обустроить Россию, иначе говоря, надыхать соответствующих смыслов и спровоцировать реальную социальную сложность. До той поры единственно продуктивной средой, единственным смыслообразующим материалом для кино будет неструктурированная среда народа, плебса, охлократии или как вам будет угодно ее называть (см., например, самый успешный и, как это ни странно звучит, самый тонкий проект 90-х: дилогию «Брат», «Брат-2»).

Что бы ни говорили оптимисты, российская социальная утопия образца 1917 года реализовалась в полной мере: новый антропологический тип выведен, сопутствующая *однородность общества* не подлежит сомнению. На каком-то этапе идея мировой революции выродилась в идею коммунизма в отдельно взятой стране. Еще позже, в застойную пору, снизили планку до уровня сознания вчерашних крестьян, едва переехавших в город, с рождения обобранных и запуганных, не умеющих даже помыслить умозрительного коммунистического кайфа. Посему негласно порешили, что коммунизм — не что иное, как *всего лишь* гарантированная пенсия, за выслугу лет и лояльность режиму. Можно ненавидеть, презирать и отрицать запретельную реальность реализовавшейся утопии, но нельзя быть от нее свободным. Киноматограф, то бишь индикатор общественного подсознания, не предьявил за десятилетие ничего более-менее цивилизованного (в западном смысле, а есть другой?). Какие еще нужны доказательства? Советская власть, нравится это нам или нет, продолжается и даже крепнет, внезапно *притворившись* капитализмом!

Насколько мне известно, самые ранние опусы Маркса (1843) воспевали даже не фабрично-заводской пролетариат, а промышленное скопище пауперов и люмпенов, наспех спрессованное рабочим домом и фабрикой. Этот, по Марксу, *продукт разложения среднего сословия* полностью зависит от машинообразной работы, которая превращает его «в абстрактную деятельность и в желудок». «Слабоумие и кретинизм» — вот, опять-таки по Марксу, ключевые характеристики распятого богоподобного человека, который тем не менее призван был, став предметом беззаветной *веры*, освободить культуру от цепей отчуждения, а труду — возратить значение полноценной предметно-творческой деятельности.

Русские марксисты настаивали на полном обновлении социальной жизни, взыскав катастрофизма, доводя до предела преклонение перед классовой мудростью пролетариата. *Все сбылось*: жизнь неоднократно радикально обновлялась, именно классовый пролетарский инстинкт провоцирует катастрофу за катастрофой. Последняя по времени, осуществившаяся в рамках либеральной утопии 90-х, люмпенизировала десятки миллионов (к великому сожалению либералов, чтобы не сказать — неохотливых, доходяги не вымерли в одночасье, доживают). Пролетарский миф дискредитирован? Навряд ли. Теперь невозможны (и это подтверждает практика российского кино) даже квазикультурные интеллигентские опусы эпохи позднего застоя, имитировавшие социальную сложность и моральную проблематику. Однородное, неструктурированное общество не способно на «интересный

сюжет», потому что таковой сюжет — всегда частная история эмансипированного индивида, реализующего свои неотчуждаемые возможности. «Магнитные бури» предьявляют единственно возможную на сегодня фабулу, вполне исчерпывающую сознание обывателя-люмпена: жена — блядь, начальник — ворюга, короче, «абстрактная деятельность и желудок». Или, как выражался Платонов, «если у пролетария нету Родины, то есть социалистическое беспокойство». Вот и вся наша нынешняя, с позволения сказать, культура не что иное, как социалистическое беспокойство: примкнуть к марчуку, к савчуку, а может быть, к путину?

Если Михалков ушел от слесаря настолько же далеко, насколько последний от обезьяны, пускай наконец-то предьявит что-нибудь *художественное*. «Михалкова» (как символ эпохи) бросает в крайности: то он красный командарм Котов, то православный царь, помазанник. И тот и другой определенно положительны. И тот и другой — формы бегства от действительности. Дескать, спасение России — добрый барин, аристократ (по Михалкову, и красный командарм — аристократ!). Но, повторюсь, в этом случае следует предьявлять не лубочного, а современного носителя *иных качеств*. Не предьявляют, ибо кино, как массовое искусство, бессильно воплотить социальный тип, не укорененный в реальности коллективного бессознательного. «Магнитные бури» демонстрируют каркас постсоветской культуры, ее не отмененный до сего дня пролетарский архетип. С этим архетипом можно и нужно работать. Если честно, других героев у нас уже (еще?!) нет.

(МУРАТОВА). Автор поразительной картины «Познавая белый свет» (1979). Запрещенной после «Долгих проводов» Муратовой вроде бы приходится идти на компромисс. На «Ленфильме» она экранизирует рассказ Григория Бакланова о заурядном пролетарском строительстве, о производственной текучке и сопутствующей молодежной любви. Не знаю, может, рассказ имел некоторый смысл, кроме пропагандистского, но тематика по тем временам безусловно конъюнктурная. Интеллигентные кинематографисты уже тогда вызываясь дистанцировались и от партии, и от народа, посему любовно изображали только людей своей социальной прослойки (наилучший, талантливейший пример — пресловутый «Сталкер»). В 70-е пролетарий — либо прекраснодушный неудачник («Романс о влюбленных»), либо алкоголик («Афоня»). Но Муратова, как всегда, идет поперек генеральной линии, полемизируя и с властью, и с диссидентствующей, лелеющей своекорыстные мечты интеллигенцией. Муратова превращает производственную туфту в маньеризм и декаданс исключительно для того, чтобы объявить о негласно санкционированных властью похоронах официальной пролетарской идеологии, чтобы, одновременно, сказать последнее прости «простым» людям, которых, не спросив их собственного согласия, большевики отождествили с пресловутым «могильщиком капитализма». Людям, пострадавшим от этой «почетной и ответственной роли», от этого непосильного титанизма, а теперь, в преддверии очередного социального эксперимента, обреченным на заклятие, на гражданскую и физическую казнь (слушая тогда, в 1989-м, Казинцева, я отчего-то вспоминал недавно виденную картину Муратовой, смысл которой был еще не вполне понятен).

Без преувеличения *гениален* финальный эпизод. Степь, Завод и сопутствующий ему жилой массив, отстроенный главными героями. Беззащитные, обреченные хрущобы в свете заходящего солнца. На площадке между Домом и Степью — небогатый пролетарский скарб. Смысловой центр композиции — десятки железных кроватей с панцирными сетками и сверкающими шарообразными набалдашниками. Как выразился поэт, «социализм построен, поселим в нем людей».

Будто полемизируя с хорошим поэтом, Муратова *объявляет смерть*. Решает сцену так, выбирает такие ракурсы, ритм и расстояние, что временный склад кроватей превращается в... братскую могилу. Прикроватные спинки однозначно воспринимаются как ограды типового советского кладбища!

Но Муратова не останавливается и доигрывает в направлении предельной жестокости. К спинке кровати небрежно прислонили овальное зеркало средних размеров. Впрочем, когда обиженный персонаж Алексея Жаркова разобьет зеркало наудачу пущенным камнем, в овале окажутся лица главных героев, овал обернется заурядным кладбищенским портретом, памятью о дорогих мертвецах, а на панци-

ре сетки обнаружатся алые гвоздики. *Навязчиво книжный*, подросткового происхождения тарковский символизм обнаруживает свою полную несостоятельность в сравнении с социально нагруженной, в сравнении с исторически обусловленной стратегией Муратовой.

Повторюх, «Познавая белый свет» — не просто одно из самых пронизательных и глубоких русских произведений минувшего столетия, но и методологическое указание: с каким материалом, каким образом следует работать честному художнику после катастрофы 1917 года, как ее осмысливать, преодолевать, изживать.

(ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ). В заключение несколько замечаний относительно постановки Абдрашитова. У «Магнитных бурь» много достоинств, останавливаться на которых не позволяет заданный объем. Отмечу лишь, как грамотно работает режиссер с такой категорией, как фальшь. Локальный мир экранного рабочего поселка обозначает советский мир в целом. И хотя пролетарская утопия однородности и предельной простоты в полной мере реализовалась, она так и не смогла стать вполне Жизнью, вполне Природой и вполне Историей. Советский мир — своего рода неуклюжая экранизация, неартистичная инсценировка. Вот и герои картины говорят как по писаному, словно бы нехотя пересказывая литературный сценарий. Это раздражает ровно до того момента, пока не начинаешь догадываться, насколько точно подобный метод воспроизводит советские реалии. «Совок» — нечто, *зависшее* между умозрением и повседневностью, недоовощенное творение. Дышать, в общем-то, можно, однако интонации неубедительны, эмоции снижены, а сюжет, как уже говорилось, не проработан настолько, что всегда предсказуем.

Впрочем, Абдрашитов задает стратегию восприятия в первом же эпизоде, когда долго, но невозмутимо вглядывается в массовую драку пролетариев. Неужели сегодня, в эпоху западных и восточных боевиков, превративших заурядную потасовку в изысканный балет, возможны такая небрежная, такая невзаправдашняя баталия, такое ленивое махалово?! Но постановщик целенаправленно культивирует идею условности, недоовощенности, реализуя ее в пластическом измерении. «Пролетарий» объективно существует, на Косой горе или в Черногорске. Одновременно он — некий идеальный тип, титан и новый мессия, до которого было предписано подтянуть себя реальному человеку труда. Именно в зазоре между природой и умозрением располагаются ныне Россия и *все* ее население, без изъятий. Подобное межеумочное положение не вызывает ничего, кроме тревоги и неудобств. «Магнитные бури» — клинический диагноз, зеркало перманентной и уже порядком надоевшей русской революции.

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

GENERATION «Б»

Paul McCartney, «Back in the World», EMI, 2003

К аких новостей и чудес следовало ожидать от очередного концертного альбома Пола Маккартни да и от его московского концерта? Вроде бы никаких.

Я Маккартни люблю и ценю, уверен, что он действительно выдающийся, чтобы не сказать — феноменальный сочинитель песенной музыки, причем не обязательно мелодической и лиричной типа «Yesterday» или «Michelle», ему отлично удаются и боевые рок-н-рольные вещи, где весь попс в ритме, звучании и аранжировке. (При этом, на мой взгляд, неоспоримые таланты бывшего битла все же не являются достаточным условием для того, чтобы делать его почетным профессором Санкт-Петербургской консерватории. В подобных актах признания заключена какая-то большая пошлость. Музыка все-таки развитое и оформленное искусство, ее жанры, виды, выделившиеся в ней области отличаются друг от друга. В консерватории не учат делать подтяжки на соло-гитаре и играть брейки на бара-

банной установке — и слава Богу, всему свое место, синтез жанров — идеология вчерашнего дня, годится только для глянцевого журналов да телепрограмм, так что петербургские консерваторские чиновники, желавшие, видно, выглядеть современно, угодили пальцем во вчерашнее небо.) Я не считаю, в противовес расхожему мнению, что Маккартни после «Битлз» — это уже в некотором роде Маккартни второго сорта. Его пластинки семидесятых годов великолепны практически без исключения. Жаль только, постепенно исчезает переполнявшая его царственная щедрость таланта — ведь из многих его вещей того периода умелый производитель шлягеров накроил бы песен по пять. С годами Маккартни становился осторожнее и как будто расчетливее. Зато не растратил вкус к неожиданным поворотам внутри песни, к неожиданной, сразу добавляющей новое измерение перемене интонации. Последние два десятилетия он действительно работал неровно, было достаточно проходного, но ведь и музыкальный мир сильно и, в общем-то, весьма жестоко для прежних кумиров менялся. Это сейчас настали благодные времена, когда востребовано все без разбора, все можно как-нибудь и где-нибудь подать и продать, сыграв либо на актуальности, либо на ностальгии. А двадцать пять лет назад было совсем иначе: герои шестидесятых смотрелись исключительно как палеонтологический материал. И сохранить себя в такой обстановке было крайне непросто. Маккартни сумел. В каждом десятилетии найдутся у него одна-две отличных пластинки и с десяток песен «фирменного» маккартневского качества, совершенно живых, без пустой эксплуатации собственного имиджа и прежних собственных достижений. Возможно, в новом музыкальном окружении они просто не так заметны — но не становятся от этого хуже. Многие ли рок- или поп-исполнители, ровесники Маккартни, способны еще сегодня похвастаться такими результатами?

Я люблю и ценю Маккартни. Но я не битломан. Я не коллекционирую старые пластинки, фотографии и газетные вырезки о членах ливерпульской четверки и не считаю, что всякая нота, сыгранная или пропетая ими на сцене, или во время записи, или в кругу семьи (такой материал издают обычно на дисках-антологиях) обладает безусловной ценностью; страшно сказать — даже знаменитые афоризмы и высказывания Джона Леннона кажутся мне в основном глуповатыми. Я слышал концертные диски Маккартни и смотрел видеозаписи его концертов достаточно, чтобы точно знать, — во всяком случае, так мне казалось, — что на очередном диске и концерте наверняка будет и чего наверняка не будет. Уже давным-давно Маккартни строит свои концертные программы не из новых вещей с очередного альбома — они присутствуют в гомеопатических дозах, — а на проверенной битловской классике и своих ярчайших шлягерах семидесятых. Грамотно чередуются рок-н-ролльная бодрость (непременные «Can't Buy Me Love» и «Lady Madonna») и лирика: опять-таки непременные «Yesterday» — вряд ли Маккартни дал хотя бы один концерт без этой песни (разве что из особых, «ностальгических», с рок-н-ролльными хитами времен своего отрочества — в духе известной пластинки, выпущенной им эксклюзивно в «перестроечном» СССР) — и «The Long and Winding Road». Аранжировки всегда самые традиционные, для грамотного стандартного рок-состава, с сохранением всех самых узнаваемых элементов первоначальных версий. Существенно нового никогда и ничего не привносится — люди идут, чтобы послушать Пола Маккартни, знакомого им уже сорок лет, и получают именно то, что хотят. И нынешний тур ничем особенным, в сущности, не выделялся, кроме того факта, что Маккартни отправился выступать в Европу впервые за последние десять лет, да заезда в Москву. В общем, прикинув, есть ли мне какие-либо резоны платить полторы тысячи за билет, идти на Красную площадь и стоять там в толпе на ногах, вдали от сцены, глядя на телевизионные экраны, да звук еще на открытых площадках никогда стопроцентным не бывает, — я резонов таковых не нашел. И остался бы дома, когда бы мой коллега и друг Павел Крючков не пригласил все-таки составить ему компанию. Покидал же я Красную площадь после концерта искренне удивленный — тем, какое неожиданно сильное впечатление все это на меня произвело.

Не то чтобы экс-битл вдруг сотворил нечто небывалое, отнюдь, программа вполне уложилась в описанную схему. В число особенностей нынешней программы можно, пожалуй, занести только наличие нескольких битловских вещей пери-

ода «Сержанта Пеппера», которые никогда прежде вживую не исполнялись,— например, одна из самых красивых песен «Битлз» «She's Leaving Home»; да трогательное стремление Маккартни подолгу оставаться с публикой наедине. Почти четверть выступления занимала сольная часть, где Маккартни пел под гитару или под клавиши (и только постепенно, опять-таки с акустическими инструментами, один за другим стали подключаться к нему другие члены группы). И по-моему, это была лучшая часть концерта, потому что присутствовала в ней какая-то близкая русскому сердцу и совершенно неподдельная задушевность, да и вообще он здорово умеет просто петь, безо всякой поддержки, окажись он (мысленный эксперимент) с гитарой где-нибудь среди людей, вообще не имеющих представления о его существовании, — можно гарантировать, что они будут им очарованы. Недаром и весь «мемориальный» материал: песни памяти Джона Леннона, Джорджа Харрисона (забавная и грустная версия «Something», Маккартни аккомпанировал себе — впрочем, честно проигрывая все потребные аккорды — на маленькой гитарке укулеле; инструмент ему доводилось использовать в песнях ранних семидесятых, но в отношении классики «Битлз» — это для Маккартни шаг поистине радикальный), своей умершей жены Линды — Маккартни свел именно в эту акустическую часть. И когда он впервые остался на сцене один, я вдруг понял, что сущность послания, которое отправляет публике Маккартни, а публика благодарно принимает, — она, конечно, уже не на уровне музыки; музыка настолько известна, что воспринимается почти автоматически, и это было бы посланием из прошлого, как, собственно, и выглядело большинство его поздних выступлений. Но еще когда я слушал альбом с той программой, которую экс-битл привез в Москву (мировое турне продолжается долго, и два диска с концертным материалом увидели свет в марте, за два месяца до московского концерта), у меня было чувство, что Маккартни каким-то совершенно непонятным образом, ведь в музыкальном плане почти ничего не изменилось, сумел сообщить на сей раз не сказать чтоб затертым, но как бы заслушанным за столько десятков лет вещам новую, неожиданную искренность, буквально откопать ее в старых песнях. Ну еще, конечно, харизма в России особенное имеет значение, но на меня харизма не действует или действует отталкивающе, и сентиментальная красавица не действует, и вообще все, что можно изобразить, симитировать, даже талантливо. А вот на то, что передавал мне Маккартни, — надо же, отозвались и сердце, и ум. Прет, как говорят в народе. Редко бывает.

Очень благоприятное впечатление оставила манера Маккартни держаться на сцене: со спокойным достоинством, без эффектных поз и задыхающихся выкриков между номерами — да и немолод уже музыкант для кривляний и криков. Ну и только ленивый из журналистов, писавших о концерте, не отметил поразительно чистое чтение Маккартни русских фраз, записанных у него на бумажке; обыкновенно даже «привет, Москва» гастролеры выговаривают так, что скорее догадываешься, чем разбираешь, а тут даже абсолютно невнятные всякому иностранцу наши «ы» и «щ» вполне выговаривались — при том, что экс-битл вряд ли посвятил упражнениям в русском языке больше пяти минут. Видно, у него отличная акустическая память не только на музыкальные звуки.

И все же главное пока остается за кадром, и даже не совсем понятно, в каких словах об этом говорить. Дело вот в чем. Как ни крути, а рок-музыка и возникла, и возростала отнюдь не в благостной экспрессивной среде. И как бы она ни усложнялась, ни взрослела, ни интеллектуализировалась и облагораживалась в дальнейшем (да, бывало в роке и такое, во что, если судить по нынешнему его состоянию, поверить трудно), корни ее все равно оставались в юношеском отчаянии, экзистенциальном протесте, в стремлении к свободе вплоть до бунта, а попроще — обычного хулиганства, в мечтах о сексуальной вседозволенности, в экзотических духовных исканиях, в наркотиках, наконец. Без этого всего нет настоящего рок-н-ролла. Здесь даже банальная любовная песенка предполагает некоторую злость и истеричность. Наличие или старательная имитация этого рок-набора только и отличает сегодня рок-мейнстрим от «голимог попсы», довольствующейся силиконовой сексуальностью, пропагандой пляжного образа жизни и расхожей романтикой. На этом фоне Пол Маккартни, пускай наркотики ему и не вовсе не знакомы, все же выглядит гостем с Луны. Я побывал на достаточном количестве рок-концер-

тов — и никогда нигде мне не доводилось видеть, чтобы публике транслировалась только и исключительно позитивная энергия: без злости, без боли, без дури. Слишком значимый для культуры двадцатого века, чтобы уместиться в тесные рамки поп-артиста, Маккартни остался совершенно чужд всей вышеперечисленной атрибутике. Бунтарем он не был даже тогда, когда для этого (чтобы не быть) требовались специальные усилия. Ну не свойственно ему это по природе. Однажды он попытался сочинить песню на тему расовых проблем в Америке — на выходе получилась нежная и абсолютно не социальная «Blackbird». Настоящая политическая песня все-таки есть у Маккартни: «Отдайте Ирландию ирландцам» — но неуклюжая, какая-то вымученная, хотя и более-менее скандальная, где-то ее даже запрещали. Не суждено Маккартни ловко жонглировать лозунгами, и в идеологии он не нуждается. Определяющая черта его творческой личности — доверие к собственному таланту, который, конечно, может на время уходить в тень, но никогда не изменит окончательно, если не производить над ним каких-то диких экспериментов. Маккартни в абсолютной мере, доступной только гениям, свойственно «базовое доверие к миру» — то, что психологи рекомендуют всеми силами развивать у детей, начиная чуть ли не с первого дня. Дар Маккартни, все его творчество действительно очень детские, и за это сохраненное детство стоит ценить его не меньше, чем за собственно мелодические достоинства. Разумеется, я не подразумеваю под «детским» никакого умаления, примитива — на мой взгляд, такую же «детскость» сохранял в себе, например, поэт Николай Гумилев, что не помешало ему «по-взрослому» наполучать георгиевских крестов, оставить след в русской культуре и принять большевистскую пулю. Кстати, особенно заметна «детскость» Маккартни в сравнении с очевидной неизбытой «подростковостью» его партнера по «Битлз», большого любителя демонстративного поведения на сцене и в жизни Джона Леннона. Весьма интересно было наблюдать на Красной площади, как люди танцуют под Маккартни: это мало напоминало обыкновенные дурноватые рок-пляски, на ум скорее приходили какие-то патриархальные, не пьяные, но веселые праздники вроде еврейской свадьбы или утренник в детском саду в те редкие моменты, когда дети забывают стесняться, перестают оглядываться на все и вся и начинают развлекаться в свое удовольствие.

Но даже если бы Маккартни был давным-давно всеми в мире забыт, разучился петь, а в Москву приехал со второсортным непрофессиональным составом исключительно за деньгами — все равно для России была бы здесь особая тема. Это в Европе, в Америке, в цивилизованной Азии выступление Маккартни — вещь рядовая, а для нас — культурная, если не историческая веха. Приезда «Битлз» в Советский Союз так сильно ждали еще в середине шестидесятых, что напряжение этого ожидания породило настоящие, живучие легенды. Главная, инспирированная песней «Back in the USSR» (кстати, в нынешнюю концертную программу Маккартни включил ее не только для выступления в России, как можно было бы предполагать, — она присутствует на диске и исполнялась в разных странах, в частности в Мексике, большая часть населения которой вряд ли себе представляет, где был этот СССР и что теперь с ним случилось), повествовала о том, как битлы долетели аж до аэропорта Шереметьево и только здесь получили от проснувшихся советских властей отлуп, так что с обиды сыграли концерт прямо на летном поле. Это чистая сказка. Более правдоподобная история — о том, что они все же побывали в Москве инкогнито, пролетом с каких-то азиатских гастролей, и дали закрытый концерт в английском посольстве. Вроде бы даже есть свидетели — скажем, русские жены каких-то работавших на тот момент в Москве англичан, на том концерте побывавшие. Однако существует хронология «Битлз», где все действия и передвижения группы расписаны буквально по часам, — и там не просто нет упоминания о визите в Москву и посольском концерте, но по ним даже не определяется промежуток времени, когда эти события могли бы состояться. Сам Маккартни на пресс-конференции сообщил, что в России он прежде не был никогда; что в восьмидесятых делал предложения выступить в России, но по непонятным причинам получил от каких-то официальных людей отказ. Когда именно в восьмидесятые — не уточняет. Опять-таки молва пытается связать это с московской Олимпиадой, но такая связь тоже не представляется достоверной: Олимпиада по причине советско-

го вторжения в Афганистан носила как бы альтернативный характер, евро-американским миром принималась в штучки, а то и прямо бойкотировалась, и непонятно, чего ради именно в такой напряженный момент экс-битлу вздумалось бы предлагать себя: все равно как накануне «Шока и трепета» попроситься на гастроли к Саддаму Хусейну. В общем, как бы там ни было, а ни вместе, ни порознь битлы не могли добраться сюда четыре десятилетия — хотя за последние пятнадцать лет кого уж только у нас не перебывало. Правда, первым проторил в Россию дорожку вроде бы тоже вполне полноправный битл Ринго Старр. Однако же не вызвали его концерты такого ажиотажа, прошли тихо, почти незаметно. Видимо, лишь двое из четырех отождествлялись с самим понятием «Битлз» по принципу: «говорим партия — подразумеваем Ленин», и после гибели Леннона (простите за каламбур) один лишь Маккартни воспринимается у нас не просто как музыкант — а как фигура символическая. И хотя он наверняка не слишком глубоко вдавался в специфику прежнего и нынешнего российского существования, интуиция, видимо, подсказывала, что к чему, — вряд ли одна лишь пустая спесь заставила его выставить твердое условие: концерт может состояться только на Красной площади.

Кому я точно на этом концерте не завидовал — тем, кто был в состоянии заплатить большие деньги и приобрести сидячие места. Приятно, конечно, видеть знаменитого музыканта не на телеэкране, а прямо перед собой, даже без бинокля, да заодно и с Путиным, явившимся из Спасских ворот, почувствовать себя чуть ли не запанибрата. Однако это не Большой театр и даже не Концертный зал «Россия»: местничество чужеродно площадным, стадионным концертам, и общность здесь надо ощущать не с элитой — элите, собственно, тут вообще не место и было бы полезно раствориться в толпе. Но нашей элите такой вариант поведения, конечно, и в страшном сне не приснится — а зря, опять упустили шанс заметить общество, в котором и благодаря которому они живут, причем увидеть его в неожиданном и на удивление обнадеживающем срезе. Главное, что я вынес с этого концерта, — именно образ публики, той публики, денежных возможностей которой хватало лишь на демократичные стоячие билеты, — реакция людей, танцы, пение, лица, маленькие дети на плечах родителей — такая радость распространилась по Красной площади, такое ощущение праздника, какого в России я не видел уже давно, а то и вовсе никогда. И я все пытался придумать, как бы назвать, собрать под одним словом все это множество людей, съехавшихся из разных городов, готовых стоять на котурнах, чтобы все-таки увидеть собственными глазами на далекой да еще и загороженной инженерной конструкцией сцене маленькую, почти точечную фигурку в красном, согласных, если не досталось билета, не видеть, так хоть слышать, даже из-за стены: не меньше нескольких сотен человек прослушали весь трехчасовой концерт, стоя у милицейского ограждения за Иверскими воротами, за Манежной площадью, практически на проезжей части у начала Тверской. Вряд ли все они — битломаны. Вряд ли даже у большинства из них музыка «Битлз» или Маккартни присутствует в жизни не то что ежедневно, а, скажем, еженедельно. И все же все они относятся к единой культурной генерации. Разумеется, она не совпадает с обычным биологическим поколением — ибо старшим здесь сегодня уже к шестидесяти, а младшим где-то чуть за половину третьего десятка (впрочем, это условно, у многих моих знакомых сверстников дети — подросткового возраста, студенты начальных курсов, выросшие в совершенно иную и общественную, и музыкальную эпоху, настоятельно требовали, чтобы родители взяли их на концерт с собой). Старшие и младшие этой генерации прожили, в принципе, абсолютно разные жизни (во времена первых пластинка «Битлз» стоила на черном рынке полторы средние зарплаты научного работника, последние покупают на Горбушке по три доллара пиратские компакт-диски в формате mp3 — штука на шести таких можно уместить все творчество и «Битлз», и всех битлов по отдельности). И тем не менее в нашей стране практически любой человек, попадающий в эти возрастные рамки, — ну, за исключением, конечно, дремучих вариантов, к которым понятие культурной генерации просто неприменимо, — и даже совершенно не интересующийся современной музыкой, не только знает, кто такие «Битлз», но и способен назвать членов ливерпульской четверки по именам (а по-

пробуйте такой же тест провести в Америке). И более того: я пытался вспомнить еще какой-нибудь иной подобный культурный идентификатор и не сумел — разве что Высоцкий и персонажи «Семнадцати мгновений весны»¹.

Концерт Маккартни на Красной площади — это не знак победы одного общественного строя над другим: свободы над тоталитаризмом и т. д. Таких знаков — и радостных, и горьких — хватало и без Маккартни. Это декларация культурного поколения — заявление о том, что оно вошло в полную силу, оно актуально, желает определять и определяет, какой будет жизнь в стране, что здесь можно и чего нельзя. Старшему культурному поколению — тем, для кого «Битлз» не значили ничего или были раздражающим фактором, — пришла пора освобождать место (разумеется, это высказывание статистическое и не означает, что всякого, кому за шестьдесят, пора списывать со счетов), а у младшего в России пока еще даже контуры собственные не определились (недаром малочисленные и довольно тусклые, даже по сравнению с западными антиглобалистами, молодые радикалы-небольшевики оказались чуть ли не самыми яркими из новых российских героев). Традиционная геронтофилия советской власти понемногу уходит в прошлое — во власти, в финансах, вообще в управлении страной доля людей поколения «Б» уже очень существенна и постоянно увеличивается. Российские СМИ практически полностью в их руках — и в пресловутом заигрывании СМИ, особенно электронных, с молодежью, уже заметен страх перед теми, кто когда-нибудь и этому поколению все-таки придет на смену, стремление как бы заговорить опасность, представить ее умаленной: чего стоит хотя бы устойчивый телерекламный образ молодого восторженного дебила-потребителя, кусающего шоколадку или открывающего бутылку фанты. Наконец, свою причастность к этой генерации открыто продемонстрировал сам президент. Возможно, и даже наверное, это культурное поколение мелковато (только по сравнению с кем?) и ничего особенно дельного после себя не оставит в российской культуре, науке, «сумме технологий». Но по большей части именно представителям этой генерации досталось болезненное перестроение страны последних пятнадцати лет — и они вынесли, не впали в истерику, не устроили кровавого бунта, приспособились, даже не научились, а сразу нашли в себе смелость, умение жить, думать, действовать по-новому. Они как будто уже имели преадаптацию, — и «Битлз», я считаю, не последние, кто ее обеспечил. Я далек от мысли приписывать генерации «Б» в целом какое бы то ни было существенное единство мировоззрения, внутреннюю солидарность и даже общие интересы, стремления — человеческое бытие играет немногими картами, но и в одном поколении — биологическом ли, культурном — разными, всегда каждый за себя. А вот что у этих людей действительно общего: им уже не объяснишь, чего ради нужно было столько десятилетий спать в гробах, ходить по лезвию ядерной бритвы и прислушиваться к отзвукам из-за «железного занавеса», не заставишь поверить, что был хоть какой-то позитивный смысл пусть не в государственном, политическом — этот вопрос еще можно дискутировать, — а в идеологическом и культурном противостоянии всему миру. Они уже не видят ничего страшного в том, что экс-битл Пол Маккартни в течение вечера доминирует над площадью, которая стала символом даже не российской, а именно советской государственности. И не-

¹ Однажды мне довелось прочитать рукопись небольшой повести, присланной в одно московское издательство на предмет возможной публикации. Наверное, она была не очень удачная — во всяком случае, издательство ее не приняло. Однако там было довольно суггестивное сочетание веселого и трагического: молодому офицеру, раненному и умирающему в Афганистане, перед смертью мерещится целая жизнь — и в этой жизни он попадает на Запад, становится другом своим кумирам, среди которых и Маккартни, и даже чудесным образом оставшийся в живых Леннон проходит вместе с ними череду забавных ситуаций... И получается, что эти далекие и вроде бы чужие люди, знакомые только по песням и пластинкам, оказываются для него во всем известном ему мире едва ли не ближе и дороже всех и всего, за исключением разве что нескольких настоящих, живых друзей — таких же никого и ни на что, кроме убоя, не нужных в своей стране. Я не помню имени автора, не помню, из какого он города, но вот эта нота меня буквально резанула по сердцу, и вещь засела в памяти. Независимо от литературных достоинств повести, она была, может быть, самым поколенческим сочинением, какое когда-либо попадало мне в руки. Я имею в виду и мое биологическое поколение, и ту самую культурную «битловскую» генерацию.

мудрено, что раздавшиеся по этому поводу депутатские протесты ушли как в вату: кого они могли раззадорить — старушек с красными флагами? (Впрочем, подлинной своей цели они, конечно, достигли и создали «информационный повод» для очередного упоминания в СМИ нескольких фамилий.) Да и то сказать, стоило ли превращать в кладбище главную площадь страны? Ну а уж коли стали почтенные лица (есть там, наверное, и такие) жертвой коммунистического язычества и культа смерти, что ж, пусть потерпят теперь в угоду живым, послушают немного рок-н-ролла. Или предполагается, что военные парады покой мертвых не смущают? Трудно поверить, что души за гробом не утрачивают казенного патриотизма. (Между прочим, Маккартни не первым создал прецедент. Выступления заезжих знаменитостей, правда, устраивали раньше на Васильевском спуске — покуда мэр Лужков не приужахнулся от музыки и сценической манеры прогероиненной группы «Red Hot Chili Peppers» и такую практику не запретил, а вот юбилейный концерт «Машины времени» тоже состоялся на Красной площади — и никого не смущало. Своим, выходит, можно.)

Концерт начинался с костюмированного представления под инструментальную фонограмму, а когда включились живые инструменты, звук сразу стал на порядок мощнее. И тут, откуда-то с кремлевских крыш, из-за купола Сената, с громким, рассерженным граем сорвалась и закружилась над сценой, над площадью здоровенная стая больших черных ворон. И не нужно было обладать особым метафорическим чутьем, чтобы увидеть в них духов русского государственного коммунизма, автаркии, изоляции. Зло, с каким-то отчаянием каркая, они закладывали круги — ждали, когда безобразие прекратится, вернется тишина: ведь там, где шумно, падали не найдешь. Но не дождалось и разом куда-то сгнули. И дай Бог, чтобы на-всегда.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*Библиотеки в Интернете, мемориальные и персональные сайты —
классика и современность*

В кругу друзей и коллег я пользуюсь репутацией человека увлеченного, чуть ли не одержимого Интернетом. И даже как-то неловко разуверять их, что отношение мое к Интернету скорее настороженное, а отношение к Интернету литературному, может быть, и более чем настороженное.

Нет, разумеется, Интернет — изобретение очень даже удобное и полезное. Но что касается взаимосвязей его с собственно литературой, то не так они просты и безоблачны, как принято считать. С одной стороны, конечно, — возможность для писателя явиться перед читателем с новым текстом хоть через час после его завершения; наличие гипотетически безбрежной аудитории, перспектива сколь угодно широкого и сколь угодно оперативного обсуждения текстов и так далее; ну а для читателя — мгновенный доступ почти к любому знаменитому сочинению. Но с другой стороны — беру самое очевидное — монитор и мышка провоцируют на скоротечение. Мы не читаем текст, не вживаемся в него — мы в лучшем случае узнаем о его существовании: о сюжете, стилистике, эстетической и идеологической ориентации. Принимаем, так сказать, к сведению. Возможность полноценного проживания текста дает, на мой взгляд, только бумажное его воспроизведение — книга или журнал. Я допускаю, что во мне говорит консерватор, но уже не раз обнаруживал, что и как бы сугубо интернетовские — в Сети сложившиеся — литераторы мечтают о собственной книге. Что же касается господствующих сейчас интернет-стилистик, то они требуют от автора краткости, броскости, эффектности интонационных ходов и лексики и т. п. Это не хорошо и не плохо, это просто другая стилистика, которая может даже обогатить и «бумажную» литературу — был же благодарен Хемингуэй своей газетной работе, которая помогла ему найти соб-

ственный стиль, но при этом ничто не мешало ему усваивать уроки Гертруды Стайн и Шервуда Андерсона. Интернет-пространство не может предоставить всем пишущим одинаковые возможности — я стану с удовольствием читать в Интернете, скажем, Сергея Солоуха, но вот Набокова — не смогу, тут другая нужна, как для сто-какого-нибудь «ИЛа», взлетная полоса. Это вопрос технического несовершенства культурных инфраструктур Интернета. Возможно, ситуация изменится, и достаточно скоро (об этом — ниже), но пока литературный Интернет активно формирует своего читателя, отдающего предпочтение внешней экспрессии (чаще всего — на уровне лексики) и игре в парадоксы перед, скажем, эмоциональным и интеллектуальным напором неторопливо развивающегося сюжета и внешне приглушенной интонации. К ситуации этой, — хотя бы потому, что литературное творчество — процесс, в котором участвуют двое: писатель и читатель, — следует относиться серьезно. И, на мой взгляд, в опасности находится не только новая литература, но, как ни странно, и «старая», то есть классическая, которую активно выставляют сейчас на множющихся специальных сайтах. Не думаю, что обилие интернетовских библиотек и культурных мемориальных сайтов самим фактом своего появления в Интернете делает литературную классику ближе и доступнее читателю. Надо отдавать себе отчет в том, как и для каких целей востребуются эти сайты. Ну вот, скажем, представление в Интернете полного собрания текстов Пушкина. Для чего оно? Чтобы Пушкина начинали читать в Интернете? Не думаю. Проще и естественнее открыть книжное издание, которое, несомненно, доступнее сегодня, чем Пушкин в Интернете. Ну а тогда зачем? Для кого? Прежде всего для специалистов — для филологов, лингвистов, культурологов, психологов и т. д. В сегодняшней ситуации мемориальные литературные сайты — это возможности не столько для чтения, сколько для работы с текстами¹. Не больше, но и, как говорится, не меньше.

Ну например.

Недавно в качестве «свежей головы», то есть редактора, последним вычитывающего корректуру журнала перед сдачей в типографию, я читал новый роман известного нашего писателя и наткнулся в нем на упоминание о некоей как бы общеизвестной притче из Достоевского про «веселого каторжника и луковку». Это место меня смутило — я помню историю про «луковку», только «веселого каторжника» в ней не было. Нужно было свериться с текстом Достоевского, и — что самое сложное — срочно. Поэтому я полез в Интернет с намерением скачать оттуда текст романа, а потом с помощью операции «Найти» из группы «Правка» обнаружить искомое место по слову «луковка». И мне повезло — первым же сайтом с текстами Достоевского, предложенным Яндексом, оказался сайт Петрозаводского государственного университета «Весь Достоевский» <<http://www.karelia.ru/~Dostoevsky/main.htm>>. А на титульной странице сайта в списке разделов первым стояло: «Конкордансы Достоевского». Достаточно было открыть этот раздел и мышкой щелкнуть в открывшемся списке произведений на «Братьев Карамазовых», и на экране появилась страница с алфавитом наверху и двумя столбиками слева, в одном — сочетание двух первых букв искомого слова, в другом — сами слова; я выбрал в алфавите «Л», потом в столбике слогов щелкнул мышкой по «ЛУ» и среди появившихся в соседнем окошке слов выбрал «ЛУКОВКУ» — и вот тут на экране возник тот самый эпизод, в котором Грушенька рассказывает про луковку. Разумеется, никакого «веселого каторжника» там не было, а была, как и предполагалось, «баба злющая-презлющая» <http://netra.karelia.ru/bin/concor.orig?t=_k.html&f=karamaz/main>. Вся операция, начиная от загрузки на экран Яндекса, заняла минут пять, не больше, и это несравнимо с временем, которое иногда может потребовать — это вам любой редактор скажет — поиск нужной цитаты в толстом томе. (Конкордансы всех произведений Ф. М. Достоевского на этом сайте «созданы на основе первых редакций опубликованных текстов писателя», «подготовлены в авторской орфографии и пунктуации»; подготовка собрания сочинений осуществлялась под редакцией профессора В. Н. Захарова.)

¹ Эта проблема поднята, в частности, в «WWW-обзоре» В. Губайловского в предыдущем номере нашего журнала. (Примеч. ред.)

Вот один из вариантов грамотной работы с классическими текстами в сегодняшнем Интернете — авторы сайта, определив его возможную аудиторию, выстроили свой материал соответственно ее потребностям.

Ну а возвращаясь к Пушкину, отнюдь не обиженному вниманием интернетовских энтузиастов, могу порекомендовать достаточно интересное представление его текстов на сайте **Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)** (в нее удобней заходить со страницы <<http://feb-web.ru/feb/feb/map.htm>>).

Библиотека эта задумана как «сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI — XX веков и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики». «ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий текстов (источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, эффективный инструмент для их анализа. Электронная форма представления информации и современное программное обеспечение предоставляют исследователям и читателям качественно новые, по сравнению с традиционными, средства работы с огромными информационными массивами».

По отношению же к Пушкину сказанное означает, что кроме полного собрания его текстов здесь «представлены исследования и справочные пособия, принадлежащие золотому фонду отечественной и мировой пушкинистики, — это справочник Л. А. Черейского „Пушкин и его окружение“, коллективный „Путеводитель по Пушкину“, „Метрический справочник к стихотворениям Пушкина“... пушкинский выпуск „Литературного наследия“, коллективная монография „Пушкин. Итоги и проблемы изучения“, научные труды виднейших пушкинистов (Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Н. В. Измайлова, Б. В. Томашевского и других). Здесь же помещены сборники „Разговоры Пушкина“, „Пушкин в воспоминаниях современников“ и „Пушкин в прижизненной критике“, а также „Семинарий по Пушкину“, подготовленный Л. Г. Фризманом». Плюс — добавлю от себя — на сайте выставлено впечатляющее собрание писем современников Пушкину.

Подобная работа проделана здесь и с творческим наследием Батюшкова, Боратынского, Грибоедова, Лермонтова и других; в перспективе же на сайте должна будет представлена вся русская классика от «Повести временных лет» до литературы XX века. (Заходить к текстам пока удобнее со страницы <<http://feb-web.ru/feb/feb/atindex/atindex.htm>>; единственная моя претензия к разработчикам этого замечательного сайта — чрезмерно усложненная система навигации.)

Сайт начал работу относительно недавно, и многие его разделы пока только обозначены на карте сайта. Скажем, фольклор или древнерусская литература. Частично работу эту в сегодняшнем Интернете выполняет историко-литературный портал Кемеровского государственного университета «**Древнерусская литература**» <<http://drevnerus.kuzbassnet.ru>> Сайт создан прежде всего для филологов и историков. Основные разделы: «*Либерия*», «*Теория*», «*Студенту*». «До момента открытия портала (в 2002 году) древнерусские тексты и исследования по ним, конечно, были представлены в Интернете, но в разобщенном, несистематизированном состоянии. Мы ставим перед собой задачу собрать в одном месте все известные памятники древнерусской литературы и все теоретические изыскания, посвященные им, обеспечив материал наглядностью и возможностью поиска. Весь контент либо взят из открытых электронных источников (в таком случае он снабжен ссылкой на родительский ресурс), либо перенесен нами из печатных изданий».

В «*Либерии*» <<http://drevnerus.kuzbassnet.ru/lib/>> соответственно выставлены тексты древнерусской литературы — от памятников IX века до «Жития» протопопа Аввакума и «Повести о Фроле Скобееве»; за основу взято их издание в «Изборнике» («Библиотека всемирной литературы». М., 1969; составители Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев). Тексты, так же как и в «Изборнике», даны в оригинале и в переводе на современный русский язык. Ну и, разумеется, огромные возможности у раздела «*Теория*», представляющего и монографии (скажем, Н. К. Гудзия «„Слово о полку Игореве“ и древнерусская литературная традиция», Д. С. Лихачева «Литература эпохи „Слова о полку Игореве“»), и отдельные статьи; недавно там появилась

работа консультанта сайта А. М. Зотова «О роли контраста в системе художественно-изобразительных средств „Жития” протопопа Аввакума». Идея проекта принадлежит А. Доронгову.

Примерно с такой же ориентацией на специалистов работают на сайте «Гончаров в сети Интернет» <<http://www.md.spb.ru/goncharov/>>. Это официальный сайт группы по подготовке Академического полного собрания сочинений и писем И. А. Гончарова Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук (под руководством В. А. Туниманова). «На страницах нашего сайта читатель сможет найти все, что будет выходить в рамках Академического собрания. Часть материалов появится в сети даже раньше, чем будет опубликована. Более того, посетители нашего сайта смогут ознакомиться с материалами, которых нет в собрании: новейшей библиографией, большой коллекцией изобразительных материалов, критикой, воспоминаниями современников и многим другим. <...> Авторитетность научно подготовленных текстов и обширность комментариев будет дополнена невозможным в академическом издании богатством самого разнообразного материала о жизни и творчестве писателя. <...> Мы надеемся сделать наш сайт энциклопедией творчества одного из русских классиков...»

Структура сайта: разделы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», «Фрегат „Паллада”» (каждый из этих разделов имеет три подраздела: текст, примечания, библиография); «Повести»; «Очерки и воспоминания»; «Статьи»; «Письма»; «Библиография»; «Воспоминания о Гончарове»; «Иконография»; «Биография».

В «Воспоминаниях о Гончарове» <<http://www.md.spb.ru/goncharov/vospom.htm>> — П. Д. Боборыкин, М. В. Кирмалов, А. Ф. Кони, Е. П. Левенштейн, К. Т. Современница, И. И. Панаев, А. Я. Панаева, А. П. Плетнев, А. М. Скабичевский, А. В. Старчевский, М. Стасюлевич.

Вот несколько сайтов, потенциальная востребованность которых благодаря четко обозначенным функциям, на мой взгляд, несомненна. Аудитория их будет не слишком широкой, но зато устойчивой.

Ну а каковы перспективы «наивных» мемориальных сайтов, устроители которых не слишком мудрствовали, ограничившись представлением на своих страницах портрета классика, более или менее развернутой биографической справки и отсканированных текстов? Текстов, как правило, общеизвестных и общедоступных. Можно ли говорить, что работа их бессмысленна? Похоже, что да. По крайней мере сегодня. Хотя и у них тоже есть перспектива. Будем считать, что это «сайты на вырост», сайты, востребованность которых будет зависеть от воплощения новых, уже существующих технологий. Ну, скажем, реализации проекта Джейсона Эпштейна и Джеффа Марша. В основу этого проекта легла идея принципиально новых взаимоотношений читателя-потребителя с процессом издания книги. Речь идет о широком внедрении печатного устройства, позволяющего любой компьютерный текст превращать в книгу. На практике это может выглядеть, например, так: выбрав в Интернете заинтересовавший вас текст, вы, проделав с ним некие операции (достаточно элементарные), подключаетесь к серверу печатной машины (установленной, например, в ближайшем от вас универсаме, почтовом отделении или каком-либо муниципальном учреждении) и щелчком мышки посылаете заказ на изготовление книги. Изготовление заказанной вами книги займет несколько минут, а стоимость ее будет заведомо ниже той, что предложит вам книжный магазин. Это ситуация, в которой вы как читатель уже не зависите от издательских планов и от возможностей книготорговли. Любой текст, выложенный когда-либо в Интернете, вы сможете без особых усилий и затрат превратить в книгу. То есть Интернет превращается в некий «литературно-сырьевой ресурс», каковым он на самом деле и является (подробнее о проекте в статье Джейсона Эпштейна «Оцифрованное будущее» — «Интеллектуальный форум», 2002, № 10, <http://if.russ.ru/issue/10/20020906_ep.html>).

Вот тогда и будут, возможно, востребованы ресурсы даже самых «наивных» интернетовских библиотек. Но это дело будущего, будем надеяться — не такого уж отдаленного.

А сегодня?

Я захожу на сайт, посвященный творчеству **Михаила Зощенко** <<http://zoschenko.narod.ru/index.html>> Выставлены тексты примерно двухсот рассказов, написанных с 1921 по 1950 год, нескольких (не всех) повестей, двух пьес; а также короткий (до неприличия, из двух позиций состоящий) список работ о творчестве Зощенко; библиография Зощенко, содержащая 5 (пять!) позиций; в отдельном разделе — 8 фотографий. Вот, собственно, и весь сайт.

Представление другого нашего классика, **Андрея Платонова**, — сайт: «**Андрей Платонович Платонов (1899 — 1951). Энциклопедия творчества**» <<http://www.hrono.ru/proekty/platonov/index.html>> Текстов самого Платонова здесь не много — на странице «*Литературное наследие*» выставлено несколько стихотворений, два рассказа, извлечения из записных книжек писателя; в «*Платоновской библиотеке*» — короткое эссе Платонова о любви и письма 20-х годов «Однажды любившие»; тексты донесений (доносов) на Платонова в соответствующий отдел НКВД, составлявшиеся кем-то из ближнего, судя по осведомленности, окружения писателя; оперное либретто Платонова «Машинист» и сценарий «Отец-мать». Устроители сайта, видимо, не ставили перед собой задачи создавать собственно библиотеку — они ориентировались на «энциклопедию», и, возможно, потому страница «*Платоновская библиотека*» содержит далее исключительно ссылки на тексты Платонова в Интернете, в частности, на библиотеку **Максима Мошкова** <<http://lib.ru/PLATONOW/>> (у Мошкова выставлены «Луговые мастера», «Сокровенный человек», «Семен», «Усомнившийся Макар», «Река Потудань», «Неодушевленный враг», «Государственный житель», «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», «Московская скрипка», «Счастливая Москва», «Антисексус»). Самым ценным на этом сайте является библиографический раздел «*Платоноведение*», содержащий список из 600 работ о Платонове, а также статьи **А. Дырдина**, **Елены Роженцевой**, **Е. А. Яблокова**, **М. А. Дмитровской**, **Анджелы Ливингстон (Оксфорд)**, **Василия Логинова**, **Леонида Плешакова** и других. В соседнем разделе «*Писатели и критики об А. П. Платонове*» — статьи **Владислава Отрошенко**, **Олега Павлова**, **А. Булыгина**, **А. Гущина**, **Павла Басинского**, **Виталия Шенталинского**, **Александра Вальцева** и **Иосифа Бродского** (о «Котловане»). То есть какой-то исследовательский материал на сайте представлен, но все же до статуса «Энциклопедии Платонова» ему еще расти и расти.

Оба сайта — и зощенковский, и платоновский — делались, естественно, с самыми лучшими намерениями. Но одно дело, как в случае с Платоновым, выставить на сайте файлы докладов, собранные на очередной конференции по творчеству писателя, другое — отсканировать хотя бы основные, можно сказать, классические для сегодняшнего платоноведения литературоведческие работы. Для этого одного только энтузиазма мало, здесь уже необходимы серьезная организационная работа и соответствующее финансирование — отсканировать, отформатировать, а потом вычитать труды того же **Л. Шубина** в свободное от основной работы время не получится.

Я понимаю сложности, стоявшие перед устроителями этих сайтов, и как читатель благодарен за то, что уже сделано. Определенную работу эти сайты выполняют. В отличие от некоторых других, где только как бы размечена территория под сайт, но само строительство остается почти в нулевом периоде. Вот сайт, посвященный творчеству **Александра Вампилова** <<http://vampilov.chat.ru/>> Титульная страница обещает «его биографию, тексты произведений, воспоминания о нем. Также на сайте представлены фотографии его и членов его семьи». Верить этим обещаниям не следует. Вот реальное содержание составляющих сайт четырех разделов: краткий биографический очерк на странице «*Биография*», две пьесы: «Исповедь начинающего. (Психологический этюд)» и «Провинциальные анекдоты: история с метранпажем» на странице «*Произведения*», четыре фотографии на странице «*Фотографии*» и краткое высказывание **Распутина** о Вампилове на странице «*Воспоминания*» — и все. Стоило ли появляться перед интернетовским читателем с сайтом в такой вот степени готовности? Кстати, Вампилову не очень повезло в нашем Интернете, поисковые системы предлагают адрес еще одного «вампиловского» сайта — сайт **Фонда А. Вампилова** <http://vampilov.irkutsk.ru/prensa_il.html>, который достаточно полно представляет работу вышеозначенного фонда, но отнюдь не

творчество самого Вампилова. За текстами Вампилова нужно идти все в ту же библиотеку Максима Мошкова <<http://www.lib.ru/PXESY/WAMPILOW/>> (здесь выложены тексты 21 пьесы).

Сказанное выше относится прежде всего к сайтам мемориальным. Принципиально иной, на мой взгляд, выглядит ситуация с представлением в Интернете творчества современных писателей или новых классиков, еще не успевших обзавестись многочисленными и доступными собраниями сочинений. Здесь Интернет способен как-то минимизировать потери широкого читателя, связанные с затянувшейся уже чуть ли не на десятилетие кризисной ситуацией с книготорговлей в России, — это когда в Москве или Петербурге владельцы книжных складов не знают, что делать с залежами нераскупленной современной литературы, а уже в ста километрах от столиц книги эти для соответствующего читателя — супердефицит (сужу хотя бы по книжным магазинам Калужской и Владимирской областей). И потому, на мой взгляд, каждый современный писатель, добившийся известности, то есть сформировавший свою читательскую аудиторию, уже поэтому должен иметь персональный сайт. Увы. Что касается персональных литературных страниц наших современников в Интернете, то лидерство здесь определяется отнюдь не литературным даром, а интернет-активностью автора. В списках персональных литературных сайтов на поисковых системах все больше неведомые широкому читателю имена. Но нет персональных сайтов ни у Андрея Битова, ни у Евгения Попова, ни у Татьяны Толстой, ни у Андрея Дмитриева (этот список можно продолжать и продолжать). Отчасти работу отсутствующих сайтов выполняют персональные страницы на «коллективных» сайтах — на «Вавилоне» <<http://www.vavilon.ru/>>, в «Литературной Промзоне» <<http://litpromzona.narod.ru/portfolio.html>>, на «Русском переплете» <<http://www.pereplet.ru/>>, на сайте Александра Левина <<http://levin.rinet.ru/FRIENDS/index.html>>, в «Журнальном зале» <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/avtory/> (сетевой «Новый мир» представляет на отдельных страницах сегодняшнее творчество Азольского, Горлановой, Екимова, Искандера, Маканина, Малецкого, Солженицына, Петрушевской и других), но этого, разумеется, мало. Нужны именно персональные сайты, где посетителей принимал бы в качестве хозяина сам писатель, как, скажем, на сайте Бориса Акунина <<http://www.akunin.ru/>> или Олега Павлова <<http://pavlov.nm.ru/biblioteka.htm>>

В завершение обзора я хочу представить один из таких, к сожалению немногочисленных сегодня, персональных сайтов — сайт Виктора Астафьева <<http://fro196.narod.ru/library/astafiev/content.htm>>, творчество которого все еще воспринимается нами как сегодняшняя литература. Устроители сайта смогли выставить в Интернете (и это главное достоинство сайта) полный корпус сочинений Астафьева — романы, повести, рассказы, новеллы, очерки, отдельные главы, отрывки, стихотворения, публицистику; в свободном доступе 531 произведение. Здесь же великолепно составленная библиография публикаций Астафьева <<http://fro196.narod.ru/library/astafiev/about/bibliography/bibliography.htm>>, оформленная по разделам: «Авторские сборники. Отдельные издания произведений», «Публикации в коллективных сборниках и периодических изданиях», «Произведения В. П. Астафьева в изданиях для детей», «Публицистика, статьи о литературе», «В. П. Астафьев-переводчик». Мне, кстати, стало интересно, какой была активность Астафьева-критика; оказалось, чрезвычайно высокой — список его литературно-критических выступлений занимает в соответствующем разделе с 442-й по 713-ю позицию; ну а завершают список «Переводы» (с белорусского, грузинского, ногайского и коми-пермяцкого) — указано десять работ. Поработал человек дай бог каждому.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Валерий Заворотный. Кухтик. История одной аномалии. М., «Вагриус», 2002, 414 стр., 5000 экз.

«Роман-сказка для взрослых» — политический памфлет о новейшей истории России, после семидесятилетнего эксперимента по осуществлению Идеи Великого Истребления переживающей эпоху Либерализации.

Ольга Зондберг. Очень спокойный рассказ. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 336 стр.

Третья после сборника стихов «Книга признаний» (М., «АРГО-РИСК», 1997) и собрания прозы «Зимняя кампания нулевого года» (М., «АРГО-РИСК», 2000) книга молодой писательницы, вышедшая в новой серии «НЛО» «Soft Wave» («мягкая волна»): «...серия книг новейшей русской прозы. Ее авторы могут радикально отличаться по стилю, эстетике и мировоззрению. Главное, что их объединяет, — отказ от провокативных стратегий и упрощения языка, от стилистических и сюжетных шаблонов так называемого „интеллектуального мейнстрима“. Вместо отжившей идеи литературы как навязчивого нарушения общественных табу „Soft Wave“ предлагает идею литературы как нового понимания человека и его отношений — личных и живых — с миром и языком».

Станислав Львовский. Слово о цветах и собаках. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 320 стр.

Собрание рассказов одного из самых интересных писателей нынешнего поколения тридцатилетних, вышедшее в новой издательской серии «НЛО» «Soft Wave»; журнал уже писал о его публикациях в Интернете — 2000, № 3; 2002, № 10.

Абель Поссе. Долгие сумерки путника. Роман. Перевод с испанского Евгении Лысенко. М., «Иностранка»; «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2003, 281 стр., 5000 экз.

Путешествие автора вслед за своим героем, самым удивительным испанским конкистадором, Альваром Нуньес Кабесса де Вака, затерявшимся — почти буквально — во времени (XVI век) и пространстве (между нынешней Флоридой и Мехико): «Босоногий, голый, как индеец, безоружный, без крестов и Евангелий (внешних примет), он пустился в самое фантастическое в истории странствие (восемь тысяч километров по неведомым землям), быть может, пытаясь доказать самому себе, что человек человеку не волк».

Григорий Ряжский. Четыре Любви. Роман. Рассказы. М., «ОЛМА-Пресс», 2003, 352 стр., 5000 экз.

На материале сегодняшней хроники семейства, принадлежавшего некогда к официальной советской художественной элите, — психологическое исследование четырех «видов любви» героя: любовь-отречение (к матери), любовь-поклонение (к бывшей жене), любовь-дружба (к нынешней жене), любовь-страсть (к приемной дочери).

Григорий Ряжский. Крюк Петра Ивановича. Роман. М., «ОЛМА-Пресс», 2003, 351 стр., 5000 экз.

Несколько развернутых эпизодов из жизни московского крановщика Петра Ивановича и его жены Зины, а также их сыновей, невесток и внуков: экзистенциальное напряжение обычных проблем современной семейной жизни (супружеской любви, измен, реальных и мнимых; самого факта существования нетрадиционных сексуальных ориентаций, утопленного в быте национального вопроса и т. д.).

Григорий Ряжский. Точка. Повесть. М., «ОЛМА-Пресс», 2003, 320 стр., 5000 экз.

Повествование о «точке» — месте, где «снимают» проститутку, в изложении одной из ее обитательниц.

Григорий Ряжский. Дети Ванюхина. Роман. СПб., «Лимбус-Пресс», 2003, 312 стр., 3000 экз.

Современная семейная сага.

Григорий Ряжский. Наркокурьер Лариосик. Повести, рассказы. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 432 стр., 3000 экз.

Нечастая — и в общем-то интригующая — ситуация: в течение года с небольшим выходят пять книг практически неизвестного широкой читающей публике прозаика —

единственным предисловием к этому впечатляющему дебюту стала публикация журналом «Знамя» (2001, № 12) повести «Четыре Любви» и краткой справки об авторе: «...родился в Москве в 1953 году. Окончил Московский горный институт. Кинопродюсер, сценарист. Прозу начал писать в 2000 году. Рассказы печатались в русскоязычной прессе в Канаде, а также в журналах „Киносценарии“, „Playboy“, „Урал“, „Нева“». Как бы ниоткуда явившийся автор демонстрирует вполне профессиональную зрелость — умение средствами современной беллетристики (компактно, остро сюжетно, с выразительными психологическими характеристиками, с воспроизведением атмосферы сегодняшней жизни) написать острую социально-психологическую повесть, рассказ или криминальный роман (аукающийся не с бульварными коммерческими поделками, а с традиционными для русской классики сюжетными мотивами), наконец — семейную сагу. В книге «Точка» помещено в качестве предисловия эссе Людмилы Улицкой, сестры Григория Ряжского, об истории их семьи, отгасы проясняющее природу (корни) этого неожиданно раскрывшегося перед нами дара.

Антонио Табуки. Утверждает Перейра. Роман. Перевод с итальянского Ларисы Степановой. М., «Иностранка»; «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2003, 185 стр., 5000 экз.

Фашистская Португалия 1938 года как модель тоталитарных стран Европы (в их числе и СССР) глазами героя, непосредственно включенного (в качестве литератора, сотрудничающего с газетой) в идеологическую жизнь страны.

Леонид Цыпкин. Лето в Бадене. М., Роман. Вступительная статья Сьюзен Зонтаг. Послесловие Андрея Устинова. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 224 стр.

Роман практически неизвестного отечественному читателю писателя, Леонида Борисовича Цыпкина (1926 — 1982), врача-патологоанатома, еврея-отказника (1979), а также литератора, избегавшего литературного общения и всю жизнь писавшего «в стол». Первая публикация (фрагмент из романа) состоялась в нью-йоркской газете за семь дней до смерти автора. Последние годы литературной работы Цыпкина определило его увлечение творчеством и фигурой Достоевского. Сюжетной основой романа стала хроника поездок четы Достоевских в Европу в 1867 году, ключевой для созданного Цыпкиным психологического образа главного героя. Активно задействованы дневники Анны Григорьевны, обширная мемуарная литература и, разумеется, тексты самого писателя. Тщательно прописывается литературное окружение Достоевского (Тургенев, Гончаров, Григорович и другие) и — шире — социально-психологический и идеологический контекст его эпохи. Повествование о Достоевском вплетается автором в изображение атмосферы русско-советской жизни 70-х годов XX века с ее знаковыми фигурами (в частности, Солженицыным, Сахаровым, Боннэр). Средства, которыми создается образ писателя, тяготеют к психологическому и философскому гротеску, и, естественно, этот романский образ далек от канонической — перед нами Достоевский, прочитанный отчасти исходя из реалий позднесоветской действительности. Выход романа на Западе в английском переводе (намного опередившем нынешнее полноценное издание на родине) стал интеллектуальным событием. «Трудно представить, что до сих пор можно найти неизвестный шедевр... Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности...» (из статьи о романе Сьюзен Зонтаг, названной ею «Любить Достоевского»).

Яков Шабтай. Эпилог. Роман. Перевод с иврита, послесловие Наума Ваймана. М. — Иерусалим, «Мосты культуры» — «Гешарим», 2003, 232 стр., 1500 экз.

Последний роман классика израильской литературы (1933 — 1983). Современная городская психологическая проза, проблематика которой — взаимоотношения человека со смертью («Книга о смерти не может не быть философской. И это, конечно, философская книга. Но в ней нет „рассуждений“, философия незаметно и естественно вплетена в ткань обыденности („как вкус соли в морской воде“), и лишь иногда, в обрывках разговоров, в случайных наблюдениях и ситуациях, возникают неожиданные „проколы“ в метафизические бездны» — Наум Вайман).



Ароматы и запахи в культуре. Книга 1. Составление О. Вайнштейн. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 608 стр., 5000 экз.

Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. Составление О. Вайнштейн. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 664 стр., 5000 экз.

Тематика обоняния в русской и зарубежной культуре, в частности литературе, а также в повседневной жизни. Авторами этого первого в России двухтомного коллектив-

ного исследования стали парфюмеры, биологи, лингвисты, психологи, антропологи, культурологи, историки, философы, литературоведы, среди которых Иммануил Кант, Зигмунд Фрейд, Александр Строев (со статьей «Чем пахнет чужая земля»), Константин Богданов (в статье «„Тлетворный дух“ в русской литературе XIX века: (анти)эстетика как мораль» рассматривающий темы смерти и мотив трупного запаха — от надписей к лубочным картинкам, от произведений русских «сентименталистов» и «романтиков» до Толстого и Достоевского), Е. Жирицкая (с работой «Легкое дыхание: запах как культурная репрессия в российском обществе 1917 — 1930-х гг.» — от «свежего дыхания» дворянского дома и усадьбы до атмосферы, в которой новое российское общество «вольно дышит» барачным духом с отдушкой «несчастья и дыма»), Ольга Кушлина и другие.

Е. В. Афонасин. «В начале было...» Античный гностицизм. Фрагменты и свидетельства. СПб., «Издательство Олега Абышко», 2002, 368 стр., 1000 экз.

Книга молодого ученого-медиевиста, являющаяся одновременно и антологией тех раннехристианских апокрифических текстов (практически всех, находящихся сейчас в активном научном обороте), которые имеют отношение к гностическому мифу, и научной монографией, в которой автор описывает и анализирует древние источники и саму концепцию гностиков как историк и философ. До сих пор широкий читатель, интересующийся проблемой, обращался к книге «Апокрифы древних христиан» (М., «Мысль», 1989) — собранию текстов и подробному анализу-комментарию этих текстов И. С. Свенцицкой и М. К. Трофимовой (о книге этой многие из нас узнали из комментариев Вадима Михайлина к «Александрийскому квартету» Лоуренса Даррелла). Новое издание значительно расширило и количество источников, и сам историко-философский фон, на котором рассматривается это явление. Материалы книги расположены в двух частях: «Гносис в зеркале его критиков» (о полемиках с гностиками, о ересиологии и ее представителях, в частности Иринея, Епифании, Ипполита, Тертуллиана; описание «коптской библиотеки» и анализ ее текстов и т. д.) и «Античные свидетельства о гносисе» (ранние гностические школы: Симон Маг, Доситей, Менандр, Сатурнин и другие; гностическая интерпретация библейской истории и миф о падшей Софии: Барбело-гносис, «офиты», Апокриф Иоанна, гностический миф в изложении Иринея и Ипполита и т. д.).

Ролан Барт. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. Перевод с французского, вступительная статья и составление С. Н. Зенкина. М., Издательство имени Сабашниковых, 2003, 512 стр., 4000 экз.

В предисловии к изданию новых для русского читателя работ французского культуролога и писателя составитель отмечает, что сложившиеся в России издательские предпочтения привели к тому, что Барт-писатель затмил собой Барта-ученого. «Настоящее издание — попытка исправить положение, представив на русском языке труды Ролана Барта по теории знаковых систем (семиологии, семиотике), оставляя в стороне как его эссеистику, так и критику, и теорию литературы... и речь в них идет почти исключительно о *нелитературных* системах коммуникации. Легкомысленно-„светский“ характер большинства этих систем резко контрастирует с аскетичным, строго научным стилем анализа, рассчитанным отнюдь не на „широкую публику“; семиологический период в творчестве Барта вообще может трактоваться как своеобразная интеллектуальная аскеза». В качестве «легкомысленных систем» в предлагаемых работах Барта выступает мода, в частности, феномен модной женской одежды (монография «Система Моды», составившая основу этой книги); а также — кино, психосоциология современного питания, фотография, рекламное сообщение, медицина и т. д. (в отдельных статьях).

Н. Е. Врангель. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. Вступительная статья, комментарии и подготовка текста Аллы Зейде. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 512 стр.

Впервые на русском языке в полном объеме — воспоминания Николая Егоровича Врангеля (1847 — 1923), российского предпринимателя, литератора и коллекционера живописи, отца Главнокомандующего вооруженными силами Юга России в 1929 году Петра Врангеля. История семьи и рода, государственная, светская и частная жизнь русского дворянства от эпох Николая I и Александра II до Октябрьской революции: особенно подробно прописаны сюжеты, связанные с историей предпринимательства в России. Террор в Петербурге (осень 1918 года), начавшийся после убийства Урицкого, вынудил повествователя бежать в Финляндию. «Пора эти воспоминания кончить. Мой сын с остатками своей армии находится в Константинополе, его дети во Франции, а мы, старые люди, сами по себе. Печально глядим мы на гибель нашей родины, с горестью смотрим, как зарубежная Русь грызется между собой за будущую, более чем гадательную власть».

Роже Кайуа. Миф и человек. Человек и сакральное. Перевод с французского и вступительная статья С. Зенкина. М., О.Г.И., 2003, 296 стр., 2000 экз.

Первое в России издание работ известного французского писателя (начинавшего как сюрреалист), культуролога и антрополога (1913 — 1978), в книгу вошли две наиболее известные его работы конца 30-х годов.

С. Я. Надсон. Дневники. М., «Захаров», 2003, 272 стр., 4000 экз.

«Дневники» Надсона, ни разу не переиздававшиеся с 1917 года. «В дневник, который Надсон начал вести в 12 лет, попадает все — детские проказы, любовь к поэзии и собственные поэтические опыты, ожидание каникул и жизнь в деревне, встречи с именитыми современниками и подробности литературного быта... И главное — „биография души“, чувство гнетущего одиночества („Сегодня мне 20 лет, и нет никого на всем белом свете, кто бы вспомнил об этом и прислал бы мне теплую весточку“») (Ф. Дзядко, «Русский Журнал»).

Альфред Перле. Мой друг Генри Миллер. Роман. Перевод с английского Ларисы Житковой. СПб., «Азбука», 2003, 352 стр., 3000 экз.

Книга одного из постоянных персонажей прозы Генри Миллера, его многолетнего друга и литературного соратника Альфреда Перле, рассказывающего в своем романе-воспоминании о парижском полукочевом образе жизни Миллера в 1930 — 1932 годах, а затем — о «тихих днях в Клиши»; парижская часть воспоминаний доводится до конца тридцатых, до отъезда Миллера в Грецию к Лоуренсу Дарреллу; заключение повествование описания образа жизни Миллера в Калифорнии середины 50-х годов. Тогда же (в 1955-м) было написано «Послесловие» Генри Миллера к первому изданию этой книги — в нынешнем, русском издании текст этого послесловия помещен в качестве одного из двух предисловий (первое предисловие, «До встречи в Девахане!», написано Ларисой Житковой, она же автор развернутых комментариев).

Йоханан Петровский-Штерн. Евреи в русской армии. 1827 — 1914. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 556 стр., 5000 экз.

Историческая монография, прослеживающая взаимоотношения еврейской общины в России с русской армией от первого еврейского рекрутского набора в 1827 году до 1914 года (по разным подсчетам солдатами русской армии в обозначенный период побывали от полутора до двух миллионов евреев); автор «рассматривает военную и национальную проблематику в широком социокультурном контексте: литературные образы еврейских солдат в русской армии, отношения военных министров и полковых командиров к этническим меньшинствам, быт воспитанников в кантонистских батальонах, думские дебаты и военные баталии» (из аннотации).

Айн Рэнд. Апология капитализма. Предисловие А. Эткинда. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 360 стр., 4000 экз.

Вышедшая в издательской серии «Либеральное наследие» книга знакомит русского читателя с наследием американского философа и публициста, а также романистки Айн Рэнд (Алисы Розенбаум; 1905 — 1982), уроженки Петербурга, в 1926 году эмигрировавшей в США. «Сегодня легко забыть, что победившая идеология — либерализм и его русское ответвление — формировалась в неравной борьбе против господствующих идей. В Англии это был меркантилизм колониальной эпохи, в России — этактизм всех цветов, белый и красный. Айн Рэнд удалось заставить историю в момент, когда либеральные идеи еще имели критический, а в иных местах опасный характер... В своих скандально известных сочинениях она совместила обе протестные традиции, англосаксонскую и российскую, в сильной, даже экстремальной версии либеральной философии» (из предисловия).

Анна Франк. Убежище. Дневник в письмах. 12 июня 1942 года — 1 августа 1944 года. Перевод с нидерландского С. Белокриницкой и М. Новиковой. М., «Текст», 263 стр., 3000 экз.

Впервые на русском языке полный текст «Дневника...» Анны Франк.

Корней Чуковский, Лидия Чуковская. Переписка. 1912 — 1969. Вступительная статья С. А. Лурье, комментарии и подготовка текста Е. Ц. Чуковской, Ж. О. Хавкиной. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 592 стр.

Переписка отца и дочери, отражающая историю семьи Чуковских, историю русской и советской литературы, историю эпохи, многие события которой, часто ключевые, описываются здесь намеками, внятыми только корреспонденту и адресату, и потому почти каждое письмо снабжено комментарием — особенно подробных пояснений потребовали письма 30 — 40-х годов. Составители уточнили даты писем и, пронумеровав, расположили их в хронологическом порядке. Последнее письмо имеет номер 435.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Вечерний Гондольер», «Время MN», «Время новостей», «Газета.Ру», «GlobalRus.ru», «Дело», «Деловой вторник», «День литературы», «Завтра», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «ИноСМИ.Ру», «Книжное обозрение», «Космополис», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Московский литератор», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Новая газета», «Новая Юность», «Новое время», «Огонек», «Отечественные записки», «Подъем», «ПОЛИТ.РУ», «Посев», «Русский Базар», «Русский Журнал», «Складчина», «Собеседник», «Спецназ России», «Топос», «Труд», «Toronto Slavic Quarterly», «Урал»

А был ли «Серебряный век»? — «Московский литератор». Газета Московской городской организации СП России. Основана в 1958 году. Главный редактор Иван Голубничий. 2003, № 11, 12, июнь.

Материалы конференции, организованной МГО СП России и кафедрой теории и литературной критики Литературного института (Москва, 23 мая): Владимир Гусев, Иван Голубничий, Юрий Баранов, Сергей Казначеев, Михаил Шаповалов и др. «<...> не только сам Владимир Набоков бежал из тогдашней жизни, но и сама жизнь выталкивала его как „иностранца“. Своими самыми чувствительными шупальцами. Уже в 1916 году, когда поэт-Набоков находился еще в эмбриональной стадии развития, он был опознан как чужак и одним из будущих вождей советского литературного официоза, и одним из [будущих] лидеров эмигрантской литературной среды. Ни в одной из литературы, которые по-разному, но обе несомненно наследовали „серебряному веку“, для Владимира Набокова места не просматривалось уже тогда» (Михаил Попов, «Эмиграция из „серебряного века“»).

См. также: Сергей Земляной, «Провокация Серебряного века» — «Литературная газета», 2003, № 25, 18 — 24 июня <<http://www.lgz.ru>>; «Петербург» Андрея Белого, революция и провокация.

Александр Агеев. Голод 80. Практическая гастроэнтерология чтения. — «Русский Журнал», 2003, 10 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> и сразу же взялся за давно отложенный первый номер „Нового мира“, где опубликован „Питомник“ („большая книга рассказов“) Евгения Шкловского. Шкловского-прозаика критики практически игнорируют, и это, в общем, не загадка: трудно поверить, что коллега-критик способен за десяток лет вырасти в настоящего, не „филологического“ писателя. Шкловский „пророс“, а может, это следует выразить более энергично: „сделал рывок“, и оказался в творческом поле, которое кроме него никто не возделывает. <...> Евгений Шкловский остался с нормой — и с нормой письма, опирающейся на добротный психологический реализм, и с нормой мирнотекущей, несмотря на все катаклизмы, человеческой жизни. Он оборудовал свою приватную, на отшибе от столбовой дороги, лабораторию новой, более сильной, чем у предшественников, оптикой и обнаружил давно известное, но как-то за множеством дел подзабытое: „Электрон так же неисчерпаем, как и атом“. Он обнаружил, что „нормальный“ человек — не убийца, не шизофреник, не наркоман, не дебил, не бомж — существо пороговое, сохраняющее видимость стабильности невероятными ежедневными, ежечасными усилиями. В реальности эти усилия автоматизированы, в прозе Шкловского механизмы даются „в разрезе“, как на стенде, и от этого временами не по себе. <...> „Нормальный“ мир чрезвычайно опасен, ближние и дальние заряжены сознательной или бессознательной агрессией, жить холодно и страшно, избежать столкновения невозможно. Ощущая это, человек строит психологические „баррикады“, сам невольно насыщаясь агрессией и порой теряя представление о „пределах необходимой обороны“. Все такие ситуации Шкловский пишет, все увеличивая и увеличивая масштаб, поскольку главная, как кажется, его задача — понять, где точка перехода, где норма выворачивается патологией. <...> В „Питомнике“ мне трудно выделить какой-то один „репрезентативный“ рассказ: очень ровная, очень грамотная подборка. Очень сильное „Воспитание по доктору Шпереру“, но и „Вестник“ не хуже, и „Бахтин, Эрзя и прочие“ И совершенно восхитительный вариант „менажа де труа“- рассказа „Втроем“<...> Честно сказать, только еще одного рассказчика этого уровня я сейчас знаю — это Асар Эппель: совершенно другая фактура, пафос, язык, но — драйв того же уровня.»

Нина Акифьева. «Питейные» заметки: исторический аспект. — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

«Воротившись из-под Казани, он [Иван IV] распорядился построить для попок опричников особый дом, названный им по-татарски кабаком. Но татарский кабак — это постоянный двор, где подавались кушанья и напитки, и в этом он мало отличается от древнеславянской корчмы. Кабак же, устроенный Иваном IV, — это место, где можно только пить, а есть нельзя».

Татьяна Алексеева. «Реванш кочевников», или Ценностное осмысление глобализации. — «Космополис». Журнал мировой политики. Выходит четыре раза в год. Главный редактор Денис Драгунский. 2003, № 2 (4) <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>

«Барон Ротшильд еще в 1875 году признавал, что „мир — это город“ (сегодня мы бы сказали — „глобальная деревня“)

Юрий Арабов. «Самое трудное — личная порядочность». Беседовала Тамара Сергеева. — «Литературная газета», 2003, № 27, 2 — 8 июля <<http://www.lgz.ru>>

«<...> жанр нашей культуре (литературе, в частности) не очень свойственен, у нас нет жанровых традиций: роман может называться поэмой, поэма — романом. <...> Например, Пушкин написал рассказы и назвал их „Повести Белкина“. Столпы русской литературы часто писали вне жанра. И наш кинематограф в мировом кинопроцессе имеет существенное значение только как авторская внежанровая структура, выражающая некие идеи».

Александр Архангельский. Собачки Павловой. Безусловные рефлексии поэтической саморефлексии. — «Известия», 2003, № 104, 18 июня <<http://www.izvestia.ru>>

Авторская рубрика «Словарь современных писателей»: «<...> тематическая гиперсексуальность стихов Веры Павловой не только что к революционности/контрреволюционности отношения не имеет; она вообще не про это, она через это — про то. <...> Это про душу, ушедшую от ужаса жизни в низ живота».

См. также новые стихи Веры Павловой: «Арион», 2003, № 2 <<http://arion.ru>>

Ольга Балла. Вестник. — «Знание — сила», 2003, № 6 <<http://www.znanie-sila.ru>>

«[Андрей] Тарковский религиозен для тех, кто сам чувствует себя таковым, и не так для чувствующих иначе».

Павел Басинский. Великолепный провал. — «Литературная газета», 2003, № 25, 18 — 24 июня.

«[Дмитрий] Быков понимает природу русского романа, где главное не главное, а второстепенное».

См. также: «В каком-то смысле одна из задач „Орфографии“ — спрятать собственные страхи, собственные комплексы под маску эдакого Дюма-пэра. <...> Это — проза поэта, притворившаяся исторической или альтернативно-исторической беллетристической», — пишет Никита Елисеев («Теплый вечер холодного дня» — «Русский Журнал», 2003, 1 июля <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>).

Об «Орфографии» Дмитрия Быкова см. также: Елена Дьякова, «Люди, упраздненные, как буквы» — «Новая газета», 2003, № 37, 26 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>

Павел Басинский. Самоубийство жанра. — «Литературная газета», 2003, № 28, 9 — 15 июля.

«Малые тиражи литературных журналов есть возврат в позапрошлый век и начало прошлого. Критик и вообще журналист, арендуемые конкретным издателем, это возврат туда же. Чудовищная диспропорция в гонорах раскрученных и нераскрученных авторов из той же песни. Беззащитная эксплуатация авторского труда тоже. Ублюдочные издания за свой счет — факт прошлого, но только тысячекратно умноженный издательскими техническими возможностями. Журналы-однодневки... Судорожные попытки организации разрушенных литфондов... Низкий социальный статус литератора... (Белинский, будучи уже известным автором „Телескопа“ и редактором журнала в периоды отъездов Надеждина, работал домашним учителем у Кавелиных и наносил нижайшие визиты господам к именинам и праздникам.) Это что, называется прогресс? За это дважды — в 91-м и 93-м — кровь проливали? <...> Точно так же утрата критиками единственного, но прекрасно оснащенного полигона идей (в лице традиционной журналистики) есть безусловный регресс, сдача завоеваний советской цивилизации и торжество буржуазного культурного варварства. Я думаю, Белинский и Киреевский, Дружинин и Хомяковы, Страхов и Добролюбов, Писарев и Григорьев с удовольствием вместе печатались бы в литературной газете с миллионными тиражами, за которой народ стоял бы в киоски в очередь, а ее еще и не хватало б. Просто они мечтать о таком

не могли! <...> Вообще утрата критикой статуса государственного взгляда на литературу (со всей его сложностью, внутренними борениями, подспудными расколами, грязью, доносами, но и идеализмом тоже) — это самый очевидный регресс и откат в прошлое. Даже не в XIX век, когда были Булгарины и Бенкендорфы, когда солидные писатели и философы шли в цензоры, но в крохотный исторический промежуток (начало и середина 20-х годов), когда государству на литературу стало наплевать. <...> Русскую критику съел Чубайс.

Он же (ну не могу удержаться): «Самое интересное в критике „Нового мира” — это раздел „Периодика” Андрея Василевского. Там сводятся и ненавязчиво критически осмысливаются высказывания авторов двух примерно десятков газет и журналов. Ежемесячное чтение этой „Периодики” лично мне доставляет истинно художественное и утешительное наслаждение. Это такая палата № 6, свихнувшаяся „Литгазета” советских времен, где Василевский добрый и чуткий, но и, как водится, несколько ироничный главный психиатр. Он выслушивает горячечные монологи больных по всем палатам (не исключая Басинского. — А. В.), на большинство из них ничего не отвечает, но некоторых не совсем безнадежных больных все же поправляет. В итоге возникает иллюзия своеобразной терапии».

Дискуссию о критике продолжает **Лев Пирогов**: «Глупому недостаточно. Что есть критика от Белинского до „младоботаников”» — «Литературная газета», 2003, № 29, 16 — 22 июля.

Павел Басинский. Смиренник-аристократ. — «День литературы», 2003, № 6, июнь <<http://www.zavtra.ru>>

«Кублановский как бы „безупречен”. У него нет откровенно плохих стихов. У него безукоризненный поэтический слух, он никогда не мазнет кистью куда не следует. На его стихах хорошо тренировать молодых стихотворцев, показывая, „как это сделано” <...>».

См. также стихи **Юрия Кублановского**: «Новый мир», 2003, № 5; «Континент», 2003, № 116 <<http://magazines.russ.ru/continent>>

Татьяна Бек. Выдры из Вырицы и тыдры из Тырицы. — «НГ Ex libris», 2003, № 23, 10 июля <<http://exlibris.ng.ru>>

«Вовсю расцвела *faction*, литература факта, основанная на реальных сюжетах, на весьма прозрачных персонажах, когда прототип очевиден, или даже на вполне конкретных именах — но при этом оставляющая за собою полнейшее право на свободную интерпретацию, на каверзную смещение документа, на фантазию...»

«Анна Андреевна Ахматова говорила, что прямая речь в мемуарах должна быть уголовно наказуема, имея в виду даже тех вспоминателей, которые эту прямую речь слышали лично. А что делать с [Михаилом] Синельниковым, чье повествование [„Там, где сочиняют сны...”] пестрит развязными диалогами выдающихся людей, коих он и в глаза не видел?»

См. также: «Пейзаж резко меняется в четвертой части [книги Дмитрия Бобышева „Я здесь”] — с явлением героя. То есть антигероя. То есть Бродского. История „любовного треугольника” (столь долго передаваемая полупшепотом и намеками) изложена с неостывающей яростью, а соперничество в любви подсвечено мощным светом литературного расхождения. <...> Бобышев не может (не хочет, не умеет) прощать Бродского — его „человекотекст” работает на уничтожение. Бродский худо вел себя с возлюбленной. Бродский вообще худо себя вел. О литературе неправильно думал. С собой все время носился. Биографию ему делали. Нобелевскую премию неведомо за что получил. И если был хорошим поэтом, то только тогда, *до всего*... Насколько ненавистен Бобышеву Бродский, настолько дорога ему Ахматова. Здесь царит одно чувство — любовь», — пишет Андрей Немзер («Время новостей», 2003, 127, 15 июля <<http://www.vremya.ru>>).

Владимир Бондаренко. Мертвым не больно. — «Завтра», 2003, № 27, 1 июля <<http://www.zavtra.ru>>

«<...> если бы на Василя Быкова и на самом деле оказывали хоть малейшее давление белорусские власти, кто мешал ему приехать в Москву, где писателя бы на руках носили все российские либералы? <...> И печатали бы каждую его строчку хоть в „Новом мире”, хоть в „Знамени”. <...> Василь Быков сам добровольно выбрал солидные европейские гранты в Германии, в Финляндии, в Чехии. Вольному воля. В той же Германии сейчас живут десятки российских писателей, никто их (да и прежде всего они сами) изгнанниками не считает. И все же я им восхищен, Василем Быковым: уже зная о смертельной болезни, преодолев все боли и тяготы, умирать он приехал на родину, в родную Беларусь. Есть же немало примеров, когда так до завещанного Васильевского острова и не добираются. <...> И люди забудут перестроечные политические зигзаги Василя Быкова, его упоенность открывшейся свободой (не он один из наших талантов

сторел в этом пламени безудержной свободы), все наносное на самом деле минет, а окопная правда героических повестей и романов Василия Быкова останется навсегда».

Ср.: «Автор честных и талантливых книг прожил свои последние годы без родины. От Лукашенко можно было бы сбежать и в Россию, но он „выбрал свободу” в перерасчете на гранты. Это можно понять. В России он был не нужен. Ее новая государственная политика предусматривает отказ от стыдного советского прошлого. <...> Несмотря на все свои „демократические убеждения” писатель Быков был здесь не ко двору — с его-то нелепым постколониальным языком и докучливым военным прошлым», — пишет **Лев Пирогов** («Армагеддон попс» — «НГ Ex libris», 2003, № 22, 3 июля <<http://exlibris.ng.ru>>).

Ср.: «В Беларуси, где заправляет Лукашенко, ему не нашлось места. Хотя батька, по обыкновению прижимая растопыренную пятерню к левому лацкану пиджака, уверял, что вырос на стихах Быкова. Довод несказанно веский — Василь стихов никогда не писал. <...> Верный сын своей земли, прославивший ее собственным неподкупным творчеством, Василь Быков, гонимый на родине, вынужден был перебраться в Финляндию, потом в Германию, потом в Чехию. Его встречали с искренним уважением и благожелательством. Но это не заменяло ему родину. Куда он вернется умирать...» — пишет **В. Кардин** («Конец изгнания. Мы остались без Василия Быкова. И замены ему не предвидится» — «Новое время», 2003, № 28, 13 июля <<http://www.newtimes.ru>>).

См. также: **Ирина Халип**, «Он не был пророком» — «Новая газета», 2003, № 45, 26 июня <<http://www.novayagazeta.ru>>

«**Бродский напоминал дикое животное...**» Беседовали Александр Гаврилов и Юлия Качалкина. — «Книжное обозрение», 2003, № 25, 23 июня <<http://www.knigoboz.ru>>

Говорит ирландский поэт и драматург, нобелевский лауреат **Шеймас Хини**: «Иосиф [Бродский] всегда относился к этому миру недоверчиво — и мне это нравилось».

См. также стихи **Шеймаса Хини** в переводах Григория Кружкова: «Дружба народов», 2003, № 6 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>; «Иностранная литература», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

Паскаль Брюкнер. Новая война за самоопределение. (Мужчины и женщины). Фрагменты книги «Искушение невинностью». Перевод с французского Н. Хотинской. — «Иностранная литература», 2003, № 6 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«<...> мужчина во все времена смотрел на женщину как на свою добычу. Теперь его очередь стать дичью <...>». Тема традиционной рубрики «Литературный гид» — «Батальное полотно — „он” и „она” в поисках равновесия».

Ольга Вайнштейн. Мужчина моей мечты — этюды по истории тела. — «Иностранная литература», 2003, № 6.

Краткая история мужской красоты в XX веке. С картинками.

Евгений Василенко. «Есть такие прирожденные ангелы...» Душа и судьба человека в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». — «Литература», 2003, № 23, 16 — 22 июня <<http://www.1september.ru>>

«В начале урока звучит „Ныне отпускаеши...” в исполнении Шаляпина, настраивая ребят на глубокий, непростой разговор о судьбе и душе человека...» Автор работает в школе при Посольстве РФ на Кипре.

Алексей Верницкий. Танкетки: новый двигатель русской поэзии? — «Русский Журнал», 2003, 29 июня <<http://www.russ.ru/netcult>>

«<...> если мы хотим создать жизнеспособный русский аналог хайку <...>».

«<...> новая форма („танкетка”) — это шестисложный текст, разбитый на строки длиной не более четырех слогов. <...> слоги должны располагаться по строкам либо по схеме 3+3, либо по схеме 2+4; в танкетках не разрешены знаки препинания; в танкетке должно быть не больше пяти слов».

См. в «Сетевой словесности» постоянный раздел «Две строки / Шесть слогов»: <<http://www.litera.ru/slova/26>>

Уве Витшток («Die Welt», Германия). Виктор Ерофеев: «Они хотели бы изгнать нас из России». Перевел с немецкого Владимир Синица. — «ИноСМИ.Ru», 2003, 2 июля <<http://www.inosmi.ru>>

Говорит **Виктор Ерофеев**: «Поздней осенью 2002 года я написал Путину очень решительное письмо, дав ему ясно понять, что Пелевин, Сорокин и я воспользуемся для доведения информации о нашем сложном положении, если он не прекратит нападки, международными связями. Мы могли бы подключить ПЕН-клуб и поднять тревогу среди иностранных журналистов. А это, как это хорошо понимают и в России, бросило бы

тень на Путина. Это было для них неприятно, и они в итоге кампанию прекратили. <...> Нас хотели изгнать из страны. Это была ужасно грязная кампания. Я чувствовал себя как писатель конца двадцатых годов, когда Сталин устроил охоту на нежелательных авторов. Но самым страшным было бы, если бы им удалось заставить нас эмигрировать. Тогда в Россию возвратился бы страх.

Кто бы мог подумать.

Возвращение майора Пронина. Подготовил Андрей Смирнов. — «Завтра», 2003, № 26, 25 июня.

О новой книжной серии «Атлантида» рассказывают руководители издательства «*Ad Marginem*» Александр Иванов и Михаил Котомин.

М. К.: «Серия „Атлантида“ — восстановление корней советского литературного трэша, который, по нашему мнению, существует до сих пор и до сих пор фундирует все успешные поп-проекты, начиная от Доценко и кончая Мариной. <...> В трэше лучше всего сохраняется голос времени, тут меньше идеологии, привязки к какому-то частному событию, здесь подняты огромные бытовые пласты. <...> Трэш сегодня становится формой массовой борьбы с американским прессом и на европейскую, и на российскую культуру. Наша попытка вернуться к советскому трэшу, попытка найти идентичность, асимметричный ответ на тарантиновские операции с американским трэшем».

А. И.: «Мы не ностальгируем по поводу советского. Мы занимаемся реактивацией тех начал, которые рождены во многом советской историей и благодаря которым существует такое культурно-социально-политическое образование, как Российское государство. К примеру, День Победы — сегодня единственный общенациональный праздник. Он постоянно воспроизводит свое символическое значение, и за счет этого и существует сейчас Россия. <...> Это то, что мы называем восстановлением СССР, образов СССР, не как государственного образования, но как зоны воображаемых притязаний. Ведь гибель СССР во многом связана с утратой этого воображаемого, ощущения, что жить в большой стране не менее интересно, чем жить в маленькой стране. „Атлантидой“ заявляется большая тема, которую мы именуем „Небесный СССР“...»

Андрей Воронцов. Огонь в степи. Роман. — «Наш современник», 2003, № 4, 5, 6, 7 <<http://nashsovr.aihs.net>>

«Читателям не стоит искать в коллизиях этого романа буквального соответствия историческим документам и свидетельствам о М. А. Шолохове...» Платонов. Булгаков. Серафимович. Ягода. Авербах. Агранов. Сталин. *Еtc.* Книжный вариант романа называется «Шолохов» (издательство ИТРК).

См. также: Николай Журавлев, «Они писали за Шолохова. Самый грандиозный литературный проект XX века» — «Новая газета», 2003, № 44, 23 июня <<http://www.novayagazeta.ru>>

Линор Горалик. Приворот на деньги. — «Русский Журнал», 2003, 17 июня <<http://www.russ.ru/krug/period>>

«Два года назад верховный маг Британской Ассоциации Белых Магов заявил, что Гарри Поттер в фильмах держит метлу неправильно — щеткой назад, а не вперед, — и обещал наслать на фильм проклятие кассового провала, если ошибка не будет исправлена».

Олег Дарк. Пчела Шварц. Из цикла «Венок портретов современной русской поэзии». — «Русский Журнал», 2003, 7 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Три есть великих женщины-поэта у нас: Анна Ахматова, Марина Цветаева и Елена Шварц. Цветаева, на мой вкус, в этой триаде даже лишняя (но тогда не получится триады)».

См. также: Олег Дарк, «Кальдерон из Воронежа» — «Русский Журнал», 2003, 16 июня <<http://www.russ.ru/krug>>; *Кальдерон — это Александр Анашевич; тут же — полемика с Губайловским о Седаковой.*

См. также: Олег Дарк, «Ребро Фанайловой» — «Русский Журнал», 2003, 30 июня <<http://www.russ.ru/krug>>; *тут понятно о ком.*

См. также: Олег Дарк, «В сторону мертвых (между Смеляковым и Сапгиром)» — «Русский Журнал», 2003, 14 июля <<http://www.russ.ru/krug>>; *это о Слуцком.*

Ольга Демидова. Уроки эмансипации. Английский женский роман и формирование «женского политического» в России XIX века. — «Космополис». Журнал мировой политики. 2003, № 2 (4).

«Демократическая критика [XIX века] „просмотрела“ Гаскелл. В результате ее творчество не получило в России достойного критического осмысления, а классическая триада Бронте — Гаскелл — Элиот на русской почве оказалась разорванной».

Даниил Дондурей. Язык глобализации и российское телевидение. — «Космополис». Журнал мировой политики. 2003, № 2 (4).

«Телевидение как корпорация пытается преуменьшить свое реальное воздействие на общественные институты, стремясь избежать любых форм наблюдения за собой <...>».

См. также два мнения о российском телевидении — **Бориса Дубина** и **Даниила Дондурей**: «Смерть в телевизоре» — «Знание — сила», 2003, № 3 <<http://www.znanie-sila.ru>>

См. также: **Татьяна Чередниченко**, «Теленовости» — «Новый мир», 2003, № 5.

Денис Драгунский. Гражданская война цивилизаций. — «Космополис». Журнал мировой политики. 2003, № 2 (4).

«Интернет стал местом массового анонимного перехода интимной сферы в публичную. Институт стыда обесмысливается. <...> Но ведь даже виртуальный слом этих барьеров означает и другое — пусть условное, виртуальное, символическое, но все же снятие табу, на которых держится нынешняя цивилизация».

См. также: **Денис Драгунский**, «Прогулки вокруг Армагеддона» — «Космополис», 2003, № 1 (3) <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>

См. также: **Денис Драгунский**, «Геном злого бога. Кто требует жертвоприношений?» — «Новое время», 2003, № 25, 22 июня <<http://www.newtimes.ru>>

Борис Дубин. Запад для внутреннего употребления. — «Космополис», 2003, № 1 (3).

«<...> семантика воображаемого Запада в России».

«<...> значение категории „свой путь“ в общественном мнении России — не эмпирическое, а символическое».

Сергей Дубин. Колдунья, дитя, андрогин: женщина(ы) в сюрреализме. — «Иностранная литература», 2003, № 6.

«<...> образ женщины в поэтике сюрреализма редко когда совпадает с реальным положением женщин (художниц и поэтесс) в рамках движения <...>».

Александр Дугин. Нищета, как сладко имя твое. — «Литературная газета», 2003, № 26, 25 июня — 1 июля.

«Русские и нерусские все же настоящие антиподы. Мы ходим друг против друга головами вниз, и нас друг от друга естественным образом тошнит. Вот идет русский человек и видит бедняка, нищего, никудышного, провального, неудачного... И ему не по себе, и душа у него болит, и скулы сводит, и сердце щемит, и бросает он свою копейку (или не бросает), а все равно в итоге как-то не так... И что-то нечеловеческое веет оттуда, из тайных нищеты, и обратная сторона мира, бедная, бедная материя, на которой стоит этот красочный праздник, почва мира, недра его, безликий и нелепый гумус Вселенной открываются, разверзаются пред ним».

«Русский человек — коммунист по натуре, по грустным своим серым зрачкам, по ночным всхлипам, по своей совести и по чести...»

Никита Елисеев. Заметки краем. — «Русский Журнал», 2003, 4 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Пожалуй, именно так — главный враг Немзера — Розанов и все то, что связано с этим литератором и мыслителем».

Ср.: «Признаться, мне почти не попадались абсолютно чуждые мне идеологически и одновременно блистательные художественно тексты. На мой вкус, сочинения Василия Розанова — материал для психоаналитика, но не для искусствоведа <...>», — говорит **Роман Арбитман** («Русский Журнал», 2003, 3 июля <<http://www.russ.ru/krug>>).

Юрий Емельянов. Америка и Россия. К 85-й годовщине интервенции США против России. — «Москва», 2003, № 6 <<http://www.moskvam.ru>>

1918 — 1920. «На оккупированном [англичанами и американцами] севере европейской территории России были созданы концентрационные лагеря. 52 тысячи человек, то есть каждый шестой житель оккупированных земель, оказались в тюрьмах или лагерях».

Михаил Золотоносов. Жизнь, расписанная по минутам. Издательство «Классика XXI» представило в России парижское издание дневника **Сергея Прокофьева** (1891 — 1953): событие, которого ждали многие. — «Московские новости», 2003, № 23 <<http://www.mn.ru>>

«Музыка Прокофьева — несмотря на всю смелость нарушения традиций — довольно рациональна, и психологическое подтверждение находится [в дневнике] и для этого: он играет на бирже, образует „финансовые предприятия“, надеется разбогатеть».

«Отдельный интерес представляет описание **Февральской революции 1917 года**, немало напоминающее „Египетскую марку“ **Мандельштама**».

Прочитую также — по рецензии Золотоносова — одну из записей Прокофьева, которая и на меня произвела впечатление: «Когда он [Брюсов] умер, его тело подвергли вскрытию. Была сделана также трепанация черепа. Когда был вынут мозг, то надо было перед закрытием черепной коробки чем-нибудь заполнить голову, но ничего не было под руками. Тогда брали листы газеты „Правда“, скатывали их комками и забивали ему в голову. Так он и был похоронен с большевицкой газетой вместо собственных мозгов — отмщение судьбы за его переход в коммунизм, совершенный не по убеждениям, а по расчету (30 мая 1926 г.)».

Андрей Зубов. «Звезда Ледяного похода». — «Посев», 2003, № 6 <<http://posev.ru>>

Советская Россия ужасна, и «новая» Россия ужасна. Советский человек ужасен, и нынешние — ужасны. Русская диаспора безответственна. Белое дело забыто. Но — «глубоко под смрадной ложью советчины лежит в каждом выросшем в России добрая земля, готовая принять семя веры».

Из России в Америку и обратно. Беседу вел Игорь Шевелев. — «Время MN», 2003, 9 июля <<http://www.vremyamn.ru>>

Говорит **Михаил Эпштейн:** «Русский язык нуждается в очень сильных личных инициативах — терминологических, понятийных, смыслообразующих. <...> Это может быть „Проективный словарь русского языка“ или „Словарь лексических возможностей русского языка“. Для меня это один из наиболее важных и, я это уже чувствую, пожизненных проектов. <...> Знаете, я был еще в Америке удивлен, когда смотрел российское телевидение, что новых слов особенно и не появилось. Я их записал буквально на двух страничках. Слова типа „ты меня не грузи“ и им подобные. Это скорее даже не новые слова, а новые значения слов. <...> Думаю, что представление о языке как об энергии, нежели структуре, должно вернуться в наш обиход. Особенно, конечно, для писателей и интеллигенции. Язык творится здесь и сейчас. От наших языковых инициатив зависит его будущее. Чем был бы русский литературный язык без Карамзина? Владимир Даль, кстати, сочинил много собственных слов и контрабандой ввел их в свой словарь. Они нигде, кроме словаря Даля, не зафиксированы. Даже в его предисловии к словарю видно, что он оправдывает свои „старовведения“, говоря, что русский слух не найдет здесь ничего себе чуждого. <...> Я бы сказал, что в подлинно демократическом и развитом обществе место идеологии занимает язык. Лексикология — вот подлинная идеология нашего времени. Язык создает условия для выражения самых разных идей. Богатство языка — вот знак продвинутого состояния общества. <...> Конечно, корни перестали плодоносить. Там, где у Даля из одного корня, такого, как „добр“ или „люб“, торчат двести ответвлений, в современном языке хорошо, если осталось тридцать или сорок. Это облысение словесного леса, обнищание языка. И это как демографический урон нации, убыль и недород».

См. также другое интервью с американским профессором университета Эмори в Атланте **Михаилом Эпштейном:** «Время MN», 2000, 27 декабря.

Александр Каменецкий. Поздние человеколюбцы. — «Топос», 2003, 11 июля <<http://www.topos.ru>>

«<...> оба они [Пелевин и Лимонов] — совершенно удивительные для нынешней крошечной поры *человеколюбцы*, воспевающие человека, верящие в человека, ставящие человека превыше всего. И тем более обидно, что огромный и мощный созидательный, гуманистический посыл, заложенный в обеих книгах, не много кем (судя по доступной мне критике) оценен и вообще понят».

Анджела Картер. Алисон смеется. Эссе. Перевод с английского А. Борисенко. — «Иностранная литература», 2003, № 6.

Чосер, «Кентерберийские рассказы», рассказ Мельника. «<...> нечасто встречается в литературе этот смешок, выражающий невинное веселье женщины, которой удалось унижить представителя сильного пола единственным доступным ей способом — лобовой атакой на мужское самолюбие. Чтобы воспроизвести этот смешок, это хихиканье, автор-мужчина должен идентифицировать себя с женщиной, а не с другим мужчиной, почувствовав привкус глупости в мужском вожделинии».

Татьяна Касаткина. Врожденный порок экранизации. — «Литературная газета», 2003, № 25, 18 — 24 июня.

«В силу подобных сокращений, не возмещаемых иными средствами, [в телесериале „Идиот“] совершенно пропал смысл, вносимый в роман фигурой Ипполита и его очень длинным, философски и мистически насыщенным вставным текстом „Мое необходимое объяснение“. <...> При этом в скандальной кинопостановке „Даун Хаус“ (плохой фильм с отдельными блестящими находками сценариста Ивана Охлобыстина, кото-

рый, безусловно, хорошо читал роман „Идиот” и понял его „первоначальную мысль”) вся линия Ипполита гениально пересказана Рогожиным (Охлобыстиным) в байке, занимающей несколько минут экранного времени».

Анатолий Ким. Звери и моя судьба. — «Огонек», 2003, № 23, июнь.

«Мечтал я о сибирской лайке <...>». Рассказ, написанный специально для новой огоньковской рубрики «Бродячая собака».

Руслан Киреев. Мицкевич. Русский сюжет. — «Литература», 2003, № 24, 23 — 30 июня.

Мицкевич и Каролина Павлова.

Анна Козлова. Бодров унизил мужчину. — «НГ Ex libris», 2003, № 22, 3 июля.

«Сергей Бодров-младший не сумел подняться до творческого обобщения русского мужского типа — он доказал нам одно: самый распоследний человек на этом свете будет достоин женской любви и ласки, если он держит пистолет в кармане. Тип бандита, которому пистолет заменяет член, — вот единственный образ бодровского гения. <...> Он смел косвенно утверждать, что мужчина — это зверь, совершенно невыносимый в условиях города, не приспособленный к транспорту, к магазину, к парикмахерской».

Марина Колдобская. Живопись и политика. Приключения абстракционистов, в том числе в России. — «Космополис», 2003, № 2 (4).

«Впечатления от триумфа абстракционизма не изгладилось до сих пор».

См. также: **Алексей Бобриков**, «Абстракция принадлежит народу» — «Художественный журнал», 2002, № 42 <<http://www.guelman.ru/xz>>

Модест Колеров. Военнопленные в системе принудительного труда в СССР (1945 — 1950). — «Отечественные записки». Журнал для медленного чтения. 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/oz>>

«С завершением вывоза японских военнопленных из Китая и Кореи в СССР к февралю 1946 года общая численность военнопленных в лагерях и рабочих батальонах составила 2 миллиона 228 тысяч человек, в том числе 1 миллион 645 тысяч военнопленных западных национальностей с советско-германского фронта и 583 тысячи японцев. Трудовые ресурсы, полученные сталинской экономикой в результате войны, вполне сопоставимы с числом заключенных в лагерях ГУЛАГА: в том же 1946 году их общее число превысило 1 миллион 700 тысяч человек».

Наталья Конрадова. 13 лет российской порнографии. — «ПОЛИТ.РУ», 2003, 11 июня <<http://www.polit.ru>>

«<...> проблема порнографии вполне реальна, весьма опасна и трудно решаемая. Неконтролируемый порнографический поток приводит к дезориентации и потере ощущения границ допустимого, чем уровень преступности повышает. Но и это еще не все — легализация порнопродукции профанирует саму идею порнографии как особого и специального занятия, пусть и не совсем интимного, но хотя бы ограниченно социального. А без этого возможный терапевтический эффект сводится к нулю: можно ли использовать обезболивание, если пациент всегда под кайфом и уже перестал ощущать действие лекарства?»

Константин Костенко. Клаустрофобия. Пьеса. — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 8.

Тюрма.

Антон Костылев. Мохнатые ноги Мишеля Уэльбека. — «Газета.Ру», 2003, 9 июля <<http://www.gazeta.ru>>

«Проза Мишеля Уэльбека строится на двух принципах — фатальной банальности и сердечной раны. Сочетание убийственное. Когда у живого человека на ваших глазах рвется сердце от вещей, о которых почти неприлично говорить в силу их очевидности, — это захватывающее зрелище. Уэльбек с отстраненным надрывом самоубийцы, стоящего на краю крыши, говорит о том, что психоанализ превращает женщин в отвратительных себялюбивых тварей, которым следует вырезать яичники, о несчастных уродах, с которыми никто не пойдет в постель, плавно переходя к политэкономии секса, так подробно описанной его соотечественниками-философами. „Расширение пространства борьбы” [М., „Иностранка”, 2003] — это небольшой сюжетный дайджест по левой критике капитализма, написанный кровью и желчью француза, — удивительное чтение, состоящее преимущественно из лаконичных формулировок вроде: „Сексуальность — это одна из систем социальной иерархии”. Курсивом».

См. также: «Уэльбек — плохой писатель, скучный и однообразный. Все его книжки об одном и том же. <...> „Лансароте” выгодно отличается от предыдущих книжек

Уэльбека — в ней всего сотня страниц, набранных крупным кеглем, читается за полчаса. Небольшой объем неожиданно идет Уэльбеку на пользу — ибо на таком пятачке негде развернуться многочисленным наукообразным отступлениям, которыми перегружены и „Платформа”, и „Элементарные частицы”, — пишет **Дмитрий Бавильский** («Хорошая повесть плохого писателя» — «Топос», 2003, 26 июня <<http://www.topos.ru>>).

См. также критическую рецензию **Дмитрия Стахова** на роман Мишеля Уэльбека «Платформа»: «Дружба народов», 2003, № 6 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Сигизмунд Кржижановский. Философема о театре. Публикация и предисловие Владимира Перельмутера. — «Toronto Slavic Quarterly». University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. 2003, № 4 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

«Двадцатого декабря 1923 года на заседании Театральной секции Государственной академии художественных наук (ГАХН) Сигизмунд Кржижановский прочитал доклад „Актёр как разновидность человека”. Текст доклада не сохранился. Однако содержание его можно весьма точно реконструировать по материалам архива Кржижановского, прежде всего — именно так озаглавленной последней главы „Философемы о театре”, которая к тому времени уже была написана...»

Павел Крусанов. «Мы — питерские фундаменталисты». С лидером питерских прозаиков беседует Владимир Бондаренко. — «День литературы», 2003, № 6, июнь.

«Дело в том, что Питер — не только порождение империи, но одновременно и агент влияния Европы с ее подчас паразитарными идеями. Однако определенная и наиболее мне близкая часть петербургских писателей, поэтов, художников и музыкантов, которые, собственно, и составляют основной круг здешнего общения, совершенно ясно осознают величие имперской идеи. <...> Неспроста мы с Секацким, Носовым, Стоговым, Подольским, Рекшаном и Коровиным организовывали несколько акций под названием „Незримая империя”. Это же цвет питерской литературы!»

«Мой фундаменталистский взгляд таков. Я не хочу выглядеть ханжой, но никогда не позволю себе написать что-то такое, что бы я постыдился показать своему ребенку».

См. также отрывки из нового романа **Павла Крусанова** «Американская дырка»: «Завтра», 2003, № 28, 8 июля <<http://www.zavtra.ru>>

Константин Крылов. Сизифов труд. — «Спецназ России», 2003, № 6 (81), июнь <<http://www.specnaz.ru>>

«Россия всегда будет маленькой, грустной и жалкой страной, пока она не будет страной русских, страной для русских, страной, в которой русские люди чувствовали бы себя хозяевами».

Константин Крылов. Тату: история. — «Спецназ России», 2003, № 6 (81), июнь.

«„Нельзя наказывать за любовь” — писал Жан-Поль Сартр в защиту друзей-педофилов. Тогда левым либералам казалось — еще немножко, и старая мораль падет вся, целиком и полностью. И можно будет делать что угодно, трахать все, что движется, и не беспокоиться о последствиях. Однако, когда пыль улеглась, выяснилось вот что. <...> Границы допустимого подвинулись — но то, что осталось за пределами этих границ, стало уже „совсем-совсем нельзя”. <...> Быть геем — можно и даже выгодно. Быть лесбиянкой — можно, выгодно и даже почетно, это дает кучу преимуществ. Можно менять пол, можно отращивать себе груди, можно заниматься садомазохистскими играми — это, конечно, более радикально и вредит имиджу, но по крайней мере это не противозаконно... Но упаси боже быть хотя бы заподозренным в сексуальном интересе к детям! Это — немедленный и страшный конец карьеры, скандал, позор и, скорее всего, разорение и тюрьма. <...> Разумеется, всякий запрет, особенно такой силы, рождает соответствующий интерес. Например, „детская” порнография — некогда маргинальный и малоуважаемый жанр, считающийся грязным даже в среде производителей похабных картинок, теперь стал огромным подпольным бизнесом с труднопредставимыми оборотами. <...> В результате сложилась идиотская ситуация: с одной стороны, секс с детьми ужасен и запрещен, с другой — эти самые дети охотно им занимаются... Упс. Теперь, надеюсь, понятно, чем взяли „татушки”. Две маленькие девочки (это всячески подчеркивается), раздевающие друг друга на сцене, лапающие друг друга за маленькие сисечки и так далее, — это воплощенная мечта озабоченного западного обывателя. Тут важно, что обе девочки в нежном возрасте, „им можно”. И все это — легально, при всех, это же „просто музыка”...»

Сергей Кузнецов. Срок годности. — «Русский Журнал», 2003, 3 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Подумаем лучше о больном, полупарализованном [Александре] Беляеве, пишем [в романе „Властелин мира”], что бездна страдания — главное, чем мужчина может по-

корить женщину. И подумаем о тысячах советских детей, читавших эту книгу и усвоивших эту мысль, которую *сила человеческой мысли* загнала в *тайники их подсознательной жизни* — да так крепко, что им пришлось жить с этим годы и годы. Эффективность этого акта внушения наводит на не новую мысль, что лучший аппарат для гипноза — это и есть литература, а писатель — настоящий властелин мира. Хорошо, впрочем, что и для этого внушения выходит срок годности, и мы, взрослые люди, повывавшие в своей жизни и страдания, и любовь, закрываем книгу,жимаем плечами и пишем рецензию — в надежде наконец-то освободиться от наваждения».

См. также: **Михаил Золотоносов**, «Приключения человека-амфибии» — «Московские новости», 2003, № 6 <<http://www.mn.ru>>

Анна Кузнецова. Обхватив себя руками. — «Русский Журнал», 2003, 30 июня <<http://www.russ.ru/krug>>

«Что помнится из 26 рассказов, составляющих книгу [Ирины Полянской] „Путь стрелы“ (М., „МК-Периодика“, 2003)? Пяток шедевров (! — А. В.), запрещающих помнить все остальное».

Александр Кушнер. Стихи. — «Нева», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/neva>>

«В этом городе могут жить / Только те, кто родился в нем...» *Весь номер «Невы» посвящен 300-летию Санкт-Петербурга.*

См. также стихи **Александра Кушнера** в настоящем номере «Нового мира».

Марк Кушнирович. Кумиры киномира. Гениальны ли гениальные режиссеры? — «Новое время», 2003, № 28, 13 июля <<http://www.newtimes.ru>>

Миф братьев Васильевых. Миф Сергея Герасимова. Миф Сергея Параджанова.

Кристофер Лайдон (Christopher Lydon). Бог блоггеров. *A God for Bloggers*. Перевод Анастасии Грызуновой. — «Русский Журнал», 2003, 1 июля <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>

Ральф Уолдо Эмерсон (1803 — 1882) и Всемирная Паутина.

Ян Левченко. Ящик для письменных принадлежностей. Неженская версия. — «Русский Журнал», 2003, 17 июня <<http://www.russ.ru/krug/period>>

«Канонизированные Лидией Гинзбург записные книжки, ее главный интеллектуальный козырь в игре великих филологов XX века <...>».

«Воспроизведение чужого слова, без кокетства подчеркивающее превосходство посредника над сообщением, с необходимостью придает повествованию блеск. Однако и колючее остроумие Шкловского, и хмурая усталость Маяковского ценны тем, что превращаются в материал для авторского самоанализа. Это по крайней мере честно. Не беспристрастно рассказать „как все было“ или „каким был такой-то“, но без экзальтации признаться себе и другим, что в тексте нет ничего, кроме „я“. Тем более в записных книжках, которые суть хитрый подмигивающий жанр. Это кухня, отделенная от столовой не стеной, но ступеньками: гость (читатель) ощущает разницу пространств, но может видеть, как сырье превращается в продукт, не обязательно подвергаясь существенной обработке, одним лишь присутствием хозяина».

Наум Лейдерман. Георгий Владимов и его генералы, или Реализм сегодня. — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 7.

«Так уж сложилось в русской культуре, что любые разговоры о реализме приобретают какой-то политический привкус».

Светлана Леонтьева. Трудовое детство. — «Отечественные записки», 2003, № 3.

«Кстати, такого рода помощь не изобретение [Аркадия] Гайдара. В вероисповедальной практике русских крестьян существовала такая форма благочестивого поведения, как тайная милостыня. Она являлась частью поминального цикла: подаяние родственникам умершего приносили тайно и оставляли на пороге дома, у калитки. В описанном Гайдаром случае, в дальнейшем растиражированном как „тимуровская работа“, помощь — это не милостыня, а тайное трудовое послушание (принести воды, наколоть дров, сходить в автолавку и т. п.)...»

Эдуард Лимонов. Любимая девушка меня дождалась. Выйдя на свободу, известный писатель стал подумывать о персональной пенсии. Беседу вел Анатолий Стародубец. — «Труд», 2003, № 123, 8 июля <<http://www.trud.ru>>

«Я сочинял стихи, пока получалось. В начале 70-х этот источник во мне вдруг иссяк. Но лет через десять я опять потянулся к рифме, чтобы через время снова остановиться. Недавно в тюрьме я написал с десяток стихотворений. <...> А в 60-е я с интересом наблюдал за Арсением Тарковским, Давидом Самойловым, Борисом Слуцким... Смотрел и понимал, что не хочу быть таким, как они».

«Гайдар обрабил и меня тоже».

«Архаичное искусство выродилось. Также и форма романа в литературе безнадежно устарела и никому не нужна, как венек сонетов. Или, например, балет — искусство XVIII века, зародившееся при королевских дворах, а теперь выживающее за счет дотаций или еще каких-то искусственных ухищрений. Но это уже не живое искусство, а бред сивой кобылы».

См. также беседу **Эдуарда Лимонова** с Дмитрием Быковым: «Собеседник», 2003, № 190 <<http://www.sobesednik.ru/weekly/190>>: «Во всяком случае, в тюрьме я его [Ленина] читал, в особенности письма, сорок девятый том. Меня всегда привлекала его загадка, тайна необыкновенно популярной и влиятельной личности <...>. Все о нем объясняет его фотография, из самых ранних, на которой — вся семья Ульяновых: длинный Саша с лицом провинциального мечтателя и рядом роскошный такой бутуз Володя с видом заправского менеджера. Он и был великолепный менеджер прежде всего. Когда у нас о нем пишут с издевкой, всячески принижая масштаб этой личности, совершенно уникальной для России, — это страшное небрежение к своему богатству <...> Говорят, Путин любит Петра. Имело бы смысл в порядке оппозиции поднять на знамя Карла Двенадцатого».

См. также другую беседу **Эдуарда Лимонова** с Дмитрием Быковым: «Время MN», 2003, 3 июля <<http://www.vremyamn.ru>>

См. также беседу **Эдуарда Лимонова** с Владимиром Бондаренко: «Деловой вторник», 2003, № 25, 15 июля <<http://www.vtornik.ru>>

См. также: **Юрий Богомолов**, «Лимонадный Че» — «Известия», 2003, № 112, 28 июня <<http://www.izvestia.ru>>

См. также — о книге «Священные монстры»: **Василий Кузнецов**, «Эдиков комплекс» — «Новое время», 2003, № 25, 22 июня <<http://www.newtimes.ru>>

Инна Лиснянская. «Интеллигенция поделилась на тусовки, как власть — на мафии». Беседу вела Анна Саед-Шах. — «Новая газета», 2003, № 44, 23 июня <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Начала я писать в 12. А в 13 уже осталась совсем одна. В 14 завела амбарную книгу и тетрадь. В книгу писала молитвы и обращения к Богу. А в тетрадь — бытовые наблюдения, зарисовки. <...> Лет в 20 — 25 у меня были неплохие стихи, но я все уничтожила, оставив одно-два. Очень захотелось печататься. Наверное, это грех, но я стала писать советские бесцветные стихи и даже печатала их. И стали в моих стихах появляться какие-то буровые вышки, многозначительные пейзажи — словом, появилась установка на возможное. Но, как вскоре выяснилось, форма не замедлила отомстить за содержание. Рифмы стали неряшливыми, ритмы однообразными — все стало плохо. <...> Года через четыре я опомнилась <...>».

Здесь же — ее новые стихи.

См. также: **Андрей Немзер**, «Плакать нельзя. О поэзии Инны Лиснянской и Семена Липкина» — «Время новостей», 2003, № 112, 24 июня <<http://www.vremya.ru>>

См. также: **Данила Давыдов**, «Диалоги со смертью. Два поэта, которые „просто есть“» — «НГ Ex libris», 2003, № 20, 19 июня <<http://exlibris.ng.ru>>

Александр Люсый. Переводы: пришествие новых смыслов. — «Космополис». Журнал мировой политики. 2003, № 2 (4).

Здесь же: **Наталья Галеева**, «Культура как перевод».

Соня Марголина. Кант и Прометей. — «Космополис», 2003, № 1 (3).

«Символом американского исторического сознания является Музей холокоста в Вашингтоне. Казалось бы, при чем здесь геноцид евреев, совершенный отнюдь не американцами. Но как раз в этом и заключается своеобразие американского исторического сознания. Ведь этот музей воплощает память об абсолютном зле, причиненном другими. Здесь важнее всего — ненавязчивое смещение акцента: Америка всегда помнит о зле, в которое погружен мир, потому что она есть носитель добра. Исключительно действенный миф, опирающийся на конституцию и являющийся одним из столпов американской идентичности».

Генри Миллер. Замри, как колибри. Новеллы. Предисловие Николая Пальцева. Перевод с английского Николая Пальцева, Зои Артемовой и Валерия Минушина. — «Новая Юность». Литературно-художественный познавательный журнал тридцатилетних. 2003, № 2 (59) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>

«Первая любовь», «Моя жизнь как эхо» и другие фрагменты эссеистической книги «Замри, как колибри» (1962).

Милосердный пастырь. К 300-летию преставления Святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 5 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>

Весь номер посвящен этой дате, а также — Дням славянской письменности, столицей которых в этом году был избран Воронеж.

Анна Минаева. «Работал на заводе до мозолистых рук». — «Отечественные записки», 2003, № 3.

«Однако неофициальные источники (так называемые тексты „наивной литературы“) — письма, дневники, воспоминания — рассказывают о других смыслах жизни простых людей. <...> Когда же речь идет о попытке реконструировать базовые ценности и представления „советского человека“, значение именно „наивных“ текстов бесспорно».

Мария Митренина. У сибирской литературы проблемы с читателями. — «Русский Журнал», 2003, 11 и 15 июня <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит омский поэт **Сергей Крих:** «Можно быть писателем без союзов и без Москвы. Был же писателем Платон без союзов и без Москвы. Не подумайте, что я шучу. Представьте: Греция с населением около Омской области, с территорией около Томской области, бедная, без принтеров, без журналов, без денег (? — А. В.), две с лишком тысячи лет назад, — а знаете, почему получилось? Потому что были читатели! Найдите своих читателей, а все остальное — это приложение».

Вадим Михайлин. Древнегреческая «игривая» культура и европейская порнография новейшего времени. — «ПОЛИТ.РУ», 2003, 4 июля <<http://www.polit.ru>>

«Так, если мы идем по „японскому“ сценарию, признавая порнографией любое изображение коитуса или человеческих половых органов, то весьма существенная часть как европейского, так и азиатского искусства, которое принято называть „классическим“, автоматически становится откровенной порнографией. Если же мы вводим расплывчатые критерии вроде „оправданности художественным замыслом“ или „высокого художественного качества“, то в контексте постмодернистских представлений об искусстве любая, даже самая вопиющая к общественному нравственному чувству порнуха легко может быть подверстана под эти критерии». См. эту статью также: «Неприкосновенный запас», 2003, № 3 (29) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

См. также: **Манфред Шруба**, «„Девичья игрушка“ и французские сборники фривольной поэзии XVIII века» — «Новое литературное обозрение», 2003, № 60 <<http://magazines.russ.ru/nlo>>

Галина Рысливцева. «Себя-познающий-ландшафт». Опыт интерпретации визуальных и вербальных текстов. — «Складчина». Литературная газета. Главный редактор Александр Лейфер. Омск, 2003, № 3 (9), июнь.

«Безусловно, пыль и ветер не могут быть только омскими достопримечательностями».

Николай Наседкин. «Минус» Достоевского. Ф. М. Достоевский и «еврейский вопрос». — «Наш современник», 2003, № 7.

«<...> „плюс“ и „минус“ — категории в общественной жизни, в литературе, в истории весьма расплывчаты и зыбки».

См. также: **Николай Наседкин**, «„Литературная ложь“. Поправки к лекции В. Набокова „Федор Достоевский“» — «День литературы», 2002, № 11 <<http://www.zavtra.ru>>

См. также: **Николай Наседкин**, «Плоды пристрастного чтения. Поправки к лекции В. Набокова „Федор Достоевский“» — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/neva>>

См. также: **Александр Вяльцев**, «О Боге, неверии и литературе. „Демон“ Достоевского» — «Континент», 2003, № 116 <<http://magazines.russ.ru/continent>>

Андрей Немзер. Третий вариант. О новой повести Андрея Дмитриева. — «Время новостей», 2003, № 121, 7 июля <<http://www.vremya.ru>>

«„Призрак театра“ Андрея Дмитриева („Знамя“, № 6) я прочитал еще в рукописи, но рецензию все откладывал. Не понимал, как ее „представлять“. Ответишь на вопрос „про что?“ — сотрешь эффект неожиданности, значимый для большой прозы не меньше, чем для детектива. (Всегда завидовал первым читателям „Мертвых душ“, которые до XI главы поэмы *не знали*, в чем суть чичиковской негодии. Мы-то все „из воздуха“ знаем еще до чтения, зачем скупаются мертвецы.) Умолчишь — обесмыслится рассуждения об отчаянии, самообмане, одиночестве».

Андрей Немзер. Накануне небытия. К столетию Джорджа Оруэлла. — «Время новостей», 2003, № 113, 25 июня.

«Нет, Оруэлл вовсе не учит мужеству. Он знает, что человеку положен предел. Он бьет в самое больное место, он крушит самоуверенного читателя, полагающего, что спастись можно любовью (стихами, работой, садоводством — любой нормальностью), он швыряет тебя в ад (ни милости, ни раскаяния — одно отчаяние, то есть небытие). Он, любя человека, не оставляет и толики надежды. Для чего? Да для того, чтобы, очнувшись от дурмана достоверности, ты почувствовал: 1984 год еще не наступил (за ок-

ном какая-то жизнь теплится), но свалиться может в любой миг (ведь распознал ты *знакомое, свое* в сером кошмаре). И тогда будет поздно — ничто не спасет. Так будь человеком, покуда можешь. Сопровивляйся смерти (люби, думай, выбирай), пока жив».

См. также: Кирилл Журенков, «На деревню Оруэллу» — «Огонек», 2003, № 23, июнь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>; *открытое письмо на тот свет — Джорджу Оруэллу в связи с его юбилеем*.

Владимир Нузов. «Проверка на дорогах», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие. — «Русский Базар», Нью-Йорк, 2003, № 25, 12 — 18 июня <<http://www.russian-bazaar.com>>

Говорит киносценарист Эдуард Володарский: «У Германа всегда была манера строить из себя обиженного, несчастного, всеми преследуемого художника. А жил-то он припеваючи — даже тогда, когда картины ложились на полку. Когда картины зарезали, я снова стал работать грузчиком на заводе — не на что было жить. А Алексей Герман был сыном богатого, очень богатого писателя — Юрия Германа. <...> Я много лет дружу с Никитой Михалковым, и меня всегда бесило, что Герман при каждом удобном случае щипал Никиту: писательский-де сынок. А ты чей? <...> Герман превратился в священную корову: его трогать нельзя, а он всем сестрам раздает по серьгам. Этот — фашист, тот — недоносок, этот — бездарный и так далее... А его — не тронь!»

Вячеслав Огрызко. Каша от профессора. Не всякий доктор наук — энциклопедист. — «Литературная Россия», 2003, № 24-25, 20 июня <<http://www.litrossia.ru>>

Критический разбор двухтомного словаря Сергея Чуприна «Новая Россия: мир литературы».

Екатерина Орехова. Разговор по душам. К проблеме нравственности в прозе Олега Павлова. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 4.

<«...» не так страшна „мучительная проза“, как ее малюют.

Юрий Павлов. Два мира Михаила Булгакова. — «Москва», 2003, № 6.

«Белая гвардия», «Собачье сердце». «Известная философия избранничества, несомненно, роднит [профессора] Преображенского с Родионом Раскольниковым, Юрием Живаго и другими „наполеонами“, эгоцентрическими личностями разных мастей».

Александр Панарин. Н. В. Гоголь как зеркало русского странствия по дорогам. — «Москва», 2003, № 6.

Из Полтавщины в Петербург — метафора национальной истории. Тайна Чичикова — мещанский бунт против этики служения. Гоголевский урок реформаторам. Новое странничество отлученных от «европейского дома».

Александр Панченко. Утопия «Последнего Завета». — «Отечественные записки», 2003, № 3.

«Повседневная социальная практика виссарионовцев изобилует утопическими проектами. Это и создание „новой культуры“ (включая трансформацию школьного образования, из которого изымаются все упоминания о насилии, агрессии, войнах, социальных революциях, религиозных конфликтах и т. п.), и изменение семейных отношений (так называемая „программа треугольников“, подразумевающая борьбу с ревностью и „собственническими инстинктами“ в отношениях мужчин и женщин), и специфические формы внутреннего социального контроля в отдельных общинах, и конструирование собственной медицины („молитва — скорая помощь“), и новая ономастика (дети, родившиеся на „новой обетованной земле“, получают имена Фимиаи, Сладкий Хлеб, Святая Гора и т. п.). При этом общие тенденции социальной утопии виссарионовцев довольно банальны: в целом они наследуют советским практикам общественного взаимодействия, будь то комсомольские или партийные собрания с обсуждением канонических „марксистско-ленинских“ текстов и „проработкой“ отдельных членов „ячейки“, субкультуры геологических экспедиций и лагерей хиппи или трудовые коммуны 1920-х годов».

См. также: Альберт Урман, «„Город Солнца“ в сибирской глубинке. Община Виссариона глазами журналиста» — «День и ночь», Красноярск, 2003, № 1-2, январь — март <<http://www.din.krasline.ru>>

Лев Пирогов. Знаешь, все еще будет... — «Топос», 2003, 25 июня <<http://www.topos.ru>>

«У тех, кому сейчас от шестидесяти (шестнадцати? — А. В.) до двадцати пяти, не должен вызывать сомнений тот очевидный факт, что ХХ век как культурное событие состоялся в шестидесятые годы. Все, что мы сегодня видим вокруг себя, было изобретено, впервые применено или приобрело значение именно тогда. Кроме, может быть, колеса».

Анастасия Пискунова. На берегу реки Потудань. — «Топос», 2003, 7 июля <<http://www.topos.ru>>

«Так рассказы не пишутся. Рассказ — это свободно льющаяся речь, а здесь в каждой фразе судьба и ее единственное слово — молчание. <...> Если не насиловать память искусственными (искусными) формами так называемого драматургического повествования, то она будет высказываться фрагментарно, „кусками“, то есть, как мы уже и сказали в начале статьи, она будет говорить так, как говорит рассказ Платонова [„Река Потудань“]: все время *начинаться*, начинаться каждым своим фрагментом, каждым воспоминанием, никуда не выходя за пределы воспоминания, и в нем же, и только в нем, находя себе пищу для продолжения жизни».

См. также: **Игорь Викторович Касаткин**, «Х-файлы Платонова» — «Топос», 2003, 9 июля <<http://www.topos.ru>>

Сергей Поварцов. Партийные тайны Георгия Маркова. — «Складчина», Омск, 2003, № 3 (9), июнь.

«<...> когда осенью 1991 года [Георгий] Марков ушел из жизни, в некрологе о нем написали: „...в 1930 году был принят в члены ВКП(б). В 1935 году по клеветническому доносу он исключался из партии, но затем был восстановлен“. Не многие знают, что партийная история Маркова разыгралась тогда в Омске». По материалам Центра документации новейшей истории Омской области (ЦДННАО).

Григорий Померанц. Истоки и устье Большого Террора. Факты, которые не удалось скрыть. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 5.

Сталин. Киров. Хрущев. «[Ольга Григорьевна] Шатуновская не простила Хрущеву его трусости [на XXII съезде] и после его отставки отказывалась от приглашений прийти потолковать о прошлом». См. о ней также: **Григорий Померанц**, «Государственная тайна пенсионерки» — «Новый мир», 2002, № 5.

См. также: **Григорий Померанц**, «Подступы к Преображению» — «Континент», 2003, № 116 <<http://magazines.russ.ru/continent>>

Продолжение жизни. Композиция, комментарии и вступительная статья Станислава Куняева. — «Наш современник», 2003, № 7.

Рубрика «Мир Кожина». Воспоминания профессора Кубанского государственного университета В. П. Попова «Вадим Кожин как мой учитель». А также — полемика Куняева с Валентином Сорокиным в защиту Кожина.

Иван Пушкин. Цой спит. — «НГ Ex libris», 2003, № 22, 3 июля.

«Когда Цой поет, кажется, его шатает. Такое чувство, что этот человек всегда был пустой. Не человек, а дымок. Про таких в народе говорят: будто винтика не хватает... Цою не хватало кучи винтиков, болтов, пружин, которыми человек, как правило, напичкан. Пустота подразумевала не избранность и художественную отрешенность, а просто сон. Спячка, часть мозга отдыхает — таков был неполноценный Цой, и из туманных комьев сна он лепил целое поколение. <...> Даже „Мы ждем перемен“ — песня кастрата, полагающего, что чудесный росток может пробиться, однако — это надежда во сне».

Пушкиниана-2002. Составил Олег Трунов. — «Книжное обозрение», 2003, № 24, 16 июня.

180 названий.

Исаак Рахиль. Уголовник Че Гевара. — «НГ Ex libris», 2003, № 22, 3 июля.

«Че был тем, кто приравнял идею революции к экстазу, сродни сексуальному. <...> По большому счету Че превратился в обывателя от революции. Его навязчивый нигилистический пафос в чем-то сродни разговорам о продуктах и комедиях. Я слышал, что недавно в Москве открылся ресторан „Че Гевара“. Официантки там ходят в хаки, а на стенах — красные лозунги. Это именно то, чего Эрнесто заслужил».

Ср.: «Пускай лучше люди фанатеют от Че Гевары, чем от кока-колы или другой какой-нибудь дряни. Значит, команданте наконец дошел до „потребителя“. Согласитесь, продукт-то офигительно качественный», — говорит **Эдуард Лимонов** («Труд», 2003, № 123, 8 июля <<http://www.trud.ru>>).

Дуглас Рашкофф (Douglas Rushkoff). Э: рецепт на культурное возрождение. Глава из «Экстази: подробное руководство» под редакцией Джули Холланд, 2001. Перевод Анастасии Грызуновой. — «Русский Журнал», 2003, 25 июня <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>

«Каждая культура и субкультура получает те наркотики, которые заслужила. Вообще-то корни почти любого крупного культурного движения в истории обнаруживаются в химикатах, которые тогда были или отсутствовали».

Джереми Рифкин (*Jeremy Rifkin*). Конец работе. Глобальный упадок занятости и заря пострыночной эры. Предисловие Елены Титорской. — «Отечественные записки», 2003, № 3.

«Но чем ближе осуществление технологической утопии, тем менее привлекательным предстает грядущий мир...» Подготовленный Юрием Кимелевым реферат книги известного экономиста, философа, эколога и общественного деятеля «*The End of Work*» (NY, 1996), которая «посвящена рассмотрению актуальных и потенциальных последствий Третьей промышленной революции прежде всего в сфере труда».

Рядом с Евгением Носовым. — «Москва», 2003, № 6.

Письма Евгения Носова к Валентину Распутину, Василию Белову и другим. И другие мемориальные материалы.

Валерий Сендеров. Постсоветчина. Открытое письмо главному редактору газеты «Известия». — «Посев», 2003, № 7.

Сендеров отказался от подписки на «Известия», которые «внесли вклад в недавнюю антиамериканскую истерию», а также соединили «апологетику чекизма с лексикой и стилистикой гарлемских кварталов». И верстка стала — как у «Коммерсанта».

Михаил Синельников. «И время было мной, и я был им». Евгению Евтушенко — 70. — «Московские новости», 2003, № 27.

Август 1969-го. «Это была лишь вторая наша встреча, но Е. А. говорил смело и жестко; вдруг я почувствовал, что люблюсь этим решительным и, видимо, уверенным в себе человеком... Оборвав разговор, Е. А. сообщил, что идет в гости к Корнею Ивановичу Чуковскому. И, добавив к своему облачению, состоявшему из шортов и сандалий, золотой крест средней величины, украсивший бронзовую грудь, вышел со мною за ворота, попрощался и твердой стопой двинулся в сторону нужной дачи. ...Через три десятилетия в изданном дневнике Чуковского читаю об испытанном потрясении: приходил отчаявшийся Евтушенко и сказал о своей готовности покончить самоубийством...»

См. также большую *историософскую* статью **Евгения Евтушенко** «Ко всякому удару молитва» — «Литературная газета», 2003, № 28, 9 — 15 июля <<http://www.lgz.ru>>

См. также подборку материалов «Время Евтушенко» — «Новая газета», 2003, № 50, 14 июля <<http://www.novayagazeta.ru>>

Елена Скульская. Сергей Каледин. Кладбище. Церковь. Стройбат. — «Дело», Санкт-Петербург, 2003, № 284 <<http://www.idelo.ru/284>>

Говорит **Сергей Каледин**: «<...> у нас с мамой был договор, что я должен три раза в „Новом мире“ опубликоваться, стать знаменитым, и тогда я свободен. Я все сделал, как договаривались, и имею право жить, как хочу. „Отстань, — говорю, — мама, я все выполнил“...»

Борис Соколов. Штабная игра: январь 1941 года. — «Знание — сила», 2003, № 6. Накануне. Здесь же: **Юрий Геллер**, **Виталий Рапопорт**, «Игра 1936 года».

Максим Соколов. Русское литературное собаководство. — «Известия», 2003, № 105, 19 июня.

«Фамилия „Солженицын“ состоит из целых четырех слогов, а собачья кличка Солж проносится на одном выдохе. Для собаковода такая редукция естественна и разумна. <...> Но А. И. Солженицын — не кобель, критики не выгуливают его в сквере, и это лишает собаководческую фонетику должного основания».

«Нравится это кому или не нравится, но Солженицын — единственный ныне живущий русский классик. А также муж судьбы, властно вписавший свое имя в русскую историю».

Ср.: **Константин Крылов**, «Уроки Солженицына» — «Консерватор», 2003, № 18, 30 мая <<http://www.egk.ru>>

Ср.: **Валерий Каджая**, «Каленый клин. Саморазоблачение Александра Солженицына. Том второй» — «Новое время», 2003, № 24, 15 июня <<http://www.newtimes.ru>>

См. также: **Александр Пименов**, «Произвольный набор аргументов в защиту Солженицына. Сиречь эссе». — «Вечерний Гондольер», 2003, № 3 <<http://vegon.net>>

Елена Стафьева. «Секс в большом городе». Или невыносимая легкость бытия. — «*Global Rus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 11 июля <<http://www.globalrus.ru>>

«Более всего поведение четырех этих холеных особ похоже на „замещающую активность“ людей, находящихся в состоянии постоянной фрустрации. <...> Пережить торжество индивидуализма и сексуальную революцию, они оказались в мире, где все не на своих местах. И пытаются уравновесить эту свалившуюся на их голову свободу и легкость пилингом, сумочками, анальным сексом и еще бог знает чем. Морщины победы, мужчины — тоже, а жить все равно очень неуютно».

См. также: **Линор Горалик**, «*Sex and the Woman*» — «Грани.Ру», 2003, 12 февраля <<http://grani.ru>>

Татьяна Тернова. «Надо бы нам всем нравственно обняться...» Размышляя над страницами рассказов Юрия Казакова. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 4.
«Вообще мотив сна — один из излюбленных».

Владимир Тропин. Самиздатская периодика Ленинграда 1950 — 1980 гг. — «Посев», 2003, № 7.

Много имен и фактов.

Илья Трофимов. Камасутра для некрофилов, или Несколько устаревших способов овладеть искусством. — «НГ Ex libris», 2003, № 22, 3 июля.

«И здесь уж без помощи актуальной критики художник не оставался.

— Ты прав, что разозлился! Не люби эту противную страну с ее гадкой историей, отвратительным народонаселением — все сплошь гадкие рожи, — оскверни, оплош поскорее что-нибудь для них святое! Ну, постарайся, прицепись к чему-нибудь, посмотри, как СМИ делают, — назовем тебя современным, более того, актуальным. И поведем тебя под белы рученьки прямоком в Историю искусства».

Автор закончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ, художник.

Эдуард Хлысталов. Неизвестное уголовное дело Сергея Есенина. — «Литературная Россия», 2003, № 28, 11 июля.

1920 год. «Это уже 14-е уголовное дело против великого поэта <...>».

Александр Храмчихин. 22 июня: день печали. Сталин обязан был напасть на Гитлера первым. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 23 июня <<http://www.globalrus.ru>>

«<...> отказ от удара по немцам весной 41-го можно записать в число наиболее тяжких преступлений Сталина. Именно об этом и следует говорить, обсуждая события 62-летней давности».

Егор Холмогоров. Несостоявшаяся «Ходынка Путина». Заметки на полях теракта. — «Русский Журнал», 2003, 6 июля <<http://www.russ.ru/politics>>

«Уже после „Норд-Оста“ несчастные заложники, наряду с сочувствием, получили этот удар в спину — „нувориши пришли развлекаться на мюзикл, так им и надо“. Вот и теперь — „дураки налезли плясать — так им и надо“. Популярность такого хода рассуждений, убийственно опасного для нашей нации, в общем-то растет. Раскол между теми, кто веселится, и теми, кто считает для себя веселье невозможным, становится все более заметным и морально невыносимым. Обратной стороной той приятной возможности „пожить“, которую принесла „стабилизация“, является невыносимость для большой, молодой и неглупой части нашего народа „жить“ так — такая жизнь кажется то ли слишком глупой, то ли слишком подлой, а чаще всего попросту краденой в той же степени, в которой краденым кажется нынешнее „богатство“. <...> Социальный вопрос, вопрос действительных „внутренних дел“ России, вышел сегодня на первое место по сравнению с модной еще недавно темой борьбы с терроризмом. Даже громкий теракт отныне не перешибает социальных противоречий. <...> Те проблемы, которые разрывают наш народ уже более десятилетия, оказывается невозможным решить простым сплочением против внешнего врага».

См. также: **Марк Розовский**, «Наша „победа“ — на две трети „беда“» — «Континент», 2003, № 116 <<http://magazines.russ.ru/continent>>

Игорь Шафаревич. Мысли, уже высказанные вразброд. — «День литературы», 2003, № 6, июнь.

История. Россия. Двадцать первый век. «<...> Запад падет не от сильнейшего противника, а от собственных сил разложения».

Михаил Швыдкой. «Путин — человек театральный». Беседу вел Дмитрий Быков. — «Собеседник», 2003, № 189 <<http://www.sobesednik.ru/weekly/189>>

«Как видите, мои вкусы не очень-то влияют на культурную политику министерства. Потому что почти все искусство, которое люблю я сам, осталось в десятых — двадцатых годах... — Д. Б.: Но вкусы Путина — довольно консервативные, сколько я могу разглядеть — наверняка влияют! — А он никогда не высказывает их. Прекрасно понимая, что в силу отечественных традиций это тут же превратится в директиву. И с чего вы взяли, что они так уж консервативны? Он долго жил в Германии. Открывал у Гугенхайма выставку „Амазонки авангарда“. И сам он человек театральный, любит эффекты, перехватывает инициативу во время пресс-конференции, в Германии говорит по-немецки, в Англии — по-английски... Кто еще так делает из мировых лидеров? Постановочность всякую ценит... Правда, как министр я не имею права его оценивать публично... Но могу же я высказаться о нем как театровед?»

См. также: Михаил Швыдкой, «Культура и мировое политическое влияние» — «Космополис», 2003, № 2 (4) <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>

Дмитрий Шеваров. Мысль, освещенная совестью. Нашей культуре остро не хватает такого человека, каким был критик Игорь Дедков. — «Деловой вторник», 2003, № 22, 24 июня <<http://www.vtornik.ru>>

На завершение публикации дневниковых записей (1953 — 1994) Игоря Дедкова в «Новом мире» (1996-2003).

Ольга Эдельман. Советские люди на рабочем месте. — «Отечественные записки», 2003, № 3.

«Как ни крути, но самое удивительное, изумительное, поразительное в советской власти — это ее экономика. <...> Потому что в ней самое поразительное — это что она на самом деле была, *взаправду*».

Михаил Эдельштейн. Какое, милые, у нас десятилетье на дворе? — «Русский Журнал», 2003, 4 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Кого он [Андрей Немзер] полюбил, того не выпустит из объятий, кто не пригланулся, тому вовек не подпасть под амнистию».

Яков Этингер. Берия: палач в роли „реформатора“. К 50-летию первой схватки в борьбе за власть после смерти Сталина. — «Время MN», 2003, 26 июня.

«Сохранившиеся в архивах материалы показывают, что в последние дни перед арестом Берии его министерство было занято работой по подготовке документов чрезвычайной важности. В одном из них, датированном 16 июня, предлагалось решить в принципе судьбу ГУЛАГа. Берия предлагал „ликвидировать систему принудительного труда ввиду экономической неэффективности и бесперспективности“...»

Это критика. Выпуск 8. — «Русский Журнал», 2003, 3 июля <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит литературный критик (много пишущий о фантастике) и автор детективов (под псевдонимом Лев Гурский) Роман Арбитман: «<...> я всегда полагал, что литература — в первую очередь *предмет чтения* и существует *для читателя*. Если же автор требует от читателя, чтобы тот совершал над его художественным текстом *работу*, нечто *преодолевал*, то, скорее всего, автор не доработал сам и попросту скрыл за благородной невнятицей, витиеватостью, живописным хаосом, за этакой импрессионистической манерой письма элементарный недостаток таланта и даже мастеровитости (к примеру, Андрей Битов последних полутора десятилетий для меня — вне литературы, хотя прошлых его заслуг я не собираюсь оспаривать)».

«Со стороны коллег я не ощущаю снобизма: если вы полагаете, что в APC’се „серьезным“ критикам накрывают обед в столовой, а Арбитману — в людской, то вы ошибаетесь».

Как во всех интервью, самое любопытное не прямые высказывания, а — «проговорки»: «Сергей Курехин *испортил себе некролог* (курсив мой. — А. В.), вздумавши на исходе жизни поиграть с национал-большевистскими побрякушками». Разве Курехин жил для некролога?

Анатолий Яковенко. В родительскую субботу. Вспоминая Бориса Примерова. — «День литературы», 2003, № 6, июнь.

«С Николаем Рубцовым у Примерова был особый счет... и это чувствовалось во всем его поведении. Он ценил, уважал его, но в то же время и довольно ревностно относился к его славе. И когда случалось, что тот оставался у него на ночлег (Рубцов числился в заочниках и не имел твердого места в [литинститутском] общежитии), то им приходилось даже с боем доказывать друг другу, кто же из них более достоин спать на кровати».

Наталия Якубова. О проекте гендерной критики в театре. — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 4 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>

«<...> повторяю, цель данной статьи — не раскритиковать венгерскую [театральную] критику как таковую, а просто на ее примере обсудить проблемы, которые в той или иной мере присутствуют в критике всего нашего региона. <...> Я постаралась <...> показать, насколько неудовлетворительной, на мой взгляд, становится критика тех театральных спектаклей, во главе угла которых стоит интерпретация гендерных отношений, если именно об этих отношениях критик отказывается говорить». Первоначальный вариант статьи был использован как материал для публичной лекции во время стажировки в Центрально-Европейском университете.

Составитель Андрей Василевский.

«Арион», «Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Дружба народов»

Алесь Адамович. Из записных книжек. Публикация В. С. Адамович и Н. А. Шугаиной-Адамович. — «Вопросы литературы», 2003, № 3, май — июнь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

Записи 1987 — 1991 годов.

«А ведь наша вел<икая> воен<ная> лит<ература> стала принцип<иально> антивоенной еще тогда, когда писались диссерт<ации> о возмож<ности> победы в ядер<ной> войне.

Человек привык, что большое убийство может совершить лишь большой, сильнее других зверь, — переносят на людей. А у людей по-другому: маленький может организовать сильных убивать для него. Зверь это не умеет — заяц или шакал.

«Война отврат<ительна> вся: некрасив чел<овек>, к-го убивают. А не только убийца. Сколько бы ни лгало иск<усство>, сколько бы тысячелетий ни лгало. Всякий побывавший там знает: некрасив чел<овек>, к-го убивают».

«Собаки в Чернобыльской зоне. Очередь к человеку, чтобы подойти и „хвостиком вильнуть”. Им страшно тут без человека. Ни хлеба, ни мяса не просили, а ласки».

«Помните: на одном из съездов партии Тв<ардовский> сказал: лишь то ост<анется> в ист<ории>, что получит подтвержд<ение> в лит<ературе>. Без этого, как без провидителя, — не останется, как бы и не было.

Эту великую и беспощадную роль литературы понимали как никто 2 человека: Твардовский и Сталин. Но с противоположным чувством.

Сталин потому и уничтожил 2000 писателей, что Сталин знал, кто он, что строит и что это настоящая литература не подтвердит. А хотелось!.. Поэтому уничтожал всех, но все медлил с такими, как Булгаков, как Твардовский: а вдруг. Все отнимали у них: даже отца-мать, и грозили, главное, литературу, отнять».

Начало см.: «Вопросы литературы», 1999, № 5, 6.

Дмитрий Бак. Просто сложно просто («разгерметизация» поэзии как литературный факт). — «Арион». Журнал поэзии. 2003, № 2 <<http://www.arion.ru>>.

«Безбрежная свобода самовыражения стремительно стала вчерашним днем русской поэзии. Фоновое присутствие в литературном пространстве „электронной” поэзии с ее парадоксальным равноправием высокого и низкого, нейтрального и пророческого, профессионализма и графомании — привело к кардинальному изменению самого статуса поэтического слова. В самом деле, если границ между языком поэтическим и языком как таковым более не существует, то поэтическими могут стать любой звук, слово, фраза.

А это значит, что любая экспериментальность утрачивает не только ореол смелого открытия, нарушения нормы, но и вообще перестает быть поэтическим высказыванием, рассчитанным на прочтение, реакцию, ответ. Возвращение к прямой поэтической речи не просто неизбежно — оно уже случилось. Надо только по сторонам посмотреть. И самое время: как раз наступил момент, когда стало видно далеко во все концы».

Отдельное спасибо Д. Баку за публикацию стихотворения Андрея Дементьева (согласно статистике — любимого народом поэта) о всенародно избранном («Помогите Президенту...»). А то у меня в домашней коллекции уже и скульптор имеется, два художника, поющие-играющие подобались, не хватало значительного стихотворца. Москва, звонят колокола. Отрезвляет.

Марина Бородинская. «Ощущаешь себя кентавром...». Беседу вела Е. Калашникова. — «Вопросы литературы», 2003, № 3, май — июнь.

О себе, о стихах, о переводах и переводчиках, о Чосере, имя которого для русского читателя, думаю, всегда теперь будет соединено с именем М. Б. («...мне и в кошмарном сне не могло присниться сесть за вещь длиной в восемь с половиной тысяч строк семистроичной „королевской” строфой, рим-роялем»). О женском-материнском, в конце концов. О страхах.

«Хотя это зона (зона творчества для женщин. — П. К.) повышенной опасности, она ведь и зона повышенной радости, и тянет туда, как заядлого сталкера, в эту радость пополам с радиацией. Мужчина, вступая в нее, — ну не всегда, но часто, — ищет кочку, чтобы токовать: „Вот я тут сижу, молодой-красивый, а ну налетай...” В жизни за все приходится чем-то платить, и женщина платит гораздо дороже — куском материнского „я”, отношением к детям, виной перед ними. Как только появляются дети, мы становимся трусливыми и суеверными, — женщины, во всяком случае. Торгуемся с высшими силами: „Ладно, не надо вот этого, пусть будет хорошо детям”. Сами понимаете, какие последствия это может иметь для творчества. Ахматова сказала: „Отними и ребенка и друга”, правда, добавила потом: „и таинственный песенный дар”, но ясно же, что все не отнимут, придется выбирать, вот что первым назвала, то и отняла, ее еще потом

корила Цветаева: „Как вы могли так написать, ведь в стихах все сбывается”. Если ты просишь чего-то, ты знаешь, что за это отнимут другое. Женщине труднее всю жизнь балансировать на канате, потому что материнская часть страшно тянет книзу».

Артем Веселый. Стихи. Вступительное слово Игоря Шайтанова. — «Арион», 2003, № 2.

«В прозе Артема Веселого слово звучит зримо, грубо, подчас очень грубо, напитанное кровью. Это есть и в стихах, но в них есть и другое — острота переживания: не „мы”, а — „я”. Хотя мысль по-прежнему экспрессивна и изобразительна...» (И. Шайтанов).

А стихи (их два — «Книга» и «Жена и женух») — горячие, плотные, доверительно-изошренные.

В. К. Волков. Призрак и реальность «Барбароссы» в политике Сталина (весна — лето 1941 г.). — «Вопросы истории», 2003, № 6.

Новая аналитика, новые факты, новые интриги. Задействованы источники, прежде не фигурировавшие в теме. Кстати, факт прилета и приземления в мае 1941-го рядом со стадионом «Динамо» немецкого «Юнкерса-52» (помимо своей рифмовки с полетом Матиаса Руста) чуть не повлек за собой, оказывается, отдельный показательный процесс. Впрочем, аресты, расстрелы и пытки в рядах ВВС и так не заставили себя ждать.

Ю. Гусев. Знак Освенцима. О творчестве Имре Кертеса, лауреата Нобелевской премии по литературе. — «Вопросы литературы», 2003, № 3, май — июнь.

Автор хорошо знает своего героя, венгерской словесности он отдал годы труда.

Напоминает, что увенчанный многими отечественными и международными премиями Кертес не относится в Венгрии к числу самых известных и читаемых авторов, Гусев пишет: «...[причина] прежде всего в том, что Кертес пишет на тему, которая нынче в наших краях мало популярна даже в среде интеллигенции». О лагерях то есть.

Интересное *просветительское* исследование о писателе, занятом исключительно тем, как человеческое проявляет себя в нечеловеческом. Кертес прошел и Освенцим, и Бухенвальд. Чудом, конечно, выжил. Отчасти потому и пишет об этом. И не только об этом.

«Возможно, если бы Кертес ничего больше не написал, кроме <...> страниц, на которых он так бесстрастно и точно (потому что — со знанием дела, на основе личного опыта) изображает угасание, редуцирование человеческой личности, человеческого самосознания, на этом уровне мало чем отличающегося от „самосознания” земляного червя или даже травы, — его имя все равно бы должно было войти в число лучших знатоков человеческой души, человеческого естества».

Владимир Лакшин. Последний акт. Дневник 1969 — 1970 годов. Вступительная заметка Л. Теракопьяна. Подготовка текста, «Попутное», примечания С. Н. Лакшиной. — «Дружба народов», 2003, № 4, 5, 6 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Это о «Новом мире» и Твардовском. О добивании.

«14.V. [1969] <...> К часу дня я был в редакции, и мы с Ал<ешей> (Кондратовичем, членом редколлегии журнала. — П. К.) ждали вестей от Тр<ифоныча>.

Долго никто не звонил, хотя мы знали, что В<оронков> (секретарь Союза писателей. — П. К.) давно поехал к нему. „Наверное, они выпили пол-литра и Тр<ифоныч>, разнежившись, читает ему стихи”, — пошутил я и не знал, что как в воду глядел. В 3 ч<аса> созвонились и были у А<лександра> Т<рифоновича>. Сели за кругл<ым> столиком в кабинете, и он сказал: „Ну так вот, мне предложили подать заявл<ение> об уходе”. Гов<орил> он не очень последовательно и внятно, но постепенно обрисовалась такая картина. В<оронков> со всевозможными экивоками и заверениями в любви сказал ему, что дело решено, ему велено передать, что это согласовано <...>. Тр<ифонычу> предлагают уйти по доброй воле и дают ему отступного — 500 руб<лей> ежемесячно в секр<етариате> — без обязанности регулярно посещать это заведение. „Если же вы откажетесь — будет шум и большие неприятности”. „Дем<ичев> (секретарь ЦК КПСС. — П. К.), насколько я его знаю, не берет на себя единоличн<ых> решений, значит, видимо, это согласовано и выше”. В<оронков> то и дело переходил на доверит<ельный> тон и жаловался, и лебезил: в С<оюзе> п<исателей> — развал, Федин — руина, Марков устранился от дел, писателей в секретариате нет. „Нов<ый> мир” — прекрасны<й> журнал, даже в «аппарате» сознают, что это единств<енный> наш журнал, имеющий мировое признание и дающий авторитет сов<етской> культуре. Но так сложилось. В отделе „машину крутит Мел<ентье>в” (зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС. — П. К.) и т. д. Пока я сказал так: 500 руб<лей> меня не могут прельстить, мне нужно дня два на обдумыв<ание> этого предлож<ения>».

Потом Тр<ифоныч> налил Вор<онкову> водки, тот не отказался, они хватанули по стаканчику, и Тр<ифоныч> стал читать ему свой „Триптих” („По праву памяти”. —

П. К.). Вор<онков> прослезился, сказал, что это надо печатать, что он сам то ли сын попа, то ли что-то в этом роде, и просил взять стихи с собой. У Тр<ифоныча> хватило благоразумия не отдать ему их сразу, но он пообещал прислать на др<угой> день. Я стал его упрекать в простодушии, а он сказал: „Так одного возницу саперы предупреждали, не иди дальше, шоссе минировано. А он: ‘Хуй с ём’, — пошел и взлетел на воздух».

«Наступает такой момент: никто никого не боится и все боится всех».

«5.VII.1969 <...> Тр<ифоныч> еще пытался предложить Вор<онкову> обсуждение в союзе. «Не знаю, А<лександр> Т<рифонович>, — задумчиво сказал лукавый царедворец. — Ну кто сейчас из секретарей? Кожевников, Сартаков, я, Марков. Надо ли обсуждать в таком составе?» И игра была сыграна.

Пошли мы к Сацу и выпили по косушке».

«С 29.IX по 25.X — в Ялте. <...> Море было холодное, ветры, шторм. Купался не больше 10 раз. Не повезло на этот год с отпуском.

На пляже в Ливадии, пузом вниз на лежаке, муж читал жене вслух Кочетова».

«28.X. <...> Тр<ифоныч> о нем (К. Чуковском. — П. К.) одно твердит: „знал что почем”, и вспоминает снова историю с „Ив<аном> Ден<исовичем>”. Да и когда „Страна Муравия” вышла, Корней написал ему неожиданно письмо: если критики достойно не откликнутся на вашу поэму, то я сам тряхну стариной. И последнее его письмо А<лександру> Т<рифоновичу> — о стихах <...>. Впрочем, я-то знаю, что это инспирировано <...> через Каверина, чтобы поднять Тр<ифонычу> настроение тогда. Ну да ладно. Я сам благодарен ему за необыкновенно доброе письмо и слова приветия, кот<орые> разные люди то и дело этот последний год передавали мне.

Поклоение людей, еще державших живую связь со старой культурой и традицией 19 века, уходит окончательно, и страшно подумать, что за паяцы остаются на сцене».

«5.XI. <...> Утром Тр<ифоныч> звонил — деятельный, бодрый, гов<орил>, что поедет к Воронкову, а потом зайдет домой ко мне. Но человек предполагает, а бог располагает. Воронкова поймать нельзя. С утра он поехал на секр<етариат> РСФСР, где, видимо, исключают Ис<аича> (Солженицына. — П. К.). Днем сидели в ред<акции> и вели неторопливый, невеселый разговор. <...> Нужны подготовит<ельные> работы для евангелия III тысячелетия. 3 источника — марксистск<ая> социология, христ<иан>ская нравственность — и научно-технич<еская> революция. А не шутя, XXI век может стать веком нового расцвета этики, задавленной ныне соц<иальным> бытом и „точными” науками едва ли не во всех странах света».

«9.XI. <...> Ан. Вильямс о Шост<аковиче>. Его позвал в больницу добрый знакомый. „Я умираю, прости, я всю жизнь писал на тебя. Волнуюсь только, кого теперь к тебе приставят. Ведь я тебя любил”. Ш<остакович> успокаивал его, как мог. Самое смешное, что он выздоровел. Готовый сюжет для Мопассана».

«11.XII. Получили сигнал № 10, средненький номерок. Принимали поляков <...>. Было натянато и скучно.

Под вечер явился Дем<ентьев> (еще один член редколлегии, из „твардовской команды”. — П. К.), прочитавший мою статью <...>, сам напуганный, и меня пугал. Развернул, как обычно, целую программу „спасения” статьи. По его мнению, особенно опасны прямые аналогии, а пуще эмоции<альный> тон в характеристике эпохи. Он показывал виртуозное умение, как, вычеркнув авторск<ий> текст между двумя цитатами, можно сделать все безопаснее и надежнее. Его бы воля, он одними цитатами писал. Особенно напугало его место о журналах — прямой намек, и пренебрежительный.

Измаял он меня, я слушал его журчание <...> до 10-го часу и домой пришел со свиной головой».

«9.1.70. <...> Говорят, что Дм<итрий> Донской после Куликовской битвы был найден на поле в бессознательном состоянии, но огню не был ранен. Не судьба ли А<лександра> Т<рифоновича>?»

«29.1.70. <...> А<лександр> Т<рифонович>: „Я решил — помирать так с музыкой”. Он еще вчера смеялся над Дорошем, кот<орый> предлагал ему писать „какому-нибудь большому начальнику”. А теперь пришел к мысли писать Л<еоиду> И<льичу> Б<режневу> — „последнее” письмо, где сжато коснуться всего — и Солж<еницына>, и „Огонька” с „Соц<иалистической> индустрией” (речь идет о газетно-журнальной атаке на журнал. — П. К.), и, главное, своей поэмы. Вчера он набросал какой-то текст, советовался с Сим<оновым> и Дем<ентьевым>, но показывать не хочет, собирается шлифовать.

Неск<олько> раз повторил: „Это конец”. Так надо уйти, облегчив душу и высказавшись. Не помню, по какому поводу он сказал сегодня: „Такой редакции, как наша, не было никогда. Тут люди собрались один к одному”.

Паперный читал пародию на Кочетова. Трудно пародировать то, что само по себе есть пародия».

«3.II.70. <...> Эм<илия> (цензор. — П. К.) тихонько пожаловалась, что Фомичев (цензор-начальник. — П. К.) сделал ей выговор за симпатии к „Н<овому> м<иру>”.

„М<ожет> б<ыть>, вам там надо работать?” — „Да меня, к сожалению, не возьмут”, — сказала Эм<илия>».

«5.II.70. <...> Ночью почти не спал, думал о наших читателях, таких, как Васильев, или норильские мои учителя, или экскаваторщик из Кызыла. Для многих это был последний клочок твердой земли, ниточка связи с официально признанной общественной жизнью. Теперь — пустота. Лит<ерату>ра снова уходит под землю.

Последний год мы жили условной, временной жизнью. Как подбитый самолет, шли на одном крыле — и тянули с усилием, теряя высоту — еще лесок внизу перемахнули, еще поле, еще перелесок, а там и конец».

«7.II. А<лександр> Т<рифонович> звонил из Пахры. Вопреки моим опасениям, он здоров и добрался благополучно до дачи. А я в каком-то анабиозе. Сплю, спокоен и вял, ничего не хочется.

Вечером были в Театре на Таганке, спектакль „Пугачев”. Бутафорская отрубленная голова подкатилась мне под ноги. Я взял ее осторожно за волосы и поставил на сцену».

«17.II. От Вор<онко>ва ответа нет. У Тр<ифоныча> еще бродят какие-то иллюзии, подогретье слухами, что Бр<ежнев> не подписал его отставки <...>. Ходят литераторы, взглянуть на нас, пожать руку. Тр<ифоныча> это начинает бесить. „Если он (про кого-то из сегодняшних) тоже ‘пожать мою честную руку’ — и его выгоню”. В этих приветствиях и в самом деле рядом с искренним порывом есть уже и либеральная мода, достаточно противная».

«20.II. <...> В 3 ч<аса> дня вдруг Тр<ифоныч> забеспокоился, заторопился, решил — прощаться с редакцией. <...> Обошли комнаты редакторов на 1-м этаже, корректорскую, библиотеку. Всюду заплаканные лица. Анна Вас<ильевна>, библиотекарь, рыдала, уткнувшись головой в стеллажи с книгами. Тр<ифоныч> благодарил всех за доброе сотрудничество, жал руки, желал счастья. <...> Тр<ифоныч> объявил, что 20 февр<аля> мы отныне будем числить днем „Нов<ого> мира” и встречаться всем в этот день. А если один „новомировец” останется, пусть празднует этот день один, как некогда лицеисты».

«23.II. <...> А тут явился Залыгин, тоже с полной неопределенностью сочувствия. (Говорят, он отказался подписать письмо группы писателей в защиту „Нов<ого> мира”, сославшись на то, что ждет квартиру.) А<лександр> Т<рифонович> сказал ему: „Да что, как дела... Некот<орые> дебютанты ‘Нов<ого> мира’, обязанные ему своим успехом, обо всем позабыли... Но им еще придется об этом вспомнить, когда встанет вопрос, где печатать новые вещи...” Залыгин почел за лучшее как бы не понять этого грубого намека».

«15.III.1970. Вот я и остался один, без журнала, без близких мне людей, с которыми привык встречаться ежедневно. Время, обильное досугом, дает простор и для ведения дневника.

Только зачем? Все обесмыслилось как-то. Старая жизнь, наполненная до краев, вдруг оборвалась и отошла, а новой пока не вижу».

И — последняя цитата, из того же мартовского дня: «Фелька Абрамов прислал телегр<амму>, что снимает свои рассказы, если не пойдут „Деревянные кони”. Номер немедленно переворачивают и вставляют „Коней”, которых мы (о горе!) не решались напечатать. Как видно, „дирекция не останавливается перед расходами”, и Косолапова (нового главреда. — П. К.) заверили, что он может на первых порах печатать все, что захочет».

Знать бы тогда, как повернется история, которую еще застанут и в которой достойно поучаствуют и Сергей Павлович Залыгин, и Владимир Яковлевич Лакшин...

Через дневник прорисовываются и отдельные — из эпизодов-черточек — портреты действующих лиц того периода. Меня как-то особенно неприятно поразил Федин: вот, говорят, все может сгореть в человеке, причем добровольно, *мягко* так.

Что же до комментариев к дневнику, то скажу, верно, «от имени многих». Как жаль, что так называемые «службы проверки» (сегодняшний «Новый мир» в этом смысле, кажется, — счастливое исключение) исчезли напрочь. Наверное, профессия техреда теперь достояние лишь подобных дневников. Очень жаль. Что же до *проверок*, тогда, глядишь, и «режиссер Театра на Таганке» был бы «Петровичем», а не «Михайловичем». И Кони звали бы «А. Ф.», а не наоборот.

Стивен Ловелл. Зачем нужна литература? Перевод с английского Д. Протопоповой. — «Вопросы литературы», 2003, № 3, май — июнь.

С помощью тридцатилетнего преподавателя кафедры истории Королевского колледжа Лондонского университета (King's College), специалиста по русской литературе и истории дачи (дачи, дачи; фазенды. — П. К.) редакция «полупродолжает» неудавшуюся полемику (неудавшуюся, потому что считает, что с ней не полемизировали, а «ответили идеологической бранью». — П. К.) с «Новым литературным обозрением», которое

напало на «Вопросы литературы» после статьи И. Шайтанова («Вопросы литературы», 2002, № 2), в свою очередь и в свое время «*позволившего себе не согласиться с „НЛО“*» (курсив «Вопросы литературы». — П. К.). Уф. Речь шла, собственно, о методах научного исследования, о «новых истористах» (см. «Новое литературное обозрение», 2001, № 4).

Дело давнее, глядишь, англичанин и примирит их, он так и оговаривается, мол, хоть Шайтанова я и цитирую, а в полемику не вступаю, но достоинства «нового историзма» цену все-таки не особенно. «Ибо этот подход отмечен двойной претензией: на то, чтобы доставить удовольствие от оригинального прочтения ограниченного числа любопытных текстов и в то же время поразить блеском и свободой широковещательного произвольного культурологического комментария. Что же касается „НЛО“, то в целом я ценю этот журнал высоко, поскольку в нем оригинальные исследования перевешивают неосторожные теоретические программы». Дипломатично, но, боюсь, не примирит.

Следом идет еще одно исследование Ловелла «Дачный текст в русской культуре XIX века». Маленькая диссертация, с «погружением».

В. Д. Оскоцкий. Катынь — имя нарицательное. — «Вопросы истории», 2003, № 6.

«Свой изначальный импульс катынский синдром получил задолго до Катыни».

Подробный портрет фундаментальной работы И. С. Яжборовской, А. Ю. Яблокова и В. С. Парсадановой «Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях» (М., 2001).

Евгений Рейн. Поэзия и «вещный» мир. — «Вопросы литературы», 2003, № 3, май — июнь.

От Державина и Пушкина — через акмеистов и символистов — к Бродскому, естественно. С опорой на Мандельштама.

«Использование предметного мира, пейзажного мира должно быть остановлено на некой грани многозначно-логического употребления вещей. Поэт всегда должен иметь в виду эту Психею вещи, но не в символическом смысле, когда роза — это не только роза, но и мистическая роза как небесный знак, а в более разнообразном, художественном смысле этого слова. Надо все время помнить, что мы оперируем душевной частью нашего словаря, Психеей, и она, сочетаясь с Логосом по мере создания текста, создает свертхтекст, который и является окончательной задачей стихотворения».

Очень жаль мне, что среди примеров не упомянут большой верлибр любезного Рейну Кенжеева под названием «Вещи». Он был бы здесь очень кстати.

Валерий Черешня. Стихи. — «Арион», 2003, № 2.

«Так кричат, когда смерть мала / Для всего, что творил сподла, / Полюбуйся — твой дела: // Торжествующий дирижер, / Вместо жезла в руке топор. / Человек человеку — сор» (из стихотворения «Хрусталеву и его машине»).

Леонид Шевченко. Стихи. Вступительное слово Сергея Чуприна. — «Арион», 2003, № 2.

Четыре хороших стихотворения убитого в апреле прошлого года молодого волгоградского поэта.

Глеб Шульпяков. Хвала масскульту. — «Арион», 2003, № 2.

«Так вот, главный плюс эпохи масскульты заключается в том, что она не терпит полутонов. А именно это ее свойство идет современной поэзии на пользу. Скажем спасибо масскульту. Он сделал то, чего не смогли сделать ни советская власть, ни литературная критика. Он очистил поэзию от чужеродных элементов; отфильтровал ее, вывел на чистую воду. <...> Просто в отличие от философа или прозаика современный поэт работает „без посредников“. Он, говоря современным языком, пользуется выделенной линией и перекачивает информацию напрямую. В этом, если угодно, заключается простота, к которой вернулась современная поэзия в начале нового века. Она вернулась к ясной чистоте функции. К прозрачности жанра. Поэзия осталась наедине с собой. В связи с этим ситуация и упростилась и усложнилась одновременно. Ушел страх влияния — да и прятаться стало не за что, — но оказалось, что нет ничего более сложного, чем начинать с самого начала. <...> Эпоха массовой культуры, таким образом, — это шанс для поэзии как чистого вида искусства. Подтверждение ее существования в первоначальном, так сказать, виде. Подтверждение механизма поэзии, которая в свою очередь подтверждает — то есть твердит, то есть вторит — первоисточнику».

Тут есть своя здравость суждений. Но так уж благодарить масскульт за то, что «чистая» поэзия выживает, мне кажется, несколько опрометчиво. Ведь, по словам Жуковского, «поэзия — сестра религии», она *изначально* не находится в прямой и плотной зависимости от мирского. И потом, надо ли Чухонцеву или Лиснянской ловить какие-то шансы и что-то там подтверждать? Их поэзия уж никак не зависит от масскульты, который может, конечно, отразиться в каких-то текстах, но только как брошенный по-

этом взгляд на декорации мира, как повод для «точечной» рефлексии. Кесарю — кесарево. В общем, рассуждения нашего эссеиста достаточно очевидны, особенно если «притушить» в них «красивую» идеологему. Хотя очевидное тоже надо время от времени проговаривать, согласен.

Д. Юрасов. Это был я... — «Вопросы литературы», 2003, № 3, май — июнь.

Известный историк-архивист, исследователь «репрессивной» темы отвечает на оскорбившую его публикацию юриста-публициста **А. Борина** «Пессимистом быть пошло» (о Н. Эйдельмане), помещенную в «Вопросах литературы» ровно год назад. Пересказывать не буду, но советую ознакомиться.

Борин — в публикуемой здесь же реплике — защищается лишь тем, что в своем мемуаре он не назвал Юрасова по имени-фамилии. Однако Юрасов — человек молодой, горячий, и за одну его фразу (справедливую, на мой взгляд, по сути, но, наверное, излишне резкую по форме) воспоминатель и знакомец перестроечных прокуроров живо ухватился. Тут и потянуло родной советчинкой из серии «ворошите, но осторожно, мы делали все, что могли» (речь идет, видимо, о судебных очерках в «Литгазете» брежневско-андроповских времен). Так и заканчивает обиженный резкостью «архивного юноши» А. Борин: «Тяжелые времена мы все переживали, как могли пытались оставаться людьми. И если кому-то из нас удавалось еще делать добро, то и слава Богу. *Вот что, в сущности, самое главное* (курсив мой. — П. К.)». Уравнял некоторым образом.

Составитель Павел Крючков.

АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

АДРЕСА: сайт Движения против нелегальной иммиграции: <http://dpni.org>

ДАТЫ: 16 (28) октября исполняется 175 лет со дня рождения философа и литературного критика Николая Николаевича **Страхова** (1828 — 1896); 12 (25) октября исполняется 100 лет со дня рождения литературоведа Эммы Григорьевны **Герштейн** (1903 — 2002).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Октябрь

10 лет назад — в № 10 за 1993 год напечатано «Ожидание обезьян» Андрея Битова.

15 лет назад — в № 10 за 1988 год напечатаны «Письма к Луначарскому» Владимира Короленко.

60 лет назад — в № 10-11 за 1943 год напечатан киносценарий С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный».

SUMMARY



This issue publishes a story by Vladimir Makanin «Could the Democrats Compose the National Anthem?», the ending of «The Plague», the novel by Aleksander Melikhov, as well as two stories by Anton Utkin. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Inna Lisnyanskaya, Aleksander Kushner, Viktor Kulle, Dmitry Polishchuk and Yuri Kobrin.

The sectional offerings are as follows:

Essays: three articles under the common heading «Cities and Years»: «St. Petersburg. Landscape: Stones, Water, People» by Sergey Bocharov; «Arrythmia of Space» by Lilya Pann highlighting the image of New York in Russian emigrant poetry; and «Gorgeous Foreign Land», an article by Lidiya Grigoryeva on London front gardens.

Comments: «King Lear's Eldest Daughter», an article by Alla Latynina on the three latest books by the critique Viktor Bondarenko.

The Writer's Diary: Aleksander Solzhenitsyn goes on with his «Literary Collection» this time publishing an article on «The Thief», a novel by Leonid Leonov.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МККТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,
Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бугов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novy_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.06.2003 г. Подписано к печати 01.10.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9000 экз. Зак. 3420. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова, учрежденная журналом «Новый мир» и Благотворительным Резервным фондом, присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2003 года.

Состав жюри:

МИХАИЛ БУТОВ, прозаик, ответственный секретарь журнала «Новый мир»;

ДМИТРИЙ БЫКОВ, поэт, прозаик, литературный критик, публицист;

РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, президент АКБ «Национальный Резервный банк», президент Благотворительного Резервного фонда;
МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН, литературный критик, обозреватель «Русского Журнала».

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года.

Контактные телефоны: (095) 200-54-96, 209-91-81

E-mail: newworld@newtimes.ru